ISSN 0130 – 6545

3. 1986

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Мадрид.

Цветные иллюстрации номера —
работы художника ГЕНРИХА ГРУБЕРА (ФРГ)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

3 март 1986

Содержание

ВИТЕЗСЛАВ НЕЗВАЛ — Удивительный волшебник *(Два фрагмента. Перевод с чешского Игоря Инова. Вступление С. Шерлаимовой)* 3

АННИ ЭРНО — Место в жизни *(Повесть. Перевод с французского Г. Ерофеевой)* 9

ГИЗЕЛА ЭЛЬСНЕР — Испытание на прочность *(Повесть. Перевод с немецкого Н. Литвинец)* 38

Л. Андреев — Две истории, которые могла бы написать сама жизнь *(Послесловие к повестям А. Эрно и Г. Эльснер)* 67

РУБЕН БАРЕЙРО САГИЭР — Рассказы *(Перевод с испанского Анатолия Минина)* 70

САМИМ КОДЖАГЁЗ — Спор *(Роман. Перевод с турецкого и вступление Радия Фиша)* 86

ЯН КОЗАК — Адам и Ева *(Роман. Перевод с чешского В. Мартемьяновой. Окончание)* 109

Литературное наследие

ДЭВИД ГЕРБЕРТ ЛОУРЕНС — Дева и цыган *(Повесть. Перевод с английского И. Багрова. Вступление Дмитрия Урнова)* Стихи разных лет *(Перевод с английского Сергея Сухарева. Составитель Н. Дьяконова)* 153

Критика

Всматриваясь в облик нового времени

Беседа в редакции о тенденциях развития литератур европейских социалистических стран последнего десятилетия *(Светлана Шерлаимова, Михаил Фридман, Святослав Бэлза, Павел Топер, Нина Павлова)* 205

Публицистика

ТАКЭСИ КАЙКО — Все дальше и дальше! *(Из книги путевых очерков. Перевод с японского Г. Чхартишвили)* 219

Среди книг

Издано в СССР

М. Злобина — В поисках утраченной гармонии *(Жан-Мари-Гюстав Леклезио. Пустыня)* ✦ И. Левидова — Движение романа *(Уилла Кэсер. Моя Антония. Карсон Маккаллерс. Сердце — одинокий охотник)* ✦ О. Алякринский — Слышим: поет Британия *(Английская поэзия в русских переводах. XX век)* 239

Издано за рубежом

Оливер Фрижьери — Гванн Мамо и мальтийская литература ✦ В. Каменская — Вечно живое время мертвых *(Карел Гоуба. Головокружение. Живое время мертвых)* ✦ Далия Мендоса — Новый роман Артуро Асуэлы *(Артуро Асуэла. Дом тысячи дев)* 245

К нашим иллюстрациям 249

Из месяца в месяц 250

На 1-й и 4-й страницах обложки — работы ГЕНРИХА ГРУБЕРА (ФРГ) «Вечернее настроение» и «Автопортрет».

© «Иностранная литература», 1986.

ВИТЕЗСЛАВ НЕЗВАЛ

Удивительный волшебник

Два фрагмента

■

Перевод с чешского ИГОРЯ ИНОВА

Первая поэма Незвала

На исходе 1922 года, в пятую годовщину Великой Октябрьской революции, группа молодых чешских писателей и художников издала в Праге альманах нового искусства — «Революционный сборник Деветсил». На его страницах вместе с хорошо известной русскому читателю «Балладой о глазах кочегара» И. Волькера была опубликована первая поэма Витезслава Незвала «Удивительный волшебник».

Крупный чешский исследователь творчества поэта М. Благинка в монографии о нем справедливо заметил: «В творчестве Незвала есть поэмы более зрелые и совершенные, но в определенном смысле «Удивительный волшебник» стоит выше их всех. Эта поэма представила поэта обществу... Ее название стало всем понятным синонимом имени Незвала, как для него самого Волшебник был синонимом слов: поэт, революционер, творец, созидатель новой культуры»[1].

«Удивительный волшебник» — это фантастическая поэма о революции, о жизни и смерти, о любви и поэзии. Под влиянием революции в России и революционного брожения в Чехословакии двадцатидвухлетний поэт, именно тогда раз и навсегда избравший путь с революционным народом, попытался в художественных образах осмыслить будущее своей страны, Европы, всего мира, сопоставить единичность человеческой судьбы с небывалыми историческими катаклизмами, определить место поэзии среди бурь эпохи. Реальные приметы места и времени, начиная с открывающего первую песню изображения вечерней набережной, в которой без труда угадывается набережная Влтавы, сочетаются в поэме с безудержным полетом фантазии, с целым фейерверком метафор. Образ Волшебника — это как бы олицетворение «разбуженной естественности» «строгого» чешского народа, но это и олицетворение поэзии, ее миссии в мире, и своего рода двойник автора, которого он наделяет своим стремлением познать истину и своим революционным энтузиазмом.

Центральное место в поэме занимает изображение революции, сделанное в плакатно-лозунговом стиле, отдаленно напоминающем «Мистерию-буфф» В. Маяковского. Для такого сопоставления есть реальные основания: в 1920 году был опубликован чешский перевод «Пролога семи нечистых пар» из «Мистерии-буфф»; тогда

[1] M. Blahynka. S Vítězslavem Nezvalem. Praha, Mladá fronta, 1976, s. 13.

ВИТЕЗСЛАВ НЕЗВАЛ — VITĚZSLAV NEZVAL (1900—1958).

Чешский поэт, народный художник Чехословакии. Автор многочисленных сборников стихов и поэм, романов, пьес; был также одаренным композитором и живописцем. За поэму «Песнь мира» В. Незвал был награжден Золотой медалью Всемирного Совета Мира (1953). На русском языке издавались книги «Избранное» (М., 1960), «Стихи. Поэмы» (М., 1972); стихи печатались в антологиях и периодике, в том числе в «Иностранной литературе». В «ИЛ» публиковались также воспоминания поэта «Из моей жизни» (1975, № 3).

Перевод поэмы «Удивительный волшебник» выполнен по второму тому собрания сочинений Витезслава Незвала («Podivuhodný kouzelník», Dílo, sv. II. Praha, Československý spisovatel, 1952).

же появился и чешский перевод «Левого марша». Отметая потоки лжи, которые обрушивала на Советскую Россию буржуазная печать, молодой чешский поэт воспринимал Республику Советов «по Маяковскому». И хотя он описывал не конкретную страну, а революцию вообще, за этим стоял страстный призыв следовать примеру России, поэт хотел «своим пальцем / показать на восток на Москву».

Революция у Незвала — это яркий праздник, торжество справедливости, высвобождение задавленного человеческого естества. Вместе с тем поэт сознает, что она не может сразу решить все вопросы, сделать всех счастливыми. Остается неразделенная любовь (пятая песня), остаются болезни и смерть (шестая песня). Но позиция поэта совершенно однозначна и в дни праздника, и в дни тяжелых испытаний. На баррикадах революции Волшебник был газетчиком и бойцом:

Оружье мне дайте я встану в строй
Бант мне дайте красный — самый большой

А когда началась разруха, он пошел работать в самые трудные места: в поле, на завод, в больницу. Лицом к лицу столкнувшись со смертью, он понимает, что победить ее можно только трудом и творчеством на благо всех. По существу, это та же философия жизни, тот же гуманистический пафос, который пронизывает стихотворение «Товарищу Нетте, пароходу и человеку» В. Маяковского, «Балладу о глазах кочегара» И. Волькера, который будет потом звучать в замечательных поэмах Незвала «Эдисон» и «Сигнал времени».

«Удивительный волшебник» имеет четко выверенную структуру. В ее основе «магическое» число семь. Свою песню поэт сравнивает в прологе с радугой — в ней семь цветов, поэма состоит из семи песен, в родословной Волшебника названо семь предков, Волшебник семь лет бродит по свету и т. д. Поэму отличает своего рода цикличность: в седьмой, заключительной, песне повторяется начало первой и кратко «называется» содержание песен промежуточных, затем следует эпилог, перекликающийся с прологом. Конечно, «Удивительному волшебнику» еще далеко до «неслыханной простоты» и художественной завершенности зрелого Незвала, но поэма ярко запечатлела неповторимую атмосферу начала 20-х годов — эпохи революционного подъема и невиданного размаха эстетического новаторства — и в то же время как бы предопределила весь последующий путь Незвала, крупнейшего поэта социалистической Чехословакии.

«Удивительный волшебник» до сих пор не переводился на русский язык. Автор публикуемого перевода — ленинградский поэт И. Инов, много лет работающий над творчеством Незвала. Перевод выполнен по последнему прижизненному изданию поэмы, в котором Незвал, не меняя ничего по существу, сделал незначительные сокращения.

Поэму Незвал посвятил своему старшему современнику, чешскому поэту и драматургу Иржи Магену (1882—1939) — человеку прогрессивных воззрений, которого он считал своим учителем.

С. ШЕРЛАИМОВА

Песнь четвертая

Революция

1

Локти отжившей власти подпирает зеленый стол
тысячи на баррикадах Революция на смерть стой

Волшебник разносчиком переодетый
продает на углу газеты
К оружию товарищи — гремит отряд многоголосо
впереди — командир седоволосый

Там и сям шапки торчком торчат
женщины с бидончиками словно торопятся на работу
Все М а н и ф е с т читают Да будет для всех он свят
Бей предателя Вот он

Волшебник глаз оторвать не может от Манифеста
Кроме своих цепей нечего нам терять
Ну-ка парень с дороги Мне ведь тоже надобно место
Победит ли спрашиваешь революция Смеешь еще сомневаться
Говоришь как знать

Оружье мне дайте я встану в строй
Бант мне дайте красный — самый большой
Что-то меня захлестывает чего-то недостает
но «Коммунистический Манифест» — это по мне мое
Дайте ж мне красный бант самый большой
и прощайте прощайте прощайте

Оглянуться народ не успел — уже
двое парней — в плечах косая сажень —
тащат корзину а впереди
газетчик что командир глядит
командует ать-два и выхватывая из корзины банты
отваги задора полн
зовет Товарищи-солдаты вступайте в красный полк

Одному за другим
прицепляет прозревшим солдатам банты
ощетинившиеся к бою штыки
точно искры из труб наземь падают
баррикада ликует Черт возьми в самом деле
потеряли мы только цепи — те что на нас надели

Гомон утих не скоро
а Волшебник опять на углу
вновь торгует газетами что возвещают хором
Д и к т а т у р а п р о л е т а р и а т а
в с е и н и к т о новой жизни основа
Исчез продавец газет не ищите его
новых полубогов нам не надо
а гражданин из него
получится образцовый

2

Шестигранные лица уличных фонарей
счастьем сияют с рассвета
Минувшей ночью как можно скорей
дружно избрали состав Совета
Девушки со своими парнями прогуливаются
роженице помогут прямо на улице
а завтра все начнут работать
кто как умеет и сколько сможет
и — ни господ ни армии ни этих отвратных денег
даже красных бантов о которых мечтали вчера нету сегодня тоже

Что было — сгинет уже поутру
Что есть — дело твоих рук
Что будет — это определили вчера
красные банты на баррикаде

Вместо старых законов два новых вступают в силу
Не убий — не то в сумасшедшем доме жизнь проведешь постыло
и Не брезгуй трудом —
не то тебя жаждою с голодом будут лечить беспощадно и мудро
чтоб изжаждавшись изголодавшись
ты как к причастью к работе припал наутро

Что же сверх былых законов —
это твое естество пусть пребудет оно как есть
Люди встретили утро в полнейшем покое и тишине
а еще накануне была революция

Любая дверь отворится теперь если в нее постучали
рушатся своды подвалов от собственной тьмы и печали
складами стали тюрьмы складами рельсов шпал
кто за решеткой томился снова свободным стал
Оставайся верен своему естеству
но полнее живи смелее
Будут новые беды будут такие мечты
о которых вчера и понятия не имели

3

Плещутся не знамена — солнце плещется и поет
никакие невзгоды и годы солнца не доконали
Прекрасная штука работать без церберов и господ
Волшебник работал в сточном канале
Не хуже конторы зловонный канал
если дела переделавши и переодевшись
ты можешь потом полюбоваться сполна
личиками товарищей девушек
Под землею Волшебник работая наслаждается
наверху изнывает когда прохлаждается
у витрины с аквариумом
так говорит он махонькой рыбке

Рыбка рыбка краснобока
повстречал я повстречал
сестру свою ненароком

Рыбьи очи, рыбьи очи
лишь увижу — сразу я
вспоминаю милую
сероглазую

Мне б хоть месяцем месяцем
по-над речкой плыть над осокой
чтоб опять ее повстречать
ненароком

Все в снегу все в снегу
ну да что им рыбешкам до этого
Рот раскроют и ни гугу
ни ответа
и ни привета вам

Манекены из гипса
тоже на речи скупы
таращит Волшебник глаза
впивается взглядом в губы

Будь она рядом
я бы знал что сказать
но ведь я вспоминаю только —
с манекенами толковать
что толку

Дождь навис навис
в настроение выльется мысль
и прольется печальным дождем настроенье
Когда недругов больше нет
сам с собою вступаешь в боренье

Песнь седьмая

Эпилог

. . . . . .

Я видел строгую женщину
на земле с хрусталем горизонта
тайну ее стихии познал
неукротимой как мрамор барокко
Видел рождение человека

Знал авантюрную молодость — этот
переполненный образами гарем
Видел надежду и веру мужчины
поднявшегося на баррикаду

Слышал таинство поцелуя
в пестром роении бабочек-слов

Видел человека
тонущего в шахте истории

Видел свободного человека
давшего новую форму
старым кристаллам жизни

Видел жизнь в бесконечных ее превращеньях
славил людскую жажду
рваться к неведомым звездам
что разгорались и гасли
за стеклянной витриной ночи

Утро вступало на площадь
Я укладывал возле фонтана сбывшиеся мечты
и читал в широко округленных глазах молочниц
веленье рождавшихся дней
необработанным слитком вставала новь
и к краскам взывала к пылающей кисти
моих смежившихся век пророчивших сон —
завершенье всего что я видел

Я шел пробуждающимися площадями
по городу в центре Европы шагал
и читал во весь голос багрянец плакатов
на всех языках повторявших завет
о дружеском рукопожатье при встрече

И тусклые окна заводов преображались
в свободное содружество сияющих глаз
Рабочие став над вращеньем зубчатых колес
мечту претворяли в звезду небывалой свободы

И я над своею работой стоял как мастеровой
В котле закипает в котле поднимается масло
Но замер манометр
пронзительно вскрикнул гудок
и я уходя в окруженье спецовок железных людей
закончил свою поэму

1922 год

■

ИНОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1930 г.)

Советский поэт, переводчик с чешского и словацкого. Автор сборников стихов «В часе пути...» (1975), «По кромке августа» (1980), документальной повести «Ян Верих» (1971), очерков и статей о литературе и театре.

АННИ ЭРНО

Место в жизни

ПОВЕСТЬ

Перевод с французского Г. ЕРОФЕЕВОЙ

Я позволю себе объяснить: писать — это последнее прибежище после того, как ты предал.

Жан Жене

Я держала экзамены по педагогической практике на диплом преподавателя средней школы в одном из лицеев Лиона в районе Круа-Русс. Лицей новый, в помещениях, отведенных администрации и преподавателям,— зеленые растения, в библиотеке на полу — светло-бежевый палас. Я дожидалась, пока меня позовут провести испытательный урок в присутствии инспектора и двух ассистентов — опытных преподавателей литературы. Какая-то женщина правила письменные работы уверенно, без колебаний. Мне нужно было хорошо провести предстоящий урок, чтобы получить разрешение всю мою жизнь делать то же самое. В старшем классе, у математиков, я объясняла двадцать пять строчек — их надо было пронумеровать — из «Отца Горио» Бальзака. «Вы тянули учеников за уши»,— упрекнул меня позже инспектор в кабинете директора лицея. Он сидел между двумя ассистентами — мужчиной и близорукой женщиной в розовых туфлях. Я — напротив. В течение пятнадцати минут он критиковал меня, хвалил и что-то советовал; я почти не слушала, теряясь в догадках, означают ли его слова, что я принята. Как по команде, все трое с торжественным видом разом встали. Инспектор протянул мне руку. Глядя прямо в лицо, сказал: «Поздравляю вас, мадам». Остальные тоже повторили, пожав мне руку: «Поздравляю», а женщина при этом улыбнулась.

До самой автобусной остановки я продолжала вспоминать об этой сцене со стыдом и бешенством. В тот же вечер написала родителям, что я теперь дипломированный преподаватель. Мать ответила, что они за меня очень рады.

Отец умер ровно через два месяца, день в день. Ему было шестьдесят семь лет, и они с матерью содержали небольшое кафе-лавку в тихом квартале, неподалеку от вокзала в И... (департамент Приморская Сена). Отец собирался через год оставить свое дело. Часто я на несколько секунд теряю представление о том, происходила ли сцена в лионском лицее до или после отцовской кончины, что было раньше — ветреный апрель, когда я ждала автобуса на остановке в Круа-Русс, или удушливый июнь, месяц смерти отца.

© Éditions Gallimard, 1983

АННИ ЭРНО — ANNIE ERNAUX (род. в 1940 г.)

Французская писательница. Автор романов «Пустые шкафы» («Les armoires vides», 1974), «То, что они говорят...» («Ce qu'ils disent ou rien», 1977), «Замерзшая женщина» («La femme gelée», 1981).

Повесть «Место в жизни» («La Place». Paris, Gallimard) вышла в 1983 г. За эту повесть Анни Эрно удостоена премии Ренодо.

Это случилось в воскресенье, вскоре после полудня.

Мать появилась на верху лестницы. Она вытирала глаза салфеткой, которую, вероятно, прихватила с собой, поднимаясь в спальню после обеда. Бесцветным голосом она произнесла: «Все кончено». Я не помню, что произошло в последующие минуты. Вижу только глаза отца, устремленные вдаль, на что-то за моей спиной, и его верхнюю губу, обнажившую десны. Я, кажется, попросила мать закрыть ему глаза. У постели стояли также сестра матери и ее муж. Они предложили свою помощь — обмыть и побрить отца; надо было спешить, пока тело не остыло. Мать считала, что на отца следовало надеть костюм, который он обновил три года назад в день моей свадьбы. Все происходило очень просто, без криков и рыданий, только у матери глаза были красные и не проходила икота. Слова произносили самые обычные, не суетились. Дядя и тетя повторяли, что он «быстро отмучился» и «сильно изменился». Мать разговаривала с отцом, как будто он еще был жив или обрел какую-то особую форму жизни, похожую на жизнь новорожденных. Несколько раз она любовно назвала его: «Бедный мой папочка».

После бритья дядя подтянул тело и приподнял его, чтобы можно было снять рубашку, которую отец носил в последние дни, и сменить ее на чистую. Голова отца упала на обнаженную грудь, всю в мраморных прожилках. В первый раз я увидела отца голым. Мать быстро прикрыла его полами рубашки и с коротким смешком сказала: «Прикрой свой стыд, бедняжка». Когда отец был одет, ему в руки вложили четки. Не помню кто — мать или тетка — произнес: «Так он выглядит лучше», то есть чище, приличнее. Я закрыла ставни и разбудила сына, спавшего после обеда в соседней комнате, сказав ему: «Тише, дедушка лег бай-бай».

Дядя уведомил родственников, которые жили в И..., и они собрались. Поднявшись вместе с матерью и со мной в спальню, они выстаивали несколько минут молча у постели, а потом начинали перешептываться по поводу болезни и внезапной кончины отца. Когда они спустились вниз, мы предложили им выпить чего-нибудь в нашем кафе.

Я не помню, кто был дежурный врач, констатировавший смерть. За несколько часов лицо отца стало неузнаваемым. К вечеру я оказалась одна в его комнате. Луч солнца проникал сквозь ставни и падал на линолеум. Передо мной был уже не мой отец. Все его исхудавшее лицо занимал нос. В темно-синем костюме, слишком просторном для тела, он походил на спящую птицу. Его лицо с широко раскрытыми неподвижными глазами, каким оно было в час его смерти, изменилось до неузнаваемости. Но даже и таким я его никогда больше не увижу.

Мы стали обсуждать, когда и как хоронить отца, где отслужить мессу, кого известить о его смерти, что надеть на похороны. Мне казалось, что все эти приготовления не имеют к отцу никакого отношения. Просто какая-то церемония, на которой он будет отсутствовать по неизвестной причине Мать была очень возбуждена и рассказала мне, что накануне ночью он потянулся поцеловать ее, хотя говорить уже больше не мог. Она добавила: «Знаешь, в молодости он был красивым парнем»

В понедельник появился запах. Я не представляла себе раньше, какой он бывает. Вначале легкий душок, а потом ужасный запах разлагающихся цветов, забытых в вазе с застоявшейся водой.

Мать прекратила торговлю только в день похорон. Иначе потеряла бы покупателей, а позволить себе этого она не могла. Покойный отец лежал наверху, она же внизу подавала посетителям анисовую водку и красное вино. Слезы, молчание, достоинство — так, по мнению благовоспитанных людей, должны вести себя близкие покойного. Моя же мать, как и все соседи, повиновалась таким житейским правилам, с которыми забота о достоинстве ничего общего не имеет. С воскресенья, когда умер отец, до среды, дня похорон, каждый из завсегдатаев кафе, едва усевшись за столик, кратко комментировал случившееся, понизив голос: «Странно, как это он быстро...» или произносил с напускной шутливостью: «Хозяин-то дуба дал!» Они рассказывали о том, что испытали, узнав новость: «Меня просто перевернуло» или: «Даже и сказать не могу, как это на меня подействовало». Им хотелось — из вежливости — показать матери, что не одна она убита горем. Многие вспоминали, как видели отца в последний раз здоровым, стараясь описать в деталях последнюю встречу: где, когда, в какую погоду это было, о чем говорили. Вспоминая так подробно о днях, когда жизнь шла обычным ходом, они подчеркивали, насколько известие о смерти отца не укладывается у них в голове. Опять же из вежливости они просили позволения взглянуть на покойного. Мать, однако, разрешала это не всем. Она отделяла тех, кто испытывал подлинную симпатию, от тех, кого просто разбирало любопытство. Почти все завсегдатаи кафе получили разрешение проститься с отцом. Но жену соседа-подрядчика она не пустила: отец при жизни терпеть не мог и ее, и ее ротик куриной гузкой.

В понедельник прибыли работники похоронного бюро. Лестница, которая вела из кухни наверх в спальни, оказалась слишком узкой для гроба. Тело пришлось вложить в пластмассовый мешок и спускать, вернее, тащить вниз по ступенькам к гробу, установленному посередине кафе, которое на час закрыли. Спускали страшно долго, при этом работники бюро обменивались замечаниями, советуясь, как лучше тащить и разворачивать тело на поворотах.

В подушке, на которой с воскресенья покоилась голова отца, оказалась дыра. Пока тело оставалось в спальне, мы там не прибирали. Одежда отца все еще висела на стуле. Из кармана рабочих брюк, застегнутых на молнию, я вытащила пачку денег — выручку за прошлую среду. Я выбросила лекарства и отнесла одежду в корзину с грязным бельем.

Накануне похорон зажарили кусок телятины для поминального обеда. Было бы неудобно выпроваживать натощак людей, оказавших нам честь прийти на похороны. Вечером приехал мой муж, загорелый, смущенный траурной обстановкой, которая его не касалась. Более чем когда-либо он выглядел здесь чужим. Мы спали на единственной в доме двуспальной кровати — той, в которой умер мой отец.

В церкви много людей из нашей округи: домашние хозяйки, рабочие, освободившиеся на час от работы. Как и следовало ожидать, никто из «высокопоставленных», с которыми отец имел дело при жизни, не потрудился прийти, да и другие торговцы тоже. Отец не входил ни в какие общества, ни в чем никогда не участвовал — просто платил взносы в союз торговцев. На панихиде священник говорил о «честно прожитой трудовой жизни», о «человеке, который никогда никому не причинил вреда».

Начались рукопожатия. По ошибке ризничего, который руководил всей церемонией,— если только он сам не придумал повторного обхода, чтобы казалось, что присутствует больше народу,— к нам снова подходили те же люди, которые уже пожимали нам руки. На этот раз проходили быстро, без выражения соболезнований. На клад-

бище, когда покачивающийся на веревках гроб опускали в могилу, мать разразилась рыданиями, как во время мессы в день моей свадьбы.

Поминальный обед устроили в нашем кафе за составленными вместе столиками. Вначале сидели молча, потом постепенно разговорились. Мой сын, вставший после дневного сна, ходил среди приглашенных, раздавая им цветы или камешки — все, что нашел в саду. Брат отца, сидевший на другом конце стола, наклонился вперед, чтобы увидеть меня, и спросил: «Помнишь, как отец отвозил тебя на велосипеде в школу?» У него был такой же голос, как у отца. К пяти часам все разошлись по домам. Мы молча расставили по местам столики. Мой муж в тот же вечер уехал на поезде домой.

Я осталась еще на несколько дней с матерью, чтобы закончить необходимые формальности, связанные со смертью. Запись в семейную книгу в мэрии, оплата расходов в похоронной конторе, ответы приславшим соболезнования. Новые визитные карточки для матери — госпожа *вдова* А... Д... В голове пустота, никаких мыслей. Несколько раз, когда я шла по улице, всплывало: «Вот я и взрослая» (когда-то давно мать сказала мне: «Вот ты и взрослая девушка»— в связи с началом менструаций).

Мы собрали одежду отца, чтобы раздать ее нуждающимся. В его повседневном пиджаке, висевшем в подвале, я обнаружила бумажник. Там было немного денег, водительские права, а в том отделении, которое закрывалось,— фотография, вложенная в вырезку из газеты. На старой фотографии с зубчатыми краями — группа рабочих, в три ряда — все в кепках, смотрят прямо в объектив. Типичная фотография из книг по истории из серии «иллюстраций» забастовок или Народного фронта. В последнем ряду я разглядела отца с серьезным, почти обеспокоенным лицом. Многие улыбались. В газетной вырезке — результаты (по порядку занятых мест) вступительных экзаменов в женское педагогическое училище. На втором месте была я.

К матери вернулось прежнее спокойствие. Она, как и раньше, обслуживала посетителей. Только лицо у нее осунулось. По утрам, еще до открытия лавочки, она стала ходить на кладбище.

В воскресенье в поезде, возвращаясь домой, я старалась занимать сына, чтобы он вел себя тихо: пассажиры первого класса не любят шума и шаловливых детей. Внезапно с удивлением всплыло: «Я стала совсем буржуазной дамой» и еще: «Теперь уже поздно».

А потом, летом, ожидая своего первого назначения, почувствовала: «Я должна все это объяснить». Я имею в виду — написать об отце, о его жизни и о том расстоянии, которое нас разделяло, когда я была подростком. Расстояние классовое, но какое-то особое, у которого нет названия. Как любовь в разлуке...

Тогда я начала писать роман, в котором отец был главным героем. К середине повествования возникло отвращение к написанному.

Теперь я знаю, что такой роман невозможен. Чтобы рассказать о жизни в нужде, я не вправе ни прибегать к художеству, ни писать что-то «увлекательное» или «трогательное». Я соберу слова, поступки, вспомню вкусы моего отца, знаменательные события в его жизни, все существенные факты его бытия, которое я с ним делила.

Ни поэтических воспоминаний, ни торжествующей иронии. Из-под пера сами собой выходят обыденные фразы, такие же, как некогда в письмах к родителям, в которых я кратко извещала их о новостях.

Мой рассказ начинается за несколько месяцев до наступления двадцатого века в одной деревне района Ко[1], в двадцати пяти километрах от моря. Те, у кого не было земли, нанимались к крупным фер-

[1] Север Нормандии. *(Здесь и далее прим. перев.)*

мерам этого края. Поэтому мой дед работал на одной из ферм извозным. Летом он еще косил сено и убирал урожай. Всю свою жизнь с восьми лет он не знал ничего другого. В субботу вечером приносил жене все заработанные деньги, а она выдавала ему кое-что на воскресные развлечения — пусть сыграет в домино и выпьет стаканчик вина. Он возвращался домой пьяным, мрачнее прежнего. За любой пустяк раздавал детям подзатыльники. Характер у него был тяжелый, никто не отваживался перечить ему. Его жене *доводилось смеяться не часто.* Только озлобленность и поддерживала деда в жизни: она давала ему силу переносить нищету и верить, что он настоящий мужчина. Он приходил в особую ярость, когда видел кого-нибудь из домашних за чтением книги или газеты. У него самого не было времени научиться читать и писать. Но считать он умел.

Я видела своего деда только один раз, в богадельне, где он умер три месяца спустя после нашей встречи. Отец вел меня за руку по огромной палате, пробираясь через два ряда коек к маленькому старичку с красивыми седыми вьющимися волосами. Дед все время смеялся, разглядывая меня с ласковым выражением лица. Отец сунул ему украдкой четвертинку спиртного, которую дед запрятал под одеяло.

Каждый раз, когда мне рассказывали о нем, начинали со слов: «Он не умел ни читать, ни писать», словно без этого нельзя было понять ни его жизни, ни его характера. Моя бабушка, однако же, выучилась читать и писать в школе у монашек. Как все женщины в их деревне, она ткала на дому для какой-то фабрики в Руане, сидя в душной комнате, свет в которую проникал сквозь узкие оконца, чуть шире бойниц. Иначе ткань могла бы выгореть от солнца. Она содержала в чистоте и себя, и свое хозяйство, а это больше всего ценилось в деревне, где соседи пристально следили, хорошо ли выстирано и починено белье, которое сушится на веревке, и точно знали, опорожняется ли ежедневно поганое ведро. И хотя дома были отгорожены друг от друга живой изгородью или валом, ничто не ускользало от взора людей: ни час, когда мужчины возвращались из бистро, ни неделя, когда на ветру должны были развеваться выстиранные марлевые салфетки.

Моя бабушка отличалась даже определенным достоинством: по праздникам она надевала картонный турнюр и не мочилась стоя, не подняв юбки, как это делали удобства ради большинство женщин в деревне. К сорока годам, после рождения пятерых детей, ее начали одолевать мрачные мысли, и она по целым дням не произносила ни слова. Позднее ревматизм поразил у нее руки и ноги. Чтобы вылечиться, она ходила к святому Рикье или Гильому-пустыннику, терла их статуи тряпками, которые прикладывала затем к больным местам. Постепенно она перестала ходить совсем. Приходилось нанимать повозку с лошадью, чтобы возить ее по святым местам.

Жили они в низком доме, крытом соломой, с земляным полом. Пол сбрызгивали водой и подметали — вот и вся уборка. Питались овощами из огорода, яйцами из курятника, маслом и сметаной, которые хозяин ссужал моему деду. За несколько месяцев загодя думали о свадьбах и конфирмациях, по три дня до этого почти не ели, чтобы взять свое за праздничным столом. Как-то в деревне умер, задохнувшись от рвоты, выздоравливавший после скарлатины ребенок — его напичкали кусочками курицы. Летом по воскресеньям ходили на «ассамблеи», где играли в разные игры и танцевали. Однажды мой отец соскользнул с высокого шеста, так и не сумев снять призовую корзину с продуктами. Дед долго злился на него: *«Вот индюк бестолковый!»*

Хлеб непременно крестили, ходили к мессе, причащались на страстной неделе. Религия, так же как и чистоплотность, придавала им достоинство. По воскресеньям они принаряжались, пели «Верую» вме-

сте с богатыми фермерами, бросали монеты на блюдо. Отец ребенком пел в церковном хоре, он любил ходить с кюре причащать умирающих. Все встречные мужчины снимали перед ним шапки.

У детей вечно водились глисты. Чтобы выгнать их, пришивали с внутренней стороны рубашки, у пупка, маленький кисет с чесноком. Зимой затыкали ватой уши. Когда я читаю Пруста или Мориака, мне трудно поверить, что они пишут о времени, когда мой отец был ребенком. Его детство — средневековье.

До школы надо было идти два километра пешком. По понедельникам учитель проверял у детей ногти, белье, волосы — нет ли насекомых. На уроках был строг, за провинность бил железной линейкой по пальцам, но *его уважали.* Некоторые из его учеников по окончании оказывались в числе лучших в кантоне; один или двое даже попали в педагогическое училище. Мой отец часто пропускал занятия из-за сева или уборки: то собирал яблоки, то вязал в снопы сено или солому. Когда он вместе со старшим братом снова приходил в школу, учитель орал: «Ваши родители, видно, хотят, чтобы вы прозябали в нищете, как и они!» Но отец научился читать и писать без ошибок. Ему нравилось учиться. (Тогда говорили «учиться», как говорят «пить» или «есть».) Рисовать — тоже: головы животных. В двенадцать лет он заканчивал начальную школу. Но мой дед забрал его и отвел работать на ту же ферму, где работал сам. Кормить отца больше без заработка не могли. «Об этом даже не задумывались — все поступали так же».

Учебник по чтению у отца назывался: «*Путешествие по Франции двух детей*». В нем встречались такие странные фразы:

Учиться быть всегда довольным своей судьбой (с. 186, 326-е издание).

Самое прекрасное в мире — это милосердие бедняка. (с. 11).

Спаянная любовью семья владеет лучшим из богатств мира (с. 260).

Самое приятное в богатстве то, что оно позволяет облегчать нищету других (с. 130).

И вершина всего — совет детям бедняков:

Деятельный человек не теряет ни минуты времени и в конце дня видит, что каждый час ему что-то принес. Ленивец, наоборот, всегда откладывает дело на потом; он всюду спит или дремлет — в постели, за столом или за разговором; день приходит к концу, а он ничего не сделал, проходят месяцы и годы, а он так и не сдвинулся с места.

Это — единственная книга, о которой мой отец сохранил воспоминание: «Все казалось нам сущей правдой!»

Ему пришлось доить коров в пять часов утра, чистить конюшни, перебинтовывать ноги у лошадей и снова доить коров вечером. За это его кормили, обстирывали, обеспечивали жильем и давали немного денег. Он спал над хлевом на матраце без простыни. Внизу коровы постукивали во сне копытами о землю. Он вспоминал дом своих родителей, который был теперь для него заказан. Иногда у хлева появлялась одна из его сестер, работавшая служанкой: она молча стояла, сжимая в руках узелок. Дед ругался, а она не могла толком объяснить, почему снова сбежала со своего места. В тот же вечер он, распекая ее, отводил обратно к хозяевам.

Мой отец был веселым пареньком, любил игры, с готовностью рассказывал разные истории, учинял всякие проделки. На ферме у него сверстников не оказалось. По воскресеньям они с братом, тоже

скотником, помогали служить мессу. Отец ходил на «ассамблеи», танцевал, встречался со школьными товарищами. *Мы были по-своему счастливы. А как же иначе?*

Он оставался подсобным на ферме до призыва в армию. Рабочих часов никто не считал. Фермеры скупились на еду. Однажды старику скотнику положили кусок мяса, шевелившийся в тарелке — так много в нем было червей. Терпению настал конец. Старик встал и заявил, чтобы с ними больше не поступали как с собаками. Мясо заменили. История «*Броненосца «Потемкина»*» не повторилась.

Коровы утром, коровы вечером, а днем под моросящим осенним дождем засыпка яблок из бочонков в прессы, сбор куриного помета огромными лопатами. Жарко, и хочется пить. И немудреные развлечения: коврижка в день богоявления, альманах Вермо[1], жареные каштаны, «масленица с блинами побудь с нами», шипучий сидр, лягушки, надутые через соломинку. Постоянная смена времен года, простые радости и молчание полей. Мой отец обрабатывал чужую землю, он не ведал ее красоты; величие Матери-Земли и прочие легенды были не для него.

Во время войны четырнадцатого года на фермах остались лишь молодые ребята вроде отца да старики. Их не тронули. Отец следил по карте, повешенной в кухне, за продвижением войск, открыл для себя фривольные журналы, ходил в кино в И... Весь зал читал вслух подписи под кадрами, большинство не успевало прочесть до конца. Он щеголял жаргонными словечками, которые в дни увольнений приносил из армии брат. Женщины в деревне следили каждый месяц за сушившимся бельем односельчанок, чьи мужья ушли на фронт, проверяя до последней тряпочки, все ли на месте.

Война многое изменила. В деревне появилась игра в йо-йо[2], а в кафе вместо сидра распивали теперь вино. На вечеринках девушки обращали все меньше и меньше внимания на пропахших потом деревенских парней.

Армия открыла отцу другой мир. Париж, метро, один из городов в Лотарингии; военная форма всех уравнивала, парни в полку собрались с разных концов страны, казарма была побольше некоторых имений. Вместо проеденных сидром зубов отцу бесплатно поставили искусственную челюсть. Он стал часто фотографироваться.

По возвращении из армии отец не захотел заниматься больше «культурами», так он называл работу на земле; другое — духовное — значение слова «культура» ему было ни к чему.

Иного выбора, кроме работы на заводе, конечно, быть не могло. По окончании войны в И... стали появляться промышленные предприятия. Отец поступил на канатный завод, куда принимали даже подростков с тринадцати лет. Работа чистая, в закрытом помещении. Раздельные туалеты и раздевалки для мужчин и женщин, нормированный рабочий день. Вечером после гудка он был свободен, и от него не разило хлевом. Он выбрался из первого круга ада. В Руане или Гавре нашлась бы работа, за которую платили больше, но пришлось бы бросить семью, пригвожденную к постели мать, тягаться с городскими умниками. После восьми лет, проведенных среди скота и полей, у него не хватило смелости.

На работе он слыл серьезным парнем: ни лентяй, ни пьяница, ни гуляка. Вместо бистро — кино и чарльстон. Начальство к нему благоволило: в профсоюз не входил, политикой не интересовался. Он купил себе велосипед, каждую неделю откладывал деньги.

[1] Популярное приложение к календарю с различными наставлениями, предназначенными для крестьян.

[2] Деревянный диск с дыркой посредине, насаженный на веревку, прикрепленную к двум палочкам.

Моя мать, вероятно, оценила его достоинства, когда встретилась с ним на канатной фабрике, куда поступила, бросив работу на маргариновом заводе. Отец — высокий брюнет с голубыми глазами — держался очень прямо и немного «мнил о себе». «Мой муж никогда не был просто рабочим».

Мать рано потеряла своего отца. Бабушка, чтобы вырастить последних из своих шестерых детей, ткала на дому, стирала и гладила на чужих. По воскресеньям мать с сестрами позволяли себе лакомство — кулек крошек от пирожных. Отец смог встречаться с матерью не сразу; бабушка не хотела, чтобы у нее забирали дочерей слишком рано: с каждой дочерью уходила из дома изрядная часть заработка.

Сестры моего отца, работавшие служанками в буржуазных домах, смотрели на мать свысока. Фабричных девушек считали неряхами и гуленами. В деревне не нравились манеры матери. Ей хотелось подражать моде по журналам; она одна из первых остригла волосы, носила короткие платья, красила ресницы и ногти. Громко смеялась. На самом же деле она никогда не позволяла парням лапать себя, по воскресеньям ходила к мессе и собственноручно сделала мережку на простынях и вышила свое белье. Она была спорой на работу и к себе взыскательной. Одно из ее любимых выражений: «Я не хуже других».

На свадебной фотографии у моей матери платье не закрывает и колен. Она пристально глядит в аппарат из-под вуали, которая прикрывает ее лоб и спускается до глаз. Она похожа на Сару Бернар. Отец стоит рядом с ее стулом. У него небольшие усы и стоячий, сильно накрахмаленный воротничок. Ни он, ни она не улыбаются.

Мать всегда стыдилась любви. Они не допускали ни ласки, ни нежности друг с другом. При мне отец целовал мать, быстро чмокнув ее, как по обязанности, в щеку. Он частенько говорил ей вполне обычные на вид вещи, глядя на нее в упор; она опускала глаза и сдерживала смешок. Когда я выросла, то поняла, что он намекал на их интимные отношения. Он частенько напевал *«Расскажите мне о любви»*, мать же потрясающе исполняла на семейных торжествах романс *«Возьми меня, люби меня»*.

Он уяснил себе главное условие, чтобы не впасть в бедность, как его родители,— *не забываться*, имея дело с женщиной.

Они сняли квартиру в И..., в одном из домов на проезжей улице, обратной стороной выходившем на общий двор. Две комнаты внизу и две — на втором этаже. Осуществилась заветная мечта матери о спальне на втором этаже. На отцовские сбережения они приобрели все необходимое: столовый гарнитур, для спальни — мебель с зеркальным шкафом. Родилась девочка, и мать оставила работу. Но дома она скучала. Отец нашел себе место у кровельщика, который лучше платил, чем на канатной фабрике.

В тот день, когда отца принесли домой без памяти — он свалился со стропил, которые чинил, но отделался всего лишь сильным сотрясением мозга,— у матери возникла идея приобрести лавочку. Они принялись экономить, нажимая на хлеб и колбасу. Из всех возможных вариантов им подходила лишь лавка, не требовавшая вложения крупных средств и особого умения вести дело — просто закупка и перепродажа товаров. Лавка, которую продавали бы недорого из-за того, что на ней много не заработаешь. По воскресеньям они ездили на велосипеде смотреть небольшие бистро в городе или галантерейно-бакалейные лавочки в деревне. Наводили справки, нет ли поблизости конкурентов, боясь, что их обведут вокруг пальца, что они все потеряют и им придется снова *вернуться на завод*.

Л... в тридцати километрах от Гавра. Зимой здесь с утра до вечера стоят туманы, особенно в нижней части города, вдоль реки — в До-

лине. Это рабочее гетто, построенное вокруг текстильной фабрики — одной из самых крупных в районе,— принадлежавшей вплоть до пятидесятых годов семье Дежанте, позже фабрику купил Буссак. Закончив школу, девушки здесь становились ткачихами, затем приносили своих детей к шести часам утра в ясли. На той же фабрике работали и три четверти всех мужчин. В самой низине — небольшое кафе, совмещенное с бакалейной лавочкой, единственное в Долине. Потолок нависал над головой так, что до него можно было дотянуться рукой. Комнаты темны настолько, что даже в полдень зажигали электричество; крошечный дворик с уборной, из которой нечистоты спускали прямо в реку. Родители понимали убожество обстановки, но *нужно же было как-то жить.*

Они купили заведение в кредит.

Поначалу чувствовали себя как в раю. Полки, забитые провизией и напитками, ящики макаронных изделий, пачки печенья. Их поражала возможность зарабатывать деньги так просто, без особых физических усилий: заказать товары, расставить по полкам, взвесить, выписать счет — спасибо, пожалуйста. В первые дни на звук дверного колокольчика оба стремглав летели в лавку, без конца повторяя обычный вопрос: «Чего еще?» Забавлялись, когда их называли «хозяин» или «хозяйка».

Сомнения наступили тогда, когда одна из покупательниц, сложив покупки в сумку, произнесла тихим голосом: «У меня туговато сейчас с деньгами, могу ли я заплатить в субботу?» Потом вторая, третья. Записывать долги или возвращаться на завод? Первое показалось им наименьшим из двух зол.

Чтобы как-то сводить концы с концами, главное — забыть о желаниях. Никакой выпивки или сладкого, кроме воскресенья. Натянутые отношения с братьями и сестрами, которых поначалу щедро угощали, чтобы щегольнуть своими возможностями. Постоянный страх *проесть сбережения, вложенные в лавку.*

В то время, чаще всего зимой, я прибегала домой из школы запыхавшаяся, голодная. У нас нигде не горел свет. Родители были на кухне, отец сидел за столом и смотрел в окно, мать стояла у плиты. Меня давила гнетущая тишина. Иногда он или она произносили: «Придется продать». Садиться за уроки не стоило. Покупатели перешли в другие магазины: кто в Кооп, кто в Фамилистер или еще куда-то. Человек, невзначай открывавший дверь лавки, казался злой насмешкой судьбы. Его принимали как незваного гостя, и он расплачивался за всех тех, кто больше не ходил в лавку. Люди нас покидали.

Кафе — бакалейная лавка приносила дохода не больше зарплаты рабочего. Отцу пришлось поступить на стройку в низовье Сены. Надев высокие сапоги, он работал в воде. Мать торговала днем одна.

Полуторговец, полурабочий — как бы на двух противоположных берегах,— отец был обречен на одиночество и недоверие. Он не вступал в профсоюз. Боялся фашистов, маршировавших по улицам Л..., и красных, которые отнимут у него лавку. Свои мысли он держал про себя. *В торговле иначе нельзя.*

Родители постепенно выбрались из беды; находясь среди бедноты, они были не намного богаче сами. Торговля в кредит связывала их с самыми необеспеченными многодетными рабочими семьями. Они жили за счет нуждающихся, но, понимая их, редко отказывали «записать в долг». И все же чувствовали себя *вправе преподать урок тем,* кто жил непредусмотрительно, или пригрозить ребенку, которого мать в конце недели специально посылала за покупками без денег: «Скажи своей матери, чтобы она постаралась заплатить, иначе я ей

больше отпускать не буду». Они уже не принадлежали здесь к самым униженным.

Мать в своем белом халате была полноправной хозяйкой лавки. Отец обслуживал посетителей в рабочей спецовке. Мать не говорила, как другие женщины: «Мой муж мне задаст, если я куплю то-то или пойду туда-то». Она *воевала* с ним, чтобы он ходил к мессе, которую перестал посещать со времени службы в армии, чтобы избавился от *дурных манер* (крестьянина или рабочего). Он предоставил ей самой заниматься заказами и расчетами. Она была из тех женщин, которые могли бывать всюду, то есть легко перешагивать через социальные барьеры. Он гордился ею, но и смеялся над ней, когда она заявляла: «Я испортила воздух».

Он стал работать на нефтеочистительном заводе фирмы «Стандард ойл» в устье Сены. Работал посменно. Днем поспать не удавалось из-за посетителей кафе. Он опухал. Запах нефти преследовал его неотступно. Он был пропитан им настолько, что перестал есть. Но зарабатывал хорошо, и будущее кое-что сулило. Рабочим обещали построить распрекрасный городок — квартиры с ванными комнатами и теплыми уборными, собственные садики.

В Долине осенние туманы держались весь день. Во время сильных дождей река затапливала дом. Чтобы отделаться от водяных крыс, отец купил короткошерстную собаку, с размаху перегрызавшую крысам хребет.

Жили люди и хуже нашего.

1936 год[1]. От него остались воспоминания как о мечте, удивление, что есть власть, о возможности которой он не подозревал, и покорная уверенность в том, что ее не удержать. Двери кафе-бакалеи не закрывались. Отец проводил свои оплачиваемые отпуска там, обслуживая посетителей. Без конца заглядывали родственники пропустить по стаканчику. Как же рады были родители проявить неограниченную щедрость перед свояком-жестянщиком или железнодорожником. Те же за глаза поносили их, как богатеев.

Отец не пил. Он старался *помнить о своем месте*. Выглядеть больше торговцем, чем рабочим. На нефтеочистительном заводе его назначили мастером.

Я пишу медленно. Когда я стараюсь выявить основную канву жизни в массе фактов и событий, мне кажется, что от меня ускользают особенности характера моего отца. Общие контуры заслоняют все частное, мысль течет сама по себе. Если же, наоборот, я про себя перебираю образы прошлого и вижу отца таким, каким он был: его смех, его походку, вот он ведет меня за руку на ярмарку, и я пугаюсь карусели,— тогда все особенности его положения, связывающие его с другими, утрачивают значение. И каждый раз я с трудом выбираюсь из западни слишком личного восприятия.

Конечно, никакой радости писать так, придерживаясь по возможности точно слов и фраз, которые я все еще слышу, выделяя их иногда курсивом. Совсем не для того, чтобы подчеркнуть читателю их двойной смысл и позволить ему насладиться чувством сообщничества, которое я отвергаю в любой его форме — ностальгии, патетики, иронии. Нет, просто эти слова и фразы передают пределы возможностей и краски того мира, в котором жил мой отец, в котором жила я сама. Каждое слово там всегда имело только один смысл.

Однажды девочка пришла из школы с больным горлом. Температура держалась высокой — оказался дифтерит. Как и другим детям в Долине, ей не делали прививок. Отец был на заводе, когда она умер-

[1] Год, когда партии Народного фронта одержали победу на парламентских выборах.

ла. Он вернулся, и его отчаянные крики долетали до другого конца улицы. Несколько недель длилось полное оцепенение, его сменили острые приступы тоски: он часами молча сидел на своем месте за столом, глядя в окно. Убивался из-за каждого пустяка. Мать рассказывала, вытирая глаза тряпицей, которую она вытаскивала из кармана халата: «Она умерла в семь лет, как маленькая святая».

Фотография отца, где он снят в небольшом дворике на берегу реки. Белая рубашка с закатанными рукавами, брюки явно из фланели, плечи опущены, руки слегка согнуты. Вид недовольный — его сфотографировали неожиданно, очевидно до того, как он принял подобающую позу. Ему сорок лет. Никаких следов перенесенного горя или надежд на будущее. Лишь определенные признаки возраста: небольшой животик, поредевшие на висках черные волосы и слегка заметные приметы социального положения: отставленные от туловища руки, вдали уборная и прачечная, на фоне которых не снялся бы ни один буржуа.

В 1939 году его не призвали в армию, он был уже слишком стар. Нефтеочистительный завод сожгли немцы, и отец на своем велосипеде влился в общий поток беженцев; для матери же нашлось место в машине — она была на шестом месяце беременности. В Понт-Одмере отца ранило осколками снаряда в лицо, и ему оказали помощь в единственной аптеке, оказавшейся открытой. Бомбардировки не прекращались. На ступеньках собора в Лизьё[1], до черноты забитых беженцами — как и эспланада перед собором,— он обнаружил тещу и золовок с детьми и узлами. Они верили, что там будут в безопасности. Когда же до города добрались немцы, отец вернулся в Л... Бакалейная лавочка была до нитки разграблена теми, кто не смог бежать. Затем вернулась мать, и через месяц родилась я. Когда мы в школе не понимали задачи, нас называли «дети войны».

Вплоть до середины пятидесятых годов на семейных празднествах по случаю конфирмации или сочельника все разом, перебивая друг друга, рассказывали о событиях того времени, без конца вспоминая о пережитом страхе, холоде и голоде зимой 1942 года. *А жить все равно надо было.* Каждую неделю в тележке, прицепленной к велосипеду, отец привозил со склада, что был за тридцать километров от Л..., товары, которые оптовики прекратили нам поставлять. Он ездил за продуктами и под непрерывными бомбежками этой части Нормандии в 1944 году, выпрашивая дополнительное продовольствие для стариков и многодетных семей — всех тех, кому был недоступен черный рынок. В Долине его считали героем, обеспечивающим пропитание. Иного выбора не было, отцом двигала необходимость. Впоследствии у него сохранилось убеждение, что он сыграл свою роль и прожил те годы по-настоящему.

По воскресеньям, закрыв в полдень лавку, родители гуляли в лесу, устраивали пикники с лепешками, испеченными без яиц. Отец носил меня на руках, пел или насвистывал. Когда начиналась тревога, мы вместе с собакой прятались под бильярд в кафе. От всего пережитого осталось чувство — что ж, «такова судьба». Во время Освобождения отец научил меня петь «Марсельезу», рифмуя «тиранов» со «стадом баранов». Как и все люди вокруг, он был очень весел. Когда пролетал самолет, брал меня за руку и выводил на улицу посмотреть на птичку в небе. Война кончилась.

В 1945 году, охваченный общим чувством надежды на будущее, отец решил покинуть Долину. Я часто болела, врач хотел отправить меня в санаторий. Родители продали лавку, решив вернуться в И...,

[1] В монастыре кармелиток в городе Лизьё (супрефектура Кальвадос) находятся останки сестры Терезы, причисленной католической церковью к лику святых.

где ветреный климат и отсутствие реки казались им подходящими для здоровья. Грузовик с мебелью, в котором сидели и мы, прибыл в И... в разгар октябрьской ярмарки. Город немцы сожгли, над руинами высились бараки и карусель. Три месяца родители жили в двух комнатушках с земляным полом, без электричества, которые им уступил кто-то из родственников. Торгового заведения, доступного по их средствам, не продавалось. Отец нанялся в городской управе засыпать воронки от бомб. По вечерам, держась за перекладину для тряпок — принадлежность старых плит, мать говорила: «Ну и дожили!» Отец ничего не отвечал. После обеда мать водила меня гулять по всему городу. Разрушен был только центр. Магазины обосновались в частных домах. Одно из воспоминаний о лишениях тех дней: однажды вечером в небольшом окошке, единственно освещенном на всей улице, я вижу поблескивающие целлофановые мешочки с овальными розовыми конфетами, в сахарной пудре. Но купить их нельзя: нужны талоны.

Родители нашли продававшееся кафе, совмещенное с бакалейной лавкой и торговлей дровами и углем, в отдаленном от центра квартале на полпути между вокзалом и богадельней. Моя мать девочкой ходила туда за покупками. Крестьянский дом с пристройкой из красного кирпича с одной стороны, большой двор, сад и полдюжины сараев для товара — с другой. Внизу продовольственная лавка, соединенная с кафе крохотной комнатой, откуда вела лестница в спальни и на чердак. Хотя комнатку превратили в кухню, покупатели по-прежнему пользовались ею, проходя из лавки в кафе. На ступенях лестницы, у самых спален, хранились запасы продуктов, портящихся от сырости: кофе и сахар. Внизу не было ни одной жилой комнаты. Уборная находилась во дворе. Наконец-то у нас был *свежий воздух*.

С этой поры мой отец перестал быть рабочим.

Поблизости от нашего кафе имелось несколько других, но продовольственной лавки не было. Еще долго центр города оставался в руинах, лучшие бакалейные магазины довоенных лет временно разместились в желтых бараках. Нам никто не мог *причинить зла*. (Это выражение, как и многие другие, неотделимо от моего детства, и лишь усилием воли мне удается лишить его значения угрозы, которое содержалось в нем в те дни.) Население квартала состояло не только из рабочих, как в Л...; здесь жили ремесленники, рабочие газового и других небольших заводов, пенсионеры из «материально необеспеченных». Люди тут держались на большом расстоянии друг от друга. С отдельными домиками из песчаника, огороженными решеткой, соседствовали одноэтажные жилые дома, сгрудившиеся по пять-шесть вместе, с общим двором. Вокруг — множество огородов.

Это было кафе завсегдатаев, тех, кто регулярно выпивал до или после работы, чье место за столиком считалось священным: строительные рабочие и несколько клиентов, которые *по своему положению* могли бы выбрать место и получше,— отставной офицер флота, инспектор по социальному обеспечению — значит, люди *не гордые* По воскресным дням посетители бывали иные: к одиннадцати часам заходили выпить чего-нибудь перед обедом целыми семьями; детям заказывали гранатовый сироп. После обеда сюда стекались старики из богадельни, отпущенные до шести часов вечера, веселые, шумные, затевавшие песни. Иногда, после изрядной выпивки, кое-кого из них приходилось укладывать проспаться в одном из сараев во дворе, чтобы позже в приличном виде отправить к монашкам в богадельню. Кафе по воскресеньям заменяло им семью. И отец сознавал, что выполняет нужную социальную роль, предоставляя возможность повеселиться и отдохнуть на свободе всем тем, которые, по его выражению,

«не всегда были такими», но не умел объяснить толково, по какой причине они такими стали. Те же, кто никогда не переступал порог нашего кафе, конечно, считали его кабаком. По окончании работы на соседней фабрике нижнего белья сюда заходили женщины отметить чей-нибудь день рождения, свадьбу или отъезд. Они покупали в лавке бисквитное печенье, которое мокали в шипучее вино, и дружно хохотали, корчась от смеха.

Когда пишешь, словно скользишь по грани между попыткой оправдать ту жизнь, что считают убогой, и заклеймить отверженность, на которую она обрекает. Ведь это была наша жизнь, и мы даже были по-своему счастливы, хотя она и создавала унизительный барьер между нами и другими (сознание того, что у нас «недостаточно прилично»); я хочу сказать, что счастье и отверженность существовали бок о бок. Создавалось впечатление — пожалуй приятное — легкой качки от одного к другому.

Отцу около пятидесяти, он еще в расцвете сил, держит голову прямо, вид озабоченный, словно боится, что снимок не получится; на нем темные брюки в тон светлому пиджаку, рубашка, галстук. Снимок сделан в воскресенье, в рабочие дни он носил спецовку. Да и вообще мы фотографировались по воскресеньям — тогда и времени больше, и одеты лучше обычного. Рядом с ним я — в платье с воланами, руки на руле моего первого велосипеда, одна нога — на земле. У отца одна рука опущена, другая — на поясе. За ним — открытая дверь кафе, цветы на подоконнике, под окном — лицензия на розничную продажу напитков. Он фотографировался со всем тем, что имел и чем гордился: лавка, велосипед, позднее машина-малолитражка, на крышу которой он положил руку, и от этого его пиджак сильно задрался. Ни на одном из снимков он не смеется.

Очевидное благополучие по сравнению с годами молодости, со сменной работой на нефтеочистительном заводе и крысами в Долине.

У нас было все, *что нужно*, то есть мы ели досыта (доказательство тому — покупали мясо у мясника четыре раза в неделю), на кухне и в кафе — только в этих комнатах мы и жили — тепло. Две смены одежды; одна — на каждый день, другая — по воскресеньям, когда первая снашивалась, воскресная переходила в повседневную. У меня было *два* школьных халата. *Девочка не нуждается ни в чем.* В интернате никто не мог сказать, что я *хуже других.* У меня было столько же кукол, резинок, точилок для карандашей, сколько у дочек фермеров или аптекаря, теплые зимние ботинки, четки и католический требник с вечерними молитвами.

Родители сумели украсить дом, уничтожив все, что напоминало старину: наружные балки, печь, деревянные столы и стулья с соломенными сиденьями. Обои в цветочек, крашеная сверкающая стойка, столы и столики с покрытием под мрамор — кафе стало чистеньким и веселым. В спальнях на паркет настелили линолеум в крупную желто-коричневую клетку. Единственным контрастом долгое время оставался черно-белый деревянный фахверковый фасад, отштукатурить его целиком родителям оказалось не по средствам. Как-то проходя мимо, одна из моих учительниц сказала, что наш дом красив — настоящий нормандский дом. Отец счел, что она сказала это из вежливости. Все, кто восхищался той стариной, которая у нас была, как, например, старая водонапорная колонка или нормандский фахверковый дом, втайне желают, чтобы мы не завели всего того современного, что у них самих уже есть: водопровода с раковиной и белого домика.

Он взял ссуду, чтобы стать владельцем этих стен и земельного участка. В их семье раньше никто никогда ничем не владел.

Под видимостью счастья — натужные усилия поддержать благополучие, достигнутое из последних сил. *У меня не четыре руки. Ни минуты свободной, некогда сбегать в одно место. Грипп я переношу на ногах.* И так далее. Вечная песня.

Как описать тот мир, где все *дорого стоит?* Как-то октябрьским утром — в воздухе запах свежевыстиранного белья, в голове звучит недавно услышанная по радио песенка. И вдруг я порвала платье, зацепившись карманом за руль велосипеда. Целая драма, крики, весь день испорчен. «Эта девчонка *не знает счета* деньгам!»

Вынужденный культ вещей. И за словом каждого, и моим в том числе, усматривается зависть или сравнение с другими. Если я говорила: «У нас есть девочка, которая побывала в замках на Луаре», то тут же сердито в ответ: «Успеешь еще туда съездить. Будь довольна тем, что есть». В чем-то постоянно ощущалась нехватка.

Но при этом они чего-то желали, неизвестно чего, ибо, в сущности, они не знали, что красиво и что должно нравиться. Отец всегда полагался на вкус маляра или плотника при выборе цвета или формы: *так делают все.* Родители не имели понятия о том, что можно окружить себя вещами, которые постепенно подбираешь сам. В их спальне никаких украшений, кроме фотографий в рамках, салфеточек, вышитых ко Дню матери, а на камине — большой детский бюст из керамики, который торговец мебелью дал в придачу при покупке углового дивана.

Постоянный припев — *выше собственной головы не прыгнешь.*

Страх оказаться *не на своем месте,* страх испытать стыд. Однажды отец сел по ошибке в вагон первого класса вместо второго. Контролер заставил его уплатить разницу. Другое воспоминание о пережитом стыде: у нотариуса ему потребовалось впервые подписать: «прочитано и дано согласие», он не знал, как написать, и написал «со гласие». Неловкость, навязчивая мысль об этой ошибке по пути домой. Страх, что его осудят.

В кинокомедиях того времени часто высмеивали простаков из крестьян, которые, попадая в город или в светские круги, делают все не так (роли Бурвиля). Зрители смеялись до слез над глупостями, которые они изрекали, или над оплошностями, которые совершали, оплошностями, которые, в сущности, боялись совершить сами. Однажды я прочитала, как Бекассина[1], обучаясь шитью, должна была вышить на одном нагруднике птицу, а на других idem[2], она и вышила гладью «idem». Я не была уверена, что не сделала бы *то же самое.*

В присутствии лиц, которых отец считал важными, его сковывала робость, и он никогда не задавал никаких вопросов. Короче говоря, вел себя «с умом». Это означало — чувствовать наше униженное положение, но по мере возможности не показывать этого открыто. Он мог целый вечер расспрашивать нас о том, что подразумевала директриса школы, говоря: «Для этой роли в спектакле ваша дочь *наденет городской костюм*». Стыдился не знать того, что мы обязательно бы знали, если бы не были теми, кем были, то есть нижестоящими.

Навязчивая мысль: *«Что о нас подумают?»* (соседи, покупатели, все на свете).

Правило: постоянно оберегать себя от критических взглядов других людей, проявляя вежливость, не высказывая собственного мнения, чутко улавливая настроения, которые могут вас задеть. Отец никогда не осмеливался взглянуть на овощи, которые выкапывал

[1] Персонаж из детских рассказов — глупенькая, незадачливая девочка.
[2] То же самое *(лат.).*

владелец огорода, если только тот не приглашал его сам словами, жестом или улыбкой. Никогда никого не посещал, даже больных в больнице, если его не просили об этом. Не задавал никаких вопросов, в которых звучало бы любопытство или зависть, что поставило бы собеседника в более выгодное положение перед нами. Недопустимая фраза: «Сколько вы за это заплатили?»

Я теперь часто повторяю «мы», потому что долгое время думала так же, и не знаю, когда перестала это делать.

Мой дед и бабка говорили исключительно на местном диалекте. Есть люди, которых восхищает «живописность» диалекта и народного говора. Так, Пруст с восхищением отмечал неправильности и архаизмы в речи Франсуазы. Он воспринимал их чисто эстетически, ведь Франсуаза была его служанкой, а не матерью. Он никогда не испытывал, как неожиданно для самого себя срываются с языка такие выражения.

Для отца местный говор был чем-то устаревшим и безобразным и свидетельствовал о том, что мы из низших слоев. Он гордился, что сумел в какой-то мере от него избавиться; если даже его французский язык хромал, он все же оставался французским. На народных гуляньях в И... крепкие на словцо шутники, вырядившиеся в нормандские костюмы, разыгрывали на здешнем диалекте сценки, и публика гоготала. Местная газета, чтобы повеселить читателей, печатала хронику на нормандском диалекте. Когда врач или кто-либо другой из *высокопоставленных* вставлял в разговор какое-нибудь грубое выражение вроде: «Ее распирает от здоровья» вместо «Она чувствует себя хорошо», отец с наслаждением повторял матери выражение доктора, радуясь тому, что такие приличные люди имеют нечто общее с нами, опускаются до нас. Он был уверен, что выражение сорвалось у доктора с языка. Ему всегда казалось, что говорить «правильно» без усилий невозможно. И лекарю и кюре приходится напрягаться, следить за собой и лишь у себя дома допускать в своей речи что угодно.

Любитель поболтать в кафе или с родней, отец молчал в присутствии людей, которые говорили правильно, или, прервав фразу посредине, произносил: «Не так ли?» или просто «нет», жестом руки побуждая собеседника понять или продолжить его мысль. Говорил всегда осторожно, с невыразимой боязнью произнести слово не так, что произвело бы столь же плохое впечатление, как непристойный звук.

Но в то же время он ненавидел высокопарные речи или модные словечки, которые «ничего не выражают». Одно время все вокруг говорили по любому поводу «точно нет», и он не понимал, как можно употреблять два противоположных по смыслу слова. В отличие от матери, которая стремилась показать свою осведомленность и отваживалась произносить с легкой неуверенностью то, что она слышала или читала, он отказывался употреблять несвойственные ему выражения.

Когда я ребенком пыталась объясниться на безупречно правильном языке, мне казалось, что я бросаюсь в пропасть.

Одним из ужасов, мерещившихся в моем воображении,— иметь отцом учителя, который заставлял бы меня говорить все время правильно, четко произнося слова. Я говорила словно с набитым ртом.

Поскольку учительница в школе исправляла мою речь, мне захотелось исправить речь отца, я заявила ему, что выражения «приложиться» или «одиннадцать без четверти часа» *не существуют*. Его охватил приступ ярости. В другой раз я разревелась: «Ну как же вы хотите, чтобы мне в школе не делали замечаний, если вы все время говорите неправильно!» Отец был расстроен. Как я помню, поводы для наших ссор и мучительных размолвок значительно чаще были связаны с речью, чем с деньгами.

Он был веселым человеком.

Любил побалагурить со смешливыми покупательницами. Отпустить непристойность, скрытую в обычных словах. Грубую шутку. Иронизировать не умел. Слушал по радио выступления шансонье, увеселительные передачи. Всегда с удовольствием водил меня в парк, на *глупые* фильмы, смотреть фейерверки. На ярмарках мы катались в поездах с привидениями, на «русских» горках, ходили поглазеть на самую толстую в мире женщину или лилипута.

Он никогда не бывал в музеях, но любовался красивым садом с цветущими деревьями и ульями, заглядывался на статных девушек. Ему нравились огромные постройки, крупные современные сооружения (Танкарвильский мост[1]). Он любил цирковую музыку, поездки в машине за город; любуясь полями и буковыми рощами под звуки циркового оркестра, он выглядел счастливым. Но чувства, которые вызывает музыка или красивые пейзажи, никогда не обсуждались. Когда я стала бывать в домах мелкой буржуазии в И..., меня прежде всего спрашивали о моих вкусах: нравится ли мне джаз или классическая музыка, Тати или Рене Клэр, и я сразу же поняла, что я попала в другой мир.

Однажды летом он отвез меня на три дня к родственникам на берег моря. Он расхаживал в сандалиях на босу ногу, останавливался у входа в доты, пил пиво на террасе кафе, заказывал мне лимонад. По просьбе моей тетушки зарезал курицу, зажав ее между колен и вонзив ей в глотку ножницы; густая кровь стекала на пол подвала. Вся родня долго сидела за столом после обеда, вспоминая войну, родителей, передавая друг другу фотографии над пустыми чашками. *«Умереть еще успеем, а пока — вперед!»*

Наверное, в глубине души таилось, несмотря ни на что, стремление взять свое. Он придумывал занятия, которые отвлекали его от торговли. Выращивал кур и кроликов, строил подсобные помещения, гараж. По его прихоти расположение построек во дворе часто менялось: уборная и курятник три раза переносились с места на место. Он постоянно испытывал желание что-то разрушать и строить заново.

Моя мать говорила: «Что поделать — он ведь человек деревенский!»

Он распознавал птиц по голосам и каждый вечер смотрел на небо, чтобы предугадать, какая будет погода: если оно красное — холодная и сухая, если луна «в воде», то есть погружена в облака,— дождливая и ветреная. К вечеру неизменно спешил в огород, который всегда был в полном порядке. Неполотый огород с заросшими грядками считал признаком распущенности, таким же, как не следить за собственной чистотой или крепко напиваться. Боялся, как бы не пропустить время, когда надо сажать те или иные овощи, беспокоился, что подумают о нем другие. Иногда он прощал отъявленным пьяницам их страсть к вину, если они между попойками хорошо обрабатывали свой огород. Когда у отца не удавался луп-порей или что-то другое, он страшно расстраивался. По вечерам опорожнял ведро с помоями в канаву в конце огорода и приходил в ярость, если обнаруживал в ведре старые чулки или шариковые ручки, которые я бросала туда, поленившись дойти до мусорного бака.

За едой он пользовался только своим карманным ножом. Нарезал хлеб мелкими кубиками, раскладывал их около тарелки и накалывал на них ножом кусочки сыра или колбасы или же подбирал этими кубиками с тарелки соус. Когда я оставляла в тарелке еду, он мрачнел. Его тарелки можно было не мыть. Закончив есть, вытирал свой нож о спецовку. Если ел селедку, то чистил нож о землю, чтобы

[1] Мост в устье Сены, неподалеку от Гавра.

отбить запах. До конца пятидесятых годов он ел по утрам суп, потом перешел на кофе с молоком с такой неохотой, точно приносил себя в жертву женской прихоти. Он пил кофе с ложки, втягивая его в себя, как суп. В пять часов он перекусывал — яйца, редис, отварной картофель, а вечером ел только суп. Майонез, сложные соусы, пирожные были ему не по нутру.

Он спал всегда в рубашке и нательном белье. Бреясь три раза в неделю в кухне перед раковиной, над которой висело зеркало, он расстегивал воротничок, и я видела пониже шеи совсем белую кожу. После войны люди стали заводить у себя ванные комнаты — признак богатства, и моя мать оборудовала наверху небольшую умывальную, но отец никогда ею не пользовался, продолжая мыться в кухне.

Зимой он с удовольствием сморкался и сплевывал мокроту во дворе.

Этот портрет я могла бы описать давно в своем школьном сочинении, если бы нам не запрещалось писать о том, что было мне привычно. Как-то в классе одна из девочек чихнула так, что подлетела тетрадь. Учительница, повернувшись от доски, произнесла: «Прекрасно, нечего сказать!»

В И... среди торговцев и мелких служащих никто не хотел походить на только что «выбравшегося из деревни». Походить на крестьянина означало быть неразвитым, отставать от всего современного — в одежде, речи, поведении. Большой популярностью пользовался такой анекдот: крестьянин, приехавший к сыну в город, садится перед работающей стиральной машиной и, глядя задумчиво в стеклянное окошечко, за которым крутится белье, говорит своей невестке: «Что бы там ни говорили, но телевидение еще не того...»

Однако в И... не слишком приглядывались к манерам крупных фермеров, которые приезжали на рынок в своих все более современных и роскошных машинах. Самым позорным считалось иметь крестьянские манеры, не будучи крестьянином.

Отец и мать говорили между собой постоянно раздраженным тоном, даже если проявляли заботу друг о друге. Слова: «Надень же свой шарф!» или: «Да посиди же ты наконец немного!»— звучали так, как если бы они обменивались ругательствами. Они пререкались без конца, выясняя, кто потерял счет от поставщика прохладительных напитков или забыл потушить свет в подвале. Мать кричала громче, чем отец, так как ей все *действовало на нервы:* доставка с опозданием товаров, слишком горячая сушилка у парикмахера, месячные или посетители. Иногда она говорила: «Ты не создан быть торговцем» (следовало понимать — тебе надо было остаться рабочим). Выходя из себя, в ответ на оскорбления кричала: «Падаль! Лучше бы я не вытаскивала тебя из твоей дыры!» Не проходило недели без обмена выражениями: «Ничтожество! — Психопатка!— Жалкое убожество! — Старая шлюха!» И так далее в том же духе. Оба не придавали перебранкам особого значения.

Мы не умели разговаривать между собой без грубостей. Вежливый тон предназначался лишь посторонним. Привычка настолько укоренилась, что, пытаясь выражаться прилично в присутствии других, отец, дабы запретить мне лазать по камням, снова сбивался на резкий тон, нормандский говор и бранные выражения, разрушая тем самым то хорошее впечатление, которое хотел произвести. Он не научился выговаривать мне благопристойно, да и я не поверила бы, что меня ожидает пощечина, если бы это было сказано спокойно.

Вежливое обращение между родителями и детьми долгое время представляло для меня нечто неведомое. Потребовались годы, чтобы я осознала смысл преувеличенной любезности, которую хорошо воспитанные люди вкладывают в обычное приветствие. Мне было стыдно — я не заслуживаю такого отношения, я даже воображала, что окружающие питают ко мне какое-то особое расположение. Лишь позже я поняла, что все вопросы, задаваемые с живейшим интересом, все расточаемые улыбки имели не больше значения, чем привычка есть с закрытым ртом или незаметно вытирать нос.

Необходимость разобраться во всех этих мелочах нахлынула на меня еще сильней оттого, что я отметала их раньше, уверенная в их незначительности. И только оскорбленная память помогла мне сохранить их. Я подчинилась желанию мира, в котором живу и который пытается заставить вас забыть о мире нижестоящих, словно помнить о нем — дурной тон.

Когда я, сидя за кухонным столом, делала уроки, отец листал мои учебники, особенно по истории, географии и естественным наукам. Ему нравилось, когда я задавала ему каверзные вопросы. Однажды попросил, чтобы я устроила ему диктант — хотел доказать мне, что у него правильная орфография. Он никогда не знал, в каком я классе; говорил: «Она у мадемуазель такой-то». Школа — мать захотела, чтобы я училась в религиозном заведении,— казалась ему грозным миром, который, подобно острову Лапута в «Путешествии Гулливера», парит надо мною, чтобы управлять моими поступками, моим поведением: «Ну и ну, вот если бы тебя увидела учительница!» или же: «Я схожу к твоей учительнице, она заставит тебя слушаться!»

Он говорил всегда *твоя школа* и произносил раздельно «пан-сион», «дорогая ма-тушка» (так звали директрису), выпячивая губы, с подчеркнутой почтительностью, как будто произнести эти слова обычно значило бы проявить к замкнутому мирку школы фамильярность, на которую он не имел права. Отказывался ходить на школьные праздники, даже если я принимала участие в спектаклях. Мать возмущалась: «*Ну отчего ты не хочешь туда идти?*» Он отвечал: «Но ты же знаешь, я никогда не хожу на *такие вещи*».

Часто серьезным, почти трагическим тоном говорил: «Слушай внимательно в школе!» Словно боялся, как бы этот странный подарок судьбы — мои хорошие отметки — внезапно не прекратились. Каждое успешное сочинение, а позднее каждый выдержанный экзамен, любая удача порождали надежду, что я буду *лучше, чем он*.

Когда мечта об этом заменила его собственную мечту, в которой он как-то признался: завести хорошее кафе в центре города, с террасой, случайными посетителями, кофейным автоматом на стойке. Мешала нехватка средств, боязнь начинать все заново, покорность судьбе. Что ж поделать?

Ему не суждено выбраться из разделенного надвое мира мелкого лавочника. С одной стороны, хорошие люди, те, кто покупает у него, с другой — плохие, их значительно больше, те, кто ходит в заново выстроенные магазины центра. Туда же относилось и правительство, подозреваемое отцом в том, что оно хочет нашей гибели, благоприятствуя крупным торговцам. Но и среди хороших покупателей проводилось разграничение: хорошие — всё покупали в нашей лавке, плохие — заходили лишь за оскорбительной для нас покупкой какой-нибудь бутылки растительного масла, которую они забыли купить в центре города. Да и хорошим покупателям доверять не стоило, они могли изменить в любой момент, уверенные в том, что их обкрадывают. Целый мир в заговоре против нас. Ненависть и раболепство,

ненависть раболепства. А в глубине души мечта всякого коммерсанта — быть единственным в городе торговцем, продающим свой товар. Мы ходили за километр от дома за хлебом, потому что булочник по соседству ничего у нас не покупал.

Отец без всякого убеждения, как бы назло всем, голосовал за Пужада[1], считая его «горлопаном».

Но отец не был *несчастен*. В помещении кафе всегда бывало тепло, звучало радио и с семи утра до девяти вечера тянулась непрерывная череда посетителей с обычными словами приветствий: «Привет всем!», «Персональный привет!» Разговоры о дожде, о болезнях, смертях, найме на работу, засухе. Констатация обыденных вещей, перепевы общеизвестных истин, сдобренных заезженными шутками: «сзади нас рать», «до завтра, шеф», «на своих на двоих». Отец опорожнял пепельницы, протирал губкой столы, тряпкой стулья.

Время от времени без всякого удовольствия замещал мать в лавке, предпочитая оживленное кафе, а, возможно, превыше всего — работу в огороде или постройку сарая по своей прихоти. Запах цветущей бирючины в конце весны, отчетливо громкий лай собак в ноябре, грохот проходящих поездов — свидетельство наступивших холодов — словом, все, что позволяло людям в том мире, где руководят, господствуют и пишут в газетах, говорить: «Эти люди *все же* по-своему счастливы».

По воскресеньям банный день; утром заглядывали в церковь на мессу; после обеда игра в домино или прогулка на машине. По понедельникам выносили мусор, по средам приезжал поставщик спиртного, по четвергам привозили продукты и так далее. Летом закрывали лавку на целый день, чтобы навестить друзей — семью железнодорожника, и еще на один день — для поездки на богомолье в Лизьё. Утром посещали монастырь кармелиток, собор, диораму, обедали в ресторане. После обеда ехали в Бюиссоне и к морю, в Трувиль и Довиль. Отец ходил босым по воде, закатав брюки, мать — тоже приподняв немного юбку. Перестали так делать, когда мода на это прошла.

Каждое воскресенье полагалось есть что-нибудь вкусное.

Отныне жизнь отца текла чередой однообразных дней. Но он был уверен, что *счастливее жить нельзя.*

В то воскресенье он отдыхал после обеда. Я вижу, как он идет перед окошком амбара. В руках у него книга, которую он убирает в ящик, оставленный у нас знакомым моряком. Заметив меня во дворе, издает смешок. Книга была непристойной.

Одна из моих фотографий: я снята одна во дворе, справа от меня дворовые постройки, новые прилепились к старым. У меня явно нет ни малейшего представления об эстетике. Но я уже знаю, как выгоднее подать себя: стою в три четверти оборота к аппарату, чтобы скрыть обтянутые узкой юбкой бедра, и так, чтобы была видна грудь; на лоб спущена прядь волос. Я улыбаюсь, чтобы выглядеть симпатичнее. Мне шестнадцать лет. В нижней части фотографии тень отца, сделавшего снимок.

Я готовила уроки, слушала пластинки и читала всегда у себя в комнате. Спускалась вниз только к столу. Мы ели молча. Я никогда дома не смеялась. Я «иронизировала». Это было время, когда все, окружавшее меня, мне стало чуждо. Я понемногу перебираюсь в мир мелких буржуа, хожу на их вечеринки, куда допускают при одном, но трудном условии — не быть *наивной дурочкой*. Все, что я раньше любила, теперь, мне кажется, отдает деревенщиной: Луи Мариано, романы

[1] Пьер Пужад — правый политический деятель, выражавший в 50-е годы интересы мелких лавочников.

Мари-Анн Демаре, Даниэль Грей, губная помада и выигранная на ярмарке кукла, что восседает у меня на кровати в платье с широким, расшитым блестками подолом. Даже мнения людей моего окружения мне кажутся нелепыми и предвзятыми, как например: «Без полиции не обойтись», или еще: «Пока не отслужишь в армии, мужчиной не станешь». Мир повернулся ко мне иной стороной.

Я читала «настоящую» литературу, переписывала фразы и стихи, которые, по моему разумению, отражали мою «душу», невысказанную суть моего бытия, такие как: «Счастье — это бог, идущий с пустыми руками...» (Анри де Ренье).

Отец для меня перешел в разряд *простых, немудреных людей* или *добрых малых*. Он уже не осмеливался рассказывать мне о своем детстве. И я не обсуждала с ним больше свои занятия. Они были для него непостижимы, за исключением латыни, на которой он в прошлом читал молитвы, и в отличие от матери он не желал делать вид, что интересуется ими. Он сердился, когда я жаловалась, что слишком много работы, или критически отзывалась о занятиях. Ему не нравились такие словечки, как «училка», «шеф» и даже «книжонка». Он вечно боялся, что я ничего не добьюсь, а *может быть*, отец и *хотел* этого.

Он раздражался, видя, как я целый день погружена в книги; им он приписывал мою угрюмость и плохое настроение. Если он замечал по вечерам свет под моей дверью, то уверял, что я порчу здоровье. Занятия представлялись ему неизбежным страданием ради того, чтобы добиться хорошего положения и *не выйти замуж за фабричного*. Но ему казалось странным то, что я люблю просиживать над книгами. Разве это жизнь в юном возрасте! Иногда он, кажется, думал, что я несчастна.

Перед родными и посетителями кафе он испытывал неловкость, почти стыд, что я в семнадцать лет еще не зарабатываю себе на жизнь; вокруг нас все девушки моего возраста работали в конторах, на заводах или помогали родителям за прилавком. Он боялся, как бы меня не сочли за лентяйку, а его — за гордеца. Словно извиняясь, говорил: «Ведь ее никто не заставлял, это у нее заложено с детства». Говорил, что я «хорошо занимаюсь», никогда — что я «хорошо работаю». Работать означало только работать руками.

Занятия для него не имели никакой связи с обыденной жизнью. Он мыл салат только один раз, и в нем часто попадались слизняки. И был возмущен, когда я, твердо усвоив в третьем классе правила гигиены, предложила мыть салат по нескольку раз. Однажды он был безмерно поражен, увидев, что я говорю по-английски с человеком, которого подвез на своем грузовике один из посетителей кафе. Он не мог поверить, что я выучила иностранный язык, не побывав в стране.

К этому времени у него стали появляться приступы гнева, редкие, но с каким-то особым озлоблением. С матерью меня связывали общие проблемы. Ежемесячные боли в животе, выбор бюстгальтеров, косметика. Она брала меня с собой за покупками в Руан, на улицу Больших Часов[1] и водила есть пирожные в Перье, где подавали маленькие вилочки. Она пыталась употреблять мои выражения: кретин, мастак и тому подобное. Мы прекрасно обходились без отца.

Спор за столом возникал из-за пустяков. Я считала, что всегда права, так как он не умеет *спорить*. Я делала ему замечания по поводу того, как он ест или говорит. Мне было бы стыдно упрекнуть его в том, что он не в состоянии отправить меня отдыхать во время каникул, но была уверена, что имею право изменить его манеры. Он, вероятно, предпочел бы иметь другую дочь.

Как-то заявил: «Книги и музыка нужны тебе. Мне они ни к чему, я обойдусь без них».

[1] Крупная торговая улица Руана.

В остальном он жил спокойно. Когда я возвращалась из школы, он сидел на кухне, у двери, выходившей в кафе, и читал «Пари-Норманди», сгорбившись и вытянув руки на столе по обе стороны газеты. Он поднимал голову: «А вот и ты, дочка».

— Ужасно хочу есть!

— Ну, это не страшно. Возьми чего-нибудь, поешь.

Он был рад, что может, по крайней мере, кормить меня. Мы неизменно говорили друг другу одни и те же слова, как когда-то давно, когда я была маленькая.

Мне казалось, что он больше ничего не может мне дать. Ни его высказывания, ни его мнения не годились на уроках французского языка, или филологии, или же в гостиных моих школьных подруг с диванами из красного бархата. Летом, через открытое окно моей комнаты, я слышала стук его лопаты, выравнивающей перевернутые пласты земли.

Я пишу, возможно, потому, что нам уже нечего было сказать друг другу.

Вместо развалин, которые мы застали, приехав в И..., в центре города теперь выросли небольшие дома кремового цвета с современными магазинами, которые освещались даже ночью. По субботам и воскресеньям вся молодежь округи болталась на центральных улицах или же смотрела телевизионные передачи в кафе. Женщины из нашего района набивали корзины провизией на воскресенье в больших центральных продовольственных магазинах. Мой отец, наконец, отштукатурил весь фасад дома и приладил неоновую вывеску в то время, как другие владельцы кафе, не отстающие от моды, снова восстанавливали нормандские фахверковые дома с ложными балками и вешали старинные фонари. Вечерами он сидел сгорбившись и подсчитывал выручку. «Давай им товар хоть бесплатно, все равно не идут». Каждый раз, когда в И... открывался новый магазин, отец отправлялся на велосипеде посмотреть на него.

Родители смогли, наконец, существовать без ссуд. Наша округа пролетаризировалась. Вместо средних служащих, переселившихся в новые дома с ванными комнатами, появились малообеспеченные люди, семьи молодых рабочих, многодетные, ожидающие переселения в дешевые муниципальные дома. «Заплатите завтра, не в последний раз видимся». Старички из богадельни поумирали, новому пополнению запрещалось возвращаться домой пьяными, но им на смену пришла другая клиентура — люди, заходившие в кафе от случая к случаю, не такие веселые, долго не засиживающиеся, но исправно платящие. Казалось, наше заведение стало теперь вполне благопристойным.

Отец приехал за мной к закрытию детского лагеря, где я работала руководительницей. Мать поаукала мне издалека, и я их заметила. Отец шел, сутулясь и наклонив голову от солнечных лучей. Его торчавшие покрасневшие уши бросились в глаза — отца явно только что подстригли. Стоя на тротуаре перед собором, они говорили между собой очень громко, споря о том, в какую сторону ехать обратно. Они походили на людей, редко выбирающихся из дому. В машине я заметила у отца желтые пятна под глазами и на висках. Впервые в жизни я провела два месяца вдали от дома, среди молодежи, наслаждающейся свободой. Отец был стар и морщинист. Я почувствовала, что не имею права поступать в университет.

Вначале у него появилось нечто неясное, неприятное ощущение после еды. Он принимал магнезию, страшась вызвать врача. На рентгене в Руане у него, однако, установили полип в желудке, который

следовало немедленно удалить. Мать без конца упрекала отца в том, что он беспокоится по пустякам. Он же чувствовал вину из-за того, что лечение обойдется дорого. (Торговцы тогда еще не пользовались социальным страхованием.) Он говорил: «Стряслось же такое».

После операции он оставался в больнице совсем немного и потом медленно поправлялся дома. У него уже не было прежних сил. Опасаясь расхождения швов, он не мог больше поднимать ящики или работать в огороде по нескольку часов подряд. Теперь уже мать бегала без конца из подвала в магазин, работая за двоих, поднимая ящики с товарами и мешки с картофелем. В пятьдесят девять лет отец утратил свою мужскую гордость. «Я уже ни на что не годен»,— говорил он матери, вероятно имея в виду не только работу.

Но ему хотелось вернуться к нормальной жизни, приспособиться к новому положению. Он стал искать, что для него подходит. Прислушивался к себе. Питание превратилось в сложнейшую проблему; пища считалась полезной или вредной в зависимости от того, переваривалась ли она нормально или «долго напоминала о себе». Он тщательно нюхал бифштекс или мерлана, прежде чем положить их на сковородку. Вид моей простокваши был ему противен. В кафе, во время обедов с родными, он рассказывал о том, что обычно ест, обсуждал с родичами достоинства домашних супов по сравнению с концентратами в пакетах и тому подобное. С приближением шестого десятка все вокруг говорили примерно о том же.

Он стал себя баловать. Приносил домой сервелат или кулек серых креветок. Жаждал радостных ощущений, которые с первыми же глотками часто прекращались. И в то же время делал вид, что ему ничего не хочется: «Я съем только *полкусочка* ветчины» или: «Дайте мне только *полстаканчика*» — так постоянно. Появились причуды, так, например, он снимал бумагу с сигарет «Голуаз», жалуясь на ее плохой вкус, и осторожно обертывал табак папиросной бумагой «зиг-заг».

По воскресеньям, чтобы *не засиживаться на месте*, родители выезжали прокатиться вдоль Сены или по местам, где он когда-то работал. Отец ходил, опустив руки вдоль туловища, вывернув сжатые кулаки наружу или соединив их за спиной. На прогулках он вечно не знал, куда девать свои руки. Вечером, в ожидании ужина, зевал: «По воскресеньям устаешь больше, чем в остальные дни».

Интересовался политикой, особенно беспокоился, *чем все это кончится* — речь шла об алжирской войне, генеральском путче или покушениях оасовцев; с фамильярностью сообщника разглагольствовал *о большом Шарле* [1].

Я поступила в педагогическое училище в Руане на учительское отделение. Меня там кормили (чрезмерно), обстирывали и даже чинили обувь. Все бесплатно. Отец с особым уважением относился к системе полного обеспечения учащихся. Государство сразу же предоставило мне место в жизни. Мой уход из училища его обескуражил. Он не понимал, как я могу бросить из-за какой-то личной свободы такое верное место, где я жила припеваючи. Я надолго уехала в Лондон. Издалека отец стал казаться мне средоточием абстрактной нежности. Я стала жить самостоятельно. Мать присылала мне отчеты о делах нашей округи. У нас холодно, надеемся, что ненадолго. В воскресенье ездили навестить друзей в Гранвиле. Умерла матушка Х., ей шестьдесят лет — совсем еще не старая. Мать не умела писать в шутливом тоне на том языке, который и так давался ей с трудом. Писать же свободно, как говорила, было для нее еще труднее, этому она так и не научилась. Отец только подписывался. Я в ответ тоже лишь перечисляла факты. Любую вычурность стиля они восприняли бы как преграду, отделявшую их от меня.

[1] Речь идет о генерале де Голле.

Я вернулась домой, потом уехала снова. Готовила в Руане работу по филологии на степень лиценциата. Родители ссорились между собой реже, отпуская по привычке все те же желчные замечания: «Из-за тебя у нас сегодня не хватит оранжада», «Что за сказки ты там рассказываешь кюре, постоянно болтаясь в церкви?». Отец еще вынашивал планы привести в порядок лавку и дом, но все меньше думал о том, чтобы все переделать заново ради привлечения новой клиентуры. Довольствовался той, которую отпугивали сверкающие чистотой продовольственные магазины центра, где продавщицы острым взглядом оценивали, *как вы одеты*. Никаких честолюбивых замыслов. Смирился с мыслью, что лавка продержится до тех пор, пока жив он сам.

Теперь он решил немного попользоваться радостями жизни. Вставал после матери, полегоньку работал в кафе или на огороде, прочитывал досконально всю газету и заводил долгие разговоры с посетителями. О смерти говорил уклончиво, общими словами — «известно, что нас ожидает». Каждый раз, когда я приезжала домой, мать говорила: «Взгляни на отца, как сыр в масле катается!»

В конце лета, в сентябре, он ловит ос на кухонном окне носовым платком и бросает их в зажженную конфорку плиты. Осы корчатся, погибая в огне.

Ни беспокойства, ни радости — он смирился с тем, что я веду такую странную, ни на что не похожую жизнь: перевалило за двадцать и все еще за школьной партой. «Она учится на преподавателя». Преподавателя чего — посетители не спрашивали, само слово говорило за себя, он же никогда не мог запомнить. «Современная литература» звучало для него туманно, не то что преподавание математики или испанского языка. Боялся, как бы меня не сочли слишком избалованной, а их с матерью богатыми настолько, что позволили мне продолжить учебу. Он никогда бы не отважился признаться в том, что я получаю стипендию,— люди решили бы, что нам слишком повезло: государство платит мне за то, что я ничего не делаю. Ведь вокруг — вечная зависть и ревность, это в его положении ему ясно представлялось. Иногда я приезжала к ним в воскресенье утром, после бессонной ночи и спала до самого вечера. Ни слова упрека, почти одобрительное отношение, ведь имеет же девушка право немного развлечься; это доказывало, что я такая же, как другие. А быть может, имели смутное представление об интеллектуальном и буржуазном мире как о чем-то идеальном. Ведь когда дочь рабочего выходила замуж беременной, об этом знала вся округа.

Я приглашала в И... на летние каникулы одну или двух подруг по факультету, девушек *без предубеждений*, заверявших, что «самое главное в человеке — это душа». Ибо я, по примеру всех тех, кто хочет избежать снисходительного отношения к их семье, предупреждала: «Знаешь, у меня дома все *просто*». Отец был рад, что у нас в гостях молодые хорошо воспитанные девушки, много говорил с ними, стараясь из вежливости поддерживать разговор и живо интересуясь всем, что касалось моих подруг. Еда в доме превращалась в источник беспокойства: «Любит ли *мадемуазель* Женевьева помидоры?» Он расшибался в лепешку. Когда я бывала в семьях моих подруг, то делила с ними их обычный образ жизни, который ни в чем не менялся из-за моего приезда. Я входила в их мир, который не боялся постороннего взгляда и был мне открыт, потому что я отвергла манеры, мнения и вкусы своего собственного мира. Придавая праздничный характер тому, что в тех кругах являлось всего лишь обыкновенным визитом, отец хотел оказать особую честь моим подругам и выдать себя за человека обходительного. На самом же деле обнаруживал свою отста-

лость, которую они не могли не видеть, когда он говорил: «Здравствуйте, мосье, *как поживаем?*»

Однажды с гордым видом: «Тебе за меня никогда не приходилось стыдиться».

Как-то в конце лета я привезла домой студента-социолога, с которым у меня была связь. Состоялся торжественный церемониал введения в семью, проходящий незаметно в современных обеспеченных кругах, где друзья появлялись и исчезали свободно. В честь приезда молодого человека отец надел галстук, сменил спецовку на воскресные брюки. Он ликовал, уверенный в том, что может рассматривать моего будущего мужа как сына, что, несмотря на разницу образования, у них, мужчин, есть нечто общее. Показал ему свой огород и гараж, который построил собственными руками. Он как бы приносил ему в дар свое умение работать в надежде, что парень, который любит его дочь, оценит его по достоинству. Самому же парню достаточно было быть *хорошо воспитанным,* это качество мои родители ценили превыше всего, оно казалось им наиболее трудно достижимым. Они не пытались выяснить, был ли он человеком мужественным, не пил ли, как сделали бы это в отношении рабочего. По их глубокому убеждению, знания и хорошие манеры являлись признаком внутреннего врожденного благородства.

Кажется, они ждали этого уже несколько лет — одной заботой меньше. Уверились в том, что я *не выйду за кого попало* и не стану *непутевой.* Отец хотел, чтобы его сбережения помогли встать на ноги молодому семейству, желая своей безграничной щедростью компенсировать разницу в культуре и возможностях между ним и его зятем. «Нам самим теперь нужно немного».

За свадебным столом в ресторане с видом на Сену он сидел, слегка откинув голову назад, положив обе руки на салфетку, расстеленную на коленях, и слегка улыбался неопределенной улыбкой, как обычно бывает, когда люди скучают в ожидании еды. Эта улыбка говорила и о том, что все здесь сегодня очень хорошо. На отце — синий костюм в полоску, сшитый на заказ, белая рубашка с запонками, надетыми первый раз в жизни. Моментальный снимок памяти. Я повернула голову в его сторону, продолжая смеяться, уверенная в том, что ему не весело.

После этого он видел нас все реже и реже. Мы жили в туристическом городке в Альпах, где мой муж занимал административный пост. Мы обтянули стены квартиры полотном из джута, подавали на аперитив виски и слушали по радио серию передач старинной музыки. При встрече с консьержкой ограничивались тремя вежливыми словами. Я постепенно входила в ту половину мира, для которой другая лишь фон. Мать писала: вы можете приехать, отдохнуть у нас дома, не смея сказать, приезжайте повидаться с нами. Я ездила к ним одна, умалчивая о причинах безразличия их зятя, причинах, о которых мы между собой не говорили, но которые я воспринимала как вполне естественные. Разве человеку, рожденному в буржуазной высокообразованной семье, постоянно иронизирующему, могло нравиться общество простых людей, любезность которых — им признаваемая — никогда не смогла бы заменить самого важного, чего, по его мнению, им не хватало,— остроумного разговора. В его семье, если кто-нибудь разбивал бокал, другой тут же восклицал: «Не трогать, он разбит!» (стихи Сюлли-Прюдона).

Это она всегда ждала меня по прибытии парижского поезда у выхода с перрона. Отнимала у меня чемодан: «Он для тебя слишком тяжел, ты не привыкла». В бакалейной лавке оказывалась пара покупателей, отец оставлял их на минуту, чтобы порывисто поцеловать меня. Я садилась на кухне, они оставались стоять, она — около лестницы, он — в проеме открытых дверей, ведущих в кафе. В это время дня солнце освещало столики, рюмки на стойке; иногда какой-нибудь посетитель, сидящий под его яркими лучами, слушал наш разговор. Вдали от них я представляла себе родителей иными, без их говора и жестов, как бы очищенными от всех грехов. Я снова слышала, как они говорят «ёна» вместо «она», как громко разговаривают. Я видела их такими, какими они были всегда, без той «сдержанности» поведения и правильных оборотов речи, которые казались мне теперь естественными. Я чувствовала, что отдалилась от себя самой.

Я вынимаю из сумки привезенный ему подарок. Он развертывает пакет с удовольствием. Флакон лосьона «после бритья». Смущение, смех, а для чего это? Потом: «От меня будет пахнуть, как от кокотки!» Но он обещает пользоваться им. Нелепая сцена неудачного подарка. Мне хочется плакать, как когда-то давно: «Он так никогда и не изменится!»

Они рассказывали о людях округи: одни поженились, другие умерли, третьи уехали из И... Я описывала нашу квартиру, секретер в стиле Луи-Филиппа, кресла красного бархата, дорогую систему проигрывателя с магнитофоном. Но отец вскоре переставал меня слушать. Он меня воспитал, чтобы я пользовалась предметами роскоши, о которых сам не имел понятия, и был рад за меня, но мебель Данлопийо[1] или старинный комод не представляли для него никакого интереса, разве лишь подтверждали, что я преуспела в жизни. Часто, обрывая мой рассказ, произносил: «Молодцы, что пользуетесь своими возможностями».

Я никогда не задерживалась слишком долго. Он вручал мне бутылку коньяка для мужа. «Ну да, приедет в следующий раз». Гордый тем, что ничего не показывает, умеет глубоко запрятать свою обиду.

В И... появился первый универсам и сразу привлек покупателей из рабочей среды со всего города — наконец-то можно делать покупки, ничего ни у кого не спрашивая. Но в маленькую бакалейную лавку продолжали заглядывать за пакетом кофе, который забыли купить в центре, за свежим молоком или за плиткой нуги по дороге в школу. Отец начинал подумывать о продаже лавки. Они обоснуются в соседнем доме, который им пришлось приобрести вместе с лавкой: две комнаты с кухней и подвал. Он заберет с собой хорошее вино и консервы. Заведет несколько кур, чтобы дома были свежие яйца. Они приедут навестить нас в Верхнюю Савойю. Он был рад, что получил, наконец, в шестьдесят пять лет право на социальное обеспечение. Возвращаясь из аптеки, садился за стол и с удовольствием наклеивал на бланк соцстраха этикетки от лекарств.

Ему все больше и больше нравилась жизнь.

С того времени, как я начала этот рассказ, прошло несколько месяцев. Я потратила на него много времени — вспоминать прошедшие события было значительно труднее, чем выдумывать. Память отказывалась подчиняться. Я не могла рассчитывать, что воспоминание придет само собой; в дребезжавшем колокольчике старой лавки, в запахе переспелых дынь я обнаруживала лишь себя и свои летние каникулы в И... Цвет неба, отражения тополей в Уазе, текущей совсем рядом, не наводили меня на воспоминания об отце. Я искала его образ в залах ожиданий вокзалов, в том, как там сидят и скучают люди, как

[1] Модная мебель в 60-х годах.

они окликают своих детей, как прощаются на перронах. Я обнаруживала забытые приметы его места в жизни во встреченных случайно неизвестных мне людях, отмеченных неведомо для них самих признаками силы или унижения.

Я не почувствовала прихода весны. Мне казалось, что с начала ноября стоит все та же неизменная погода — прохладная и дождливая, ставшая чуть холоднее к середине зимы. Я не думала о конце книги. Теперь понимаю, что он близок. С июня началась жара. Утренний запах предвещает хорошую погоду. Скоро мне не о чем станет писать. Я хотела бы задержаться на последних страницах, сохранить их навсегда перед собой. Но больше невозможно возвращаться вспять, что-то подправить или добавить и даже просто задать себе вопрос, в чем состояло счастье. Я сяду на утренний поезд и приеду, как всегда, только к вечеру. На этот раз я привезу с собой их внука двух с половиной лет.

Мать ожидала у выхода с перрона, на ней — белая блузка, поверх жакет от костюма, на волосах, которые она больше не красит после моего замужества, платок. Ребенок, растерянный и утративший дар речи к концу длинного путешествия, покорно позволил себя поцеловать и взять за руку. Жара немного спала. Мать всегда ходит быстрыми мелкими шагами. Но тут она внезапно замедлила шаг, воскликнув: «Ах, ведь с нами топают маленькие ножки!» Отец ждал нас в кухне. Он показался мне постаревшим. Мать не преминула заметить, что накануне в честь приезда маленького внука он сходил в парикмахерскую. Последовала бестолковая сцена с какими-то восклицаниями, вопросами ребенку, ответа на которые никто не ждал, взаимными упреками в том, что бедного мальчика утомили, и, наконец, выражениями радости. Они выясняли, *что ему больше нравится.* Мать потащила его к банкам с конфетами, отец — в огород, посмотреть на клубнику, потом — на кроликов и уток. Они целиком завладели своим внуком, сами решая все, что относилось к нему, словно я все еще была маленькой девочкой, не способной заниматься ребенком. С сомнением воспринимали те принципы воспитания, которых я придерживалась: сон после обеда и никаких сластей. Мы обедали вчетвером за столом, стоявшим у окна, ребенок сидел у меня на коленях. Был прекрасный тихий вечер, из тех, когда хочется все простить и забыть.

В моей бывшей комнате еще стояла дневная жара. Родители поставили для мальчика маленькую кроватку рядом с моей. Я не смогла уснуть до двух часов ночи, пыталась читать — не получилось. Едва включила лампу у изголовья, как провод почернел, вспыхнула искра и лампочка перегорела. Лампа — стеклянный шар на подставке из мрамора с медным зайцем на задних лапах, передние лапы сложены. Когда-то она казалась мне очень красивой. Она, вероятно, уже давно испортилась. В доме никогда ничего не ремонтировали, были безразличны к вещам.

С этого момента наступает иное время.

Я проснулась поздно. В соседней комнате мать тихо разговаривала с отцом. Она объяснила мне, что на рассвете его вырвало, он не успел даже дойти до ведра. Она полагала, что это несварение желудка из-за съеденных накануне за обедом остатков курицы. Он беспокоился главным образом о том, подтерла ли она пол, и жаловался на боли где-то в груди. Его голос показался мне изменившимся. Когда мальчуган подошел к нему, он не обратил на него внимания, остался неподвижно лежать на спине.

Доктор поднялся прямо в спальню. Мать в это время обслуживала покупателей. Затем она тоже поднялась, и они вместе спустились в кухню. Внизу на лестнице доктор тихо произнес, что отца следовало бы отвезти в Руан в городскую больницу. Мать побледнела. С самого начала она мне говорила: «Вечно его тянет есть то, что ему нельзя»,

а подавая минеральную воду отцу: «Ты же сам знаешь, что у тебя капризный желудок». Она мяла в руках чистую салфетку, которой врач пользовался при осмотре, и как будто не понимала, отказывалась понять всю серьезность заболевания, которое мы поначалу не распознали. Доктор изменил тон — можно подождать до вечера, быть может, это всего лишь тепловой удар.

Я отправилась за лекарствами. Утро предвещало удушливую жару. Аптекарь узнал меня. На улице было чуть больше машин, чем в последний мой приезд, год назад. Все было совершенно таким же, как во времена моего детства, и оттого я не могла представить себе, что мой отец действительно болен. Я купила овощей для рагу. Посетители кафе обеспокоенно спрашивали, почему не видно хозяина, отчего он еще не встал, несмотря на прекрасную погоду. Они находили простые объяснения его недомоганию, приводя в пример собственное самочувствие: «Вчера в огороде было не меньше сорока градусов, я свалился бы с ног, если бы копался там столько, сколько он», или: «В такую жару чувствуешь себя погано, я вчера ничего не ел». Так же, как и моя мать, они, очевидно, считали, что отец заболел оттого, что вел себя, не считаясь с возрастом, за что наказан, и впредь так делать не должен.

Отправляясь днем спать, ребенок, проходя мимо постели больного, спросил: «Почему мосье лег бай-бай?»

Мать то и дело поднималась наверх, успевая между тем обслужить и покупателей. Когда раздавался звонок у дверей, я кричала ей снизу, как когда-то: «Тут пришли!» — чтобы она спустилась в лавку. Отец пил только воду, но его положение не ухудшилось. Вечером доктор больше о больнице не упоминал.

На другой день, когда мать или я спрашивали отца, как он себя чувствует, он с раздражением вздыхал или жаловался, что не ест уже двое суток. Доктор ни разу не пошутил, не сказал, как обычно: «Поперхнулся не с того конца, только и всего». Мне кажется, что, глядя, как он спускается вниз, я все время ждала, что он произнесет эту или какую-нибудь другую шутку. Вечером мать, опустив глаза, тихо проговорила: «Не знаю, что же теперь будет». Она пока не упоминала о возможной смерти отца. Еще накануне мы стали с ней вместе есть, вместе заниматься ребенком, не упоминая ни словом о болезни. Я ответила ей: «Там видно будет». Когда мне было лет восемнадцать, я иногда слышала от матери: «Если с тобой приключится *несчастье*... ты знаешь, что тебе придется делать». Не было необходимости уточнять, какое несчастье она имела в виду, мы обе знали, о чем идет речь, хотя никогда не произносили слова «забеременеть».

В ночь с пятницы на субботу дыхание отца стало тяжелым и прерывистым. Потом мы услышали очень сильное длительное урчанье, не похожее на дыхание. Оно было ужасно — мы не понимали, идет ли оно из легких или из кишечника, казалось, все внутри сообщается между собой. Доктор ввел ему транквилизатор. Отец успокоился. После обеда я укладывала в шкаф выглаженное белье. Из любопытства я вынула оттуда кусок розового тика, развернув его на краю постели. Отец приподнялся взглянуть, что я делаю, и сказал незнакомым голосом: «Это чтобы обтянуть твой матрац, наш мать уже переделала». Он потянул за одеяло, чтобы показать мне свой матрац. Впервые после приступа болезни он проявил интерес к чему-то вокруг него. Я вспоминаю этот момент: я думаю, что еще не все потеряно, его слова доказывают, что болезнь не так страшна, на самом же деле попытка отца установить связь с внешним миром означает, что он от него отдалялся.

После этого он со мной больше не говорил. Он находился в полном сознании, поворачивался, когда медсестра приходила делать укол, отвечал «да» или «нет» на вопросы матери: больно ли ему и не хочет ли он есть. Время от времени он заявлял (точно ключ к выздоровле-

нию заключался именно в этом, а ему кто-то упорно отказывал): «Если бы я по крайней мере мог есть». Он уже не считал, сколько дней он не ест. Мать повторяла: «Немного посидеть на диете не вредно». Ребенок играл в саду. Я наблюдала за ним, пытаясь читать «Мандарины» Симоны де Бувуар. Я не далеко продвинулась — на одной из страниц этой толстой книги моего отца не станет. Посетители кафе по-прежнему спрашивали, как дела. Им хотелось знать, что произошло с отцом — инфаркт или солнечный удар; уклончивые ответы моей матери вызывали у них недоверие, им казалось, что от них что-то скрывают. Для нас название болезни не имело больше значения.

В воскресенье утром меня разбудило певучее бормотанье, прерываемое молчанием. Отца соборовали. Трудно придумать что-то более непристойное — я уткнулась лицом в подушку. Мать, вероятно, встала рано, чтобы привести к отцу священника по окончании первой мессы.

Позднее я поднялась к нему, когда мать обслуживала посетителей. Я застала отца сидящим на краю постели со склоненной головой, с полным отчаяния взглядом, устремленным на стул возле кровати. В протянутой руке он держал пустой стакан. Его рука сильно дрожала. Я не сразу поняла, что он хочет поставить стакан на стул. На протяжении нескольких нескончаемых секунд я глядела на эту руку. На его отчаянный вид. Наконец, взяла у него стакан и положила его самого, подняв на кровать ноги. «Я в состоянии это сделать», или: «Я вполне большая и могу сделать это» — мелькнуло в голове. Я не отваживалась взглянуть на него внимательнее. Его лицо лишь отдаленно напоминало то, которое я привыкла видеть. Над искусственной челюстью — он отказался вынуть ее — поднялась вверх губа, обнажив десны. Он превратился в одного из тех стариков из больницы для хроников, у постели которых директриса католической школы заставляла нас распевать рождественские гимны. Но мне все же казалось, что даже и в таком состоянии он сможет еще жить долго.

В половине первого я укладывала ребенка спать. Он не хотел ложиться и прыгал изо всех сил на своем пружинном матрасике. Отец дышал с трудом, широко раскрыв глаза. В час дня, как всегда по воскресеньям, мать закрыла кафе и лавку. Она поднялась к отцу. Пока я мыла посуду, приехали тетя и дядя. Посетив отца, они уселись в кухне. Я подала им кофе. Я слышала, как мать медленно ходит наверху, как спускается по лестнице. Несмотря на ее необычно медленные шаги, я подумала, что она идет выпить кофе. На повороте лестницы она тихо произнесла: «Все кончено».

Кафе и лавки больше не существует. Это частный дом с прозрачными занавесями на бывших витринах. Заведение закрылось после отъезда моей матери, которая живет в однокомнатной квартире неподалеку от центра. Она поставила на могилу красивый памятник из мрамора. А... Д... 1899 — 1967. Он строг и не требует особого ухода.

Вот и все наследство, которое я должна была положить на пороге просвещенного буржуазного мира, когда в него вступила.

Мне было двенадцать лет, когда однажды в воскресенье после мессы мы с отцом поднялись по высокой лестнице, ведущей в мэрию. Искали дверь в муниципальную библиотеку. Мы никогда там не бывали. Для меня это был настоящий праздник. За дверью не слышалось ни звука. Отец все же открыл ее. Там царило молчание, еще более глубокое, чем в церкви, скрипел паркет и, главное, стоял странный запах, запах старины. На нас глядели два человека, сидящие за высокой стойкой, преграждающей путь к полкам. Отец подтолкнул меня вперед: «Мы хотели бы взять почитать книги». Один из мужчин меня тут же спросил: «А что бы вы хотели прочесть?» Мы не подумали

дома о том, что надо заранее знать, что спросить и суметь назвать заголовки книг так же просто, как названия пачек печенья. Нам выбрали — за нас — «Коломбу» для меня и *легкий* роман Мопассана для отца. В библиотеку мы больше не ходили. Книги сдала мать, вероятно, с опозданием.

Он возил меня в школу на своем велосипеде. Перевозил с одного берега на другой под дождем или солнцем.

Вероятно, больше всего он гордился — а может, даже оправдывал свое существование — тем, что я принадлежу к миру, который относился к нему свысока.

Он напевал песенку: «Это весло, что крутит нас, так весело»[1].

Мне вспоминается заглавие книги «Познание пределов»[2]. Я была разочарована, когда стала ее читать: в ней шла речь о метафизике и литературе.

Все то время, пока я писала эту книгу, я также правила домашние задания, готовила планы школьных сочинений — ведь мне за это платят. А мысли о прошлом оставляют у меня такое же ощущение, как *роскошь*,— чувство нереальности, желание плакать.

В октябре прошлого года, когда я стояла в очереди со своей тележкой в универсаме, я узнала сидящую за кассой свою бывшую ученицу. То есть я вспомнила, что она была моей ученицей пять или шесть лет тому назад. Я уже не помнила ни ее имени, ни в каком классе она была. Когда подошла моя очередь, чтобы что-то сказать, я спросила: «Как поживаете? Вам здесь нравится работать?» Она ответила: «Да, да». А потом, выбив чеки на банки с консервами и напитки, со смущением добавила: «С Центром технического обучения ничего не вышло». Она, видимо, думала, что я еще помню, чем она занималась. Я же забыла, почему ее направили в ЦТО и на какое отделение. Я распрощалась с ней. Она уже вынимала левой рукой следующие покупки и, не глядя, нажимала правой рукой на клавиши.

Ноябрь 1982 — июнь 1983 года.

■

[1] Популярная детская песенка.

[2] Имеется в виду книга современного французского писателя Филиппа Соллерса «Письмо и познание пределов».

ЕРОФЕЕВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

Советская переводчица с англий ского и французского языков. В ее переводе в «Иностранной литературе» опубликованы романы А. Труайя «Анна Предайль» (1975, № 8), Ж. Жубера «Человек среди песков» (1978, № 8), П.Гамарра «Женщина и река» (1980, № 11), документальный рассказ Т. Капоте «Самодельные гробики» (1982, № 9).

ГИЗЕЛА ЭЛЬСНЕР

Испытание на прочность

История, которую могла бы написать сама жизнь

ПОВЕСТЬ

Перевод с немецкого Н. ЛИТВИНЕЦ

Воры и грабители устроили бы меня куда больше, нежели солидные господа, наведывающиеся в квартиру в мое отсутствие. Правда, насколько удалось установить, похищено ничего не было, даже из мелочей, разве что три маленьких кусочка ткани, один у выреза летнего черного платья и два на кончиках пояса, их заменили кусочками из явно другой черной ткани. Да и вообще незваные визитеры часто оставляют следы.

Делают ли они это сознательно, с намереним запугать меня, вызвать страх и депрессию, побудить к необдуманным действиям, чтобы я разоблачила себя и тем самым подтвердила их подозрения, или же, несмотря на всю свою сноровку, они просто-напросто неважные профессионалы, оставляющие следы, которые позволяют догадываться об их визитах в мое отсутствие,— этого я при всем желании сказать не могу.

Порой мне думается, что вернее первое, порой я склоняюсь ко второму. А впрочем, верным может быть и то и другое. Эту смесь профессиональной сноровки и некоторого даже педантизма с откровенно бьющим в глаза дилетанством я усматриваю в любых их начинаниях и действиях; все это могло бы показаться смехотворным, не будь события, развивающиеся в течение, как я полагаю, вот уже девяти месяцев, тревожными и даже весьма угрожающими.

Девять месяцев я живу в постоянном напряжении. Девять месяцев только и делаю, что приглядываюсь и прислушиваюсь. Оказавшись перед выбором, усомниться ли в собственном рассудке или попрежнему верить собственным наблюдениям и собственному восприятию, я решила и дальше идти по раз избранному пути, наперекор возможным ошибкам и заблуждениям; они неизбежны, твержу я себе, неизбежны в силу крайней микроскопичности событий, что разыгрываются здесь и не только здесь, со мной и не только со мной, разыгрывались в недавнем прошлом и, судя по всему, будут разыгрываться и в будущем.

© Rowohlt Verlag, Reinbek/Hamburg, 1980.

ГИЗЕЛА ЭЛЬСНЕР — GISELA ELSNER (род. в 1937 г.)

Немецкая писательница (ФРГ). Изучала в Вене германистику, философию и театроведение. Живет в Мюнхене. Автор романов «Карлики-гиганты» («Die Riesenzwerge», 1964), «Молодое поколение» («Der Nachwuchs», 1968), «Запрет на прикосновение» («Das Berührungsverbot», 1970), «Победа по очкам» («Der Punktsieg», 1977), «Укрощение. Хроника одного супружества» («Die Zähmung. Chronik einer Ehe», 1984). «В стороне» («Abseits», 1982), нескольких сборников рассказов и радиопьес. Лауреат ряда литературных премий.

Повесть «Испытание на прочность» взята из одноименного сборника рассказов и повестей («Die Zerreissprobe», Reinbek/Hamburg, Rowohlt Verlag, 1980).

Фактом обнаружения периодических визитов неизвестных в мою квартиру — поначалу периоды эти были весьма значительными, а потом все более короткими,— фактом обнаружения сперва почти что доброжелательной, а потом все более настойчивой слежки за скромной моей особой, слежки, мотивы которой, несмотря на бесконечные раздумья, остаются мне пока неведомы, я обязана целому ряду грубых просчетов тех леди и джентльменов, что вот уже без малого год устраивают в моей квартире таинственные сходки, ну, кроме тех случаев, разумеется, когда они преследуют меня на улице, пешком или в автомобиле, прекрасно информированные обо всех моих делах и планах, о том, куда я отправляюсь на метро, в автобусе, трамвае, такси или просто пешком.

Ибо в отличие от захватывающей дух погони, которую каждый из нас знает по гангстерским фильмам, дорога позади моей машины нередко бывает пустынна. Как в детской сказочке про ежа и зайца, преследователи мои, отнюдь не ясновидящие, но снабженные подробнейшей информацией, которую представляет им гигантский служебный аппарат, частенько оказываются на месте раньше меня. Когда в одиночку, когда вдвоем, а когда втроем и даже вчетвером восседают они в поставленном у обочины автомобиле, с предельным вниманием изучая — даже в сумерках — план Мюнхена, какую-нибудь книжонку или газеты, хотя при таком освещении явно не могут разобрать ни слова.

Иногда, проходя мимо, я останавливаюсь, стучу в стекло автомобиля и не очень вежливо спрашиваю — после того, разумеется, как они повернут головы в мою сторону и соблаговолят опустить стекло, а процедура эта длится у них невероятно долго,— как пройти на ту или иную улицу поблизости. А иногда просто внимательно их разглядываю, словно издеваясь. В такие минуты я ощущаю свое над ними превосходство, которое, однако, уже через мгновение кажется мне столь же эфемерным, сколь смешным. Откровенно говоря, зачастую приходится убеждать себя в том, что подозрения мои не с потолка, что я по-прежнему в здравом уме и не гоняюсь за призраками.

По-моему, только человек, сам побывавший в сходной ситуации, способен понять, какое я испытала облегчение, когда наконец-то доподлинно установила, что в квартиру в мое отсутствие наведываются неизвестные. Ибо на первых порах, когда я входила в квартиру, у меня просто возникало ощущение, будто что-то неуловимо изменилось, хотя живу я одна. Ненадолго это выбивало меня из колеи, однако я пыталась противостоять досадному наваждению.

Тебе показалось, убеждала я себя и тогда, когда, вернувшись однажды домой, вновь обнаружила, что лампа на письменном столе выключена. А ведь в силу давней привычки, можно сказать причуды, эта лампа горит у меня целый день, независимо от того, работаю я или нет, дома я или ушла. Я выключаю ее, лишь когда ложусь спать.

Разумеется, я не могла быть вполне уверена, что не выключила лампу сама, по забывчивости или рассеянности. Вот почему с того самого дня я начала, уходя из дома, записывать на бумажке «лампа горит» и проставлять соответствующую дату.

И вот примерно через месяц, отперев входную дверь и войдя в прихожую, я бросила взгляд в кабинет и сразу обнаружила, что лампу опять выключили.

Вы только представьте себе такое. Гражданин нашей страны, соответствующим образом подготовленный благодаря публикациям в прессе и телевизионным репортажам, начинает по какому-то ничтожному поводу подозревать, будто за его квартирой следят; ежедневно, уходя из дома, он записывает — как бы смешно и дико это ни казалось ему самому,— что лампа у него на письменном столе

горит, а в один прекрасный день, сделав кой-какие покупки, он возвращается домой и обнаруживает, что в его отсутствие лампу выключили. В остальном же, по крайней мере на первый взгляд, все в квартире без изменений. Несмотря на это, а точнее, именно поэтому его прошибает холодный пот.

Уж лучше бы, подумала я тогда, кто-нибудь изрубил за это время мою мебель, расколотил посуду, разодрал в клочья рукописи, книги и платья, тут по крайней мере я могла бы защищаться. Позвонила бы в полицию. Подала заявление. Потребовала начать расследование.

Но ни малейшего повода к таким действиям у меня не было. Оторопь брала именно из-за микроскопичности перемены. Более наглядно, чем таким вот выключением горевшей лампы, таким вот простым нажатием пальца, таким вот, возможно, машинальным и наверняка не потребовавшим усилий, быть может, случайным жестом экономного человека, незваные визитеры, навещающие мою квартиру, и не могли дать о себе знать. Не исключено, что, сообщи я в полицию, будто за время моего двухчасового отсутствия кто-то выключил у меня в квартире лампу, я в конце концов очутилась бы в психиатрической лечебнице. Не было ведь даже свидетеля, который смог бы подтвердить: да, лампа на письменном столе действительно горела к моменту моего ухода.

Чтобы заполучить такого свидетеля, пришлось бы обратиться к одному из жильцов нашего дома, скажем к Францу В. или Петеру Х.— оба они писатели и в свое время жили в нынешней моей квартире,— и просить их в течение месяца, а то и дольше, всякий раз заходить перед моим уходом, лишь чтоб удостовериться, что лампа на письменном столе действительно горит. И Франц В., выехавший из моей квартиры полтора года назад, и Петер Х., выехавший пятью годами раньше, обожают всевозможные безумные затеи. Но боюсь, что эта — совершенно особая — безумная затея, не вызовет энтузиазма ни у них, ни у других моих знакомых.

Как бы там ни было, в тот день я, соблюдая осторожность и полную тишину, несколько часов обследовала свою квартиру, шаг за шагом, все восемьдесят квадратных метров ее общей площади. Единственное, что удалось мне тогда обнаружить, это отпечатки пальцев, всех четырех, кроме большого, пальцев правой руки на толстом слое пыли, которая со временем осела на полках за книгами, куда не дотягиваешься при уборке. То был след довольно узкой руки — кто-то, похоже, сунул руку за книги, проверяя, нет ли там чего, точнее, не спрятано ли там что от посторонних глаз. Впрочем, след мог оставить и кто-нибудь из гостей, я имею в виду обычных гостей.

Сначала я рассказала обо всем Петеру Х., который, как я говорила, выехал отсюда пять лет назад, сменив мансарду на квартиру этажом ниже, в этом же доме. Я продемонстрировала ему отпечатки пальцев в пыли за книгами. Петер Х. улыбнулся. Что за дилетантство, заметил он и спросил, не обратила ли я внимание на автомашины, в которых часами просиживают какие-то люди, прямо напротив нашего дома. К тому же, продолжал он, замок в двери с некоторых пор стал у него хуже работать, да и рукописи лежат не в том порядке, в каком он их оставлял. Я точно помню, как положил вторую часть моей новой рукописи на первую, а не наоборот, сказал он, затем, однако, резко сменил тему и принялся рассуждать о роли писателя в обществе, он говорит об этом всегда, когда бывает в подпитии, он и ко мне поднялся уже слегка навеселе, а от двух бокалов вина его и вовсе развезло, он почти не переносит алкоголь и все равно пьет много и часто.

Кроме него я поделилась тогда своими опасениями с Хайнцем Ф., живущим в соседней квартире. От него, кстати, а не от самого Петера Х. я узнала, что, когда Петер жил в нынешней моей квартире, у него скрывались террористы, в частности террорист П. и террорист-

ка Х. В одном из своих рассказов, сказал Хайнц Ф., Петер как раз и описывает этот период своей жизни, период дружбы с террористами и их адвокатами.

Услышав об этом, я, как ни странно, почти успокоилась. У меня вдруг появилось хоть какое-то объяснение происходящему, пусть даже маловразумительное. Ни о чем не подозревая, я вселилась в так называемую «бывшую террористскую квартиру». О том, что такие квартиры время от времени снова берут под надзор, я сама читала в газете или в журнале.

Немного насторожило меня в тот вечер только, как быстро Хайнц Ф. перевел разговор на бывшую жену некоего журналиста, которой-де всюду мерещились подобные вещи, она неоднократно лечилась в клиниках для душевнобольных и в конце концов покончила с собой. Меня слегка задело, что он таким способом высказал сомнение в правдивости моей истории. Он был первым, кто себе это позволил. Но далеко не последним. Порой я вообще склонна была судить о знакомых и друзьях по тому лишь, насколько они верили моим рассказам и насколько сомневались в их истинности; если быть точной, я и сегодня придерживаюсь этого принципа.

Когда настольная лампа опять оказалась выключенной, мне и в самом деле удалось — после не менее тщательного осмотра квартиры, чем тот, какой провели перед моим приходом незваные визитеры,— найти кое-что более вещественное, нежели отпечатки пальцев в пыли за книгами. Я нашла два шарика из серебряной фольги — один рядом с корзиной для бумаг в кабинете, другой под ковриком в ванной; аккуратно развернув, я разгладила их — это была упаковка от таблеток.

На ней стояло: НЕО-АНГИН — название средства против ангины, которое я никогда в жизни не покупала и не принимала. Что это за лекарство, я узнала от аптекаря.

Кроме того, на полу в ванной я нашла маленькую, белую, разорванную пополам этикетку с надписью: БИЖУ-ШТЕЙН-ПАРИЖ.

Сложив все эти, как я считала, улики в конверт, я сунула его в черную кожаную папку, где обычно храню паспорт, блокнот с адресами и чековую книжку, однако потом вновь и вновь извлекала конверт из папки; я не просто разглядывала этикетку и обертки от таблеток, а форменным образом изучала их.

Ночью я было легла в постель, но снова встала, чтоб достать конверт и сунуть его под матрац. К тому времени я уже не могла бы поклясться, что незваные визитеры не наведываются в квартиру, когда я сплю. Им наверняка известно, что я регулярно принимаю снотворное. Как наверняка известно и то, что в уши я закладываю «оропакс». Для них вообще, должно быть, осталось очень мало неизвестного в моей жизни. Разве что мысли, которые я только еще обдумываю и не записываю пока на бумаге, разве что — хочу по крайней мере надеяться — вот эта рукопись, которую я постоянно ношу с собой, а на ночь сую под матрац, как когда-то конверт с двумя обертками из-под таблеток и половинками этикетки, конверт, который я, кстати заметить, давным-давно выбросила.

А тогда находки эти казались мне, как я уже сказала, страшно важными. Я продемонстрировала их Петеру Х., который бросил на них короткий, до крайности равнодушный взгляд. Потом показала Марго Р., моей подруге, врачу по профессии. Она отреагировала не просто равнодушно. Мне почудилось, что Марго, до этого верившая моим рассказам, при виде столь смехотворных улик, которые я с торжеством поспешила выложить перед нею, словно речь шла о подлинной сенсации, стала проникаться все большим скептицизмом. Я быстро убрала конверт. Так важно было, чтоб она мне поверила, и не только она. Так важно было, чтоб каждый, кому доверяла я свою историю, верил в нее, а стало быть, и в меня.

Перед адвокатом, к которому вскоре после этого обратилась, я, наученная горьким опытом с Петером и Марго, выложила свои находки далеко не сразу. На первую беседу я взяла лишь записную книжку, где под соответствующими датами были отмечены те мельчайшие изменения, какие бросились мне в глаза при исследовании квартиры. Я записывала и события, которые лишь задним числом, с основанием или без оного, начала связывать с происшествиями в собственной квартире, к примеру, визит кровельщиков, вполне возможно мнимых, которые не только надумали вдруг отремонтировать крышу нашего дома, но и утверждали, что до участков, нуждающихся в ремонте или якобы нуждающихся в ремонте, можно добраться исключительно из окон моей квартиры, а не из окон соседних квартир, также расположенных на последнем этаже. Отметила я и тот факт, что батареи летом прошлого года не только были тщательно проверены представителем фирмы, возможно мнимым, но одну из них пришлось даже снять и укрепить заново. Мастер уверял, будто батарея эта держалась буквально на честном слове.

Несколько раз, когда подолгу задерживалась на радио или уезжала в другой город, я оставляла ключи у консьержки. Ей шестьдесят пять лет, бывшая прислуга, теперь вдова-пенсионерка, пенсия, правда, всего 280 марок, поэтому она, невзирая на возраст и приступы головокружения, до сих пор повторяющиеся у нее после сотрясения мозга, вынуждена по-прежнему мыть лестницу, подметать двор и въезд, а также подвал и чердачные кладовки.

Как только в доме начинают что-то ремонтировать — а ремонтируют у нас в последнее время удивительно много, то вдруг отключат отопление, то воду, то газ,— эта женщина буквально врывается мимо меня в прихожую, бросая быстрые, испытующие взгляды в кабинет, гостиную, кухню, ванную; можно подумать, ей приказано застигнуть меня с поличным,— скажем, во время приемки очередной партии оружия.

Порой мне чудится в ее глазах особый блеск, выдающий не то насмешку, не то напряженное ожидание сенсации. И с ремонтниками, возможно мнимыми, она обращается без ярко выраженного подобострастия. Хотя относится к ним как к начальству, к людям, стоящим выше ее по социальной лестнице. К тому же все эти мастера, возможно мнимые, в отличие от обычной их манеры, никогда не появляются в нашем доме одни. Ко мне их неизменно провожает фрау С. в чистеньком, накрахмаленном передничке. В каком-то смысле она представляет их мне.

Адвокат, к которому я обратилась, не подвергал мои слова сомнению. Я сообщила ему, между прочим, что в мою квартиру наведывались именно тогда, когда вечером в теленовостях сообщалось о розыске террористов, к примеру, в те дни, когда всюду распространялся фоторобот какого-нибудь террориста или, скажем, в тот день, когда было обнаружено укрытие террориста С. Я заверила его, что никогда в жизни не была знакома ни с одним террористом.

Адвокат считал обыски на бывших террористских квартирах в порядке вещей. Более того, он не исключал возможности, что при обострении внутриполитической обстановки, когда им срочно понадобятся сообщения об успешных акциях против лиц, занимающихся антигосударственной деятельностью, точнее говоря, об арестах, в мою квартиру не погнушаются подбросить необходимые вещественные доказательства.

Сбивала с толку спокойная, вежливая манера, в какой он все это излагал. На мой отчаянный возглас, не могу же я, возвращаясь домой, каждый раз проверять, не подложены ли в квартире или в кладовке автоматические винтовки, ручные гранаты, бомбы, патроны, а также

чертежи правительственных зданий, банков и военных объектов, он не нашелся ответить ничего другого, кроме как: ну разумеется, не можете.

К тому времени факт слежки за моей скромной особой занял у меня в жизни центральное место. Все остальное отступило на второй план. Кое-что изменилось меж тем и в самих визитах. Лампу на письменном столе больше не выключали. Словом, теперь я уже не могла, войдя в квартиру, с ходу определить, наведывались в мое отсутствие незваные визитеры или нет. Теперь приходилось не только более тщательно осматриваться, не только основательнее исследовать всю квартиру. Приходилось принимать и кое-какие ответные меры, чтоб окончательно удостовериться в имевшем место обыске; вообще-то, если исходить из здравого смысла, этих мер, конечно, принимать не следовало. Я спокойно могла убедить себя в том, что плевать, в конце концов, если кто-то роется у меня в бумагах, в письмах и рукописях, в одежде, в постели, даже в грязном белье, если кто-то сдвигает с места шкафы, письменный стол и кресла, откидывает или скатывает ковры.

Теперь-то мне и в самом деле плевать. Теперь я почти и не думаю об этом. Просто исхожу из того, что двери моего дома в определенном смысле всегда открыты. Теперь я просто складываю все, что не должно попасться на глаза и в руки незваным визитерам,— эту вот рукопись, к примеру, или заметки, которые делаю для себя,— в весьма внушительных размеров сумку и постоянно таскаю с собой, куда бы ни шла. Тогда же я, возможно от накатывавшего время от времени ощущения слабости и беззащитности, придавала огромное значение возможности хоть что-нибудь выяснить, хоть как-то противостоять наваждению.

Вначале я отмечала шариковой ручкой на полу положение ножек шкафов, стульев, стола. Штрихи были до смешного заметны и бесспорно могли насторожить незваных визитеров. Я отмечала место на полу, где стояли мои туфли, и положение их каблуков, отмечала положение стопки бумаги в шкафу, отмечала положение оторванного кармана на серо-голубом шерстяном платье в гардеробе. Я записывала, что отметила и как именно, прятала записку в сумку, а вернувшись, сверяла по записке свои отметки.

К моему разочарованию — ибо в то время, по непонятным причинам, я бывала разочарована, если не обнаруживала в квартире изменений, точнее вполне определенных изменений, ведь в том нервном и возбужденном состоянии, в каком я тогда пребывала, бог знает что могло показаться изменившимся,— так вот, к моему разочарованию, все лежало и стояло точно на тех же местах, на каких было оставлено перед уходом. Мысль, что из-за броских пометок шариковой ручкой это отнюдь не было чудом, пришла мне в голову лишь позднее.

Со временем став более изобретательной, я частично убрала свои неуклюжие, жирные пометки, частично же сохранила на прежних местах, кое-где нарочно поставила прямо на них ножки кресла, кое-где, наоборот, придвинула ножки вплотную, чтоб создать впечатление крайней непоследовательности, призванной озадачить незваных визитеров.

Одновременно я изобрела отметки гораздо более утонченные. К примеру, укладывала друг на друга две отпечатанные на машинке страницы рукописи таким образом, чтоб определенный угол верхней страницы пересекал определенное слово на странице, лежащей под ней, да к тому же упирался в определенную букву. Шариковую ручку я оставляла на странице в таком положении, чтоб ее концы указывали на строго определенные буквы. Лупу я размещала на странице письма так, чтоб край ее пересекал строго определенные слова. Во-

круг записной книжки, которую незваные визитеры должны были счесть подлинным кладом, я в строго определенном порядке рассыпала хлебные крошки. Перед уходом я закрывала все окна, чтоб ни малейший сквозняк не внес свои коррективы, набрасывала точную схему оставленных отметок и забирала ее с собой. Такие меры предосторожности я принимала перед уходом ежедневно.

И действительно, на сей раз отнюдь не потребовалось недель, чтоб обнаружить очередные изменения. Уже через несколько дней, вернувшись домой, я обнаружила, что положение машинописных страниц, положение шариковой ручки, лупы и распределение хлебных крошек по столу не совпадают с моим чертежом. К тому же я установила тогда, что незваные визитеры наведываются ко мне в квартиру много чаще прежнего.

Что-то, должно быть, усилило их подозрения, вместо того чтоб свести к минимуму. Часами я размышляла, в чем же тут дело. До полуночи ворочалась без сна, пытаясь понять, что же во мне самой и в моем поведении столь подозрительно. Однако ничего разумного в голову не приходило. И до сих пор у меня нет этому объяснения. Хотя я бы многое отдала за то, чтоб хоть как-то выяснить это. Ведь именно полная неосведомленность в первую очередь порождает беспокойство.

Теперь я уже не помню точно, когда это произошло. Как-то раз после обеда, делая в городе покупки, я вдруг сообразила, что за мной наверняка следят; вполне понятно, они ведь не хотели подвергаться риску быть застигнутыми мною в моей же квартире: подобные обыски на частных квартирах, независимо от того, жили там раньше террористы или нет, считаются в наши дни, как и прежде, незаконными.

Сознание, что за тобой следят, завладевает человеком полностью. Оно меняет его, хоть и не сразу, но незаметно, исподволь и в итоге необратимо. Даже самым обычным действиям, таким, скажем, как покупка сигарет или раскрытие зонтика, оно придает элемент значительности. Так называемый повседневный быт перестает существовать. Бытие человека, за которым следят, постоянно отмечено печатью исключительности. Пусть не сразу вырастая до государственных масштабов, поступки человека, за которым следят, нередко обретают в его собственных глазах — благодаря той оценке, возможно лишь предполагаемой, какую им дают замеченные или незамеченные, подлинные или воображаемые наблюдатели, следующие или якобы следующие за ним по пятам,— масштабность, каковой они полностью или по крайней мере частично лишены в обыденной жизни.

Человек, за которым следят, в своих поступках похож порой на актеришку из балагана, а порой на психически больного.

Ведь не так это просто — обнаружить среди машин, с утра до поздней ночи наводняющих улицы такого города, как Мюнхен, те самые машины. И совсем не так просто обнаружить среди прохожих, с утра до поздней ночи снующих по улицам такого города, как Мюнхен, лиц обоего пола, находящихся у государства на особой службе. То есть обнаружить их в полном смысле этого слова, разумеется, невозможно. Их можно разве что спровоцировать тем или иным неожиданным маневром, добиться реакции, выдающей истинные их намерения.

Так, например, приметив поблизости нарочито неприметно одетого человека, я, спокойно дожидаясь поезда метро в направлении Кифернгартена, в самый последний момент прыгала в поезд по другую сторону платформы, следующий в направлении Харраса. Если подозрительный субъект, спокойно, как и я, дожидавшийся поезда на Кифернгартен, тоже в самый последний момент предпринимал попытку пересесть в поезд на Харрас, я считала, что добилась своего.

Так, например, я заходила в какой-нибудь сравнительно недорогой обувной магазинчик, где обычно на стеллажах выставлены туфли всех размеров лишь на одну ногу и, если вы остановили на чем-нибудь свой выбор, приходится просить продавщицу принести пару. Если следом за мной в магазин входил один из этих нарочито неприметно одетых людей, можно было бы счесть это случайностью. Однако, если я, не взяв в руки ни одного образца, резко поворачивалась и быстро выходила из магазина и следом за мной тот человек, точно так же не взяв в руки ни одного образца, резко поворачивался и быстро выходил из магазина, я считала, что добилась своего.

Выдавались дни, когда у меня на них словно просыпался особый нюх. Пожилых сотрудниц особого государственного учреждения я узнавала по их грубошерстным темно-зеленым пальто, по шляпкам в национальном стиле, отвисшей челюсти и злобной гримасе на лице, более молодых — по наглухо застегнутым кроличьим жакетам или пальто, по безнадежным усилиям, несмотря на весьма скромный доход, не слишком отставать от моды.

Сотрудников мужского пола я, так мне казалось, узнавала по клетчатым кепочкам, старомодным, порой весьма поношенным пальто, по непривычно широким брюкам, какие носили много лет назад. Настораживало и то, что в разгар дня, когда большинство людей находится на работе, они, непринужденно помахивая газеткой, прогуливались по городу, хотя отнюдь не производили впечатления ни богатых бездельников, ни туристов, ни безработных бродяг. Порой кто-то из них останавливался не где-нибудь, но перед витриной магазина женской одежды или, что еще смешней, перед витриной модной лавки для молодежи и, уставившись на выставленные наряды, дожидался, пока я пройду мимо. И потом отправлялся вслед.

Другие поспешно обгоняли меня, чтоб затем медленно тащиться впереди, так что, когда я спешила сама, уже мне волей-неволей приходилось их обгонять, и предположение, будто они намеренно следуют за мной по пятам, казалось идиотским. Если же у меня было время, то, несмотря на сильное нетерпение, я замедляла шаги и плелась сзади, дожидаясь, когда мой соглядатай повернет голову, чтоб удостовериться, иду ли я следом. И действительно, рано или поздно так поступали все эти господа, поспешно обгонявшие меня вначале, а потом томительно медленно тащившиеся впереди. Они не просто оглядывались один раз, случайно, нет,— оборачиваясь неоднократно, они искали меня взглядом и, лишь заметив, что я в упор фиксирую каждое их движение, рывком поворачивали голову вперед.

Возможно, их научили этой уловке, а то и форменным образом натаскали. Впрочем, ни сами они, ни те, кто их натаскивал, ни даже начальники тех, кто их натаскивал, не отличаются, похоже, особой изобретательностью. Кому волей-неволей приходится столкнуться с ними в силу обстоятельств, тот раскрывает со временем все их уловки.

А кроме того, человек, за которым следят, нередко встречает людей, за которыми следят точно так же. Трудно объяснить это всего лишь случайностью. Слежка в нашей стране, между прочим, ведется за куда большим числом людей, чем воображают многие наши сограждане. Представьте, что в нашей стране вдруг резко сократится число террористов и прочих врагов конституции,— последствия для многочисленных сотрудников и сотрудниц особого государственного ведомства будут самые плачевные: упадет трудовая мораль, с утра до вечера им придется бездельничать и предаваться собственным мыслям.

Как бы то ни было, человек, за которым следят, не одинок, хотя случаются мгновения, когда он чувствует себя покинутым всеми на свете, когда даже у друзей его история вызывает лишь недоверие или, что еще хуже, почти неприкрытую скуку. В последнее время, как я уже говорила, люди, за которыми ведут слежку, не так уж редко

встречают товарищей по несчастью. Доходит даже до обмена опытом, сравнения наблюдений. С радостью, более того, с удовлетворением признают они правоту друг друга, и есть в этом что-то крайне смешное, нелепое.

Удовлетворение проистекает прежде всего оттого, что сходные наблюдения, сделанные, помимо тебя, другим человеком, доказывают лишний раз, что ты отнюдь не страдаешь навязчивыми идеями.

К примеру, в доме одной издательницы в Фельдафинге я встретила человека, за которым тоже следили, и он подтвердил то, что раньше установила я сама, а именно: твой автомобиль преследует обычно не одна, а несколько сменяющих друг друга машин, они блокируют движение позади, совершают затем обгон и, рассыпавшись в разные стороны, едут вперед, отчасти потому, что цель твоей поездки заранее известна всем этим дамам и господам из ведомства по охране конституции благодаря подслушанным телефонным разговорам и вскрытым письмам, отчасти же потому, что им не составляет труда связаться друг с другом по радио и устроить все так, чтобы в тот момент, когда одна их машина сворачивает с магистрали, прямо перед ней или сразу же вслед за ней на эту магистраль устремилась другая их машина, разумеется, если она уже не поджидала у обочины с включенным двигателем.

Редакторша, за которой, как ей казалось, следили уже давно (поскольку у нее был друг, несколько лет назад находившийся в близких отношениях с девушкой, ставшей потом террористкой), подтвердила вдобавок мои наблюдения насчет автомашин, ведущих слежку: среди них встречаются и почтовые автомобили, и автомобили с рекламными щитами, и легковые фургоны с задернутыми занавесками, и даже учебные автомобили с табличкой «За рулем ученик».

Когда около половины второго ночи я вернулась из Фельдафинга и вошла в подъезд, лифт был занят. Я прислушалась. Однако, кроме тихого шелеста приближающегося лифта, ничего слышно не было. Никто в подъезде не принимал гостей, никто не устраивал семейного торжества. Лифт замер передо мной на первом этаже. Когда двери открылись, я непроизвольно шагнула назад.

И тем не менее при виде меня человек в лифте, казалось, перепугался не на шутку. Побледневший, с расширенными глазами, он несколько секунд пялился на меня, потом, едва слышно выдохнув «добрый вечер», выскочил из лифта и чуть ли не бегом бросился к выходу.

Это был мужчина лет сорока двух — сорока пяти, темноволосый, лысоватый, с нездоровым цветом лица, он выглядел точно так, как в моем представлении выглядит тайный соглядатай. На нем было поношенное, старомодное, необычайно длинное черное пальто с оттопыренными карманами и истрепанным воротником, уголки которого словно кто-то обкусал: резкий, почти нечеловеческий запах исходил от него. Пахло, скорее всего, каким-то химикатом или даже смесью разных, непонятно каких химикатов. Запах этот исходил не только от него. Лифт, поднимавший меня на шестой этаж, тоже пропах этим химикатом или этой смесью.

Поднявшись наверх, я обнаружила, что оба коврика — мой и соседей напротив — сдвинуты, будто на них поскользнулся кто-то, стремительно выскочивший из квартиры: вместо того чтоб лежать как положено, у самых дверей, коврики валялись теперь посреди коридора. В квартире я обнаружила еще более явственные перемены, происшедшие за время моего многочасового отсутствия.

Крашеный коричневый шкаф в крестьянском стиле к моменту моего возвращения стоял в прихожей совсем не так, как прежде; его обычное место было слева от входной двери, где у стены с незапамят-

ных времен отсутствовал плинтус. Сейчас шкаф был отодвинут примерно на полметра и, должно быть из-за нехватки времени, так и не поставлен на место.

Прежде чем задвинуть его на место, я сунула руку в узкую щель между полом и стеной, туда, где, как я уже сказала, с незапамятных времен отсутствовал плинтус. Вместо засыпки в этой щели теперь была пустота. Насколько глубока была щель, в ту ночь мне выяснить не удалось — как из-за отсутствия нужного инструмента, так и из-за отсутствия должного спокойствия. Впрочем, в тот момент мне и не хотелось это выяснять.

Я снова принялась искать по всей квартире следы незваных визитеров. И делала это в ту ночь без всякой системы. Растерянно и торопливо выхватила с полки пару книг, осветила карманным фонариком слой пыли за ними, но отпечатков пальцев не обнаружила. Вытащила наугад несколько папок, взяла стопку кофточек с полки в платяном шкафу. Я светила фонариком во все шкафы, высвечивала пространство над ними, пол, пятна сырости на потолке в кабинете.

И хотя было ясно, что пятна сырости появились на потолке отнюдь не по вине господ из особого ведомства, а из-за обильных дождей и снегопадов, я уставилась на них с недоверием, со злостью поначалу и со все большей растерянностью в конце. В ту ночь все в квартире казалось мне изменившимся, даже трещина на потолке в гостиной, справа, примерно там, где потолок смыкается со стеной. Теперь она казалась мне глубже и длиннее. И не только казалась: она и в самом деле стала глубже и длиннее. Причину этого я не могу понять до сих пор.

Мне вдруг почудилось тогда, что и платья мои висят по-другому, и книги, папки и даже шкафы стоят по-другому, что они перекладывали стопки белья, рылись в полотенцах.

Я провозилась до рассвета, время от времени я присаживалась и сидела, уставившись в одну точку, то с ненавистью, то равнодушно позевывая; в квартире я все перевернула вверх дном и уже не стала наводить порядок. Не было сил. Я выключила свет и улеглась в постель.

Однако, несмотря на усталость, заснуть я не смогла. На часы я не смотрела. Но помню, что долго еще лежала без сна, снова и снова пытаясь понять, что же во мне самой и в моем поведении столь подозрительного. Через несколько дней я чуть было совсем не потеряла голову.

Моя сестра, живущая в Мюнхене, в районе Л., пригласила меня к себе поужинать. В тот день сразу после обеда повалил снег. Я хотела заказать такси. Но на стоянках, куда я звонила, никто не отвечал. Поэтому я отправилась на ближайшую стоянку пешком.

Сегодня у них опять что-то затевается, подумала я, выходя из дома. Не успела я появиться на улице, как в ту же минуту — в последнее время так бывало часто — с места сорвались разом три машины: желтый «гольф» и зеленый «рено», стоявшие у противоположного тротуара, и белый «фольксваген», приткнувшийся у тротуара возле моего подъезда; все они устремились в одном направлении, все объехали по нескольку раз квартал, пока я дожидалась на стоянке такси. Когда же наконец я села в машину, все три автомобиля двинулись за ней, обогнали и какое-то время ехали впереди, потом свернули в разные стороны, передав наблюдение за такси другим машинам, стоявшим у обочины с включенным двигателем.

В тот вечер я не стала рассказывать сестре о своих наблюдениях, ведь кроме ее мужа, в прошлом члена консервативной студенческой корпорации, который либо посмеялся бы надо мною в кулак, либо потом досаждал бы из-за меня сестре, за столом сидел еще мой отец.

В отличие от зятя отец, по-моему, просто схватился бы за голову. Дело в том, что его мать под старость поместили в психиатрическую больницу, там она и умерла, ей все мерещилось, будто соседи или какие-то посторонние люди проникают в ее отсутствие в квартиру и создают там немыслимый хаос, который на деле создавала она сама, разыскивая по всей квартире своими же руками переложенные вещи.

Когда часа примерно через три в сопровождении отца и мужа сестры я шла по пешеходной дорожке, отделяющей квартал, где живет сестра, от улицы, мне бросилась в глаза одна из стоявших у противоположного тротуара машин, наполовину занесенная снегом: в ней сидел человек в шляпе. Следует отметить, что улица, по которой мы шли, освещена была более чем тускло, а в это время — около десяти часов вечера — кругом не было ни души. Наше приближение отнюдь не смутило сидевшего за рулем мужчину в шляпе, он даже на мгновение не повернул головы в нашу сторону, продолжая неподвижно сидеть, уставившись на безлюдный, занесенный снегом газон.

Отец и зять торопились попасть в тепло из-за пронизывающего ветра, им было не до человека, неподвижно сидевшего в почти занесенной снегом машине в столь позднее время в безлюдном проулке и внимательно разглядывающего занесенный снегом газон. Я ничего им не сказала.

Дома я, вооружившись фонариком, принялась заново исследовать квартиру. Дело в том, что на сей раз я приметила еще и полицейскую машину, следовавшую за нами на некотором расстоянии. Не успела я войти в подъезд, как полицейский автомобиль промчался мимо. Разумеется, это могло быть чистой случайностью, а могло случайностью и не быть. В машине сидели двое полицейских, и ни один из них, проезжая мимо нашего дома, не повернул головы.

Тем вечером и ночью я окончательно пришла к выводу, что в мое отсутствие кое-где в квартире открывали или чуть сдвигали плинтусы, вынимали и укрепляли заново половицы. Кое-где между плинтусами и стеной зияли щели чуть ли не в сантиметр. Щели между половицами были, правда, не столь широки. Зато по краям половиц там и сям заметны были выщербины. Они бросались в глаза из-за более светлого цвета древесины. А еще бросалось в глаза, что в щелях не было ни пылинки.

Потом я заметила на белом шерстяном ковре в гостиной вмятины рядом с ножками кресел, то же самое — рядом с ножками журнального столика. Помимо кресел и журнального столика незваные визитеры явно сдвигали еще и мой письменный стол. На голубом ковре в кабинете также выделялись прежние вмятины по соседству с ножками письменного стола.

Полночи я в свою очередь сдвигала в сторону кресла, журнальный столик, софу, письменный стол, телевизор, кухонные шкафы, шкаф в прихожей, скатывала ковры и со все возрастающим недоверием и все большей неуверенностью изучала половицы и плинтусы. Ближе к полуночи состояние моего духа стало настолько тревожным, что я позвонила в Н. своей приятельнице Марго Р., как я уже сказала, по профессии врачу, с просьбой выписать мне успокоительное и отправить рецепт спешным письмом.

После этого я вновь занялась плинтусами и половицами, все больше утрачивая целостное представление о происходящем. Пожалуй, я и в самом деле была тогда на пределе. Вдруг мне показалось, что все изменилось, опять я с недоверием уставилась на пятна сырости в кабинете, хотя прекрасно понимала, что уж пятна-то обязаны своим возникновением не господам из особого ведомства, а лишь обильным дождям и снегопадам.

В конце концов я оставила все как есть, приготовила постель, выключила свет, убрала фонарик и легла. Услыхав минуты через две после того, как был выключен свет, шум двух отъехавших от дома

машин, я в тогдашнем моем состоянии придала этому факту чрезвычайное значение. Что это могли быть машины каких-нибудь запоздалых гостей из соседних домов или даже из нашего дома, только сейчас разъезжавшихся по домам, мне вообще не пришло в голову. Я поднялась, слегка отодвинула штору и выглянула из окна, под которым находится мое изголовье, на улицу. Но машины были уже слишком далеко, даже задних огней не видно. Тут мне бросилось в глаза, что в окне дома напротив, на третьем этаже, все еще горит свет.

Это ничего не доказывает, убеждала я себя, вновь укладываясь в постель.

В ту ночь я больше не размышляла о том, что же во мне самой и в моем поведении столь подозрительного. Гораздо больше меня занимал вопрос, не вздумается ли сим почтенным господам, после того как они затратили на меня столько времени и усилий, при необходимости подбросить мне в квартиру компрометирующие материалы. А кроме того, я пыталась представить, каково это — находиться в тюремной камере.

Наутро я продолжала тщательное обследование квартиры, точнее: значительно увеличила хаос, созданный минувшей ночью. Между делом я позвонила Томасу Ш. в надежде, что он сумеет помочь мне благодаря своим обширным связям. Он пообещал заехать около шести.

К полудню я наконец обнаружила в щели между половицами в кабинете три тоненькие, размером со спичку, шутихи, покрытые толстым слоем пыли, накопившейся с течением времени; три шутихи, завернутые в розовую бумагу трубочки с короткими фитилями; в тогдашнем моем состоянии я приняла их за что угодно, только не за обычные хлопушки, которые продаются в канун Нового года в любой мелочной лавке.

Развернув розовую бумагу, я обнаружила внутри порох и мгновенно утвердилась в мысли, что, пока я была у сестры, они подложили мне под половицы оружие и боеприпасы. До смерти напуганная воем как назло грянувшей тогда полицейской сирены, я выбежала из квартиры, зажав в руке распотрошенную и обе нетронутые шутихи, бросилась вниз по лестнице и принялась трезвонить в дверь к Петеру Х., который, как я уже говорила, жил этажом ниже. Продемонстрировав шутихи, я ошарашила его сообщением, что мне, кажется, подложили вчера вечером с провокационной целью оружие и боеприпасы, и попросила о помощи.

Петер Х. поднялся со мной в квартиру, я заперла дверь и беспомощно заметалась по комнатам; Петер Х. сыпал язвительными замечаниями насчет ужасающего беспорядка, я же не могла оторвать глаз от пола и наконец, решительно вооружившись клещами, отверткой и молотком, начала отдирать в гостиной плинтусы, порожек и примыкающие половицы.

Хотя именно этот участок казался мне особенно подозрительным, я, отодрав в конце концов половицы, не нашла там ничего особенного, кроме деревянных планок, остатков штукатурки и отопительной трубы. Петер Х., качая головой, вернулся к себе. Чем я занималась в тот день после обеда, теперь уже не помню. Помню лишь, что ждала рецепта на успокоительное, пыталась кое-как навести порядок и одновременно вновь создавала хаос, заново исследуя плинтусы, половицы, отверстия от сучков, царапины, щепки.

До сих пор я считала, что, прожив больше года в этой двухкомнатной квартире с кухней, прихожей и ванной, общей площадью, как я уже говорила, восемьдесят квадратных метров, я знаю ее как облупленную. Я бы просто высмеяла любого, кто посмел бы в этом усомниться. На деле же я знала ее далеко не так хорошо,— к моему

глубочайшему изумлению, я даже не могла на сто процентов быть уверенной в тех микроскопических изменениях, которые, как мне казалось, сумела обнаружить. И то, что я тогда предприняла, было, можно сказать, настоящими исследовательскими экспедициями по собственной двухкомнатной квартире.

Еще когда я занималась обследованием плинтусов, половиц, отверстий от сучков, царапин, щепок, в дверь вдруг позвонили. На пороге стоял Петер Х. Он выглядел не просто ухоженным, следящим за собой человеком. Он успел буквально разодеться в пух и прах. На нем был серый фланелевый костюм, свежая рубашка, он был самым тщательным образом причесан и выбрит — поначалу я только с удивлением отметила все это, никак не связав с оброненными мною словами об обещании Томаса Ш. заехать около шести.

Петер Х. осведомился, удалось ли мне наконец прийти в себя. Я пригласила его зайти, но предупредила, что долго оставаться ему не стоит, так как с Томасом Ш. мне хотелось бы побеседовать наедине. Он как будто бы не возражал. Что он может дождаться Томаса Ш., а потом попросту взять и не уйти — такое мне в тот момент даже в голову не приходило.

А на деле Петер Х., после того как Томас Ш. позвонил в дверь, поднялся с кресла всего раз, и то лишь затем, чтоб снова откинуть ковер, которым я наспех прикрыла развороченные половицы у двери гостиной, он вынул эти половицы и прислонил к стене, чтоб развороченный пол тотчас бросился в глаза вошедшему.

Пусть он все это увидит, заявил Петер Х. и снова плюхнулся в кресло, не обращая внимания на мои намеки оставить нас одних. Он лично продемонстрировал Томасу Ш. разобранный пол, словно боялся, что тот не уделит ему достаточно внимания, а потом битый час старался посеять в нем сомнения насчет достоверности моих выводов и моей трактовки предшествующих событий.

Казалось, он совсем забыл, как недавно сам же рассказывал мне о людях, часами просиживающих прямо против нашего дома в автомашинах, о дверном замке, который с некоторых пор стал у него хуже работать, о рукописях, которые время от времени кто-то перекладывал у него на письменном столе.

Томас Ш., понятно, не мог не заметить настойчивости, с какой Петер Х. отрицал всякое правдоподобие моих рассказов,— лицо его при этом раскраснелось, исказилось от напряжения и какого-то непонятного возбуждения,— так вот, Томас Ш. напрямик спросил Петера Х., почему это для него столь важно, чтоб мои рассказы воспринимались исключительно как плод больного воображения.

И тут Петер Х. смешался. Все, конечно, возможно, заюлил он, даже слежка за моей скромной особой, даже обыски у меня на квартире. Но все-таки наибольший интерес из двоих, подвел он итог, представляет он, Петер Х., и если уж за кем-то должна вестись слежка, если уж у кого-то должны проводиться обыски в квартире, то, разумеется, он первый на очереди.

Но ведь не исключено, что и твою квартиру обыскивают, заметила я.

И уж чего он совсем не понимает, продолжал Петер Х., так это что я не способна взглянуть на все с иронией.

Ты только подумай, с иронией! — воскликнул Томас Ш., покачав головой. Однако Петер Х. резко сменил тему и заговорил о высокой роли поэзии, которую он толкует весьма расплывчато, и о месте поэта в обществе, которое в его рассуждениях тоже оказывалось довольно неопределенным.

Впрочем, в тот вечер я не собиралась вникать в его болтовню. Я перевела разговор на террористов, живших в этой квартире, когда он числился съемщиком.

Застигнутый врасплох, Петер Х. не стал отрицать, что лет шесть назад здесь действительно обитали какое-то время террорист П. и террористка Х. Более того, он подтвердил, что очень сблизился тогда с ними. Упомянул в свойственной ему уклончивой манере, что и самого его однажды задержали на сутки. После чего вновь посоветовал мне смотреть на подобные вещи с иронией.

Но если оружие, некогда принадлежащее П., найдут теперь в этой квартире, плохи ее дела, сказал Томас Ш. А может, они и в самом деле нашли что-то при обысках, добавил он.

Эта простая мысль вообще не приходила мне в голову. Она казалась чудовищной и одновременно убедительной, хоть как-то проясняя обыски, все чаще повторявшиеся у меня на квартире, усиленную слежку за моей скромной особой. Я вдруг взглянула на развороченные половицы другими глазами. Под ними ведь могло находиться бог знает что, точнее: под ними и сейчас может находиться бог знает что. Ведь до сегодняшнего дня я не проводила планомерного исследования всех половиц, да и никто не делал этого по моей просьбе.

А может, стоит самой обратиться в полицию: так, мол, и так, мне стало известно, что в моей квартире лет шесть назад обитали террористы, и попросить их проверить пол? — спросила я Томаса Ш.

Тот поначалу нашел идею неплохой, однако затем счел, что при таком раскладе полицейские решат, будто я собираюсь заранее снять с себя любые подозрения, чтоб потом беспрепятственно укрывать здесь оружие и боеприпасы.

После такого заявления они будут обыскивать квартиру еще более тщательно, сказал он.

Он обещал подумать, чем тут можно помочь. Кстати, какое-то время Томас Ш. не подавал о себе вестей. Да он и не скрывал, что вся эта история со слежкой и обысками убедила его лишь наполовину, главным образом, по-моему, из-за ехидных замечаний и всего поведения Петера Х.

Почему все-таки Петеру Х. было так важно, чтоб Томас Ш. не поверил моим словам, я и сегодня не могу толком объяснить. А в тот вечер, возмущенная до глубины души, я в конце концов прогнала его и вышла на улицу вместе с Томасом Ш., чтобы продемонстрировать, как при моем появлении сорвутся с места машины, стоящие прямо против моего дома, у противоположного тротуара.

Однако, когда мы оказались на улице, ни одна машина с места не тронулась. И в течение следующих пяти минут, пока мы медленно прогуливались вокруг квартала, не произошло абсолютно ничего из ряда вон выходящего.

Вернувшись домой, я занялась уборкой. И еще до того, как я улеглась в постель, позвонил почтальон и вручил мне спешное письмо с рецептом успокоительного. Впрочем, в аптеку я отправилась лишь на другой день. Приняла двойную дозу и проспала в общей сложности, не считая коротких мгновений, когда я просыпалась и вновь глотала таблетку, пятьдесят шесть часов. С тех пор мысль, что меня могут вдруг без видимой причины арестовать, уже не внушает мне былого ужаса. Панический страх перед новыми актами произвола, охвативший меня с того самого дня, как я окончательно убедилась, что квартиру мою обыскивают, а за моей скромной особой ведется слежка,— этот страх улетучился раз и навсегда.

Теперь я уже точно не припомню, когда это было. Должно быть, недели за две до разговора с Томасом Ш. на веселом сборище после премьеры какой-то бульварной французской пьесы в полуподвальном мюнхенском театрике, куда я отправилась лишь потому, что там играла моя знакомая актриса, да, именно там я познакомилась с неким господином Андауэром, по крайней мере так он себя назвал. Господин

Андауэр, довольно высокий, крепкий, гладко выбритый мужчина с голубыми глазами, зачесанными назад светлыми волосами и весьма невыразительным носом, я бы даже сказала — носиком, поначалу не вызывал у меня подозрений. Однако что-то в этом господине, назвавшемся стажером и ни с того ни с сего поведавшем мне о своем намерении стать адвокатом, настораживало меня.

Господин Андауэр, не знакомый, судя по всему, ни с кем, кроме владельца театрика, кстати парня весьма сомнительного, ни с актерами, ни с собравшимися на премьеру зрителями, одиноко стоял в фойе в расстегнутом пальто, а после того как владелец театрика заявил, что в это время вызвать такси невозможно, пригласил меня в свою машину. Подъехав к моему дому, он предложил выпить еще где-нибудь по бокалу вина. Отвергнуть его предложение было неловко, ведь он только что оказал мне любезность.

Итак, мы отправились в итальянский ресторанчик, расположенный в подвале через два дома от моего, выпили по стакану глинтвейна, отведали пиццы и проболтали с час; точнее, это господин Андауэр, запомнивший, к моему изумлению, что в театре я сидела в третьем ряду, болтал не закрывая рта, я же в основном слушала и пыталась определить, что передо мной за человек.

Он не просто демонстрировал, действуя мне на нервы, самые изысканные манеры, какие обыкновенно приобретают в танцклассе. Он отрекомендовался вдобавок поклонником Рильке и заявил, что чтение этого поэта оказывает на него умиротворяющее воздействие продолжительностью в несколько дней. Да, еще он утверждал, что безумно любит природу. Мечтательно прикрывая время от времени глаза, словно пытаясь оживить перед мысленным взором благостную идиллию тихого рождественского вечера, он описывал мне безлюдный ландшафт, вид на который открывается из его однокомнатной квартиры в одном из мюнхенских пригородов. Потом поведал, на сей раз куда более робко, что интересуется боксом, и даже признался, что является любителем кулачных поединков не только как зритель.

Ему не хотелось бы пугать меня, заметил он, но он в самом деле давно занимается этим спортом. И кстати, тренируется всего в двух минутах ходьбы от моего дома, в спортклубе.

Вполне возможно, что господин, назвавшийся Андауэром и выдававший себя за поклонника Рильке и будущего адвоката, стремился, с одной стороны, завоевать мое расположение, с другой же, отрекомендовавшись весьма тренированным боксером-«любителем», кое в чем и предостеречь меня. В тот вечер сей господин с гладко выбритым и потому как бы голым лицом, со своим крохотным носиком и изысканными манерами, которые он демонстрировал с вымученной улыбкой, постоянно боясь совершить какой-нибудь faux pas[1], особенно при входе и выходе из ресторанчика, когда он то опережал меня, то пропускал вперед, даже если ради этого приходилось буквально протискиваться мимо,— так вот, в тот вечер господин Андауэр не повернулся ко мне еще одной важной своей гранью, а именно симпатией к террористам.

Это он осуществил при следующей нашей встрече. А устроил он ее весьма смешным и наивным образом. Позвонил около девяти вечера и сообщил, что только что вышел из спортклуба в двух минутах ходьбы от моего дома. Потом спросил, не может ли он сейчас вернуть мне книгу, которую взял почитать тогда, после премьеры.

Я хотя и согласилась, однако дала понять, что визит не должен затягиваться. Только я положила трубку, как господин Андауэр уже звонил в подъезде.

[1] Промах *(франц.)*.

Несмотря на то что на шестой этаж он поднимался лифтом, а не несся сломя голову по лестнице, дыхание он переводил с трудом, а это доказывало, что путь от телефона-автомата к моему дому был проделан весьма быстрым шагом, может даже бегом. Несмотря на зимнюю пору, на нем была всего-навсего черная, видавшая виды куртка, а не пальто, должно быть, потому, что плащ, бывший на нем во время премьеры, и очень потертое замшевое пальто цвета охры, надетое им в третью и покуда последнюю нашу встречу, производили еще более неприглядное впечатление, нежели эта явно видавшая виды черная куртка.

Как бы там ни было, рука, которую он протянул мне, здороваясь, была холодна как лед. Заверив, что моя книга в полной целости и сохранности, он извлек ее из пластикового пакета в черно-белый цветочек, затем тщательно свернул пакет до размеров носового платка и положил на столик в прихожей столь бережно, что можно было подумать, он собирается забрать его уходя — и в самом деле, прощаясь, он сунул пакет в нагрудный карман своей куртки.

По меньшей мере столько же времени, сколько ушло на складывание пластикового пакета, потребовалось поклоннику Рильке и боксеру-«любителю», повернувшемуся в тот вечер, как я уже говорила, еще одной важной своей гранью, а именно симпатией к террористам, и неоднократно — то настойчиво, то томительно-скучно — пытавшемуся спровоцировать меня, так вот, столько же времени потребовалось господину Андауэру, чтобы решиться в тот вечер на стаканчик пива. Когда в конце концов он сдался и позволил себе этот стаканчик, впечатление было такое, будто он нарушает некий твердый жизненный принцип и ему еще предстоит ответить за это перед собою и господом. Кстати, пока я наливала себе стакан кока-колы, он предостерег меня и от этого напитка.

К подобным напиткам пристраститься так же легко, как к алкоголю, заметил он. Он знает одного бывшего алкоголика, который после того, как бросил пить, «заболел» кока-колой.

Прежде чем завести разговор о терроризме, господин Андауэр успел признаться еще в любви к животным, точнее: он был владельцем двух попугаев, которые, по его словам, частенько ни свет ни заря поднимают его своими криками с постели.

Может, сказал он, стоит ради попугаев подыскать квартиру побольше, а может, лучше сбыть кому-нибудь этих птиц, которые так и не научились разговаривать. Его самого тридцатиметровая однокомнатная квартира вполне устраивает. Да и вообще, вряд ли удастся быстро найти другую квартиру со столь прекрасным видом на безлюдные луга и поля.

Вслед за этим господин Андауэр перевел разговор на терроризм, причем настолько неожиданно и неловко, что даже у самого наивного простака неизбежно зародилось бы подозрение, что разговор этот преследует вполне определенную цель. К тому же он совершенно не владел аргументацией террористов и тех, кто питает к ним симпатию.

В культурном отношении, заявил он, Западная Европа, да и Восточная тоже, выдохлись. Ничего интересного больше не произойдет ни в одной области, так он полагал.

Вот были террористы, продолжал он, тогда по крайней мере хоть что-то происходило.

Это не аргумент, заметила я.

Но господин Андауэр проигнорировал мое замечание. С наигранным пафосом он провозгласил, как стыдно ему, что он продолжает жить, когда трое покончивших самоубийством в тюрьме Штаммгейм давно преданы земле. В том, что они покончили самоубийством, он ничуть не сомневался.

Мне стыдно, что я продолжаю жить, повторил он несколько раз.

А чего, собственно, вы стыдитесь? — удивленно спросила я.

Этого я не могу объяснить, мне просто стыдно, ответил господин Андауэр. А разве вы не ощущаете ничего подобного? — добавил он, присовокупив к вопросу настороженный, явно недоброжелательный взгляд в мою сторону.

Вот с этого момента я, пожалуй, начала понимать, с кем имею дело. Я мгновенно подобралась, и вовсе не потому, что питаю какие-то симпатии к террористам или хотя бы частично одобряю их теории. Я была начеку, так как сказала себе: любое необдуманное слово, любое хоть чуточку двусмысленное высказывание они, конечно же, истолкуют в нужном им смысле и используют против тебя.

Но не используют ли против меня и мои отрицательные высказывания по поводу терроризма? Не расценят ли их как хитроумный маневр с целью замести следы?

Господин, назвавшийся Андауэром, не оставил своих усилий и после того вечера. В тот вечер, однако, он быстро сменил тему и принялся рассуждать о проблемах сугубо метафизических, в которых, кстати, разбирался столь же мало, как и в вопросах, связанных с терроризмом. Иначе он вряд ли счел бы меня террористкой, не стал бы иносказательно предостерегать от ударной силы своих кулаков, не изучал бы меня столь оценивающим, холодным, а временами весьма недоброжелательным взглядом. Впрочем, по-настоящему опасным господин Андауэр казался, только когда голос его понижался до шепота.

Я слушала его с дружелюбной миной, хотя отвечала односложно. Одновременно я пыталась определить, есть ли у него оружие, не спрятан ли где портативный магнитофон или микрофон направленного действия. А еще я раздумывала, как бы исхитриться разоблачить его. На мгновение я даже решила под каким-нибудь предлогом выйти вместе с ним на улицу и запомнить номер его автомобиля.

Но, отчасти опасаясь разбудить его недоверие, отчасти же тщеславно надеясь заманить его в кафе и украдкой сфотографировать, я не стала провожать господина, назвавшегося Андауэром, до машины. Я попрощалась с ним на пороге собственной квартиры. Уходя, он обещал позвонить в самое ближайшее время.

Он и в самом деле позвонил через несколько дней, в то же время. И точно так же, как в прошлый раз, сообщил, что тренировался в спортклубе, а потом спросил, нельзя ли заглянуть ко мне ненадолго. Прошлый раз получился очень милый вечер, заметил он.

Я ответила, что собираюсь пораньше лечь спать. У меня правда не было охоты в такой поздний час беседовать с ним наедине о смысле жизни да еще опровергать попутно его протеррористские высказывания, не зная, кто будет изучать весь этот разговор, записанный на магнитофонную пленку или подслушанный благодаря микрофону направленного действия.

Господин Андауэр обещал позвонить в другой раз. Однако, вместо того чтобы напомнить о себе еще раз телефонным звонком, он встретил меня на следующий день, судя по всему далеко не случайно, в обувном магазине на Леопольдштрассе, где я как раз примеряла туфли. Он подошел ко мне сзади и тем не менее сделал вид, будто крайне ошеломлен. Потеряв на какое-то время от неожиданной радости дар речи, он молча уставился на меня, словно не веря глазам своим, а затем произнес: неужели это действительно вы?

Впрочем, с какой целью он сам оказался в этом обувном магазине, было совершенно неясно. Целиком поглощенный изображением непомерного удивления, этот господин начисто забыл, что разыгрываемая им роль требует хотя бы для проформы подержать в руках пару мужских ботинок.

Лишь после того, как я напомнила ему об этом, точнее, после того, как я в упор спросила его, намерен ли он покупать себе туфли, он

бросил нерешительный и какой-то потерянный взгляд в направлении полок, на которых была выставлена мужская обувь самых разных фасонов и расцветок, затем сказал, что пока не решил, и, хоть я активно подбивала его на покупку, ссылаясь на низкие цены — как раз началась дешевая зимняя распродажа,— он вместе со мной вышел из магазина, пальцем не шевельнув ради покупки. Должно быть, не без оснований опасался, что начальство не возместит ему подобного расхода, произведенного во время несения службы по охране безопасности нашего государства.

На улице он предложил зайти куда-нибудь выпить кофе и тут же решительно направился в ближайшее кафе, где при входе вновь продемонстрировал свои раздражающе изысканные манеры, то опережая меня, то пропуская вперед, даже если из-за недостатка места приходилось буквально протискиваться мимо, и все это с вымученной улыбкой на лице.

Как и следовало ожидать, после нескольких вводных высказываний о Рильке, поклонником которого он отрекомендовался и в этот раз, разговор — еще до того как официантка подала кофе — перешел на террористов. И вновь его суждения были более чем дилетантскими. Они заставляли предположить, что в задачи такого рода государственных служащих, а также, возможно, в задачи их начальников и даже начальников их начальников не входит изучение хотя бы в общих чертах аргументации столь усердно и столь беспощадно преследуемых ими террористов, аргументации, о которой не так давно много писали наши газеты и журналы.

Преследование ведется явно шаблонно, даже вслепую. Какой абсурд — составлять список квартир, где некогда обитали террористы, продолжать слежку за этими квартирами, когда террористы те давным-давно за решеткой или скрылись за семью морями, и ничтоже сумняшеся втягивать в этот процесс более позднего съемщика, даже не предупредив его, скажем, при подписании контракта, до въезда в квартиру, проверять его имущество, его бумаги, его личные вещи, причем отнюдь не с уверенностью, что речь в данном случае идет о незапятнанном гражданине нашего общества, напротив, с подозрением, которое будет висеть на нем до тех пор, пока он его не снимет, а это невозможно, ибо он не догадывается, в чем его подозревают, и, скорей всего, даже не предполагает, что находится под неким подозрением, неопределенным, взятым с потолка, точнее: под подозрением, основанным на самом обычном и вполне законном факте найма квартиры; вот в этой-то абсурдности и заключено нечто угрожающее, внушающее ужас.

Исходя из такого рода подозрений, чиновник, который проводит обыск в квартире человека, поселившегося в ней после подписания вполне законного контракта и уже тем самым навлекшего на себя подозрение, может счесть подозрительным, двусмысленным и сомнительным абсолютно все. Если этому чиновнику не попадается в руки ничего, что указывало бы на темные дела, попытки конспирации, предательство и измену, если, несмотря на самые тщательные поиски, он не обнаружит в квартире ни пулеметов, ни бомб, ни ручных гранат, ни секретных планов захвата правительственного квартала, то, быть может, именно это покажется ему подозрительнее всего.

Вдруг он имеет дело с врагом государства, который настолько умен и изворотлив, что избегает хранить в собственных четырех стенах оружие, секретные планы, призывы к антиправительственным действиям? Незваный визитер не желает мириться с мыслью, что проник он в эту квартиру напрасно, проник как взломщик, как вор, больше всего на свете опасающийся соседей, вздрагивающий от каждого телефонного звонка, от каждого стука в дверь. Он продолжает поиск в жуткой спешке, ибо не знает, сколько в его распоряжении времени, не знает, когда явится попавший под подозрение хозяин дома. Он

просматривает выписки из банковского счета, изучает суммы, снятые подозреваемым со счета за последнее время. Если указанные суммы, по его представлениям, довольно велики, он находит это весьма примечательным, если, даже по его представлениям, они не столь уж существенны, он находит весьма примечательным и это.

Добиться признания собственных заслуг, получить повышение по службе, а может, и приобрести всеобщее уважение, избавившись тем самым от неизбежно связанного с подобной деятельностью привкуса чего-то подпольного и незаконного, незваный визитер может лишь в том случае, если что-нибудь найдет. Он просматривает документы подозреваемого. Образ жизни для него не просто намек на какие-то неведомые обстоятельства. К примеру, он находит одно, нет, сразу два свидетельства о разводе. А разве не было террористки, которая тоже разводилась, правда, всего один раз? Из свидетельств о разводе он узнает, что первый брак не был бездетным. Ребенок, однако, не живет с матерью, попавшей ныне под подозрение. А разве не было террористки, чьи дети так же вот жили вместе с отцом?

Недружелюбные взгляды господина, назвавшегося Андауэром, свидетельствовали о том, что по крайней мере в моем случае он абсолютно уверен: перед ним террористка, от которой его отделяет лишь столик диаметром в полметра. Иначе зачем бы он стал, время от времени теряя самообладание, бросать на меня столь недружелюбные взгляды? В конце концов, я ведь лично ему ничего плохого не сделала. Относилась к нему неизменно доброжелательно, даже с некоторой любезностью. К тому же до сих пор не я, а именно он настаивал каждый раз на новой встрече.

В те послеобеденные часы, выпив кофе и расплатившись, причем мне стоило немалого труда противостоять готовности этого господина оплатить и мой кофе, итак, в те послеобеденные часы мы порешили, что вскоре сходим куда-нибудь вместе поужинать.

А после этого будущий адвокат, поклонник Рильке и защитник террористов господин Андауэр надолго исчез из моего поля зрения. Точнее: больше я его вообще не видела. Выполнил ли он свою миссию? Сумела ли я убедить его в том, что не принадлежу к террористам и даже к тем, кто им симпатизирует? Мне кажется, скорее наоборот.

Ибо незваные мои визитеры отнюдь не отказались от своих визитов с тех пор, как господин, назвавшийся Андауэром, исчез из моего поля зрения. Через несколько дней после той как бы случайной встречи в обувном магазине на Леопольдштрассе я, открыв холодильник, обнаружила вдруг на правой стенке морозильной камеры, которая к тому же вдруг совсем оттаяла, по обе стороны кабеля, два отверстия, в которые легко проходил указательный палец. Еще через несколько дней я вдруг обнаружила на диске своего проигрывателя блестящую серебристую фольгу. А еще через несколько дней я обнаружила, что у выреза и на кончиках пояса моего летнего черного платья кусочки ткани заменены кусочками из явно другой черной ткани, факт, который я сочла в высшей степени тревожным, почти что жутким. Неожиданно мне вспомнилось, что на светло-голубом шерстяном ковре в кабинете, незадолго до того как обнаружить замененные кусочки у выреза и на кончиках пояса, я нашла обрывки черных ниток.

Я терялась в догадках: быть может, они намереваются подложить где-нибудь нити из обрезков, чтобы потом доказывать, будто я там действительно находилась. А быть может, обрезки нужны им для натаскивания ищейки. С тех пор как я надевала его в последний раз, платье, кстати, не было в химчистке. И хотя я сама не могла бы сказать, зачем это делаю, я сразу же отнесла его в чистку. А уже потом продемонстрировала друзьям, которые тоже не могли ничего понять и только разводили руками.

Даже адвокат, к которому я обратилась по данному делу, не сумел найти разумного объяснения. Он посоветовал просто выбросить платье. Я, однако, опасалась, что в определенных обстоятельствах и это можно расценить как признание вины, которая, вообще-то, до сих пор была мне неведома, вот почему до поры до времени я снова повесила платье в шкаф.

Что обрезки ткани требуются порой для выявления специфических характеристик человеческой кожи, разъяснил мне не так давно знакомый химик. Ткань на вырезе, сказал он, постоянно находится в тесном соприкосновении с кожей, кончики же пояса часто берут в руки при завязывании. Зная специфические характеристики кожи того или иного индивида, добавил он, можно установить, какая одежда, какие предметы, маски, даже оружие находились в соприкосновении с его кожей, а какие нет.

Тогда, как я уже говорила, платье было снова повешено в шкаф, и не только потому, что я боялась его выбросить, ибо это можно было бы расценить как признание неведомой мне вины. Мне пришло тогда в голову, что незваные визитеры, если им уж очень приспичит, в любой момент могут обзавестись новыми кусочками ткани. В конце концов, в двух моих шкафах одежды висит достаточно. А в том, что квартира моя, несмотря на новый секретный замок, который мне как раз тогда установили, по-прежнему будет доступна для незваных визитеров, я была уверена еще до того, как вошла в магазин, где с недавних пор создан был отдел по установке замков.

Новый секретный замок на дверях своей квартиры я установила лишь затем, чтоб исключить возможность появления в ней прежних обитателей — при этом, естественно, я в первую очередь имела в виду террориста П. и террористку Х. — ведь, воспользовавшись дубликатом старых ключей, они в случае чего могли легко проникнуть в квартиру и даже при необходимости что-нибудь там спрятать, а это уже позволило бы предположить столь тесные мои контакты с террористским миром, о каких и мечтал иной незваный визитер.

Ведь наверняка тот, кто затратил столько усилий на квартирные обыски, на слежку за неким лицом, мечтает в глубине души изобличить своего подопечного. Я, во всяком случае, легко могу представить себе, какое поистине неземное умиротворение снисходит на незваного визитера, когда после всех его нечеловеческих усилий — после многочасового, а то и многодневного ожидания, когда же, наконец, подозреваемый уйдет на время из дома, после неоднократных, бесплодных обысков на квартире, регулярно повторяющихся в течение более чем десяти месяцев, порой прерываемых неурочным возвращением хозяина и продолжаемых лишь на другой день, а то и через два, через три дня,— когда после всех его нечеловеческих усилий он натыкается наконец на что-то, оправдывающее с лихвой и подозрения, и слежку, и обыски, на что-то, требующее незамедлительного ареста подозреваемого, а в итоге, если принять точку зрения агента, с успехом завершающее долгую и утомительную операцию, в которой участвовали многие почтенные государственные служащие обоего пола.

Итак, новый секретный замок, как я уже говорила, был установлен лишь затем, чтоб исключить возможность появления в квартире прежних ее обитателей, наверняка сохранивших у себя дубликат старых ключей. В тот день, когда мне врезали новый замок, за мной с самого утра велась почти что неприкрытая слежка. Во всяком случае, когда, направляясь в школу для умственно и физически отсталых детей, о которой писала тогда репортаж, я шла к ближайшей станции метро, впереди меня с черепашьей скоростью ползла машина с двумя полицейскими. Неподалеку от метро я заглянула в аптеку, а полицейский автомобиль тут же затормозил и медленно тронулся с места, только когда я показалась в дверях. В метро меня подхватил один из молодых людей, которые в последнее время частенько попадались

мне на глаза; непринужденно помахивая газеткой, они обгоняли меня, чтоб затем томительно-медленно тащиться впереди, то слегка приближаясь, то удаляясь на небольшое расстояние и опять же весело помахивая при этом газетой. Кто следил за мной на обратном пути, сказать не могу, так как в метро я тут же принялась делать пометки для репортажа.

Когда я вошла в магазин, где недавно открыли отдел по установке замков, следом за мной вошла женщина лет пятидесяти в грубошерстном темно-зеленом пальто и шляпке в национальном стиле; пока я объясняла хозяину, какой именно замок мне хочется, она села в одно из кресел у витрины, возле самого входа, рядом с журнальным столиком.

И хотя магазин был крошечный, а сидела она примерно на расстоянии метра, вдобавок ко мне лицом, она ни разу, даже на миг не встретилась со мной взглядом, сидела, уставившись либо на свои колени, либо мимо меня, на дверь подсобки, куда ненадолго скрылся хозяин, чтобы кому-то позвонить.

Пока он разговаривал по телефону, у витрины остановились мужчина и женщина средних лет. На них тоже были грубошерстные темно-зеленые пальто и шляпы в национальном стиле, а еще солнцезащитные очки с очень темными стеклами. Женщина хотела было двинуться дальше. Однако мужчина придержал ее за локоть и, слегка потянув назад, заставил, несмотря на ее полушутливое сопротивление, задержаться у витрины.

Покатываясь со смеху, оба минуту-другую разглядывали витрину, магазин и выставленный всюду товар, а именно замки, дверные ручки, сейфы, всевозможные цепочки и задвижки, в которых я при всем желании не могла обнаружить ничего смешного; в конце концов, продолжая заливаться смехом, они зашагали дальше, к площади Д.

И пока я пыталась понять, над чем же они так смеялись, пока говорила себе: быть может, они смеются потому, что им кажется смешной и наивной надежда с помощью нового секретного замка защититься от незваных визитеров,— вернулся хозяин. Я повторила, что хочу купить новый замок, так как старый стал хуже работать, а кроме того, я опасаюсь, что у прежних квартиросъемщиков остались дубликаты ключей.

Хозяин продемонстрировал множество секретных замков и самых разных секретных устройств — и подешевле, и подороже. Иные стоили больше пяти сотен. Был там, к примеру, стальной засов шириной сантиметров двадцать, он перекрывал всю дверь, а заодно и всю стену, в которой прорубили дверь. Я остановилась на сравнительно недорогом замке, поскольку, как уже говорилось, исходила из того, что ни один замок не сможет надежно уберечь меня от экспертов, состоящих на особой государственной службе. С раздражением я несколько раз повторила, что ни капли не боюсь взломщиков. И уставилась при этом на женщину в темно-зеленом грубошерстном пальто и шляпке в национальном стиле, продолжавшую разглядывать сложенные на коленях руки.

Она поднялась, лишь когда я с одним из работников магазина, готовым немедленно врезать мне новый замок, направилась к выходу. Уже в дверях я услышала, как она вытащила связку ключей и спросила хозяина, можно ли изготовить точно такие же в трех экземплярах. Должно быть, это оказалось невозможно. Ибо она вышла почти сразу же вслед за мной, так ничего и не добившись, и тоже зашагала к площади Д., как те двое, тоже в грубошерстных пальто и шляпах в национальном стиле.

Когда работник магазина врезал в мою дверь новый секретный замок, я спросила, часто ли он сталкивается с людьми, в чьи квартиры проникают посторонние. И хотя он ответил утвердительно, но до-

бавил, что чаще сталкивается с людьми, которые воображают, будто кто-то хозяйничает дома в их отсутствие.

Обычно это пожилые дамы-пенсионерки, сказал он, которые все свои наличные деньги, все свои сбережения тратят на все более хитроумные и дорогие секретные устройства. Несчастные старухи, им и есть-то нечего, из-за роста квартирной платы они вынуждены переезжать из огромных пятикомнатных квартир в старых домах в однокомнатные современные квартирки, ухитряясь при этом не продавать и не раздаривать ничего из мебели. Они предпочитают ставить всю мебель и прочие пожитки друг на друга или просто сваливать в кучу. Немудрено, что в таком бедламе постоянно что-нибудь теряется, и навсегда.

Зато старушки, продолжал он, твердо убеждены, что все это украдено в их отсутствие неизвестными взломщиками. Сам он всегда пытается их образумить. Пытается даже отговорить от новых трат на все более надежные и дорогие замки. Но эти его усилия более чем напрасны. Как правило, возмущенные старушки попросту отправляются в другой магазин, но через некоторое время, когда замки, задвижки и секретные устройства из других мюнхенских магазинов оказываются, по их мнению, никуда не годными, вновь появляются в этом самом магазине, чтобы заказать очередной, еще более хитроумный, еще более дорогой замок.

Если мы перестанем их обслуживать, их станут обслуживать конкуренты, подытожил он, выписал счет и распрощался, получив от меня чек на сто семьдесят три марки.

А через несколько дней в мое отсутствие опять была выключена лампа на письменном столе. И опять я начала внимательно исследовать собственную квартиру, на сей раз уже не в поисках тех почти неразличимых следов, которые оставляют незваные визитеры. Что я разыскивала в тот раз, словно повинуясь внезапному наитию, так это миниатюрные микрофоны, микрофоны направленного действия, именуемые в просторечии «клопами».

Ни тогда, ни теперь я отнюдь не была специалистом в этой области. Я видела фотографии «клопов» в журналах. Знала, какими крохотными они бывают. Знала, что их подсоединяют либо к электропроводке, либо к передатчику. Короче, толком не знала ничего. И все же одно время я искренне верила, что сумею обнаружить такого «клопа». Более того, я взялась за эту задачу с прямо-таки болезненным честолюбием, свойственным, как правило, всем дилетантам. Для начала я развинтила, несмотря на трудности, неизбежно возникавшие после при сборке, все светильники, какие были в доме; потом исследовала розетки, обычное устройство которых уже само по себе оказалось для меня открытием. Наконец, я отвинтила эмалированную крышку газовой плиты и подозрительно — мне ведь никогда еще не доводилось заглядывать под крышку газовой плиты — уставилась на три медные трубки, тянущиеся от наружных вентилей вдоль газовых труб к задней стенке плиты, я была почти убеждена, что наткнулась на что-то очень важное, скажем, на распределитель подслушивающего устройства.

И пока я внимательно рассматривала свое «открытие», мне вдруг стало страшно: вдруг кто-нибудь из особых государственных служащих наблюдает за мной из окна напротив, вдруг он уже знает, что я раскрыла их тайну? Я осторожно опустила крышку и сходила за простынями, которыми завесила кухонное окно. Потом опять сняла крышку и принялась внимательно рассматривать медные трубочки. Даже то, что духовка изолирована фольгой, казалось мне в тот момент подозрительным.

На следующий день я сшила из простынь шторы и укрепила на кухонном окне; теперь в любое время, спокойно и не рискуя быть

уличенной, я могла предаваться своим исследованиям. Дело в том, что у меня тогда было чувство, будто за мной следят из окна дома напротив. Окно это находилось на шестом этаже, и прямо за ним висела ослепительно яркая лампа. Я решила при первой же возможности попросить на время у мужа сестры, заядлого охотника, охотничий бинокль.

Что же касается трех медных трубочек в плите, то для начала я продемонстрировала их Анне В. и Сабине О., которые заглянули ко мне в тот день кое-что обсудить. На них это произвело сильное впечатление. Обе они, так же как и я, в жизни не заглядывали прежде под крышку газовой плиты. А вот Мартин Г., химик, которому я не преминула продемонстрировать развороченную плиту, лучше разбирался в подобных вещах. Он рассмеялся коротким, отрывистым смехом и даже не дал себе труда скрыть полное неверие в обыски, якобы имевшие место в моей квартире сначала через продолжительные, а теперь через все более короткие промежутки времени.

Впрочем, его позиция не заставила меня отказаться от дальнейших изысканий. Более того, я вплотную занялась тогда шарнирами кухонных шкафов. Мне почудилось, будто они вдруг увеличились в размерах и изменились по форме. Я разобрала их и взвесила на руке отдельные винты. Те, что полегче, я вообще не удостоила вниманием. Те, что потяжелее, старательно разглядывала в лупу, однако ничего подозрительного не обнаружила. Подозрительным был только их вес.

Вслед за шарнирами кухонных шкафов очередь дошла до шурупов письменного стола. Затем я исследовала, теперь уже намного внимательнее, пишущую машинку, холодильник вместе с морозилкой, откуда доносилось порой никогда прежде не слыханное подозрительное щелканье, словно что-то где-то включалось и выключалось, а через несколько недель, в течение которых я то и дело врывалась в кухню, чтоб установить, откуда точно доносится звук, щелканье само собой прекратилось.

Как и в случае с газовой плитой, светильниками и розетками, ковыряясь в пишущей машинке, холодильнике и кухонных шкафах, я, естественно, была не в состоянии определить, где самые обычные ручки, винты, выключатели, а где нет. И хотя я стеснялась просить продавца или продавщицу снять ради меня верхнюю крышку газовой плиты и продемонстрировать внутреннее ее устройство, мне ничего не стоило в каком-нибудь крупном магазине попросить показать модель именно моей пишущей машинки, холодильника или кухонных шкафов. Проверяя при этом шарниры, выключатели, ручки, я убеждалась, что в общем-то они такие же, как шарниры, выключатели, ручки на сходных предметах у меня в квартире. Но от поиска «клопа» я все равно не отказалась.

Повинуясь внезапному озарению, я принялась внимательно изучать металлические замки и большие кнопки на сумках. Однако сколь бы дотошно я их ни рассматривала, внешний вид говорил мне весьма мало. Из соображений безопасности я приобрела дешевую плетеную сумку и некоторое время выходила из дома только с ней. Повинуясь тому же внезапному озарению, я изучила все молнии на брюках. И из соображений безопасности вшила в одни брюки новую молнию. И некоторое время носила только их, ведь в них-то уж наверняка не было микрофона направленного действия. У многих туфель я поотрывала набойки с каблуков. При этом выяснилось, что каблуки, как правило, внутри полые. У хозяйки обувного магазина, куда я принесла туфли, чтобы снова сделать набойки, я поинтересовалась, обязательно ли каблуки должны быть полыми. И хотя она ответила утвердительно, я, опять же из соображений безопасности, купила себе новые туфли, которые и носила некоторое время не снимая — по крайней мере можно быть уверенной, что хотя бы разговоры, которые

я веду вне стен собственной квартиры, не становятся достоянием чужих людей.

Сама того не ведая, я, по сути, вела себя как настоящий государственный преступник, по меньшей мере как человек, которому есть что скрывать. А в общем все мои мелкие уловки преследовали одну-единственную цель: не допустить, чтобы состоящие на особой государственной службе дамы и господа, которым ради безопасности нашего правового государства вменено в обязанность проводить регулярные обыски в моей квартире, надзирать за моей скромной особой, возможно, подслушивать мои разговоры, в том числе телефонные, догадались, что я в курсе их мероприятий.

Поэтому, разговаривая по телефону, я прибегала ко всякого рода туманным намекам, которые, должно быть, навлекали на меня еще большие подозрения. Поэтому, когда разговор у меня в доме заходил об обысках и о слежке за моей скромной особой — а я делала все, чтобы рано или поздно об этом зашел разговор, пусть даже со временем это стало наводить на гостей скуку, ведь события даже не собирались доходить до какой-нибудь драматической кульминации, скажем до официальной санкции на обыск или хотя бы временного моего ареста, все ограничивалось подозрительными щелчками на кухне за холодильником, двумя маленькими отверстиями в морозилке, смещением листа бумаги на два-три сантиметра, смещением острия шариковой ручки на длину одного слова, неоднократным выключением в мое отсутствие лампы на письменном столе,— так вот, когда разговор заходил об обысках и о слежке за моей скромной особой, я сообщала гостям о существенных, на мой взгляд, новых наблюдениях шепотом, на ухо, да еще под грохот музыки. Порой я вообще отказывалась обсуждать эту тему вслух. На листке бумажки быстро царапала все, что считала представляющим интерес, давала собеседникам прочитать записку, а затем выбрасывала ее в унитаз — я ведь не была уверена, что они не обыскивают мусорный бак,— при этом я, энергично жестикулируя, указывала на определенные предметы, в которых или на которых предполагала наличие микрофона, или на определенные стены, под штукатуркой которых, возможно, спрятана проводка. Иногда я обводила всю квартиру одним широким жестом, а потом пожимала плечами.

Собственно говоря, проводку я начала искать после того, как оставила затею с шарнирами, винтами, замками и кнопками на сумках, молниях и каблуках. Я не просто ощупала и простучала отдельные стены и участки стен. Я высунулась из окошка ванной и обнаружила, что снаружи, поблизости от того окна, штукатурка облупилась. Белое, неправильной формы пятно отчетливо выделялось на темно-серой стене. Высовывалась я и из окна гостиной, там, в водосточном желобе, который совсем недавно прочищали, я обнаружила какой-то кабель и подцепила его ручкой зонтика. К моему разочарованию, выяснилось, что концы его никуда не подсоединены, и я снова швырнула его в желоб, где он пребывает и по сей день. В конце концов я решила искать следы, которые могли оставить служители нашего государства на чердаке.

Надо сказать, мысль заняться чердаком возникла у меня отнюдь не случайно. Меня насторожили шаги, которые как раз тогда чуть не целых две недели раздавались над моей головой. Дело в том, что эти шаги раздавались тогда много чаще прежнего и слышны были до поздней ночи, торопливые шаги нескольких снующих туда-сюда людей.

Кажется, чего проще — подняться на несколько ступенек и поглядеть, что происходит на чердаке. Однако непонятный страх, природу которого я не могу объяснить и по сей день, удерживал меня;

мною овладевала странная нерешительность, я и сегодня переживаю подобное, когда необходимо что-то предпринять в связи с этим делом.

И я оставалась сидеть за письменным столом, прислушиваясь к быстрым шагам над головой, и вместо того, чтобы просто подняться наверх и посмотреть, строила догадки, кто бы это мог быть. Я убеждала себя, как это глупо — появиться вдруг на чердаке, дав тем самым понять, быть может находящимся там сотрудникам особой государственной службы, что у меня возникли на их счет подозрения, что я догадалась об их деятельности. Тогда мне почему-то казалось крайне важным создать у них впечатление, будто я ни о чем не подозреваю. Это дарило ощущение, будто по меньшей мере один козырь у меня на руках.

На чердак я поднялась, лишь когда над моей головой вновь воцарилась тишина, точнее, когда вновь, как бывало, разве что время от времени раздавались шаги какого-нибудь жильца, поднявшегося на чердак, чтобы забрать что-то оттуда или, наоборот, оставить. Сперва я делала вид, будто тоже ищу что-то в отведенной мне чердачной каморке. Я открывала чемодан и ворошила содержимое. Открывала коробку и рылась внутри. А сама между тем старательно прислушивалась, вертя головой во все стороны, но не могла уловить ни шороха. Наконец, совершенно уверившись, что на чердаке никого нет, я отправилась на поиски. Толком я не представляла себе, что искать, и медленно шла по коридору между каморками. Дойдя до середины, я обнаружила, помимо нескольких обрывков кабеля, кучку пустых коробков и пластиковых пакетов с надписями «коаксиальный штекер», «блокировка канала», «блокировка несущей частоты», «частотный канал». Из инструкций, напечатанных на обороте пустых пакетов, даже профан мог понять, что находились в них отдельные блоки, предназначенные для монтажа ТВ-антенны.

Поначалу я не обратила внимания на это условное обозначение. Буквы «ТВ» я сочла термином, смысл которого понятен лишь специалистам. Уверенная, что в руки мне попались веские улики, я собрала коробки и пакеты в сумку, сунула туда же обрывки кабеля и несколько дней, уходя из дома, таскала все это с собой, как рукопись и памятки, которые делала для себя.

Если так пойдет дальше, сказала я себе, скоро придется ходить за покупками с двумя чемоданами.

Через несколько дней я перечитала инструкции. И тут меня вдруг осенило, что буквы «ТВ», на которые я опять наткнулась в тексте, могут означать только одно — телевизионную антенну. Должно быть, пустые коробки, пакеты и обрывки кабеля давно уже валялись в коридоре между каморками. Во всяком случае, если верить консьержке, телевизионную антенну в нашем доме в обозримое время никто не ремонтировал. О том же, что творилось на чердаке в последние две недели, оставалось только догадываться.

Поиски «клопов» я с той поры полностью прекратила, если не считать нескольких рецидивов, когда я, повинуясь внезапному порыву, разбирала тот или иной предмет или же просто брала его в руки, долго разглядывая с подозрением. Теперь, вооружившись охотничьим биноклем, взятым у сестрина мужа, я наблюдала из кухни за окошками в доме напротив. Естественно, я остерегалась торчать целыми днями с биноклем возле кухонного окна. Дождавшись наступления темноты, я выключила свет в кухне, а в прихожей включила, так что возможный наблюдатель с той стороны мог увидеть разве что мой силуэт, потом направила бинокль сначала на упомянутое уже окошко на шестом этаже дома напротив, казавшееся подозрительным оттого, что висевшая прямо за ним ослепительно яркая лампа не позволяла разглядеть внутренность комнаты. Но едва я направила туда бинокль,

как свет выключили. И весь вечер окошко оставалось темным. Случайность ли, что свет погас именно в тот момент, когда я направила на окошко бинокль, решить я была не в состоянии. Я направила бинокль на другие окна шестого этажа дома напротив. Но там ничего не менялось. Окна, как прежде, светились или, как прежде, оставались темными. Я положила бинокль на стол и вышла из кухни. Через полчаса, потом через час, через два часа я возобновляла наблюдение за сомнительными окнами. Но и тогда не случилось ничего достойного упоминания.

На другой вечер я продолжила свои попытки. Вновь направила бинокль сначала на окно, где ослепительно яркая лампа не позволяла разглядеть внутренность комнаты. И вновь свет выключили, едва я направила на окошко бинокль. Для порядка я направила бинокль на другие окна шестого этажа. Когда я стала разглядывать четвертое окно, если считать слева направо, то, к моему удивлению, свет там тоже погас. В остальных окнах ничего не изменилось.

День спустя я медленно прогуливалась по улице, на которой расположены дома, в окнах которых накануне вечером выключили свет. Проходя мимо, я запомнила их номера. Что помешало мне остановиться у подъезда и записать фамилии людей, проживающих в тех самых квартирах на шестом этаже, сказать трудно. Считая — с полным основанием или без оного,— что за мной следят, я полагала неосторожным попадаться им на глаза. С другой стороны, известную роль сыграл и страх выставить себя на посмешище такими абсурдными действиями.

Вечером, когда стемнело, с биноклем в руках я вновь заняла позицию у кухонного окна. И вновь направила бинокль сначала на окно, где ослепительно яркая лампа не позволяла разглядеть внутренность комнаты. Однако, вопреки моим ожиданиям, свет на этот раз не выключили. Что же касается четвертого окна, если считать слева направо, то в комнате за ним весь вечер было темно. На следующий вечер свет, правда, вновь горел. Но когда я направила на это окно бинокль, его никто и не подумал выключать.

Разочарованная и сбитая с толку, я вернула бинокль зятю, ведь и в последующие дни, когда я направляла бинокль на окна дома напротив, там ничегошеньки не менялось. Теперь я старалась просто не обращать внимания на эти окна. Старалась держаться непринужденно, как человек, за которым никто не следит, жарить котлеты, намазывать маслом хлеб, варить кофе. Конечно, полностью избавиться от ощущения, что за мной наблюдают, я все равно не могла. В доме напротив есть одно окно, на которое я и по сей день время от времени кидаю взгляд. Но речь идет вовсе не о том окне, где ослепительно яркая лампа не позволяет разглядеть внутренность комнаты, и не о четвертом, если считать слева направо, которого теперь уже и не разглядишь за пышной кроной цветущего каштана. Теперь подозрения у меня вызывает второе окно, если считать справа налево, окно явно необитаемой квартиры.

Ставни его всегда закрыты. Само же окно, которое долгое время тоже было закрыто, теперь наполовину распахнуто. Стекла другой половины в прорезях ставен солнечным утром отражают иногда расплывчатые и скорей угадываемые, нежели узнаваемые контуры дома, где живу я. Не так давно, войдя в кухню, я увидела за ставнями свет, который, однако, выключили через несколько секунд, точнее: как только я вошла в кухню и оказалась в поле их зрения. Этот факт, если говорить начистоту, я при всем желании не могу рассматривать как обыкновенную случайность.

И хотя случайность я, в общем, тоже не исключаю, я все равно пытаюсь проникнуть взглядом за закрытые ставни, разглядеть хоть что-нибудь в узкие их щели. Иногда среди ночи я встаю и смотрю, не горит ли там свет.

До сих пор я ни с кем не делилась этими своими подозрениями. В последнее время я вообще все реже рассказываю об обысках у меня на квартире, о слежке за моей скромной особой,— не потому, что боюсь наскучить окружающим своими рассказами, ведь события, как я уже говорила, даже не собираются доходить до какой-нибудь драматической кульминации, скажем до официальной санкции на обыск или до ареста, и не потому, что я наконец поняла, что в левых кругах считается faux pas поднимать шум из-за обысков в собственной квартире или из-за возможной слежки.

Дело в том, что многие левые — с полным основанием или без оного — в глубине души убеждены, что телефоны их прослушиваются, квартиры время от времени обыскиваются, а сами они находятся под надзором. Большинство из них считают это вполне возможным и не трезвонят об этом направо и налево только потому, что не хотят, чтоб их обвиняли в том, будто они строят из себя мучеников.

Что толку, если ты начнешь строить из себя мученицу, откровенно сказал мне писатель Клаус Т., в то время как другие лишь думали об этом, когда я начинала рассказывать про обыски. И должно быть, задавали себе вопрос: действительно ли я принадлежу к тем, кто столько сделал для демократического и социального прогресса нашей страны, что навлек на себя преследования? Не слишком ли много чести оказывают мне власти подобным вниманием?

Дело в том, что с самого начала мои рассказы приводили в трепет и даже в негодование отнюдь не левых, а исключительно либералов, бюргеров до мозга костей. Только они хватались за голову. Да, да, чем буржуазнее, несмотря на иной внешний камуфляж, они оказывались по самой своей сути, тем более потрясенными выглядели перед лицом такого нарушения гарантированной конституцией неприкосновенности частной жизни, перед лицом вопиющей незаконности всех этих обысков и негласной слежки за моей скромной особой, перед лицом ущемления свободы личности, в которую, кстати сказать, мало кто в нашей стране верит столь непоколебимо, как они.

Они советовали мне бросить эту квартиру, подыскать другое жилье. Предлагали помощь в поисках новой квартиры. Предлагали пользоваться их телефоном. Предлагали хранить у себя мои рукописи. Они сочувствовали мне безгранично и вновь и вновь справлялись у меня тоном, каким обычно расспрашивают больного о самочувствии, продолжаются ли обыски. Словом, они были просто не способны представить себе, как человек, знающий, что квартиру его в течение вот уже более девяти месяцев постоянно обыскивают, что вот уже более девяти месяцев за ним ведется тайная слежка,— как такой человек вообще может существовать.

Может, вполне может. И даже без заметных осложнений. Со временем к этому просто привыкаешь. Не то чтобы я не могла уже обойтись без обысков и тайного наблюдения за моей скромной особой. Около двух месяцев назад, к примеру, я составила длинное, на полутора страницах, послание министру внутренних дел, где, коротко изложив вышеописанные события, задала вопрос, не принадлежит ли снимаемая мною квартира на шестом этаже дома номер 7 по улице Д. к так называемым «бывшим террористским квартирам», которые, согласно многочисленным сообщениям прессы, занесены в особые списки ведомства по охране конституции. Я задала также вопрос, действительно ли в моей квартире регулярно проводятся обыски. Естественно, ответа я не получила до сих пор. И в любом случае не ожидаю положительного ответа. В каком-то смысле меня вполне устроил бы и отрицательный ответ.

Как я уже говорила, к обыскам в собственной квартире тоже привыкаешь. Привыкаешь и к постоянной слежке за собственной скром-

ной особой, будто ты государственный преступник, которого вот-вот разоблачат. Привыкаешь вести существование, так сказать, «прозрачного человека», о котором властям известно и когда ему удаляли миндалины, и на какое время он договорился о встрече с налоговым консультантом, и к какому часу друзья пригласили его на ужин, человека, о котором властям известно даже, что 5 мая 1979 года на счету у него было пять тысяч девятьсот сорок три марки, ни больше ни меньше, и что в ближайшее время на его счет должен поступить перевод с радио на сумму три тысячи пятьсот марок.

Исключительно для того, чтоб оставаться в курсе, я выдумываю время от времени все более изысканные способы маркировки. И если, возвращаясь из отлучки, нахожу все на своем месте, то отнюдь не вздыхаю с облегчением. Я просто отмечаю сей факт, без радости и без надежды. Если же по возвращении обнаруживаю изменения — например, острие шариковой ручки на рукописи сдвинуто на несколько слов или строчек,— я чувствую разве что небольшой, в самом деле небольшой, булавочный укол. Я делаю глубокий вдох и выдох, бегло заглядываю в другие помещения, проверяю, стоит ли по крайней мере на прежних местах мебель, лежат ли другие вещи так, как я их оставила. Я уже давно не ищу в квартире следов, которые могли бы оставить незваные визитеры.

Обыски и постоянное наблюдение стали мало-помалу частью моей жизни. И с течением времени почти утратили свой вначале не только угрожающий, но еще и скандальный характер. Они, конечно, занимают мои мысли, но совсем не в той мере, как несколько месяцев назад, когда я чуть было не потеряла голову. И быть может, незваные визитеры с недавних пор начали вновь, как когда-то, выключать лампу на столе в мое отсутствие для того лишь, чтоб вывести меня из себя, напугать, побудить к необдуманным действиям, которые неопровержимо докажут, что я террористка и заклятый враг нашего государства — таковой они, очевидно, и считают меня до сих пор по непостижимым для меня причинам.

Что они подобным образом извещают меня о своих визитах в мое отсутствие, я при всем желании не могу больше приписать небрежности, невнимательности тех деятельных сотрудников и сотрудниц особой государственной службы, которые вот уже более девяти месяцев устраивают сходки у меня на квартире. О привычке оставлять лампу на письменном столе включенной на весь день, независимо от того, работаю я или нет, дома я или нет, могли говорить разные люди. Причуда эта со временем могла стать известна и сотрудникам особой государственной службы, им ведь и так известно обо мне весьма много. Их намерение, выключая лампу, извещать меня о своих визитах в мое отсутствие, доказывает, что они решили взять меня измором, что в случае со мной наибольшего эффекта они ожидают от так называемой «пробы на разрыв», испытания на прочность.

Нельзя месяцами жить в непрерывном напряжении. Нельзя месяцами ожидать, что микроскопичности происходящих событий, крайней их неопределенности будет положен конец и на смену придет нечто вещественное, зримое, ведущее наконец-то к драматической кульминации. Нельзя месяцами искать доказательств, если другая сторона стремится как раз к тому, чтоб, с одной стороны, оставить явный след, с другой же — сделать след этот настолько ничтожным, мелким, даже сомнительным, что тот, за кем они следят, попадет в дурацкое положение, пытаясь сослаться на него, представить его в качестве улики, и даже рискует прослыть полоумным.

Выходя из дома, я уже внимания не обращаю, преследует ли меня кто-нибудь в машине или пешком. Слишком много сил уходит на то, чтобы постоянно регистрировать все или по крайней мере максимум

происходящего вокруг, регистрировать и пытаться объяснить. Вдобавок тот, кто подходит к окружающему с предубеждением, рождающимся из вполне определенных подозрений, рискует легко впасть в ошибку.

Бывают дни, когда что-то вдруг привлекает мое внимание. Иногда это подозрительная машина, медленно, с черепашьей скоростью, едущая впереди меня. Иногда полицейский автомобиль, оставленный на тротуаре у соседнего дома. Иногда некая машина с табличкой «За рулем ученик» на крыше — она кружит возле домов, мимо которых я прохожу, вновь и вновь появляется в поле зрения и вновь и вновь проезжает мимо. Иногда это пожилая пара в магазине, они внимательно следят, как я перебираю салат, выбирая самый свежий, и тут же отворачиваются, стоит мне взглянуть в их сторону. Иногда это мужчина в том же магазине: когда я стою в очереди к кассирше, он становится вплотную за мной и время от времени бросает испытующие взгляды в мою раскрытую сумку. Иногда мужчина, устремляющийся мне наперерез к эскалатору; так ничего и не купив, с пустыми руками спешит он к одному из автомобилей, стоящих перед универсамом, садится рядом с шофером, а тот немедленно дает газ, и автомобиль на полной скорости исчезает в направлении улицы Д.

А в общем, происходящему вокруг я уделяю теперь внимания ни больше ни меньше чем в те времена, когда за мной еще не следили или мне по крайней мере казалось, что не следят. У меня выработалась привычка прибирать квартиру перед уходом, и не ради того, чтоб произвести хорошее впечатление на незваных визитеров. Я регулярно прибираю перед уходом, чтоб по возвращении легче было заметить возможные мелкие изменения.

Но, хотя миновало уже очень много времени, я — что правда, то правда — до сих пор нервничаю, увидев, что лампу на письменном столе в мое отсутствие выключили. И надо думать, для сотрудников особой государственной службы, в силу многолетнего опыта, приобретенного во время обысков в бесчисленных квартирах и слежки за бесчисленными людьми, сей факт не прошел незамеченным, они прекрасно знают, какое действие эта весьма скромная акция оказывает на человека, за которым следят, акция, состоящая всего лишь в нажатии пальцем на кнопку выключателя.

Несколько дней назад лампу на письменном столе в мое отсутствие снова выключили. И снова данная акция не прошла для меня без последствий. Хотя все эти месяцы лампа достаточно часто выключалась незваными визитерами, я так и не привыкла относиться к этому с должным спокойствием. И хотя неизменно повторяется одно и то же, я так и не могу, увидев на письменном столе выключенную лампу, равнодушно пожать плечами. Как прежде, незваным визитерам удается ошеломить меня и испугать.

Если бы они выключали лампу каждый день, я, входя в квартиру, была бы к этому подготовлена. Но, поскольку так бывает лишь время от времени, им по-прежнему удается, пусть на мгновение, заставить меня пережить ужас.

Как и прежде, все протекает по следующей схеме: я отпираю входную дверь без дурных предчувствий, даже не думая о возможном обыске и незваных визитерах, вхожу в прихожую, непроизвольно, как делаю это с тех пор, когда впервые заметила на столе выключенную лампу, бросаю взгляд в кабинет и вдруг обнаруживаю, не сознавая в первый момент значения этого факта, что лампу на письменном столе в мое отсутствие опять кто-то выключил.

И еще прежде, чем я успеваю себе сказать: итак, они снова побывали здесь,— меня словно током ударяет. Я включаю лампу, чтобы проверить, не перегорела ли она за это время, выясняю, что лампа работает по-прежнему, и опять меня словно током ударяет. Коленки делаются ватными. Я выхожу из кабинета, удостоверяюсь, бегло глянув в ванную, что там, по крайней мере в общих чертах, все в порядке, заглядываю в кухню и удостоверяюсь в том же, вхожу в гостиную и окидываю взглядом книжные полки, кресла, журнальный столик, софу, а затем падаю в кресло. Смотрю, нет ли на ковре рядом с ножками кресел старых вмятин, смотрю, нет ли старых вмятин на ковре рядом с ножками журнального столика. И опять говорю себе: итак, они снова побывали здесь. И пока я мысленно произношу эти слова, во мне закипает неистовый гнев. Это не тот гнев, что подминает человека под себя, заставляет его потерять голову, утратить самоконтроль. Скорее уж это гнев, оказывающий на редкость целительное, укрепляющее воздействие. Охваченная гневом и в то же время абсолютно спокойная, я поднимаюсь с кресла и перехожу к делам, которые наметила себе на сегодняшний день.

■

Две истории, которые могла бы написать сама жизнь

Может показаться, что два имени, представляемые журналом читателю, оказались рядом случайно или по редакторской прихоти, потому, что оба автора — женщины. Действительно, Анни Эрно — писательница французская, Гизела Эльснер — западногерманская. Принадлежат они одному поколению: Эрно родилась в 1940 году, Эльснер — в 1937-м, но писательские судьбы их различны. Гизела Эльснер начала печататься в 1964 году (роман «Карлики-гиганты»), давно завоевала известность в своей стране. Анни Эрно появилась в литературе Франции десятилетием позже, в 1974 году (роман «Пустые шкафы»). Успех и известность пришли к Эрно не сразу, только сейчас, после того, как в 1984 году вторую по значению литературную премию Франции, премию Ренодо, получила публикуемая ныне на русском языке повесть «Место в жизни». Различны литературные традиции, ощутимые в произведениях, с которыми познакомились наши читатели: в «Месте в жизни» это характерный скорее для французской традиции неопопулизм, в «Испытании на прочность» — это более характерное для западногерманской традиции неокафкианство.

Но обе повести написаны самой жизнью. Подзаголовок повести Гизелы Эльснер с не меньшим основанием можно отнести к повести Анни Эрно. Как, впрочем, и ее название — разве не об испытании на прочность рассказывает Эрно? И разве не о «месте в жизни» — Эльснер? Обе писательницы принадлежат одной эпохе, одному

ЛИТВИНЕЦ НИНА СЕРГЕЕВНА

Советский критик и переводчик, кандидат филологических наук, специалист по литературам ГДР, ФРГ, Австрии. В ее переводе в «Иностранной литературе» публиковались рассказы писателей ГДР и ФРГ, повесть Герда Фукса «Мужчина на всю жизнь» (1981, № 3).

поколению. Жизнь, ведущая их пером,— одна и та же, одни и те же проблемы завладевают сознанием писателей, проблемы, связанные с тем, что получило название «потребительское общество».

Общая проблема — цена, которую приходится платить за потребительство. Героини обеих повестей живут в обществе потребления. Возможности и той и другой скромны, но их существование, само собой разумеется, отличается от почти пещерного быта отца, героини Эрно, всей своей тяжелой трудовой жизнью добывавшего самую возможность существовать, право прокормить себя и свою семью. Заботы о пропитании как будто уже не одолевают молодое поколение, приобщившееся к жизни буржуазной, хотя бы и мелкобуржуазной. Символом новых возможностей могут быть те восемьдесят квадратных метров жилой площади, которыми располагает рассказчица в «Испытании на прочность» и которые стали местом изощренной пытки ни в чем не повинного человека, пытки, организованной предоставившим такую удобную квартиру «либеральным», «демократическим», «свободным» обществом.

Это и есть цена, которую приходится платить человеку за право существования в земном раю потребительства. Героиня Эрно платит свою цену — цену предательства. Она не просто переселилась из захудалого местечка И... в места, более достойные цивилизованного человека. Речь идет не о семейной истории, достаточно, в общем, заурядной,— речь идет о социальной трагедии. Трагедии тех, кто так и остался на уровне отца, на уровне его возможностей и его прав, и тех, кто приобрел почти сказочные возможности в виде гарантированного теплого ватер-клозета, но оставил отца в прошлом.

Небольшое произведение Анни Эрно имеет очень большой вес. С особой силой, просто и наглядно она показывает истину, которая редко вспоминается при оценке литературных произведений: господствующая в буржуазном обществе культура так или иначе буржуазна, так или иначе несет на себе печать принадлежности к миру потребителей. Воспоминание об отце — это воспоминание о целом мире тех, трудом которых существует потребительство и о которых стараются не вспоминать, о которых не прочтешь ни у Мориака, ни у Пруста. Это мир тех, кто предан буржуазной культурой, снобистски отворачивающейся от «нижестоящих». Пруст воспринимал народ «чисто эстетически» — но ведь, напоминает Эрно, Франсуаза была служанкой Пруста, а не его матерью. У героини Эрно и отец и мать из «нижестоящих». К счастью, скажем мы. К счастью, потому, что, когда она смогла понять, что «секретер в стиле Луи-Филиппа, кресло красного бархата, дорогая система проигрывателя с магнитофоном» не главное в жизни, когда она вернулась к отцу, к памяти о нем — она приобрела способность к точной оценке мира. В том числе и к оценке культуры: в конце повести ее героиня не случайно откладывает в сторону книгу Филиппа Соллерса, кумира модернистов, но бережно записывает как будто незначащую сценку, в которой приоткрывается целая жизнь. Анни Эрно, как и Гизела Эльснер, пишет о том, «из чего не сделаешь роман», что может написать только сама жизнь.

Благодаря такой установке обе публикуемые повести обладают общим для них свойством и общим достоинством: они максимально убедительны. Как реакция на эстетскую изощренность ныне нередко появляются на Западе такие вот, очищенные от литературных условностей, словно бы совсем и не сочиненные истории, такие неприятзательные на первый взгляд исповеди, чьи авторы с первых же слов добиваются прямого контакта с читателем. Мы — поверенные в делах Анни Эрно и Гизелы Эльснер, нам доверяют они свои тайны, нам передается трагизм их мироощущения.

Ибо их мироощущение трагично. Рассказчица в повести Эрно делится — в обычной для себя манере сдержанной констатации, «пересказа» жизни — многозначительной и зловещей деталью: она читает книгу и понимает, что на одной из страниц, ближайших страниц, не станет ее отца. Мы читаем ее повесть с тем же предчувствием, с тем же нарастающим ощущением близкого трагического финала: кончится повесть — кончится жизнь, которую тщетно пытается сохранить героиня Эрно в своих печальных воспоминаниях.

Затем этот трагизм нарастает в «Испытании на прочность». Трагизм связывает обе повести в диптих: существование реальности прошлого в его истинности и естественности сменяется нереальностью настоящего, его неистинностью и неестественностью. Героиня Эльснер тоже пишет своего рода отчет о событиях, но кажется, что она пересказывает дурной сон. Все, что с ней происходит,— адская канитель, сраже-

ние с призраками, как будто обреченное на поражение. Мир повести — «кафкианский» мир плотной, давящей и подавляющей человека зыбкости. Предельно уклончивая, ускользаемая действительность в то же время максимально конкретна, проявляет себя в повседневной банальности, в квартирной суете, все мгновения которой фиксирует болезненно взвинченное сознание человека, попавшего в какую-то паутину.

Как видно, все это как будто по-кафкиански. Есть, однако, существенное различие. В конечном итоге это различие между реализмом и модернизмом. Паутина в романе Кафки «Процесс» была соткана не только невидимым, но и невиданным противником, злом абсолютным и абстрактным. В повести «Испытание на прочность» ее героине не потребовалось много времени, чтобы понять, что паутина создается государством (либеральным, демократическим, потребительским), что это обыденная социальная практика, подминающая личность, унифицирующая ее, уподобляющая множеству таких же, безымянных, бесправных, бездомных — на ее благоустроенных восьмидесяти квадратных метрах.

Трагизм в «Испытании на прочность» нарастает. Кажется, что повесть вот-вот завершится так, как завершался «Процесс» Кафки—в сердце героя вонзится нож слепого всевидящего правосудия. Но нет, финал иной. Совсем иной: «Охваченная гневом и в то же время абсолютно спокойная, я поднимаюсь с кресла и перехожу к делам...» Героиня повести прошла испытание на прочность, она готова к сопротивлению. А у героини Эрно пробудилась совесть — она тоже прошла испытание на прочность. В конце тягостного блуждания по полным драматизма будням современного буржуазного общества засветилась надежда.

Л. АНДРЕЕВ

РУБЕН БАРЕЙРО САГИЭР

Рассказы

Перевод с испанского АНАТОЛИЯ МИНИНА

Всего лишь миг

Солнце палило так безжалостно, что кровь стучала в висках. Слова приговора, услышанные сегодня на рассвете, отдавались в ушах гулким эхом. Стоя на самом солнцепеке, он каждой клеткой ощущал, как на него, измученного зноем, накатывают волны тяжелого раскаленного воздуха. Порой слипались веки, и тогда перед глазами, словно на черном экране, начинали плясать точки, линии, зигзаги, полоски — красные, зеленые, голубые, желтые. И даже когда он приоткрывал глаза и различал солдатскую форму, все продолжало кружиться.

Хотя сержант правительственных войск и читал приказ ровным, безучастным голосом, будто предлагал идти купаться или седлать лошадей да ехать в поле, все же интуиция юноше подсказала: речь идет о глубоком омуте, из которого не выплывешь, о «прогулке» в те места, откуда нет возврата. Вот тут-то и зазвенело отчаянно в ушах, защемило сердце от нахлынувших воспоминаний.

Где она сейчас? Уцелела ли в шквале огня и ненависти, налетевшем на горы, долины и поселки? Вихрем пронеслось в памяти недавнее прошлое. Вот она грациозно, с упоением танцует в саду под ветвями деревьев. Такой он увидел ее впервые. В бледном астматическом свете фонаря она казалась яркой звездочкой. Припомнилось, как он чуть с ума не сошел от счастья, когда легко прикоснулся рукой к ее упругому плечу, когда почувствовал дурманящий запах ее волос.

Сержант, закончив чтение и миролюбиво оглядев стоявшую перед ним группу пленных, сказал:

— Заупокойную... каждый сам по себе... святых отцов тут не водится.

Припомнилось, как падре Кристобаль однажды привез из города говорящих кукол, которые должны были представлять «Мистерию страстей и смерти господней». Так по крайней мере утверждал падре Кристобаль, о чем же говорили сами куклы, понять было почти невозможно. Действо происходило на школьном дворе. Там, где обычно во

РУБЕН БАРЕЙРО САГИЭР — RUBÉN BAREIRO SAGUIER (род. в 1930 г.)

Парагвайский писатель, эссеист, литературный критик. С 1962 г. живет во Франции, в настоящее время — профессор университета в Париже, читает курс литератур Латинской Америки и языка гуарани. Автор сборника Эссе «Рассказ и роман» («Cuento y novela», 1960), книг «Парагвай изобличенный» («Paraguay, nation de mentis», 1963), «Тема изгнания в современной парагвайской прозе» («El tema del exilio en la narrativa paraguaya contemporánea», 1970), поэтического сборника «Библиография отсутствующего» («Bibliografía de ausente», 1977) и др.

Публикуемые рассказы, впервые увидевшие свет в 1971 г., взяты из книги «Око за зуб» («Ojo por diente»), изданной в 1983 г кубинским издательством «Каса де лас Америкас» (La Habana, Cuba, «Casa de las Américas»).

время танцев размещался оркестр, они, школьники, соорудили подмостки. Особенно запечатлелась в памяти сцена, когда бледная кукла бежит, падает, спотыкается, снова падает, вскакивает и опять бежит, спасаясь от костлявой, которая с криком гонится за ней...

Вдруг среди вновь прибывших на площадку военных он увидел крепко сколоченную, коренастую фигуру. Будто гром ударил! Перед ним сквозь мельтешение солнечных бликов предстал до боли знакомый образ. Да, это он! Его широкие, раскачивающиеся из стороны в сторону плечи заслонили все остальное. Всплыли картины из далекого детства. Вот мужчина гарцует на красавце скакуне. Блестят на солнце голенища его парадных сапог. Всадник, слегка придерживая левой рукой сидящего впереди него и готового лопнуть от гордости мальчика, что-то выкрикивает в такт музыке. Следом другой эпизод: вечером, после скачек, человек этот держит в сильной руке бокал с вином, в котором позвякивает кусочек льда, на пальце красуется перстень с большим красным камнем. От напитка мужчина выглядит посвежевшим.

Военный тоже узнал юношу сразу же. Остановившись лишь на долю секунды, он, нахмурив брови, отделился от солдат и мелкими шагами направился в сторону приговоренных.

Юноша выступил на полшага и, подняв было руку, чтобы снять несуществующую шляпу, сложил ладони в молитвенном жесте:

— Благослови, крестный...

— Бог тебя... — начал крестный и, перекинув автомат из правой руки в левую, пробормотал благословение, неловко осеняя юношу двухперстным крестом.

Затем он протянул правую руку, и они обменялись коротким неуклюжим рукопожатием.

Лицо мужчины приняло прежнее невозмутимое выражение, на лбу расправились складки, и так же вполголоса, как и благословение, он произнес:

— Где ты попался, сынок?

Не дожидаясь ответа, он кивком головы пригласил юношу отойти с ним от приговоренных, подальше от патруля, которым крестный командовал.

— При въезде в каньон Кандиль, вчера. Мы хотели добраться до Ангостуры и вплавь переправиться на тот берег...

— Н-да...— протянул в раздумье мужчина. В этом бесстрастном звуке, равно как и в потухших глазах, чувствовалось полное безразличие.

— Дядя... что со мной будет? — еле слышно произнес юноша.

Внимательно оглядев племянника, мужчина ответил:

— Ну... взводом командую я...

Наступила короткая пауза. Видимо, мужчине тоже припомнилось, как счастливый и веселый мальчик сидел у него на плечах, как он плакал, когда еще подростком узнал, что во время последнего переворота убили отца.

История повторяется. Ведь брат запросто мог убить его самого. Когда переворот — не до родства. Каждый отстаивает свое. Да, смерть не разбирает, кто брат, а кто сват.

— Что будет, то и будет,— неожиданно громко сказал мужчина.

Племянник смотрел на дядю с тем же восторгом, как тогда в детстве, когда тот заставлял своего коня вытанцовывать польку.

Волны горячего воздуха доносили обрывки фраз других пленных. Против солнца едва различались медленно ползущие по мундиру дяди мухи. За его спиной, сами похожие на тысячеглазых зеленых мух, шагали с автоматами в руках солдаты. А дальше — иссохшая земля с выжженной на пригорках травой, зеленые островки деревьев и где-то вдалеке, совсем на горизонте, сверкала в солнечных лучах гора на фоне синего неба.

Но мужчине, как и юноше, было не до этого. Над их головами в зените полыхало солнце. Наступив на собственную тень, они словно пытались затолкнуть ее в глубь изнывающего от засухи краснозема. Оба стояли будто два одиноких дерева в поле — в такие обычно бьет молния. В ярком полуденном свете достаточно было бы искорки, языка пламени, чтобы вмиг сгорело любое из них.

— Дядя, у меня подруга, жена...— начал юноша. Его взгляд устремился вдаль, в горы, а голос прервался.

— Не беспокойся, сын мой. Завтра я буду в тех краях и отыщу ее. И она сможет найти меня, если ей что потребуется.

Юноша молча поднял благодарный взгляд на скуластое лицо мужчины. Ему показалось, что он вдохнул запах ее волос, погладил ее загорелую бархатистую кожу, ощутил тепло ее объятий.

«Нет, не может быть... Вернуться к ней хоть с того света, пусть пчелой, ветерком или... Встретиться с ней... Быть рядом... Да, дядя прав. В последний праздник Сан-Хуана, встав утром, я не увидел в зеркале своего лица...»

— Что передать твоей матери? Я лично должен ей рассказать обо всем.

— И... ничего... пусть помнит. Сына моего бережет... Отца у него не будет, зато две матери...

— Сколько до родов осталось?

— Месяца три.

Когда утром в последний праздник Сан-Хуана он причесывался и не увидел в зеркале своего лица, то подумал: «Дурная примета». Но тут же решил, что еще пьян от любви: в канун праздника после танцев она, благоухая утренней росой, отдалась ему.

Вдруг его озарила мысль, и, будто разговаривая сам с собой, он сказал:

— Он будет похож на меня...— И с горечью добавил: — А я его уже не увижу...

— Был бы жив твой отец, он бы порадовался. Не прекратится род,— поднимая глаза, проговорил дядя.

Их взгляды на мгновение встретились. У юноши он выражал вопрос, мучивший его, искру надежды, быть может мольбу. Мужчина же смотрел безучастно, поглаживая, словно уснувшего ребенка, прижатый к левому боку автомат.

Вновь захрипел его гортанный голос:

— Сын мой, каждому свой час...

Пока они стояли в стороне от солдат, солнце успело отойти на запад, и теперь уже появившиеся две небольшие тени от их фигур казались черными дырами на выжженной, будто окровавленной земле. Мертвая тишина этого затянувшегося полдня была еще одной бездонной черной дырой во времени. О свежем северном ветерке напоминали разве что цикады.

Юноша думал о том, как мало он пожил с подругой.... какой она еще ребенок... ему стало больно от мысли, что ее будет обнимать кто-то другой... но ведь его-то скоро не станет, он превратится в груду костей, в прах, в горсть красной земли... а она уже чувствует в себе зарождение новой жизни.

— Что будет с моей подругой? Увидеть бы мне сына!— вновь, будто сам с собой, заговорил юноша.

— Он будет на тебя похож, как ты на своего отца. Одна кровь. Все: и лицо и повадки — переходит по наследству.

У юноши перед глазами опять проплыла картина с говорящими куклами. Но только теперь у той, которая прыгала, словно козочка, отчетливо различались черты лица. И будто голос падре Кристобаля вещал гнусаво: «Мистерия жизни, страстей и смерти...»

Воздух накалился до предела, словно покраснел, его перегретые потоки тянулись вверх, как густой дым над пожарищем.

Мужчина, умильно оглядев племянника, медленно снял руку с автомата и с силой ударил по правому плечу юноши. У того в глазах засветилось горячее желание жить.

— Сын — это капля крови в реке родства... течение ее не остановишь... — раздумчиво и даже с некоторой теплотой сказал мужчина, устремив свой взгляд туда, вдаль, где трещали цикады в пятнах солнечных бликов. Затем он так же неторопливо, как и с автомата, снял руку с плеча юноши и, повернувшись лицом к солдатам, резким голосом подал команду:

— Ста-а-новись...

Раздался поспешный топот, стук оружия, лязганье затворов.

Глядевший до того в сторону гор мужчина посмотрел на юношу. Их взгляды скрестились, смешались, слились.

— А сейчас, дядя!..

— Сынок... не волнуйся... смерть — это всего лишь миг...

Операция

— Мне пора уходить,— сказала она и, задержав на нем взгляд, поймала себя на мысли, что от появившегося на висках серебра и морщинок у глаз он выглядит еще привлекательнее и мужественнее.

— Не спеши, мы так давно не виделись... Сейчас мне, как никогда, тебя не хватает...

Он внимательно посмотрел на все еще лежавшую в постели под полуоткинутой простыней подругу, и ему показалось, что плечи ее, руки, грудь излучают какой-то необыкновенный свет.

— Не придумывай. Мне ведь нужно еще успеть о твоем приезде сообщить и передать твои указания. Операцию не отложишь. Ее надо начинать немедленно.

— Конечно. И крайне осмотрительно. Провала допустить нельзя, уже известно, где я буду послезавтра... Только осторожно, очень осторожно,— произнес он размеренно, будто разговаривал сам с собой.

Она приподнялась и стала застегивать пуговицы на блузке. Его взгляд остановился на ее бедрах, вырисовывавшихся под прозрачной нижней юбкой.

— Лучше бы ты осталась до утра... А может, мне с тобой пойти...

— Ты с ума сошел! И думать не смей!

Заложив руки под голову, он продолжал лежать молча. Его задумчивый взгляд блуждал где-то в параллельных потолочных балках, задержался на чердачном окне, за которым опустилась ночь, хотя этого и не было видно.

— Но...— проронил он, не шевельнувшись.

Приведя в порядок прическу, она засовывала ногу в туфлю и, казалось, не слышала его.

Сборы были закончены, и она подошла к постели, чтобы поцеловать его на прощание.

Он словно пробудился ото сна и резким движением, даже с яростью, притянул ее к себе и принялся горячо целовать. А после нежно-нежно провел ладонью по плечу, шее, лицу.

— Я пошла,— сказала она, вставая.

— Фабиану объясни хорошенько — провалить дело нельзя,— бросил он, и в его голосе уже не было возражения против ее ухода.

Он рассеянно смотрел на свои руки, из которых только что высвободилась она, и сквозь пальцы следил за удалявшейся женской фигурой, выросшей чуть не до притолоки. Сев в постели, он подмигнул ей:

— А послезавтра найдешь меня?

— К вашим услугам, мой генерал! — воскликнула она с широкой улыбкой и шутливо откозыряла левой рукой. И тут же, но с погасшей

уже улыбкой, похожей скорее на гримасу печали, она прошептала: — До пятницы...

— Буду тебя ждать... А ребятам скажи, пусть держатся, да покрепче. Выше голову, но будьте осторожны!

Через открытую дверь ворвалась волна прохладного ночного воздуха, пропитанного запахами жасмина, манго и апельсина.

Он прислушался к звуку удалявшихся шагов. Вот скрипнула железная калитка. И глухая тишина окутала его, словно на голову натянули резиновый мешок.

Вьется к потолку струйка дыма от зажатой между пальцами сигареты.

(По городу стелется туман. Он обволакивает улицу за улицей, осаждает дом за домом, преследует каждого.)

Опять здесь, в этом городе... столько лет прошло. Он будто в зеркале видит себя... мальчишкой, без устали носящимся по залитым солнцем улицам, по лугам, дымящимся от зноя; школьником, выкрикивающим что-то под порталом старого колледжа; оратором, который вскарабкался на пьедестал монумента борцам за независимость и выступает перед собравшейся молодежью, бурно откликающейся на его слова. А потом... комитет, полуразвалившееся здание станции у реки, где их, как скот, погрузили в товарные вагоны... особенное чувство товарищества в тюрьме и... внезапно вспыхнувшая беспричинная ненависть друзей.

(Коварные каблуки рыщут по городу, они прочесывают квартал за кварталом, дом за домом.)

Невидимая тень неотрывно следует за ним по городу, где он скрывается, переходя с явки на явку — днем в темных очках, а чаще под покровом ночи. Ограды, дворики, лестницы, разговоры вполголоса, собрания при погашенном свете, торопливые уходы от преследователей.

(В висках стучит кровь от воспоминаний о перестрелках.)

Но вот судьба заносит в далекие края. Новые люди, иная жизнь, другая тактика.

«Я олицетворяю... я — это революция... Всему миру нужно показать бесчестье диктатуры. В конечном счете миссия огромной важности! Всеобщее уважение... вполне естественно... независимо от того, что скажет какой-нибудь жалкий подлец вроде Мартинеса... Зависть в эмиграции — дело серьезное... Нет, нет... очень важно, это не шутка. Помню ту девушку в...»

Крик разрезал тишину, словно удар ножа. Что это? Во сне, наяву? Может, с улицы... Он автоматически бросил взгляд на запястье, где обычно носил часы, и, опустив глаза, обратил внимание на целую груду окурков на полу. Струйка дыма поднималась к темной тени от лампочки, свисавшей с потолка.

Только сейчас он заметил попавшую в паутину, протянувшуюся от потолка к стене, муху, ту самую, которую он сгонял то с плеча, то с простыни, то с руки.

А с улицы доносился какой-то неясный и все усиливающийся гул, похожий на лай собачьей своры. Он быстро опустил щеколду на двери. Хлопнули створки жалюзи в одном, затем в другом окне. Погас свет в третьем. Снова откуда-то с улицы послышался то удаляющийся, то приближающийся крик, прерываемый неясными голосами Сухо щелкнул затвор винтовки. Кричала женщина.

— Раскудахталась! Замолчи, шлю...

Он выхватил пистолет и крепко сжал в руке. Обезумевшим голубем забилось сердце и подкатило к горлу, на лбу выступил холодный пот. Он жадно хватал воздух, когда спазма чуть отпускала. В потайном гнездышке своем продолжал верещать сверчок, муха, тщетно пытаясь вырваться из паутины, жужжала все жалобнее и жалобнее.

Ему почему-то вспомнилась служанка, которую насиловали солдаты под лестницей... последний, возможно, уже мертвую...

Но что это? Снова крик или это у него внутри?

— Черт возьми!

Собственный голос прозвучал глухо, будто чужой, даже напугал. Сжав еще крепче рукоятку пистолета, другой рукой он надавил на выключатель, и лампочка, кровать, обшарпанные стены погрузились в темноту, вместе с умолкнувшим сверчком и мухой, переставшей жужжать.

С улицы наползла могильная тишина.

Клятва на крови

1

Август начался теплыми и солнечными днями, словно маскируясь, хотя желтые цветы и пожухлые травы выдавали его унылую суть. Но прошло немного времени, и упругий северный ветер ударил в пересохшие струны, животные уже не находили покоя — все предвещало перемены. С дождями, однако, наступило временное затишье. Шум низвергавшихся струй как бы снял напряженность.

Так было к концу того августа, когда мои люди начали приходить в себя. Называю «моими» не тех, которые прибыли со мной, а тех, самых близких, которые видели меня в пеленках, мальчиком, юношей, которые знали меня как «сына дона Риверо» и очень рано стали называть «доктором» и которые теперь были немало удивлены моему неожиданному возвращению.

Всегда так было, и ныне было так: северный ветер опалил все вокруг, дожди погасили его неистовство, и сразу вверх потянулись ветви деревьев, пошли в рост травы, червяками и змеями поползли в стороны корешки и корневища. И как-то внезапно, неожиданно воцарилась звонкая, почти осязаемая тишина, которую можно было потрогать, измерить лентами зарниц. А потом — ливень, неуемная музыка дождя, нагоняющая сон. Если бы можно было сомкнуть глаза! Но нет.

Лили бесконечные — как само время — дожди, и не было им предела...

2

Я вернулся сюда и почувствовал, как долго меня здесь не было. Я вернулся сюда и погряз в воспоминаниях о прошлом, о тех, кого уже нет в живых.

Я вернулся сюда и убедился, что все изменилось, что целая вечность прошла с тех пор, как жестокая действительность выбросила нас из этих мест, с тех пор как проклятием заклеймили фамилию, которую мой дед с белой длинной бородой пестовал наравне со своими овцами и коровами. Ту самую фамилию, основу которой заложил мой прапрадед-крестьянин, он же и засеял семенами эти красные земли. Обильно политые пóтом, они превратились в Риверо-иви, землю Риверо, или еще точнее — Риверо-землю, на языке гуарани; и кровь, и жизнь, и сами люди уходили в нее, или же она поглощала их, постепенно завладевая нашим существованием, окрашивая в свой багровый цвет.

3

Мы вдвоем играли на веранде в голубой тени от навеса, когда худенькая женщина нам сказала:

— Тебе — золотую, а Прони́ — серебряную...

От нетерпения поскорее насладиться полученным гостинцем мы зубами срывали блестящую фольгу, чувствуя, как шоколадки мякнут под нашими пальцами.

У моей матери с лица не сходила улыбка, и говорила она с нами ласково, нежно. Казалось, от ее голоса быстрее плывут в канавке веточки, ореховые скорлупки, бумажные кораблики с цветными флажками.

Однажды я увидел ее в слезах, и у меня в груди словно что-то оборвалось. Не задумываясь, я обвинил отца.

Огромное уважение к нему никогда не переходило в страх. Но бывали случаи, когда я буквально терялся перед ним. Не было конца восхищению перед этим сильным человеком. Ему достаточно было положить мне руку на плечо, чтобы вселить абсолютную уверенность.

Еще в раннем детстве мне очень нравилось, когда он брал меня на руки. А уж если сажал на плечи, то я чувствовал себя наверху блаженства.

Но материнскую ласку ничем не заменишь. И потому я засыпал или плакал, уткнувшись в подол матери, замирая от тепла ее руки, нежно поглаживающей мою голову.

Начинала она рассказывать сказки, и я тут же становился принцем, спасающим Золушку, или Гензелем, съевшим пряник с крыши дома ведьмы, или же одним из мальчиков, зачарованных чудесной музыкой флейтиста из Гаммельна.

Для меня так и осталось навсегда загадкой, почему мой рассказ про слезы матери не тронул Прони. Скорее всего потому, что он не видел этого собственными глазами. А я так и не смог забыть всей горечи, отразившейся на ее лице и согнавшей улыбку, даже сейчас, если слышу, как кто-то плачет, сразу же вспоминаю ее слезы и мне становится не по себе.

4

Мы надеялись, что крестьяне нас поддержат. Им мы говорили про аграрную реформу, гарантированные закупки урожая, о свободе и социальной справедливости. В подходящий момент приводили имя отца, напоминали о том, как он защищал их интересы, как всегда помогал обездоленным.

Мы никогда и ничего не реквизировали. Наоборот, давали хорошую цену за продукты, если покупали, за скот, который забивали. И все же, несмотря на это, крестьяне, за малым исключением, нам не доверяли, хотя и помогали, но скорее из страха, чем от согласия с нашими лозунгами. Во всяком случае, на их лицах великого энтузиазма не было видно.

А после первых репрессий правительственных войск в отношении тех крестьян, которые оказывали нам содействие, их недоверие обернулось враждебностью.

Позднее нам стало известно, что на праздники приезжал собственной персоной министр внутренних дел. Он выступал перед людьми, устраивал попойки, раздавал пончо.

Мы не приняли в расчет и еще одно обстоятельство, сыгравшее отрицательную роль: все соратники, друзья моего отца и их сыновья либо находились в изгнании, либо сложили головы в борьбе. Удалось отыскать только одного из оставшихся в живых. Это был Крисанто Рейносо. Но, тяжелобольной, он практически не вставал, дни и ночи проводил в гамаке, не покидая своей жалкой лачуги. Я был у него еще с моим отцом, апельсиновые деревья были тогда усыпаны желтыми плодами, а перед чьим-то свежепобеленным сараем цвели кусты ниньо-асотэ. Уже в ту пору Крисанто выглядел куда хуже своей хибары. Перенесенные пытки и преклонный возраст сделали его теперь совсем беспомощным и приковали к постели. Так он и лежал — слепой и терзаемый горечью пережитого. Своей шершавой ладонью он провел по моему лицу, из его невидящих глаз покатились слезы, угасшие зрачки загорелись было, но всего на миг. Он просил попо-

дробнее рассказать о том, как погиб мой отец. Когда он узнал, с чем мы пришли сюда, какую задачу нам предстоит решить, то заверил, что он с нами. «Если бы твой отец... был здесь... будь они прокляты, эти бандиты...» — начал он, но слезы и перехвативший горло спазм мешали ему говорить.

Сделав усилие над собой, он приподнялся в драном гамаке и едва слышно прохрипел: «Были бы живы Агу Медина, Перучио Сальдивар, Аниано Ребольо... этим подлецам давно бы... этим сукиным сынам...»

Его одряхлевшее и измученное тело вдруг выпрямилось и на мгновение показалось снова молодым и сильным.

5

Я приехал сюда и убедился, что здесь все как было. Я приехал сюда, чтобы снова пережить тот момент, когда разорвалось сердце моего отца, ощутить жар огня, испепелившего мою мать. Я приехал сюда, чтобы лучше представить себе лицо Карменситы, избавляющейся от кровавого комочка — плода нашей любви. Приехал, чтобы восстановить в памяти, как не спеша, с томным видом разглагольствует о революции Марсела, растянувшись на канапе цвета красного вина.

Вернувшись сюда, я оказался наедине с призраками, мною же созданными, будто сел в поезд, устремившийся в бесконечное одиночество, перенаселенное душами близких. И мне стало ясно, что выбор мой окончателен и путь, на который я встал,— единственный выход, собственно выход. И я начал с яростью, ожесточением и злобой драться за мою землю. Не за ту, которая мне принадлежала по завещанию как законному сыну рода Риверо из Ломы-Пэро́ и Пасо-Гуавиры́, а за ту, которая стала мечтой моей жизни, которая вошла в мою кровь и плоть,— за мою родину.

Я приехал и обнаружил, что все здесь как было. Вернее, почти все, потому что никогда не мог вообразить себе, что встречу колючий, отчужденный, бегающий взгляд Прони.

6

Не раз мне казалось, что я не просто уехал, а убежал. Но от кого и от чего?

Марсела мне нравилась. Иногда я ловил себя на мысли, что улыбка у нее такая же, как у моей матери. Мне нравилась ее стройная фигура, ее умение одеваться, томное выражение лица, прерывистые всхлипы раненого зверька, темперамент в любви, умение долго молчать и особенно — ее ослепительная улыбка. С ней мне было легче переносить фальшь псевдореволюционной «освободительной борьбы», терпеть ту ложь, в которой мы жили, чтобы в изгнании оправдать свой статус повстанцев, преодолевать привычку постоянно плести новые заговоры за чашкой кофе. Изгнание выматывало. Оно превращало нас в отбросы общества, в потерпевших кораблекрушение мореплавателей.

В «комитетах освобождения» приходилось сталкиваться со всякого рода низменными страстями, мелочной, изнурительной междоусобицей. Тонущие хватались за соломинку. Они готовы были перегрызть друг другу глотки из-за фляжки пресной воды, из-за обглоданной кости или призрачного поста кормчего спасательного плотика. Вожаки — пламенные творцы пустопорожних речей — всякий раз заканчивали свои выступления фразами, смысл которых явно сводился к печально знаменитому «Да сопутствуют нам смелость и отвага, а вы отправляйтесь воевать», сказанному одним из лидеров в минуты пьяного откровения. А на самом-то деле, когда открылся южный фронт партизанской борьбы, то желающих принять на себя руководство боевыми действиями оказалось совсем немного. Большинство же считало, что в глазах мирового общественного мнения именно они

должны «высоко держать знамя борьбы нашего народа», пребывая в эмигрантских комитетах.

В атмосфере этой повседневной лжи общество откровенно скучающей Марселы было чуть ли не освежающим душем. Ее даже нельзя было упрекнуть в увлечении «революционной» литературой. Сквозь наигранность поведения благодаря ее наивности проглядывало ее истинное лицо. Под внешней маской скрывалась — и я хорошо это знал — простая бедная девушка, ищущая самое себя. Дружба с ней до определенного момента была мне вполне приятна.

7

Прони я знал с тех пор, как себя помню. Он был всегда рядом со мной, как большое кожаное кресло-качалка в зале, как бутылки из-под джина, закопанные горлышками вниз вокруг цветника за домом. А кроме того, мы стали с ним «кровными» братьями: мы дали друг другу клятву и, начитавшись приключенческих романов, скрепили «договор» своей собственной кровью, сделав каждый надрезы на левой руке лезвием безопасной бритвы. Такой договор, как об этом было написано, не только надолго закреплял узы братства, но и делал их более прочными, чем у родных братьев.

К этим капелькам крови прибоем отшумевшая юность добавила, если вспомнить упущенные возможности, минуты общей радости или слез, общие переживания и общие тайны. Особенно памятна тайна призрака по́ры, которого мы однажды ночью вместе то ли видели, то ли слышали на горе Духов. Пеоны рассказывали, что на ее вершине, возле выработки, наполовину заросшей густой растительностью, бродят призраки, потому что в этом месте наткнулись на засаду и были убиты два пастуха. Народная молва добавляла к этой легенде еще и темную историю с птичницами; считали: поскольку убиенные отправились на тот свет без исповеди и святого причастия, то их страждущие души в поисках покоя бродят в окрестностях. По этой причине гору, находящуюся неподалеку, и назвали горой Духов. Нам с Прони уже давно было известно про домовых, приходящих по ночам за табачными листьями, которые оставляла им в ступе старая кухарка. Мы с ним уже видели следы бесенка и открыли сплетенный им из двух маисовых листьев гамак в густом кустарнике, где он отдыхал в часы полуденного зноя. Мы знали и о похождениях нечистой силы в полнолуние, и про потомство похотливого курупи, к которому относят великое множество детей без роду и племени.

Но что касается по́ры, этого самого таинственного, самого почитаемого и самого страшного существа, то до времени у нас с ним не было никаких отношений. И вот однажды вечером тайком ото всех мы отправились на гору Духов. Это была опасная затея, никто до нас не отваживался пройти близ этого заклятого места, даже сотворив молитву.

Вечера в июле короткие. От нависшей тучи, предвещавшей неминуемую грозу, и охватившего нас страха вершина горы казалась нам совсем темной. Мы шли, взявшись за руки и прислушиваясь к тому, как скрипят сучья под ногами, а у самих зуб на зуб не попадал. Едва мы поднялись на вершину, с неба обрушились на нас тысячи огненных змей, загрохотали раскаты грома. Не помня себя от страха, мы пустились наутек. Мне показалось, что за нами несется двуглавый конь, глаза его горят огнем, а Прони привиделась огромная собака без головы. Из горла ее извергалось пламя. Мы неслись вихрем еще и потому — в этом наши воспоминания совпадали,— что нас подгонял страшнейший ливень.

Отдышались мы, лишь оказавшись под навесом сарая, где лежал какой-то сельскохозяйственный инвентарь. Но страх все еще не отпускал нас, дрожащих, забившихся в угол.

Обо всем этом ни он, ни я никогда никому не рассказывали. По́ра с горы Духов так и остался нашей великой тайной.

8

А ведь я мог сюда отправиться и в поисках забвения, убежища от нарастающих приливов скуки.

Во время моего изгнания Марсела не просто предоставляла мне возможность найти разрядку моим естественным побуждениям. Не исключаю, что именно сейчас она, в элегантном халатике из китайского шелка, возлежит на своем канапе цвета красного вина с распущенными по округлым плечам волосами и, разглядывая бокал и свои холеные руки с длинными овальными ногтями, пытается найти ответ на вопрос: где я и что со мной? Рядом с ней — отвратительная карликовая собачонка Дуду, которая в ее жизни значила отнюдь не меньше, чем история собственной семьи и сентиментальные воспоминания. Из динамиков ее стереофонического комбайна льется то пронзительная, то тягучая, стонущая джазовая музыка.

Но ни вечный сигаретный дым, исходящий из ее чувственных губ, ни музыкальные аккорды не помогут ей найти ответ.

Когда мы встретились, она уже была свободной, скучающей, от всего уставшей девицей, чего-то ищущей с легкостью человека, ни в чем не нуждающегося. Ее окружали глупцы, которые порхают в жизни как бабочки и уходят из нее, так и не научившись завязывать шнурки на своих изящных итальянских туфлях.

Последний раз мы виделись в ресторане «Мансана асуль». Это был чудесный вечер. От реки тянуло прохладой. Марсела была захвачена книгой по тактике партизанской войны. Ее почти детский энтузиазм был настолько же очарователен, насколько наивен и простодушен. В тот вечер я опять почувствовал, как она мне близка. Тогда я не мог поделиться с ней своими ближайшими планами и даже сказать о своем неминуемом отъезде.

Но мягкий вечерний воздух запоздалой осени, багряный закат, необыкновенная тишина той звездной ночи и сам город с опустевшими улицами как бы подсказывали ей, что это прощание. Предчувствовала ли она, что́ должно произойти? Ее необыкновенно жаркие и страстные поцелуи перед тем, как мы оба проваливались в небытие, заставляют меня подозревать, что она обо всем догадывалась. Об этом же говорили опустившиеся уголки сжатых губ и упавшая коса, украшавшая в тот вечер ее голову, как высохшая гирлянда — статую.

9

«Пулемет — это автоматическое оружие, которое под действием силы отката и возвратной пружины заряжает, стреляет и выбрасывает стреляные гильзы».

Я пришел к убеждению, что настало время положить конец словоблудию, которое пышно расцвело, когда нас «обучали» старые резервисты времен войны в Чако [1] или же бывшие участники многочисленных «революций», профессионалы в организации провалившихся переворотов, плохо подготовленных мятежей, набившие себе мозоли в мертвых теориях и заплесневевшей тактике.

Точно я не знаю, почему был выбран для боевых действий именно этот район. Нет, ошибаюсь. Это я знал. Я же сам нашел достаточно весомые аргументы, доказывая Центральному оперативному командованию, что именно здесь следует открывать южный фронт, и предложил себя в качестве командира. Мое предложение вытекало из са-

[1] Имеется в виду война между Парагваем и Боливией из-за спорной территории Чако-Бореаль (Северное Чако), где предполагались крупные запасы нефти. Военный конфликт, отражавший противоборство английской, поддерживавшей Парагвай, и американской нефтяных монополий, длился с 1932 по 1935 год. Участники этой войны, объединенные в Национальную ассоциацию бывших фронтовиков, в недавнем прошлом еще играли активную роль в политической жизни Парагвая. *(Здесь и далее прим. перев.)*

мой обстановки: густые леса, бедность крестьян, о которых у меня сохранились воспоминания как о людях смелых и верных, да и сам район я знал хорошо. Кроме того, не последнюю роль должна была сыграть моя фамилия. Здесь я выступал как наследник отцовской боевой традиции. Престиж и влияние всех Риверо кое-что значили для местных крестьян.

Мое твердое решение начать вооруженную борьбу, прошлое руководителя студенческого движения, тюрьмы, которые пришлось пройти, политическая активность и, наконец, изгнание — все это вместе взятое плюс соображения, о которых говорилось выше, привели к тому, что мне доверили партизанский отряд и руководство боевыми операциями.

Центральным командованием был одобрен разработанный мною план, и после продолжительных обсуждений сочли возможным наметить в качестве вероятного оперативного пункта полузаброшенную усадьбу Риверо в Пасо-Гуавире.

Добраться от нее до места, где мы наметили форсирование реки, особого труда не составляло, а ее расположение в центре зоны обеспечивало успешное управление боевыми действиями.

10

Карменсита была не намного, но младше нас. В нашем доме она появилась, когда умерла ее и Прони мать. Мне так и не удалось узнать, действительно ли ее отцом был мой дядя Констансио, как тогда об этом злословили. Во всяком случае, фамилию нашу она не носила. Но дядю, известного на всю округу волокиту, выдавали ее зеленые глаза, точь-в-точь как у него. Помню разрез этих глаз, лукавую улыбку ее и припухшие округлости грудей, похожие на палермские лимоны, в которые мы играли.

Естественно, последнее привлекло мое внимание позже. Вначале мы просто играли в невинные детские игры. Она быстро к ним приобщилась, хотя мы с Прони и сопротивлялись этому — уж слишком мала она была, неумелая, да к тому же девчонка... Но она оказалась проворнее нас и не только обгоняла и брала верх, но вскоре начала и навязывать свою волю. Мы даже не заметили, как она превратилась в вожака оравы детворы, жившей в усадьбе. Именно она научила нас играть в пелоту [1], в «найди светлячка».

«Иду... иду...» — кричал Прони или кто другой, направляясь отыскивать девчонок и мальчишек, спрятавшихся в пустую бочку, за мешки с маисом или отрубями, среди тюков люцерны, под топчанами барака или же в густых ветвях раскидистых деревьев. Только потом я понял, что, затевая эту бурную игру, она всегда находила случай оказаться рядом со мной. Ее учащенное дыхание я объяснял неуемной беготней, а то и просто возней на земле, когда мы боролись друг с другом. Однажды в самый зной в час сиесты она пришла в комнату, где я, развалившись на брезентовом матраце, пытался спастись от жары; мне показалось, она хочет просить, чтобы я за нее заступился.

«Лучи́ показал мне...» — потупясь, начала она тогда. Потом-то я понял, что пришла она совсем не затем, чтобы рассказать мне про Лучи, и смущение ее было притворным.

В ту самую сиесту, обняв под жегшей огнем простыней упругую и гибкую Карменситу, уже успевшую округлиться (чего я раньше, конечно, не замечал), я впервые в своей жизни испытал сладкое, пьянящее и болезненное чувство. Над моей верхней губой уже пробивался мятежный и стыдливый пушок, и голос начинал ломаться.

11

А может быть, да. Может, и следует говорить о бегстве. Общение с ней было мне приятно лишь до определенного момента. Не-

[1] Игра в мяч.

ожиданно мы почувствовали себя чужими друг другу. Нас разделила пропасть молчания.

Наши встречи стали похожими на листы белой бумаги, помеченные маловыразительными междометиями, таившими в себе упреки. Слова в наших отношениях уже не произносились, а заменившее их нечто вязкое было не так уж безобидно. Оно давило нас, мешало нам, ранило и унижало. Это тягостное молчание походило на что-то клейкое, студенистое, проскальзывавшее между пальцами, губами, ощущавшееся на языке и в груди. Я даже не могу вспомнить, с чего все началось. Наверное, с глупого спора, когда Марсела, упрямо отстаивая свою правоту, иронизировала, кричала, топала каблуками, как избалованная девочка. Ссора продолжалась несколько дней, до тех пор пока Марсела не разразилась судорожными рыданиями, перешедшими в тихие, похожие на августовский дождь слезы. После всего этого между нами встало какое-то непонятное чудовище. Мы его вскармливали нашей злостью, яростью, а оно бесстрастно возлежало, разделяя нас, пожирая все, что у меня и Марселы было, питаясь нашим содержимым, нами.

С той поры мы отдалялись друг от друга все больше и больше, наши редкие встречи стали все короче, для чего мы находили любые предлоги.

12

Но был еще один человек, который знал район боевых действий так же, как я, и даже лучше. Звали его Апрониано Мартинес, он же Прони, командир роты в Пиндоти.

Прони покинул поместье, когда над семейным гнездом Риверо забушевали опасные ветры репрессий. Он попросился в армию, чтобы отслужить пораньше положенный срок. Карменсита была еще жива, а мой отец находился в изгнании.

Мать мне потом рассказывала, что она так и не поняла, почему Прони пошел в военные; вместо ответа на этот вопрос он отводил глаза, отделывался уклончивыми словечками.

Его зачислили в полицейский корпус. А когда он прошел учебу, положенную новобранцам, и зарекомендовал себя с наилучшей стороны, был зачислен в кадры и направлен младшим офицером в родные места.

К великому удивлению местных жителей, он проявил завидную активность в местном комитете правительственной партии по преследованию оппозиции.

Люди говорили про него: «Хоть и вырос Апрониано в доме дона Риверо и родной отец его был тех же взглядов, но... сколько волка ни корми...»

Я никогда не слышал, чтобы Прони вспоминал своего отца, к тому же я его почти и не знал.

После открытия южного фронта ротный командир Апрониано Мартинес, признанный специалист по организации борьбы с партизанами, наводившими страх на правительство, был назначен одним из руководителей правительственных сил в зоне.

13

Узнал я об этом слишком поздно. Когда я примчался домой, Карменситы уже не было в живых. Я увидел лишь крест с ее именем в изголовье могилы да суровое лицо моей матери, собственно, даже не лицо, а молчаливую маску. За все дни моего недолгого пребывания дома она произнесла лишь несколько слов. Ее немой упрек ранил меня еще глубже. Преждевременное появление на свет того кровавого комочка, который мог быть моим сыном, смерть Карменситы и без того были для меня страшным наказанием. Ведь это произошло помимо моей воли. Обо всем случившемся мне рассказала старая повариха Анунсия, оторвавшись от своих почерневших горшков.

Что заставило Карменситу обратиться к помощи Маны, знахарки с косогора? Стыд, страх перед моими родителями, боязнь, что я не назову себя отцом? Снадобья старой ворожеи погасили улыбку цветущей Карменситы. Так я думал в первый момент, стараясь оправдать себя. Потом я посмотрел на все более серьезно и с меньшим желанием оправдываться. Чувство вины, внушенное мне священником Лайа еще на первом причастии, мне так и не удалось преодолеть. Меня охватывал ужас, я опускал голову пред угрожающим жестом могущественного всевышнего, которого мне показывали в детстве. В основе тех страхов, естественно, был первородный грех, вкушение того проклятого плода, за что однажды в сиесту я был изгнан из рая вместе с девочкой Евой, неясно каким образом появившейся на свет из моего ребра. Во мне всегда, с самого первого дня наших отношений, подсознательно жило предчувствие, что кончится все бедой. И вот она, страшная развязка: я наедине со своей виной. Кровавый комочек, толкнувший Карменситу во мрак вечной ночи, был частицей меня самого. Я не находил себе места, угрызения совести не давали ни минуты покоя. Дитя слепого случая, юношеской страсти в знойную сиесту, появись на свет, стало бы сыном курупи, постыдным плодом невысказанной и наполовину кровосмесительной любви. Но всего труднее было подобрать точные слова для определения того, что́ я интуитивно сознавал. Она была сиротой и, возможно, родственницей, взятой в дом из чувства христианского милосердия, а я — сын хозяина...

Позднее много раз мне приходила в голову мысль о том, как, очевидно, удивилась Карменсита, почувствовав внутри себя живое существо. О том, какой силы страх привел ее к отчаянному решению уйти от позора.

В полном одиночестве, наедине со своим горем, словно изгнанная из рая, бродила она по тем местам, где в объятиях друг друга мы забывали обо всем на свете. А я в это самое время в городе, меньше всего думая о своей учебе, мечтал о запахе утренней зари, свежем дождичке, окропляющем поле люцерны, о Карменсите, лежащей рядом со мной на берегу ручья.

Анунсия передала мне цепочку и медальон, которые я когда-то подарил Карменсите. Это была последняя весточка от нее. Она будто хотела, вернув все, что я ей дал, сохранить нашу тайну.

К счастью, в тот холодный июль, когда я приехал, отца дома не было. Жестокие бури заставили его покинуть родные края, оставить любимое дело, поля — источник его существования.

Прони уже тоже не было здесь.

14

А быть может, было и так. По крайней мере один из палачей хорошо знал помещение, в котором пытали. Это был Апрониано Мартинес, фактически заправлявший здесь всем.

В этой комнате мы с ним бывали вместе тысячи раз. Здесь моя мать рассказывала нам про подвиги королевских рыцарей, отправившихся на поиски Святого Грааля, или о приключениях Сандокана в южных морях; здесь мы услышали от нее про Золушку и злые козни ее ведьмы-мачехи, и здесь же мы плакали, сочувствуя несчастьям пастушки Эуфемии.

Именно в этой комнате отец читал нам отрывки «Исхода», поэмы из сборника «Сто лучших», про подвиги героев национально-освободительной борьбы: Боливара и Антекеры, Сандино и Марти, Сан-Мартина и капитана Кабальеро.

В этой комнате однажды вечером — самым черным вечером в моей жизни — я увидел плачущую мать. Может, это простая случайность, что допросы проводились именно здесь. Или это идея Прони? Его действия нельзя было предугадать ни по его взгляду, ни по выра-

жению лица. Пряча глаза за большими темными очками, он оставался невозмутимым, холодным, безучастным и жестоким даже в самые напряженные моменты «обработки», когда не было предела ярости и дикая злоба распаляла животные инстинкты палачей так, что их зеленая форма чернела от пота. На лице его не билась ни одна жилка. Казалось, полное безразличие овладевало им.

А ведь мне было достаточно только один-единственный раз увидеть его глаза, перехватить его взгляд, и я бы, как раньше, смог понять все. Но он не снимал очков, между ним и миром неизменно существовала затемненная преграда.

15

Не имея сил воспрепятствовать, я видел, как мать медленно и скорбно идет к смерти. И даже возвратившись сюда, я не смог помочь ей, облегчить ее страдания.

С гневом и болью я смотрел на ее искаженное конвульсиями, увядшее, измученное лицо, которое так долго было неподвластно времени.

Врачи, чтобы назвать хоть как-нибудь то, чему горделивая наука не могла противодействовать, поставили диагноз: рак. Она таяла день за днем, час за часом. Ее глаза уже не блестели, как раньше. Туманиться они начали еще после смерти отца, ухода из жизни человека, которого мы все в доме считали бессмертным. Ни понять, ни тем более согласиться с мыслью, что его нет в живых, никто из нас не мог.

Отец умер, как только жестокость и насилие выбросили нашу семью из дома на берегу ручья, на южном склоне горы. Уверен, что именно в этот момент отцу был нанесен смертельный удар. Его сердце преисполнилось болью и не выдержало...

Я видел страшные муки моей матери, она уже не могла пребывать в состоянии покорного согласия с действительностью. Казалось, я сам чувствую, как внутри нее, возможно в том месте, которое некогда занимал я, множатся пораженные клетки, растет бесформенный, испепеляющий, прожорливый ком.

Рак, злокачественная опухоль — так называли мы озверевших людей в зеленой форме, с удесятеренной яростью набросившихся на нас, стремившихся нас изничтожить.

16

Знал ли он, что превращение спальни моих родителей в камеру для пыток было для меня спасением?

Прошлое меня защищало, воспоминания о нем помогали преодолевать физическую боль, незабываемые картины стремительно пронесшегося детства уносили меня в сказочное царство мечты.

«Плыви, мой парусник, и пусть ни буря, ни вражеский корабль...», «... галерник Хоакин...», «...весло вниз, весло вверх...», «...жили-были...», «Э-эй, ухнем...», «...оставим позади... начнут пушки стрелять...», «...Сан-Мартин[1] родился в Япейю, тогда это была наша провинция, и перешел через Анды. Его правой рукой был полковник Богадо...», «Я отлично сознаю, что убийство вне человеческих и божьих законов, но жажда крови тирана...», «Я жил во чреве этого чудовища и знаю его нутро»[2], «Нет, Хосе Марти, твое место не здесь»,— но он отправился в Дос-Риос[3] и дальше», «Воля народных повстанцев комунерос выше

[1] Хосе де Сан-Мартин (1778—1850)— национальный герой Аргентины, один из руководителей национально-освободительной борьбы против испанского господства, осуществив в 1817 году труднейший переход через Анды, одержал победу над испанскими войсками и освободил Чили.

[2] Из выступления национального героя Кубы Хосе Марти о своем пребывании в Соединенных Штатах Америки (письмо Хосе Марти от 18 мая 1895 года).

[3] Хосе Марти был убит 19 мая 1895 года в бою под Дос-Риос (провинция Орьенте, Куба).

воли короля; Антекера[1] кричит: «Свобода!» И Хуана де Лара в белом прогуливалась по улицам, когда его убивали в Лиме вместе с ее отцом...», «Хочу жить и умереть гражданином...», «Боливар, избороздив моря и исходив земли Америки, вознесся душой и телом на Чимборасо». «Мое перо его убило»,— и Монтальво[2] плюет на разлагающийся труп тирана...»

Мой отец поднимает указующий перст: «...плачь, плачь урутаý...— и смыкает веки:— Умираю с родиной в сердце...»

И вдруг сидевший за старым отцовским письменным столом и оттуда руководивший допросом человек в темных очках с позолоченной оправой прекращает выяснение подробностей «вторжения», «связей с заграницей», перестает играть роль правительственного офицера и становится Прони, другом по детским играм... «Тс-с-с... ты же конь, Прони, а я рыцарь, отправившийся на поиски Святого Грааля... ты бандит, Прони... я ухожу... ты остаешься, Прони... зна... тольк...»

Град ударов обрушился на меня за мое молчание. Раны кровоточили все больше. Всегда невозмутимый, а теперь уже начавший спешить сержант Мартинес продолжал допрос.

Сознавал ли он, что и его имя есть в поминальнике: тут он ведет допрос, а там ставит жизнь на карту?

17

Клочья тумана, поднимаясь от покрытой инеем земли, повисали на ветвях деревьев, словно простыни, продырявленные отступающими призраками. Они стойко укрывали землю от опускающегося на нее холода и бодрили кровь.

Трель одинокой пичуги возвестила рассвет. На нее немедленно отозвались другие пернатые, и вскоре лес преисполнился шума. Когда мы вышли на старое пастбище, из-за горы вырвался первый лучик солнца, ранний, молочный, ни с чем не сравнимый свет Пасо-Гуавиры разливался в долине.

У загона, к которому мы подошли, мое обоняние, как когда-то в детстве, когда мы — Карменсита, Прони и я — ходили сюда пить парное молоко, пронзил запах влажных трав, густо настоянный на навозе. Потекли слюнки, и я почувствовал во рту вкус только что надоенного молока. Не успевшая остыть пена таяла на моих губах. С нами не было Карменситы, но мне показалось, что мы идем на встречу с ней.

Чтобы немного снять усталость, а вернее — остановить поток воспоминаний, я провел вспухшей рукой по лбу. Мне уже все было безразлично.

Прони заметил мой жест и впервые посмотрел на меня без темных очков.

Всю ночь напролет на траву падали звездочки, и теперь под ногами земля вся в белом. Уставившись на нас, рыжая корова жевала покрытую бусинками изморози траву.

Мы подошли к горе Духов. Прони скомандовал «стой!» конвоировавшему взводу и приказал своим людям ждать.

Вожака партизан должен расстрелять сам командир.

18

Теперь я уверен, что воспоминания — это реально существующая материя, которую можно услышать, потрогать рукой, положить на плечо, как винтовку или мешок с картошкой. Сейчас я знаю, что ностальгия — это легкая тень, налет пара на стакане, когда мы льем

[1] Хосе де Антекера-и-Кастро (1690—1731) возглавил восстание парагвайского народа против испанского владычества.

[2] Хуан Монтальво (1833—1889)— эквадорский писатель, боровшийся против диктатора Гарсиа Морено; узнав, что тот убит, сказал: «Мое перо его убило».

в него кипяток. Знаю, что стереть его можно кончиком пальца или рукавом рубашки. Но мне также известно, что стоит чуть дохнуть, и налет опять появится. И так всегда было и будет.

Здесь жила моя мама. Ее, еще здоровую, можно было увидеть на веранде или, мягко улыбающуюся, под сенью райских кущ внутреннего дворика. С тех пор как я со своими людьми разместился в нашем старом доме, я мог слушать ее ровный голос, видеть, как она не спеша ходит по комнатам.

Ни наше отступление перед превосходящими силами правительственных войск, ни гибель моих друзей, ни маневр противника по окончательному окружению не могли заставить меня забыть хотя бы на минуту светлое слово «мама». Она старательно прятала выпавшие на ее долю испытания: изгнание из родного дома, смерть и похороны мужа, тяжелую болезнь, сжигавшую ее изнутри.

В памяти навсегда и прочно запечатлен каждый миг нашей жизни. Малейшее напоминание — запах цветов во дворике, бутылки из-под джина, закопанные горлышками вниз вокруг цветника, шум жерновов старой мельницы или отражение солнечного луча на воде в полдень — восстанавливало всю картину: где, когда и что происходило. Я видел словно на экране, когда показывают старую ленту, как мама раздает нам, детям, сладости, как серьезно с нами говорит отец, устраиваясь поудобнее в своем любимом кожаном кресле, как прыгает смеющаяся Карменсита с косичками, как Прони бежит вдоль проволочной ограды в окружении собак...

19

Мы медленно поднимались в гору. Снова вместе. Не было произнесено ни слова. Добравшись до крестов над могилами двух убитых пастухов возле заброшенной выработки, мы поглядели друг на друга. В глазах у каждого встали прежние картины: двуглавый конь с горящими глазами, собака без головы с вырывающимся из горла пламенем преследуют нас, гонятся по пятам. Мрачная тишина сарая обволакивает нас. Тяжело дыша, мы ощущаем запах кожи, влажной грубой ткани и конского пота. Как нам удалось спуститься с такой крутой горы, пересечь поле, перескочить два забора и попасть во дворик, известно одному богу.

Прошла целая вечность, пока к нам вернулся дар речи. И вдруг оба сразу: «Видел?» Больше ни слова.

Прони выстрелил несколько раз в воздух и потом сделал еще один выстрел. Кивком головы и стволом своего автомата он указал мне на тропинку. И мы бросились бежать по ней вдвоем в противоположном от дома направлении, в сторону заливного луга.

20

Наверное, опять пришел август. Подули горячие ветры с севера. Августовские цветы снова надели свой желто-мертвенный наряд. По всей округе разливается аромат зазеленевших ветвей. Его горький привкус донесся и сюда, к подножию горы Духов, где нас опаляет одно солнце, на одной и той же, его и моей, земле. Опаляет его и меня. Мы вместе, как тогда, когда играли в полицейских и воров.

Дует северный ветер, предвещая дожди...

■

МИНИН АНАТОЛИЙ СЕМЕНОВИЧ (род. в 1924 г.)

Советский переводчик с испанского и итальянского языков. В его переводе выходили романы «Лихорадка» Мигеля Отеро Сильвы, «К берегу» Луиса Мартинеса, повесть «День из ее жизни» Манлио Аргеты («ИЛ», 1983, № 3), пьесы Рафаэле Вивиани, рассказы латиноамериканских писателей.

САМИМ КОДЖАГЁЗ

Спор

РОМАН

Перевод с турецкого и вступление РАДИЯ ФИША

Самим Коджагёз, видный турецкий писатель, приобрел славу тонкого психолога, знатока крестьянской жизни. Его романы и рассказы, большинство которых посвящено взрастившей писателя земле Измира, отмечены национальными и международными премиями, переведены за рубежом, в том числе и в нашей стране. В книге «Спор», журнальный вариант которой мы предлагаем вниманию читателя, С. Коджагёз впервые обратился к жанру политического романа.

Шестидесятые годы, о которых идет в романе речь, были для Турции необыкновенно бурными. Тридцать пять лет авторитарного режима стеной отделяли Турцию от веяний времени. Эта стена рухнула, когда 27 мая 1960 года было свергнуто правительство Мендереса. В 1961 году была принята новая конституция.

Переворот 1960 года не устранил, однако, причин социально-экономического кризиса в стране. Турция превратилась в «кипящий котел». Марши протеста против захода в Стамбул 6-го флота США выливались в схватки молодежи на улицах Вечного города с американскими матросами и полицией. В знак протеста против полицейских преследований студенты захватывали университеты. Стачечное движение рабочих впервые сомкнулось с антиимпериалистическим движением молодой интеллигенции. Словом, складывалась революционная ситуация.

В этой обстановке реакция натравливала на левую молодежь религиозных фанатиков, боевиков неофашистской партии «Националистическое движение», коммандос, известных в Европе под именем серых волков. Они нападали на первомайские демонстрации, устроили массовое побоище в Стамбуле, получившее название «Кровавая пятница». На улицах среди бела дня убивали студентов, профессоров, журналистов, профсоюзных деятелей. А полиция или «не находила» преступников, или предоставляла им возможность избежать наказания... Так, с подложными документами бежал из тюрьмы приговоренный к смерти убийца-неофашист, который позднее стрелял в папу римского.

Поведение полиции побудило левую молодежь взяться за оружие. В немногочисленные, но решительно настроенные группы искренне готовой жертвовать жизнью, но политически неопытной молодежи полиция внедряла своих агентов, подстрекавших к актам террора. Обывателям же внушалось: хаос в стране вызван-де борьбой между левыми и правыми террористами, демократия, дескать, не для Турции, нужна «сильная рука».

Этим событиям и посвящен роман «Спор». С документальной точностью показаны в нем ход и развитие событий, названы подлинные имена государственных и политических деятелей той поры. Главные герои книги, можно сказать, прямо списаны с натуры. Читателю, незнакомому с историей Турции, может показаться странным, как изображена роль армии в описываемых событиях. Но писатель и здесь верен жизненной правде.

Исторически армии в Турции принадлежала особая роль. Во время султанов государство не только было приспособлено для нужд армии, но и строилось, так сказать, по армейскому образцу. В начале нынешнего столетия армия спасла Турцию от колониального рабства. В 1960 году армия свергла антидемократический режим Мендере-

---

САМИМ КОДЖАГЁЗ — SAMIM KOCAGÖZ (род. в 1916 г.)

Турецкий писатель. Автор многих романов, среди них «Люди в папахах» («Kalpaklılar», 1962), «Во весь опор» («Dolu dizgin», 1963), сборников рассказов «Девушка под дождем» («Yagmurdaki kız», 1977), «Дядюшка Сэм» («Sam amca», 1951) и др. Творчество С. Коджагёза удостоено нескольких литературных премий, в том числе премии Общества турецкого языка.

Роман «Спор» вышел в Стамбуле в 1976 г. («Tartışma» Istanbul, Okaryayınevi).

са. Все это придало армии в глазах общественности роль спасительницы, которая приходит на помощь нации в решительный момент.

Реакция вознамерилась использовать авторитет армии в своих целях. Однако эту задачу оказалось невозможно осуществить, поскольку армия не была готова к предназначавшейся ей роли, в офицерском корпусе преобладали выходцы из бедных слоев населения, ибо, по традиции, в военные училища шли дети малообеспеченных родителей, а старшие офицеры были воспитаны во времена Ататюрка на республиканских идеалах.

Понадобилось еще девять лет, чтобы провести чистку, избавиться от честных, прогрессивно настроенных офицеров, вовлечь в офицерский корпус выходцев из богатых семей, насадить в военной среде шовинизм. И осенью 1980 года армия установила господствующий ныне в Турции режим. Немалая роль принадлежала в этом перевороте и Соединенным Штатам Америки.

Но эти события — уже за пределами романа С. Коджагёза, они произошли через четыре года после выхода книги в свет.

Общественное движение в Турции в 60-х годах носило хотя и массовый, но в значительной степени стихийный характер. В этом и заключалась его слабость. Турция остается страной крестьянской по преимуществу. Компартия уже шестьдесят с лишним лет находится под запретом. Гребень большой волны всегда несет с собой пену. Когда социализм стал модой, мелкий буржуа «пошел в революцию». Естественно, что его психология не могла не наложить отпечатка на мышление определенной части революционной молодежи, не отразиться на борьбе течений внутри легальной социалистической партии.

Эта борьба, дискуссии и споры показаны С. Коджагёзом достоверно. За многими ситуациями романа угадывается личный опыт автора, одного из видных деятелей Рабочей партии Турции, в спорах о будущем которой он сам принимал участие. Во время попытки государственного переворота 12 марта 1971 года Самим Коджагёз вместе со многими другими деятелями культуры и литературы был доставлен из Измира в Стамбул, взят под стражу и предстал перед военным трибуналом. Не понаслышке знает он и о пытках и издевательствах, которым подвергались в управлении безопасности, в полиции прогрессивные рабочие, студенты.

«Я назвал свой роман «Спором» не случайно,— говорил С. Коджагёз в редакции «Иностранной литературы».— Мне хотелось, чтобы в книге были представлены все точки зрения на события 1971 года, все существовавшие в социалистическом движении позиции. И выводы делал бы не автор, а сам читатель».

Часть первая

I

Давно минула полночь, а заседание продолжалось. Дискуссия шла с утра. На утреннем заседании долго спорили о бюрократии, которую республика унаследовала еще от Османской империи. Чем кончился спор, к какому пришли заключению, я так и не смог взять в толк. Собственно, обсуждался отчет исполнительного комитета за три месяца работы, но я не заметил в спорах никакой связи с отчетом.

Группа, настроенная против председателя правления, витийствовала без передышки.

— Мы забыли об отчете исполнительного комитета,— сказал я.— Забыли об уставе партии.

Лучше бы я ничего не говорил. Опять взял слово один из депутатов меджлиса. И завел длинную речь, подкрепляя свои слова цитатами из Маркса и Энгельса. Цель у него была одна: показать, как глубоко он постиг истины научного социализма и как безнадежно невежествен председатель. Проговорил он час, на исходе второго терпение мое лопнуло. Я встал и направился к двери.

— Куда же вы, Экрем-бей? — пристыдил меня оратор.— Ведь я отвечаю на ваше замечание.

— Отвечаете вы не мне. Как только начнется обсуждение отчетного доклада, я вернусь. А сейчас я позволю себе немного поспать.

Спустился по лестнице вышел на улицу. В лицо пахнуло свежестью. Не успел я сделать первый вдох, как от темноты отделились две тени и направились ко мне. Гляжу, еще один депутат и еще один член правления, доцент. Спрашивают:

— Кончилось заседание?

— Продолжается.

Смеются:

— И продолжится до утра.

Втроем медленно пошли по направлению к Джебеджи. Завели разговор о том о сем, о приятной прохладе, которой балует Анкара в эти месяцы. Оба навеселе. Видно, где-то хорошо посидели до полуночи.

— Куда направляешься? — спрашивает депутат.

— В гостиницу... Спать... Завтра в десять у меня дело в суде.

— А как же заседание правления?

— До отчета дело дойдет только после полудня, если дойдет вообще.

— Надо установить регламент... Говорят сколько вздумается.

Я вдруг рассердился:

— Было предложение ввести регламент. Да не прошло. Противники оказались в большинстве. Вы ведь на заседания редко заглядываете.

Депутат рассмеялся:

— И так все ясно... Будем мы заглядывать или нет, что толку.

Я пришел в ярость. Остановился посреди дороги.

— Я на каждое заседание специально приезжаю из Стамбула. А вы живете в Анкаре. В первый день приходите для кворума, а потом исчезаете. Несерьезно все это.

Приятели снова заулыбались.

— Ничего серьезного больше и не осталось,— сказал один.

— С таким правлением, с таким исполнительным комитетом на выборы и соваться нечего,— добавил другой.— Три-четыре месяца осталось, а они и в ус не дуют!

Говорили мы негромко, но на пустом проспекте наши голоса отдавались гулко. Глянул в сторону, вижу — за фонарным столбом кто-то притаился. Следит за нами. Плевать!

— А вы на что? — говорю.— Если каждый будет тянуть в свою сторону, ясное дело, ничего не выйдет. Скажите прямо, чего добиваетесь?

Помолчали. Медленно двинулись дальше. Я свернул к своему отелю, но депутат взял меня под руку,— видно, собирался что-то сказать. Но я опередил его. Тень, следовавшая за нами, обогнула угол, скрылась в темноте.

— Соберите снова чрезвычайный съезд. Выберите новое руководство, новый исполнительный комитет... Нового председателя в конце-то концов!

Товарищ, державший меня под руку, смешался.

— На переправе лошадей не меняют...

— Кой-кто этого хочет... Присоединитесь к нам... Пусть только все это чем-нибудь кончится... Может, тогда будет партия...

— Нет, с ними не будет.

— Положим, но где тогда выход? Скажите!

— Вот об этом давай потолкуем,— ответил доцент.

— Давайте, хоть до утра... Пойдем в отель, посидим в холле, на улице об этом не говорят.

Не согласились. Меня не отпускают, в отель со мной не идут. Начинают разговор, пытаются объясниться. Но все как-то обиняком, намеками. Почему толком не объясниться? Наконец я от них отвязался. Пожелав им спокойной ночи, вошел в гостиницу. Было уже около четырех. Только задремал — телефон. Я так и подскочил. Девушка на коммутаторе проговорила сонным голосом:

— Вас просят, эфенди, соединяю...

Жду, долго жду. Наконец тот же девичий голос:

— Абонент, очевидно, отказался от разговора, повесил трубку. Прошу прощения.

Собственно говоря, за мной, за нами и так следовали до отеля, знают, что я здесь. Я не стал мучить себя догадками. Попытался снова заснуть.

* * *

Я быстро шел по улице, торопясь на дневное заседание. По дороге успел выпить стакан айрана, съесть бутерброд. Когда подходил к зданию, где помещалось правление партии, передо мной возникли двое. Один держался поодаль, другой подошел. Низенький, с тонкими усиками, в голубом костюме, при желтом галстуке. Лет тридцати, не старше.

— Не признал, брат? Как же так, адвокат Экрем-бей?

Вопрос звучал довольно странно. Я действительно его не узнал.

— Нет, не помню.

— Конечно, больше десяти лет не видались. А вы постарели, волос седых, гляжу, прибавилось... Я Саит Кёк!

Тут меня словно молния озарила.

— Саит, да ты ли это? Совсем не узнать, потолстел, усы отпустил. Ну, как ты? Рассказывай!

— Слава аллаху, в полном порядке, брат мой!

— Что поделываешь? Где работаешь?

Он ухмыльнулся, обнажив кривые зубы. Указал на верхний этаж.

— Вон там и работаю. Дела мои идут отлично.

Этаж, на который он показал, помещался над правлением нашей партии. Товарищи говорили, будто там не столь давно расположился, не помню какой, отдел управления безопасности. Значит, наш Саит стал служить в полиции? Тут припомнилась мне и шутка, которую он сыграл со мной десять лет назад. А он, воспользовавшись моим молчанием, решил огорошить меня вопросом:

— Рушится партия, брат, не так ли?

Но я уже успел прийти в себя:

— С чего бы ей рушиться?

— Вы вот с утра занимались делами в суде и не знаете, что здесь стряслось. Исполнительный комитет подал в отставку... Будете выбирать новый.

Мне его наглость надоела.

— Ты что, тоже в партии?

Он рассмеялся.

— Нет, дорогой, ты отлично знаешь, что я не член партии. Просто мы всё знаем.

— Даже то, что происходит на закрытом заседании исполнительного комитета?

— Конечно.

— Молодцы! Прекрасно работаете.

Вижу, приятель Саита тоже скалится. Что им от меня надо? Хотят что-нибудь выведать? Или предостеречь?

— Не будем, Экрем-бей, отнимать у вас драгоценное время. До свидания. Не забывайте обо мне. Может, еще пригожусь... Я вас не забыл.

— Не обессудь, но и я о тебе не забыл. А не узнал, так ведь десять лет прошло. Не забудь, однако: ты должен мне четыре с половиной тысячи.

Он снова рассмеялся:

— Долг есть долг, Экрем-бей, как о нем забудешь? Счастливо оставаться!

Саит двинулся своим путем. Напарник последовал за ним. Почему-то в тот миг задели меня не нахальный его разговор и даже не разброд в партии. Жальче всего вдруг стало пропавших денег. «Бесстыжая рожа!» — пробормотал я ему вслед.

В Стамбуле была в нашем квартале крохотная лавчонка, хозяин Юсуф-эфенди продавал здесь школьникам карандаши, тетради, давал напрокат книги, учебники. И мои дети бегали к нему в лавку. Юсуф-эфенди записывал в тетрадь, что они взяли, а раз в месяц я заходил и оплачивал их покупки. Потом у Юсуфа-эфенди в лавке появился приказчик Саит. Юсуф-эфенди был уже стар и стал оставлять лавку на него. А потом и вовсе решил бросить дело. Саит уговорил продать лавку ему. Юсуф-эфенди за лавку денег не взял, попросил только четыре с половиной тысячи за оставшийся товар. Мне же сказал:

— Хороший парень этот Саит. Помоги, Экрем-бей, пусть у него в руках будет дело.

Под вексель я дал Саиту четыре с половиной тысячи, а он обязался погашать долг ежемесячными взносами.

Пока Юсуф-эфенди ждал денег, Саит, не долго думая, перепродал за десять тысяч лавчонку торговцу орешками, и поминай как звали.

Помню, разыскивали его долго, но так и не нашли. И вот теперь он возник передо мной своею собственной персоной. А не взыскать ли с него деньги по векселю? Его поступок можно было квалифицировать как двойное мошенничество. Да срок, кажется, истек. Вот подлец! Как бы там ни было, сейчас мне заниматься им недосуг.

Поднявшись по лестнице, я увидел, что коридоры, комнаты, залы полны народу. Утреннее заседание кончилось. Объявили пятнадцатиминутный перерыв перед выборами

нового исполнительного комитета. Кулуары бурлили. Подавший в отставку исполком собрался в кабинете председателя. У чайного стола меня окружили товарищи.

— Выберем тебя в исполком.

— Не могу,— говорю,— каждую неделю приезжать из Стамбула на заседания. К тому же в Анкаре достаточно уважаемых товарищей, в том числе и депутатов меджлиса, и руководителей профсоюзов.

Тут в дверях зала показался генеральный секретарь. Поманил меня рукой.

— Тебя хочет видеть председатель.

Председатель вкратце обрисовал положение: большинство в новом исполкоме-де будут составлять анкарцы, а я буду участвовать в заседаниях во время деловых приездов. Мне стало ясно, что никто не рвется войти в исполком. Многие из членов исполкома под разными предлогами дали себе самоотвод. В чем загвоздка? Припомнился разговор перед отелем. Не желают менять коней на переправе? Но и ответственности хотят избежать.

Наконец собралось правление. Дверь в зал закрыли. Выдвинули кандидатов, перешли к тайному голосованию. По каждой кандидатуре оказалось двадцать шесть «за» и семнадцать «против».

Итак, выборы правления выиграли мы. Председатель и секретари остались на своих местах. Партия не развалилась, как того жаждал полицейский Саит.

Заседание кончилось к вечеру, за окнами стемнело. Ко мне подошел вчерашний депутат, с ним еще несколько товарищей.

— Пойдем вместе поужинаем.

На стамбульский самолет я все равно опоздал. Вышли на улицу, видим, на мостовой, на тротуаре толпа. Молодежь — студенты, лицеисты. Слышим:

— Исполком захватили огородные пугала!

Смеются. Я обернулся к парню, который это сказал, и спокойно, без злости ответил:

— Видишь, сынок, воронье стало поклевывать только-только посеянные семена, вот и понадобились пугала вроде нас!

Такого они явно не ждали. Не знали, что на это ответить.

Я повернулся и зашагал своей дорогой. Когда мы немного отошли, депутат съязвил:

— Молодец, побил их своей адвокатской риторикой. Но председателю ты вряд ли поможешь.

Мне это надоело.

— Вы,— говорю,— против председателя или против партии вообще?

Удивленно глянули мне в лицо. Улыбаются. Сказали бы прямо, чего хотят, я бы успокоился. Тут до меня дошло: если мы сейчас пойдем ужинать да еще выпьем, то утонем в бездонном колодце болтовни. А может быть, и поругаемся.

— Друзья мои, с вашего разрешения,— говорю,— я пойду лягу пораньше. Очень уж устал. Вчера всю ночь глаз не сомкнул. Завтра мне лететь в Стамбул первым рейсом. С аэродрома прямо в суд, дело у меня слушается. Давайте отложим банкет до следующего моего приезда.

II

До своей адвокатской конторы в Стамбуле я добрался лишь без десяти девять. Секретарь сложил дела в портфель.

— С утра вас трижды спрашивали по телефону из дома.

— Интересовались, наверно, вернулся ли я из Анкары. Позвони, скажи, что прилетел. И после обеда сразу вернусь домой,— наказал я, убегая в суд.

Конечно, я волновался за сына. До моего отъезда в Анкару ему осталось сдать всего два экзамена. Выдержит их и в июле окончит университет. Станет, как я, юристом. Ничего, узнаю про его дела после обеда, решил я. От дочери моей Сельмин толку не дождешься. К учебе ее не тянуло. Что до племянника Эркала, который жил у нас несколько лет, то он учился в Политехническом институте, и учился хорошо. Его родители, моя сестра с мужем, жили в Измире. Племянник тоже сдавал экзамены. Короче говоря, я беспокоился, что происходит дома, но выбора не было, времени оставалось в обрез.

Когда я вошел в адвокатскую комнату во Дворце правосудия, большинство коллег кинулись меня поздравлять с возвращением. В руках у них были свежие газеты. Я же

в них не заглядывал несколько дней. В ожидании перерыва между заседаниями принялся их проглядывать.

Вошел Ремзи. Снимая мантию, проговорил:

— Наконец-то! С прибытием, Экрем! В твое отсутствие я вел три твоих дела.— Вид у него был невеселый.— Похоже, ты только сейчас взялся за газеты. А здесь вчера бог знает что творилось. В университете бедлам. После обеда мне звонила Фериде-ханым, просила ей помочь!

Ремзи был моим старым товарищем, другом семьи. И неудивительно, что моя жена именно его просила о помощи. Стараясь держаться как можно спокойнее, я спросил:

— Что случилось, Ремзи? Нашего парня посадили?

— Не волнуйся. Дело не столь серьезно. Студенты всем курсом не пошли на экзамен. Схватились с шайкой, явившейся в университет с улицы. Драка произошла до экзаменов. Ректор вызвал полицию. А они объявили бойкот: как, мол, полиция посмела войти в университет. Такая вот история. Нападавшие удрали, а полиция, представь, их задержать не смогла. Зато забрали человек сто наших и увезли в управление безопасности. Вчера под вечер я отправился туда, выяснил ситуацию. Говорят, снимаем показания. Передал ребятам еды, сигарет. Сегодня вечером наверняка всех выпустят. Помнишь Зафера, нашего однокурсника, что теперь шефом в управлении безопасности? Я его разыскал. А он, представь, вместо утешения взял да выругал меня: «Держите, говорит, своих сынков в рамках, приятель! Запомни, что я тебе сказал! И Экрему передай. Пусть надерет своему сыну уши!» — «Ладно, говорю, Зафер, молодо-зелено. Мы тоже были молодыми, а Фахри я беру на поруки».

— Ты ребят своими глазами видел? И Фахри тоже?

— Видел, видел, дорогой... В коридорах управления безопасности. Все кабинеты битком набиты.

Я решил было после слушания дела сам сходить в управление безопасности, но Ремзи воспротивился:

— Все, что нужно, я сделал. Нечего зря Заферу глаза мозолить. Увидит тебя, еще выкинет что-нибудь потехи ради. Да и спешить, собственно, некуда: пока ты кончишь дела, Фахри уже будет дома. Ну, прощай, я уже освободился, пойду к себе в контору. Вечером со своими приеду к вам. Наговоримся вдосталь.

— Счастливо. Будем ждать!

Мысли мои путались. Я снова взялся было за газеты. Но тут нас вызвали в зал.

* * *

Наш дом стоит на узкой улочке возле проспекта Еникапе. Привратник Ахмет-эфенди встретил меня в дверях. Взял у меня из рук сумку.

— Где ты был, мой бей? Мы так беспокоились.

Ахмет-эфенди — давний человек моего отца: когда батюшка был губернатором провинции, состоял у него на службе. Выйдя на пенсию, приехал в Стамбул, разыскал отца. Мы взяли его привратником. Соседи, как один, были им очень довольны. Ахмет-эфенди вместе с женой жил в каморке, возле лестницы.

— Сегодня утром прилетел из Анкары,— говорил я, поднимаясь по лестнице.— Были дела в суде. Устал, Ахмет-эфенди. И всё уже знаю.

— Как в Анкаре?

Ахмет-эфенди имел в виду партийные дела. Он был «из наших».

— В Анкаре дела идут хорошо.

— А здесь неважно. Бей-эфенди сегодня с утра не пошел в кофейню. Ждет вас с Фахри домой.

Привратник называл моего отца «бей-эфенди», меня — «бей», а детей просто по имени. Фериде стояла у дверей,— верно, увидела меня из окна.

Я прижал ее к груди.

— Ремзи мне все рассказал. Фахри еще не пришел?

— Нет. Ремзи-бей позвонил, сказал, что его выпустят сегодня. Но когда? Ты бы сходил, спросил...

— Я хотел, да Ремзи отговорил, и правильно сделал... Давай лучше подождем.

— Есть хочешь?

— Рано утром позавтракал в Анкаре.

— А сейчас скоро три... Я тебе что-нибудь приготовлю.

Когда я вернулся в гостиную, на столе стояла закуска, дымился суп. Фериде села

у окна, все смотрела на улицу. В другое время она непременно спросила бы, как дела в Анкаре, кого я видел. Но сегодня ей было не до того. Машинально поправляла прическу, вскидывала на меня усталые темные глаза и снова поворачивалась к окну.

В дверь позвонили. Жена вскочила. Но это был мой отец. Мои родители жили в маленькой квартирке напротив нас, на той же площадке.

Отец был в комнатных туфлях, в шерстяном халате. То и дело поправлял очки, как всегда, когда нервничал. Увидев за его спиной испуганную, встревоженную мать, я поднялся им навстречу.

— С приездом, сынок... Сиди-сиди... Ешь свой суп...

Отец опустился на стул. В руках у него как обычно были черные четки. Мать подошла, поцеловала меня в щеку. Спросила:

— О Фахри ничего не слышно?

— Пока ничего, матушка,— ответила жена.

— Покарай меня аллах! — проговорил отец.— До чего я дожил. Чтобы у бывшего губернатора Фаика Мутафа во всем Стамбуле не нашлось ни одного знакомого в управлении безопасности... Все из новых...

— Не мучай себя понапрасну, отец. Обойдется. Там один из моих сокурсников заправляет.

— Ты с ним виделся?

— Не было нужды. С ним разговаривал Ремзи.

— Что делается, скажи на милость? Разве это власть? Мальчишки говорят: не будем сдавать экзамены... Так это личное дело их самих и их преподавателей... При чем здесь государство, нация, правительство?

— Вообще-то у меня есть кое-какие соображения на этот счет.

— У меня тоже. Хотят использовать мальчишек как предлог. Разыграть свою карту. Коммунисты, мол, захватили страну. Близится анархия... Я, сынок, стреляный воробей, знаю эти штучки!

— Если так, отец, то когда твой внук явится домой, отчитай его как следует, чтобы не лез в чужие игры.

— Я с ним поговорю... Поговорю!.. Лишь бы он только пришел, негодник!

— Не слушают, никого они не слушают, отец,— вмешалась Фериде.— Не студенты, а разбойники! Разве можно такие номера выкидывать, когда на носу окончание университета?!

— Ты права, дочь моя, только не будем сразу на них ополчаться. Узнаем, послушаем, какая у них забота.

— Какая может быть забота у студента перед последним экзаменом? Едва кончат школу, как уже лезут управлять университетом, мало того — и всей страной!

— Ты права,— сказал я.— Только не спеши с выводами.— Я встал из-за стола.— Пойду прилягу. Как только придет Фахри — поднимите!

— Ладно, ступай, мы будем тут ждать.

Я надел пижаму, растянулся на постели. Все тело ныло, голова гудела. Но как бы я ни устал, спать днем не могу — нет привычки.

Долго лежал, уставившись в потолок; солнце пробивалось сквозь занавески, окрашивая его в розовый цвет. С улицы долетал городской гул.

Только что, когда я беседовал с родными, все представлялось мне чуть ли не забавным. А история с Фахри — заурядной. С шестьдесят восьмого года такое случалось с молодыми людьми чуть не каждый день. Но чем больше я размышлял, тем ясней становилось, как скверно оборачиваются дела. А может, мы не принимали подобные вещи всерьез до тех пор, пока не арестовали нашего собственного сына?

Я потянулся к пиджаку. Достал записную книжку. Нет, дневника я не вел. Просто заносил для памяти заметки о важнейших событиях. Принялся листать, чтобы справиться со снедавшей меня тревогой. Чего только тут не было. Вот, например: «18 февраля 1968 г. Депутатов от нашей партии избили в меджлисе. 24 марта. В Бурсе собрался съезд клерикалов. 6 апреля. Началась неделя «Долой НАТО!». 11 апреля. Создана организация «Ревсила». 29 апреля. В Анкаре произошли крупные столкновения студентов с полицией. 28 июля. Во всех мечетях собираются на совместные молитвы фанатики, нападающие на прогрессивную молодежь. 30 августа. Большой митинг в Измире против захода 6-го американского флота. 10 ноября III съезд нашей партии. Я делегат съезда. 28 декабря. Чрезвычайный съезд партии. Я избран в правление».

Таковы записи за 1968 год. По ним легко восстановить в памяти подробности.

Вырезки из газет за 1968 год доверху заполняли один из ящиков книжного шкафа. «6 января. Машина американского посла, прибывшего с визитом к ректору Политехнического института, сожжена студентами». На заседании правления партии, созванном после событий, один профессор из оппозиции обвинил правление в том, что оно не интересуется молодежью. Но разве наши адвокаты в Анкаре, да и мы в Стамбуле мало бегали по судам, чтобы спасти арестованных студентов?! В ответ на заседании правления было зачитано обращение, опубликованное во время событий, в котором партия с одобрением отзывалась о воодушевлении молодежи и осуждала поведение властей. Но выйти вместе с молодежью на улицу партия не могла. «21 января. Коммандос напали на Педагогический институт в Анкаре». Все эти нападения — дело рук профашистских правящих кругов. Шайки головорезов, вооруженных палками, ножами, пистолетами. Хотят вынудить передовую молодежь тоже взяться за оружие... В конце концов устроили 16 февраля в Стамбуле Кровавую пятницу. Площадь Таксим, газоны вокруг Политехнического факультета залиты кровью. То была безжалостная бойня. Никогда не забуду этого дня. Под вечер Фахри с Эркалом вернулись домой все в крови.

В прошлом месяце, когда умер председатель Верховного суда Имран Октем, погромщики набросились на похоронную процессию. Все члены Верховного суда в знак протеста против наглости фашистов вышли на манифестацию. Власти и ухом не повели. Председатель правящей партии, глава правительства, заявил: «Улицы оттого, что по ним ходят, не портятся». Уму непостижимо!..

Я отложил записную книжку. Сел на кровати, подоткнув под спину подушку. Сегодня и я, и жена, и мои родители — все мы себя обманывали. Делали вид, что слыхом не слыхивали об этих событиях. Будто с Фахри такое случилось впервые. Удивленно смотрели друг на друга: что же это, мол, происходит?

Тут я глянул на часы и обмер. Без четверти шесть. А о ребятах ни слуху ни духу. Ведь дня не проходило, чтобы кого-нибудь из молодых людей не убивали на улицах.

В коридоре послышался голос дочери.

Я ее окликнул. Приоткрыв дверь, Сельмин просунула в спальню голову. При виде ее смуглого личика, черных материнских глаз и рассыпавшихся по плечам волос я почувствовал облегчение.

— Послушай, отец! — сказала она.— Ты тут лежишь на постели и горя не знаешь. А бабушка молится, дедушка еле дышит — вверх-вниз по лестнице ходит. Маму я только что заставила вышить элениум. Вставай, утихомирь их...

Я стал одеваться. Как раз в это время к нам пришла Сельма, супруга Ремзи. Вид у нее был веселый.

Наши окружили ее со всех сторон. Расспрашивали наперебой.

— Могу вас обрадовать! — защебетала она.— Только что позвонил Ремзи. Фахри уже выпустили. И Эркала тоже. Вот-вот явятся.

Фериде бросилась ей на шею. Отец опустился в кресло, принялся протирать очки. Мать заплакала.

Тут я, наконец, понял: мой товарищ, нет, мой брат Ремзи, отправил меня домой, а сам продолжал заниматься ребятами. И оповестить нас о том, что дело сделано, послал жену.

Оживление сменилось молчанием. Все прислушивались к звукам, доносившимся из-за дверей, поглядывали на улицу. Вскоре в переулок въехало такси, остановилось перед нашим домом. Мы бросились к окнам. Первым из машины вылез Ремзи, расплатился с шофером. За ним — Фахри с Эркалом.

Фериде, Сельма и моя дочь кинулись к дверям, сбежали по лестнице. Из других квартир высыпали на площадки соседи.

Под приветственные возгласы наш Фахри вошел в дом, остановился посреди гостиной. Лицо чуть бледное, глаза красные, видно, всю ночь не спал. Улыбается.

— Что за паника? Что с вами, дорогие?

— Нет, вы только поглядите на него!— возмутилась моя мать.— Два года подряд у нас от страха каждый день сердце готово выскочить из груди. Уходите из дому: идем, мол, учиться,— а вместо этого, словно петухи, деретесь на улицах! Потом вас забирают в полицию. Вот-вот пристукнут — у нас душа в пятки уходит. А он является и спрашивает: что, мол, за паника?

— Ба-абушка, дорогая! Чего тут бояться? Ничего не случилось. Наши товарищи отказались вчера идти на экзамен. И мы тоже не пошли.

Тут взорвался мой отец:

— Молодцы! Что тебе до товарищей? Сдал бы экзамен, свалилась бы эта беда с наших плеч!

Прежде чем Фахри успел что-либо сказать, неожиданно для меня через головы всей толпы, заполнившей гостиную, привратник, стоявший в дверях, произнес:

— А мужская честь нынче уже нипочем, бей-эфенди?

Я глянул на Ахмета-эфенди: не шутит ли? Он был совершенно серьезен. Все с удивлением взирали на привратника.

— Тут не до шуток, Ахмет! — сердито сказал отец.— Ребят убивают из-за угла. Это уже не борьба, не драка. Головорезы вооружены кастетами, дубинками, а то и револьверами. Думаешь, стамбульский губернатор, начальник управления безопасности такие простаки, ничего не понимают? Ловят этих вот дурачков, которые себя мнят активистами. А где нападавшие? Кто их задержал? Когда мы с тобой служили в губернаторстве, разве так мы закон исполняли?

— В те времена, бей-эфенди, другое было исполнение,— не сдавался Ахмет-эфенди.— Теперь все смешалось — ни закона, ни исполнения. Фахри и его товарищи правильно поступили. А рабочие? Что им остается? Знаете, что мой сын Али сотворил?

— Что же он сделал, Ахмет-эфенди? — поинтересовался я.

— Взял и вышел из партии. Так, мол, на фабрике приказали... Кто не выйдет из партии, выкинем с работы. И кой-кого уже выкинули... Двое детей, жена, сам четвертый — не голодать же... Я к тому говорю, что им там не до чести...

Эркал присел на стул, с понурым видом озирался по сторонам. Фахри продолжал стоять посреди гостиной. Ремзи первым сообразил, что сейчас не время спорить.

— После все обсудим,— сказал он. И обратился к Фахри:— А ты давай умойся, переоденься.

— Не умойся, а прими-ка ванну. Соскреби хорошенько с себя грязь, может, и завшивел там, не дай бог,— добавила Фериде.

Волнение понемногу улеглось. Соседи разошлись. Фериде послала Ахмета-эфенди к бакалейщику.

— Сельмин мне поможет,— сказала она.— Приготовим что-нибудь.

Обе скрылись на кухне. Эркал с книгами и тетрадями в руках направился к двери.

— Куда? — воскликнул дед.

Эркал рассмеялся:

— Положу тетради, приведу себя в порядок. И приду.

— Смотри не вздумай только удрать!

— Какой у тебя сегодня был экзамен?— спросил я.

— Статистика, дядя.

— И как?

— Немного запутался, но, думаю, сдал.

— А где ж ты шатался до вечера после экзаменов? — спросил отец.

— Дежурили перед управлением безопасности. Ждали, когда Фахри и других выпустят.

— Значит, если б их не выпустили, подняли бы шум, не так ли? Хорошо еще, что вас не забрали. А то дяде Ремзи пришлось бы и с вами возиться.

Эркал промолчал. Ушел. Отец поправил очки, встал. Пересел в кресло напротив Ремзи. С треском перебирая четки, проговорил:

— Послушай, сын мой Ремзи, я тебе кое-что хочу сказать...

— Слушаю вас, бей-эфенди.

— Скоро нам с ними не будет сладу.

Ремзи не понял. Поглаживая седеющие усы, переспросил:

— С кем?

— Да с кем же еще? С этой молодежью,— ответил отец.— Нашего внучка Эркала в Измире ждет не дождется его папаша Джемаль-бей, крупный подрядчик. Если в будущем году парень ничего не натворит и получит диплом инженера-строителя, то, по мысли отца, поведет его дело. Скажу откровенно, я от своего зятя, вернее от его делишек, не в восторге. У него что в душе, что в голове один чистоган. Скупает участки, продает участки, строит доходные дома этаж за этажом. Это на поверхности, а что под нею, какие там махинации кроются, мне неведомо. Теперь, спрошу я вас, если бы наш парень жил с отцом, впутался бы он в такие дела? Не думаю. Экзамены у него конча-

ются, а к отцу в Измир, как я понимаю, его не тянет. Если летом и поедет домой, то лишь ради матери. Не ладит он с отцом. Ты, Ремзи-бей, мне как сын, у нас от тебя секретов нет. Что моя дочь Эмель терпела от этого типа за долгие годы, лишь я один знаю. Не раз жаловалась мне. Я ее увещевал: такая, мол, твоя судьба, у вас два взрослых сына, надо уживаться. В первые годы после женитьбы зять мой был не таким. А чем больше денег стал загребать, тем больше входил в раж. Стал грубым, злобным, заносчивым. Детей тиранит. Слава аллаху, Эркал сейчас живет с нами. Эрдал, его старший сын, учится в Эгейском университете, и учится прекрасно. Но у обоих душа не на месте. Одно у меня утешение: как только окончат свои факультеты, будет у них профессия, уйдут от него куда глаза глядят. И тут я подхожу к самому главному. И Фахри, и Эркал, и Эрдал, если даже получат профессию и спасут свои головы, все равно оторвутся не только от нашего зятя Джемаля, но и от нас с вами. Экрем, сынок, ты только не сердись, но знаешь ли ты, что сказал твой Фахри, когда ты был в Анкаре? Мой отец, говорит, заодно с оппортунистами. И вся партия тоже! Знаю, баламутят молодежь, затемняют ей мозги. По собственному опыту знаю, и он меня не обманывает: есть среди этих парней агенты полиции. И еще: черные силы занимаются молодежью всерьез. Говорю тебе, Экрем, и в вашей партии на самом высоком уровне, может, даже среди тех, кого ты считаешь близкими друзьями, есть провокаторы. Тянут партию в пропасть, а вы подгребаете. Полагаю, что и над вашей головой сгущаются тучи. Расправятся с молодежью, а потом и за вас возьмутся...

Отец умолк, долгая речь утомила его.

Я дал ему сигарету. На улице стемнело. Я включил в гостиной свет. Отец сделал несколько затяжек. Снова обернулся к Ремзи:

— Ну скажи, разве я не прав?

«Ты попал в точку, отец»,— хотел было сказать я, но Ремзи опередил меня:

— В том, что вы сказали, бей-эфенди, много правды. Когда фашизм поднимает голову, энтузиазм молодежи используют во зло, подстегивают ее нетерпение, и это весьма прискорбно. С годами молодые люди образумятся, большинство уйдет в частную жизнь. И только очень немногие, повзрослев, образумясь, будут играть серьезную роль в политической жизни страны, оказывать влияние на ее судьбу. Все это неизбежно. Другое дело — и это опять-таки очень печально,— что ежедневно на улицах убивают наших детей, что правители беспощадно расправляются с ними. Помочь нашим детям миновать нависшую над ними опасность с наименьшими жертвами — это все, что мы можем сделать.— Ремзи сунул руку в карман, вынул блокнот.— Вот послушайте, я записал имена убитых на улицах молодых людей. Их убийцы гуляют на свободе, хотя кто они — хорошо известно. 24 июля шестьдесят восьмого года погиб студент Ведат Демирджиоглу. 28 июля — Аталай Саваш, 16 февраля шестьдесят девятого года убит Мехмет Тругут Айтач, в тот же день — Дуран Эрдоган. И так далее. Нетрудно предположить, что список этот будет расти. Что до партии, в которой состоит Экрем,— то она практически уже распалась... Я очень люблю Экрема, он мне как брат, его идеи я разделяю всей душой. Но его упорства, его умонастроения разделить не могу — и все тут. Раскольники толкают молодежь в подполье. Противники ждут этого как манны небесной. И не только ждут: наступают на молодежь, загоняют ее туда. А силы, которые сотрудничают у нас с иностранным капиталом, подстрекают обе стороны: зайцу кричат «беги», гончей — «гони». И раз так, то они ни в коем случае не допустят существования легальной партии, открыто объявившей своей целью социализм. Тем же, кто думает работать в подполье, и подавно головы не сносить. Вот вам мое мнение...

Отец внимательно его выслушал.

— Ты верно рассудил,— заметил он и посмотрел на меня.

Я промолчал. Мысли моего друга мне были давно известны.

Вошла Сельмин с тарелками в руках. Принялась накрывать на стол. Привратник принес пива, закуски. Ремзи, чтобы переменить тему, решил подразнить Сельмин:

— Что слышно о твоем женихе, дочь моя? Когда обручение?

Сельмин резко обернулась. Пылая гневом, отрезала:

— Я это дело поломаю, дядя Ремзи!

— Почему, дочь моя? Что случилось?— спросил Ремзи.

— А что же еще, дядя Ремзи? От него воняет деньгами!

Хоть было мне не до смеху, я рассмеялся:

— Братья тебя хорошо воспитали! Успела порядком образоваться.

Сельмин, ничего не ответив, покинула гостиную.

— Какова, подумать только! — взорвался отец.

Ремзи рассмеялся:

— Строптивая!

Это жена Ремзи сосватала мою дочь. Вот-вот должна была состояться помолвка. Отец парня заправлял большой торговой конторой. Жених не отставал от Сельмин ни на шаг. Часто приходил к нам в гости. Ума не приложу, что будет дальше!

Отступление первое

Стоял один из теплых солнечных дней ранней осени. По обе стороны парковой дорожки, ведущей от наружных ворот университета к главному входу, в лучах заката алели пинии. На скамьях под деревьями, меж зеленых газонов кучками сидели студенты. По аллее прогуливались двое. Один среднего роста, круглолицый, в очках, другой — худой, длинный, с резкими чертами лица и круглыми голубыми глазами. Неспешно переходя от группы к группе, прислушивались к спорам. Покружив, обнаружили пустую скамью в конце главной аллеи. Развалились, вытянув ноги.

— Новички,— сказал длинный.— Пришли записываться на факультеты.

— Много воды утечет, прежде чем мы найдем нужных людей, организуем их,— отозвался очкарик.

— Найдем. Лишь бы только занятия начались.

— Верно. Только надо пораньше новичкам мозги прочистить, приобщить к идеалам.

— Улыбайся, заговаривай зубы, и дело пойдет!

— Страх да палка тоже неплохо действуют. И все равно хлопот с ними не оберешься. А уж если со стариками снюхаются, пиши пропало.

— Ничего. У нас сила. А эти что? Толпа!

— Ты прав. Сила за нами. Союз наш могуч и велик идеал!

— Мы за него головы сложить готовы!

Помолчали. Голубоглазый кивнул в сторону парнишки, приближавшегося к ним.

— Гляди — рыбешка!

Юноша был небольшого росточка, худой. Кофейного цвета пиджак в полоску, узкие брюки. Юное лицо светилось радостью. Когда он подошел поближе, тот, что в очках, окликнул его:

— Здравствуй, друг!

Юноша остановился. Отозвался обрадованно, искренне:

— Здравствуйте!

— Похоже, оформился... Удачи тебе!

— Спасибо!

— Сядь, посиди,— вмешался голубоглазый.— Покурим, потолкуем.

Паренек не колеблясь подошел, сел между ними.

Голубоглазый спросил:

— На какой факультет записался?

— На юридический... Как раз баллов хватило. Собственно, я на него и хотел.

— Хороший ты выбрал факультет... Мы тоже оттуда... Старожилы. Считай, ветераны — последний курс.

— Очень мне здесь по душе... Великое место, великий город. Скорей бы занятия начались! Буду гулять по городу, заниматься.

— Конечно, придется поработать, лекции трудные, учебники толстые. В сотни тысячи страниц — всего не перечитаешь. А мы ждем экзаменов...

Юноша приосанился:

— Знаю-знаю... Но бойкот бойкотом, а занятия занятиями. Лекциям и экзаменам бойкоты мешать не должны.

Парни переглянулись и расхохотались.

— Охо-хо, приятель! Видно, ты совсем еще зеленый! Поживешь, начнешь кое-что кумекать.

— Не понял.

— Поймешь. Всему свое время! Откуда приехал?

— Из Малатьи. Окончил там лицей.

— Отлично, молодец! А где остановился?

— Внизу, у самого моря в маленькой гостинице. Завтра поищу комнату где-ни-

будь поближе. Нас несколько земляков, но они на других факультетах. Жилье всем придется искать порознь.

Голубоглазый хлопнул его по спине.

— Мы тебя устроим в общежитие... А пока есть тут одна школа, мы там живем. Пойдешь с нами.

Парень обрадовался.

— Спасибо вам, братья!

— Помогать новичкам — наш долг. Хоть неловко спрашивать, но все же: ты из какой семьи? Сможешь здесь прокормиться?

— Отец сам выделывает бязь, сам продает. Сколько прожиток будет стоить, столько обещал присылать. Постараюсь уложиться.

— Это хорошо. Прежде всего мы найдем тебе место в общежитии, потом выколотим стипендию. Есть разные учреждения, которые дают стипендии. Есть наш очаг. Будешь обеспечен на все годы ученья.

Юноша удивленно переводил взгляд с одного на другого. Не верилось ему, что птица счастья нежданно простерла над его головой свои крылья. Радость охватила его. Не знал, что и сказать.

Длинный хлопнул его по плечу.

— Вставай, не будем зря тратить время. Расплатимся в отеле, заберем твои вещи. Ты записался на юридический, но пока будешь жить у инженеров-строителей. Мы там поместились. Как-никак теперь ты студент университета. Завтра займемся общежитием. Потом запишемся в союз.

— В какой союз?

— Ты что, не знаешь? У студентов свои союзы, объединения, землячества.

— Знаю. Слыхал.

— Каждый записывается в союз, чтобы защитить свои права. Ты запишешься в Союз турецких студентов. Есть еще Федерация турецких студентов — их не слушай! Это коммунисты! Мы за Ататюрка! А ты за кого?

Он так строго спросил, что юноша вздрогнул. Страх запал в душу.

— За Ататюрка, ясное дело... Как же иначе? — ответил он робко.

— Вот и хорошо... Мы за Ататюрка. Мы националисты. История нас научила. В свое время серый волк указал турецкому народу дорогу к спасению, а в недавней истории это сделал Ататюрк. Он наш Серый Волк! — заявил тот, что в очках, нажимая на каждое слово.

— Пошли за вещами... Чем раньше переедешь к нам, тем лучше...— Они взяли его под руки, вышли из ворот университета, сели в маршрутку.

* * *

Время близилось к полуночи. На полу просторной комнаты на верхнем этаже Высшей школы инженеров-строителей юноша расстелил свою постель. Комната скорее походила на тюремную камеру. Тут разместились восемнадцать таких же, как он, юнцов. Один из старожилов сидел в углу у двери на матраце, раскрыв перед собой толстую книгу по истории и читая вслух густым, внятным голосом. После каждого абзаца останавливался, давая пояснения. Остальные слушали молча, сидя на постелях. Наконец сказал:

— На сегодня достаточно... Учеба будет продолжена. Займемся и физической подготовкой. Вам предстоит узнать еще многое. Хорошенько освоить устав Очага, основы нашей идеологии... Присягнуть на верность вождю. Научиться сражаться с врагами родины. Вскоре мы примем присягу. А уж тогда умри, но не отступай! Наша жизнь посвящена Великой Турции. Наша страна — страна Великого Вождя. Да здравствует Великая Турция! Да здравствует Великий Вождь! А теперь спать. Будем готовы к грядущим великим свершениям. Да ниспошлет аллах жизнь и порядок нашей родине! А нам всем — душевный покой!

Он встал, выключил свет. Тьма заполнила комнату. В коридорах слышались шаги. Какое-то скрытное движение ощущалось во всем здании.

Юноша устроился в постели, натянул одеяло до подбородка. И, уставясь во тьму, принялся размышлять. Страх все больше обуревал его. С первого шага он почувствовал себя здесь не в своей тарелке, будто попал в казарму, а не в институт. К занятиям еще не приступили, но многолюдно здесь было так, словно они уже начались. Вечером, умываясь, он случайно услышал разговор, который вели вполголоса два таких же новичка:

— Похоже на воинский штаб... Или склад оружия... Кажется, все старички вооружены.

— Говорят, вождь, вождь, а кто он такой?

Он пытался понять, куда он попал, в чьих руках оказался. Пощупал сложенную в головах одежду. Сумка была на месте. После долгих раздумий решил: убежит он отсюда! Он приехал в город учиться, а не сражаться! Да и с кем, чего ради?

Но как вынести отсюда сумку, постель?

Часть вторая

I

Голос у владельца и редактора газеты был расстроенный.

— Остается одно — закрываться! Не знаем, что писать. За каждую информацию, за каждую статью, да что я говорю, за каждое слово таскают в прокуратуру. Ни сесть, ни лечь, ни охнуть, ни вздохнуть. И у вас время отнимаем.

— Что опять стряслось, Кадир-бей?

— Да что еще! Из-за вчерашней статьи нашего Сельмана сегодня ночью взяли прямо из дому!

— Не могут взять человека из дому из-за статьи в газете, да еще ночью. Прежде следует вызвать его в прокуратуру, допросить.

— О чем вы, Экрем-бей? Где теперь закон, где порядок, где совесть? Бог его знает, в какой стране мы живем. Не смогли бы вы зайти в редакцию поговорить?

— Из-за этой вчерашней статьи? Я ведь читал ее.

— Да, именно. В ней якобы нанесен моральный ущерб правительству. Наш коллега выяснял в прокуратуре. Но где находится Сельман, и сам прокурор не знает.

— Я лучше сразу пойду в прокуратуру. Узнаю, в чем дело, а потом приеду в редакцию.

— Пожалуй, это разумней. Извините за беспокойство.

— Это мой долг, уверяю вас...

— Благодарю!

Я повесил трубку. Мой сын Фахри сидел за машинкой и, глядя на меня в упор, слушал наш разговор.

— Что случилось, отец?

— Из-за вчерашней статьи арестовали журналиста Сельмана-бея.

— Читал я эту статью. Что там такого?

— Нанесен моральный ущерб правительству!

— Не заметил ничего похожего.

— Найди-ка вчерашний номер, прочти еще раз. Потом поговорим. Ты юрист новоиспеченный и пока что в этом не разбираешься. Допечатай защитительную речь и дождись меня. Если придут клиенты, не забудь записать.

— Ладно отец.

Слава богу, сын окончил университет. Начал стажировку в суде. А после обеда помогает мне.

У дверей Дворца правосудия меня окружили репортеры, фотографы. Посыпались вопросы:

— Что случилось? Как это произошло?

— О чем вы? — опешил я.

— Разве вы не из управления безопасности?

— Нет, мне только что сообщили о том, что задержан Сельман-бей. Иду к прокурору.

— Говорят, Сельмана-бея скоро сюда привезут.

— Хорошо бы. Я буду требовать беседы с прокурором.

— В самом деле, Экрем-бей? Что же это такое, ни с того ни с сего берут человека ночью.

Я рассмеялся.

— Распустили языки. Глядите, как бы и вас не забрали!

— Помилуйте, мы делаем свою работу, ни во что не впутываемся.

— Все делают свою работу. Но теперь это тоже преступление.

Начала собираться толпа. Надо было как-то из нее выбраться. Но газетчики не отпускали.

— Это не арест, а задержание,— сказал я.— А прокурор допросит Сельмана-бея и уж тогда примет решение — арестовать его или нет. Мне надо поговорить с прокурором, прежде чем его привезут. На предварительном допросе адвокату присутствовать не положено. Дайте сперва выяснить суть дела...

Прокурор сидел за столом, заваленным папками и газетами. Вид у него был кислый. Насупившись, он внимательно изучал газетную полосу. Увидев меня, улыбнулся.

— Пожалуйте, Экрем-бей.

В последнее время я стал так часто являться к господину прокурору, что мы сделались чуть ли не друзьями. То был молодой, неглупый, знающий юрист. Ему вменялось в обязанность следить за прессой, просматривать газеты. Он указал пальцем на кресло против себя, приглашая сесть, и без предисловия сообщил:

— Приказ сверху. Занимаюсь тем, что ищу состав преступления в статье Сельмана-бея.

Я облегченно перевел дух:

— Очевидно, наверху его уже обнаружили.

Он рассмеялся:

— Между нами говоря, передовица написана мастерски. Нет ни строчки, которую можно было бы подвести под конкретную статью.

Я всегда испытывал уважение к этому прокурору. И на сей раз меня порадовала беспристрастность, достойная человека закона.

— Как бы там ни было,— сказал он,— мы ожидаем, что Сельмана-бея привезут к нам. Не хотите ли чая?

Чай выпить мы не успели. В коридоре послышался шум, топот сапог, громкие голоса. В дверь постучали.

— Войдите! — сказал прокурор.

Дверь распахнулась, и нашим глазам представилась дикая картина. Сельман, бледный, в наручниках, среди троих полицейских в штатском. Я обмер. Прокурор вскочил. С трудом сдерживая гнев, накинулся на полицейских:

— Это еще что такое? Кто приказал надеть на подследственного наручники?

— В управлении приказали, бей-эфенди,— растерянно отвечал один из чинов.

— И вы всю дорогу из управления вели подследственного в наручниках?

— Так точно, бей-эфенди.

Тут в кабинет хлынули газетчики. Защелкали камеры. Репортеры снимали Сельмана. Прокурор взял себя в руки. Верно, подумал: теперь вся Турция будет об этом знать.

— А ну, снять наручники!— приказал он. Указал Сельману на кресло.— Садитесь, пожалуйста, Сельман-бей!

Всех посторонних попросили выйти. Дверь захлопнулась за моей спиной. В коридоре толпились газетчики, любопытные. Полицейские держались в стороне. Кой-кто принялся их стыдить. Один из полицейских подошел ко мне.

— Разве мы виноваты, господин адвокат? Сказали нам привести — привели. Сказали увести — увели. Мы ведь рабы приказа.

— Правильно,— отозвался я, опускаясь на скамью.

Тут газетчики разом принялись за меня:

— Что вы хотите этим сказать, Экрем-бей?

— Успокойтесь, друзья, подумайте хорошенько,— отвечал я.— Без сомнения, в случившемся не было их злой воли. Они — подчиненные, что приказано, то и сделали. Ведь вы, кажется, газетчики, журналисты? Вот и пошли бы поискали виновных, чем подымать здесь понапрасну шум.

— Вы правы, Экрем-бей. Но видели бы вы, как Сельмана вели по всему городу в наручниках, словно вора или убийцу!

— Не нам этого надобно стыдиться!

— Внизу наряды полиции охраняют вход. А народ все прибывает и прибывает. Вот прорвется сюда молодежь, увидите, какая заварится каша!

— Что поделать? Именно из-за подобных вещей и происходят беспорядки!

Полицейские в сторонке нервно курили сигарету за сигаретой. Ждать пришлось довольно долго. Наконец писарь открыл дверь, позвал одного из них. Дверь захлопну-

лась. Вскоре полицейский вышел с бумагой в руках, и все трое удалились. Писарь подозвал судебного пристава. Тот вошел и тут же снова вышел в коридор:

— Господин прокурор просит всех разойтись. Если потребуется, он направит Сельмана-бея в суд, конечно, не под стражей. Допрос продлится долго. Господин прокурор просит всех не ждать.

Мне все сразу стало ясно. Если даже дело передадут в суд то Сельман не будет находиться под арестом. Но прокурор не желал отпускать его, пока не разойдется толпа. Когда газетчики и любопытные разошлись, я постучался в дверь прокурорского кабинета и вошел.

Сельман сидел в кресле, откинувшись на спинку. Прокурор что-то диктовал писарю. Глянул на меня краем глаза. Спросил:

— Вы хотите что-то сказать, Экрем-бей?

— Прошу прощения! Я хотел выяснить одно обстоятельство, мысль о котором до сих пор не приходила мне в голову. Будет ли привлечен по этому делу редактор газеты?

— Как раз сейчас я этим и занят. Пишу повестку. Пусть зайдет ко мне завтра в десять часов. Послушаем, что он имеет сказать. Вы их адвокат, и ваше право знать об этом. Если потребуется я заведу на него дело. А сейчас можете забрать Сельмана-бея.— Прокурор повернулся к нему: — Вы свободны.— Он помолчал. Подумал.— А за наручники, не знаю, мне ли это следует делать, но прошу принять извинения, Сельман-бей. Дело возбудили так спешно, что забыли даже о вашем редакторе. Не то и его могли привести сюда со скованными руками. Вы в который раз привлекаетесь?

Сельман натужно улыбнулся:

— Сбился со счета, господин прокурор.

— Я тоже,— ответил прокурор,— и не только вашим, а и всем газетным делам потерял счет.

Нажал на звонок. Вошел пристав.

— Господа уходят. Проводите их до выхода на улицу. Толпа разошлась?

— Какое там, бей-эфенди! Полиция заняла оборону в коридорах. Студенты пришли.

Прокурор стиснул зубы.

— Понятно: этого и добивались. Демонстрация окончена. Поволновали народ, подняли на ноги, и довольно.

Сельман с мрачным видом встал с кресла. Направился было к двери, но остановился:

— Разрешите, господин прокурор, позвонить домой? Там тревожатся, с ночи ничего обо мне не знают.

— Пожалуйста, прошу вас!

Сельман набрал номер.

— Не волнуйтесь! Я у прокурора, иду в газету. Дома буду вечером. Нет, нет... Потом расскажу... Всего хорошего.

Поблагодарив прокурора, мы направились вслед за приставом. Вышли черным ходом в проулок и никем не замеченные добрались до Джагалоглу.

Сельман устал, не выспался. По дороге мы почти не разговаривали. Лишь однажды он остановился и проговорил:

— Нам крупно повезло с прокурором.

— Не знаю, долго ли еще будут терпеть такого юриста на этом посту. Блюдет дух и букву закона отстаивает права каждого, кто бы он ни был. Твоя история может переполнить чашу.

— Ты прав. Насколько я понял, он давно мечтает избавиться от подобных дел. Мне кажется, что о моем аресте был дан приказ сверху. Тем не менее это не повлияло на прокурора Не перевелись еще в нашей стране порядочные прокуроры, справедливые судьи! Я должен об этом написать.

Я невольно рассмеялся:

— Пиши, пиши Им только твоей похвалы недоставало!

II

Фахри отсутствовал целых три дня. Эркал тоже. Моя жена, родители, наш привратник Ахмет-эфенди с женой не находили себе места. Сын вышел из дому три дня назад рано утром: иду, мол, в контору. Я отправился в суд. А когда пришел в свою

контору, его там не было. Наверно, ушел по делам, подумалось мне. Племянник сказал, что идет в университет, и тоже исчез. Вечером оба домой не вернулись. В тот день после обеда Стамбул облетела весть: произошли беспорядки на площади Таксим, на площади Баязид — выступления студентов. Участвовал в них Эркал или нет? — спрашивал я себя. О Фахри в этой связи я старался не думать, пытался себя обмануть: парень-де окончил университет, стажируется в суде, работает вместе со мной. Но в глубине души был почти уверен: оба негодника не остались в стороне.

Первую ночь домашние провели без сна. Наутро в газетах появились снимки, репортажи. Тысячи студентов собрались на улицах хоронить своего убитого товарища Баттала Мехетеоглу. Мы просмотрели фотографии во всех газетах: в толпах студентов никого похожего на Фахри и Эркала не приметили. Принялись за розыски. Вместе с Ремзи обошли общежития, побывали в студенческих союзах и федерациях. И решили: ясно дело, сидят голубчики. Это нас как-то успокоило. Чем только человек не утешается?

— На сей раз дело нешуточное,— сказал Ремзи.— Нечего спрашивать о ребятах в управлении безопасности. Не будем напоминать волкам о зайце. Если выпустят, сами явятся. А отдадут под суд — увидят, на что способны адвокаты.

Я согласился с ним, но недобрые предчувствия продолжали меня терзать, я не знал, куда деваться от тревоги. Фериде то и дело падала в обморок. Сельмин возилась с матерью, пыталась ее успокоить. Отец со вчерашнего дня три раза одевался: «Пойду в управление безопасности, явлюсь к начальнику — я бывший губернатор...» С трудом его удержали, хотя мать требовала: «Пусть идет. Пусть наконец покажет себя!»

Привратник Ахмет-эфенди то и дело спускался по лестнице, стоял перед дверьми, бродил вверх-вниз по переулку.

На следующее утро у меня было назначено слушание. Выступив в суде, пришел в контору. Решил до вечера домой не возвращаться. Перекусил в молочном кафе.

Посидел. Подумал было, что пора домой, как зазвонил телефон. Дочь, голос взволнованный, кричит:

— Отец, беги скорей домой! Брат пришел!

Время близится к вечеру. На улицах толпы. В стороне от подъезда, в проулке, притаилась маленькая машина. Перед лестницей сидел на стуле и курил привратник. Увидев меня, привстал:

— Волноваться не о чем, бей. Мы его подняли наверх. Ногу слегка задело. Там полно народу.

— Что с ним? Что случилось?

Я взбежал по лестнице. Привратник крикнул мне вдогонку:

— Пусть сам тебе расскажет.

В гостиной кроме моих родителей и жены были чужие. Отец воздел руки:

— В добрый час, сынок! Дело прояснилось. Бей-эфенди с супругой его привезли: Фахри дружит с их дочерью. Познакомься: Сабри-бей, бывший инспектор министерства финансов. Его супруга Хандан-ханым.

Мы поздоровались. Сабри-бей, маленький седой человек, с умными глазами. Его жена выглядела старше его. Сидят рядом с Фериде. У обоих в лице ни кровинки. Стоило мне присесть, как Сабри-бей заговорил:

— Что поделаешь с нынешней молодежью? Прошу прощения, Экрем-бей, что мы целых три дня не могли вас известить. Боялись даже позвонить: телефон прослушивается. Вокруг дома вьются какие-то темные личности, то ли шпана, то ли шпики, кто их разберет. Слава аллаху наш сосед по площадке и мой закадычный друг — врач. Осмотрел Фахри, оказал первую помощь. Мякоть на левом бедре задело пулей. Наша дочь Филиз такая упрямица, доложу я вам. Ни словечка из нее не вытянешь. Три дня назад, когда стемнело, привела раненого Фахри к нам: «Спрячь нас, отец!» Как только Фахри смог ступать на ногу, я, улучив момент, сел в машину и привез к вам. Пусть немного стемнеет — мы с ханым сядем в машину и уедем в Гебзе. Там у нее брат. Нам надо исчезнуть на некоторое время. Простите, я путано говорю. Голова идет кругом. Как я понял, ребята не столько от полиции прячутся, сколько опасаются кого-то еще. Не знаю, чем все это кончится. Дочь с нами ехать не желает. Не хочет и слышать об этом.

Тем временем я успел прийти в себя. Чтобы унять всеобщее волнение, сказал:

— Не огорчайтесь, я, как адвокат, берусь это дело уладить.— И обернулся к жене: — Приготовь гостям чай, кофе.

* * *

Я сгорал от нетерпения поговорить с Фахри! Когда я вошел в комнату, сын лежал на кровати. Рядом сидела светлая, как ромашка, девушка. При виде меня привстала.

— Да будет это в прошлом, Фахри!— сказал я, подходя.

— Спасибо, отец.

— А ты как, дочь моя? — спросил я Филиз.

— Со мной тоже все в порядке. Фахри сделали укол, перевязали. Послезавтра надо сменить повязку.

— Хорошо, что дешево отделались. Отдохнете — расскажете.

Я вышел. Из головы не выходят мысли — пуля, что попала ему в ногу, могла лишить меня сына.

В гостиной я вдруг вспомнил про Эркала, и мне стало стыдно, как я мог о нем забыть. Тут же вернулся в комнату Фахри.

— Мы были у горного факультета. Там такое творилось! Потом ворвалась полиция, и всех забрали. Один из товарищей сказал: Эркал — среди арестованных. Не стоит волноваться. Он в управлении безопасности!

Тут я рассвирепел:

— Ах, как славно! Как распрекрасно! Вы деретесь, потом попадаете в руки служб безопасности...

Филиз подняла на меня свои синие глаза.

— Об этом мы еще поговорим,— ответила она.

«Лихая девушка»,— подумал я.

Когда я вернулся в гостиную, отец спросил:

— Фахри сказал тебе, что с Эркалом?

— Сказал.

— Если сегодня вечером его не выпустят, я завтра же отправлюсь в управление безопасности.

— Ладно, сходи.

Сабри-бей с женой сидели как на иголках. Пили чай, смущаясь, говорили наперебой:

— Убедите Филиз ехать с нами.

— Может, она вас послушается.

— Мы там себе места не найдем... Как она будет одна в Стамбуле? Факультет закрыт. А откроется, надо еще подумать, ходить туда или нет,— словом, нечего ей здесь оставаться.

— О Филиз не беспокойтесь,— ответил я.— Она останется у нас. Будет жить вместе с Сельмин. Пока все не утихомирится, я ее на улицу не выпущу, а когда вы вернетесь, она придет домой.

— Большое, большое вам спасибо, Экрем-бей. За внимание, за доброту,— проговорила мать Филиз.

— Прежде нас внимание друг к другу проявили наши ребята. Филиз от Фахри ни на шаг не отходит,— пошутил мой отец.

Сабри-бей с женой поглядывали на дверь. «Думают больше о себе, чем о дочери»,— пришло мне в голову. Кого они так боятся, понять не могу. Может, им еще кое-что известно? Мое предложение взять к нам дочь их прямо-таки обрадовало. Тут я вспомнил, что жена не раз мне говорила: «Наш лев гуляет с какой-то блондинкой».

Сабри-бей с женой поднялись.

— Темнеет. Нам пора в дорогу.

Мы все отправились в комнату Фахри взглянуть на детей. Хандан-ханым сказала дочери:

— Ты останешься с Сельмин-ханым. Вместе будете смотреть за Фахри. И чтоб слушались Экрема-бея. Через неделю, дней через десять мы вернемся.

Я хотел проводить их до машины, но они воспротивились. Сабри-бей сел за руль, надел черные очки и тихонько выехал на проспект. Так я и не понял, чего они боятся.

Отец, опустившись в кресло, проговорил с грустной усмешкой:

— Ну и дела! Без помолвки, без свадьбы взяли невестку, привели в дом... Слава аллаху, девушка очень красивая! Всегда знал: Фахри — парень не промах, на лету птицу собьет, на скаку блоху поймает.

— Нашел время для шуток! — гневно вспыхнула мать.— Вставай, губернатор в отставке Фаик Мутаф-бей-эфенди! Пойдем к себе. От всех этих тревог я сама не своя Может, Эркал пришел.

Стало совсем темно. Фериде зажгла свет, проводила родителей до двери. Вернулась, села поближе к печке.

— С утра не могу согреться.

Какое-то время мы сидели молча. Тревога, снедавшая меня трое суток подряд, почему-то усилилась.

Первой нарушила молчание Фериде:

— Что будем делать?

— А что мы можем сделать?

— Отчитай Фахри как следует.

— Нашим детям уже не десять лет. Высечь их не могу. И в детстве-то их, сама знаешь, я по лбу не щелкнул ни разу. Поговорим, конечно, обсудим их проблемы. Поспорим. Хотя дела приняли такой оборот, что споры тут уже не помогут. Сказать по правде, надоело мне только и делать, что спорить со всеми подряд. И в партии и вне ее каждый пошел своей дорогой. Бросают на ветер много слов, а в итоге слышен лишь шум. Кто что говорит — не разобрать. Пользуясь этим шумом, власти творят что хотят и внутри страны, и за границей. Похоже, самое худшее еще впереди. Скверно у меня сейчас на душе.

Жена посмотрела мне в лицо полными слез глазами.

III

В Стамбуле шел снег. Было воскресенье. Фериде с утра затопила керосиновую печку в моей комнате. Позавтракали, я уселся в кресло у окна, просмотрел газеты. Новости были не из приятных: захваты предприятий, стычки, убийства. Продолжали поступать отклики на всеобщую забастовку учителей в минувшем декабре, на захват рабочими завода «Гамак», во время которого был убит один из фабричных. В начале нового, 1970 года события приняли еще больший размах. В Анкаре студенты объявили бойкот занятиям и на целый день захватили городские автобусы. Кроме всего прочего, власти были чрезвычайно встревожены опубликованным в прошлом месяце антиправительственным заявлением шестидесяти девяти офицеров. Дело раздувать не стали, но газеты давали понять, что все офицеры арестованы. За всеми этими событиями как-то позабылись результаты выборов 12 октября. Между тем новое правительство продолжило прежнюю политику: «Улицы оттого, что по ним ходят, не портятся». Фашистские боевики — коммандос, общества по борьбе с коммунизмом, протянувшие свои щупальца во все концы страны, получили поддержку нового правительства. Без всякого стеснения оно объявило, что в новом году выделит деньги для их финансирования. Правящие круги усиливали террор, укрепляли свои связи с иностранной агентурой, с колонизаторами. Полиция выглядела безучастным свидетелем событий.

Я отшвырнул газеты — хватит с меня. Сел за стол, принялся изучать судебные дела. Надо было написать несколько кассаций, но голова не работала. Вот уже несколько дней я терпеливо ждал случая, чтобы поговорить с Фахри, Эркалом и Филиз. Я был полон решимости не вступать с ребятами в спор — и без того наспорился до тошноты. Но побеседовать с ними, когда вокруг творилось такое, было в конце концов моим отцовским долгом.

Фахри поправился, ходил стажироваться в суд, помогал мне в конторе. Время от времени куда-то исчезал. За поведением Эркала я толком проследить не мог. Вроде занимался, ходил на факультет. Не выпускал из рук таблицы, чертежи. Филиз к нам привыкла, верней, мы ее приручили. Она училась на экономическом факультете. Бойкоты прекращались, объявлялись снова, но она регулярно ходила в университет. Привыкли мы и к тому, что на углу возле нашего дома постоянно маячат шпики. Стоило ребятам выйти из дому, как они испарялись, а когда дети возвращались, снова занимали свое место на углу. У меня в голове не укладывалось: в университете тысячи студентов, как службы безопасности поспевают следить за всеми? Или наши числились в главарях? Порой я замечал, что и за мной тянется хвост.

Дочь выглядела спокойной. Подружилась с Филиз. Жена моего друга Ремзи не оставляла Сельмин в покое и почти приучила ее к мысли о замужестве. Сынок богатого торговца ходил за ней по пятам. Я не удивился, когда узнал, что мои родители и жена дали согласие на свадьбу. Но сам пребывал в недоумении: верить ли?

Наконец на прошлой неделе, когда дело двинулось вперед семимильными шагами, я отважился. Снял трубку, позвонил Садыку — так звали парня, просившего руки нашей дочери. Он тут же примчался, и мы вдвоем устроили закрытое совещание.

— Буду с тобой откровенен, сын мой,— начал я.

— Я вас слушаю. Если б вы меня не позвали, я все равно осмелился бы вас побеспокоить для этого разговора.

— Несколько лет назад ты окончил юридический факультет. Отслужил, насколько я знаю, в армии. Тебе известно, в какой среде варятся мой сын Фахри и племянник Эркал. Они не желают, чтобы их сестра вышла за тебя замуж, и постоянно оказывают на нее давление. Боюсь, как бы вы не оказались в глупом положении, если обручитесь. И не только вы. Нашим семьям придется несладко. Твое положение в деловом мире, торговые операции, которые ты ведешь с отцом, меня не касаются. На мой взгляд, то, чем вы занимаетесь, в условиях нашей страны отнюдь не зазорно. Но наши парни, прости меня за откровенность, смотрят на это косо. Тут уж ничего не поделаешь. Возможно, если ты потерпишь, подождешь какое-то время, настроение у них изменится... А пока не следует на них нажимать.

— Вы совершенно правы, эфенди,— ответил Садык, не моргнув глазом.— Мне хорошо известна ваша среда, ваше положение и обстоятельства которые вы имеете в виду. Уверен, что с ее братьями мы прекрасно поладим. По причинам, о которых я сейчас говорить не могу, мы с ними не противники. Скоро они поймут, что я собой представляю и чем занимаюсь. Я знаю, вы умеете хранить тайну, и потому не вижу необходимости скрывать от вас: я на их стороне. Но не афиширую этого из-за своего положения. Их организации по секрету от отца оказываю значительную денежную поддержку. Именно поэтому делаю вид, что с головой ушел в торговлю. Это может вам подтвердить председатель вашей окружной партийной организации. В течение двух лет я вносил арендную плату за помещение для нее. Лишь после недавних выборов все изменилось.

Я только рот раскрыл от изумления. Долго не мог прийти в себя. Проверить слова Садыка я не мог. После выборов все смешалось; не понять, кто на чьей стороне. Руководство окружной организации выступило против партии, повело себя как самостоятельный партийный центр. Раскольники гнули свою линию. Кричали: «Мы поведем партию по пути научного социализма!» Но это были лишь слова.

— Могу я сказать об этом ребятам? — спросил я наконец.

— Можете. В них я уверен. Рано или поздно все равно узнают.

Сегодня перед обедом я решил поговорить с ребятами.

Когда я вышел в гостиную, Эркал чертил на обеденном столе. Филиз на другом конце стола сидела с грудой ксерокопий. Фахри — в кресле поджал под себя ноги, читал. Сельмин, наверно, помогала матери на кухне. Заметив меня, ребята подобрались.

— Работайте, работайте! В добрый час! — сказал я.

Прошелся по гостиной. Посмотрел, что читает Фахри: Жан Жак Руссо «Об общественном договоре». Рядом с креслом — словарь и раскрытый на тех же страницах турецкий перевод. Заметив, что я склонился над ним, говорит:

— Хочу на ее собственном языке выяснить, на чем стоит буржуазия. А заодно подтянуть французский!

— Молодец! — похвалил я.

Поглядел на Филиз. Читает конспекты профессорских лекций по трудовому праву. Спросил:

— У тебя нет ко мне вопросов по этому предмету, дочь моя?

— Пока нет, эфенди.

Чем занят, что чертит Эркал, мне было непонятно. Но я внимательно поглядел на его работу, словно изучал ее. Потом, пытаясь придать своему голосу спокойный тон, сказал:

— Я хотел бы с вами поговорить.

Обернулись ко мне, будто спрашивали: «Разве есть о чем говорить?»

— Пойдемте ко мне!

Я расположился в кресле, вытянул ноги. Принял, как мне казалось, самый внушительный вид. Какое-то время смотрел в окно, на хлопья падавшего снега. Потом сказал:

— В общих чертах мне известно, что произошло 14 декабря, хотя не могу сказать, что мне ясен весь ход событий, да и кому он ясен? Но мне известно, что произошло лично с вами. Особенно потрясло меня ранение Фахри. Может быть, вам не очень понятны мои чувства, но когда вы сами станете родителями, то, надеюсь, отдадите мне должное.

Они переглянулись. Потом опустили головы.

— Я расскажу, отец,— отозвался Фахри. — В тот день, когда был убит наш товарищ Баттал Мехетеоглу, я вышел из дому рано утром. Собирался зайти в контору, а затем отправиться в секретариат уголовного суда, где, как ты знаешь, я прохожу стажировку. Но по дороге увидел на площади Баязида толпу. Заинтересовавшись, вылез из маршрутки. В толпе оказались знакомые, товарищи. Говорят, в Мачке, в Гюмюшсую уже двое суток идут столкновения. Мерзавцы коммандос собрались в мечетях якобы для молитвы, а когда студенты пошли на занятия, высыпали им навстречу и принялись их избивать. Захватили здание факультета. Наши решили идти на подмогу. Но всех сразу полиция не пропустила бы: дороги перекрыты. Решили отправиться по трое, по двое и через час встретиться у горного факультета в Гюмюшсую. Я сразу подумал про Филиз. Пошел к университету. И увидел ее на площади Баязида — идет с приятельницей и тремя парнями. Направляются в Гюмюшсую. Конечно же, я пошел с ними. Кружным путем добрались до горного факультета, видим: идет побоище. В ход пошли кулаки, палки, ноги. Наши товарищи дерутся в аудиториях, в коридорах, на улице — льется кровь. Полиция бездействует. На мостовой лежит убитый, якобы им занимаются. Погиб наш товарищ. Узнали имя: Баттал! Когда полиция нас увидела, попыталась преградить дорогу. Встали цепью, выставили дубинки. Но мы прорвали цепь. При виде нас товарищи на верхних этажах высунулись из окон, запели «Туман окутал горы». Песня перекинулась на улицы, на площадь. Начали окружать мерзавцев, прижимать их к воротам. Тут им на выручку бросились полицейские. Мы приблизились к воротам. В углу двора на корточках сидели трое, у одного пистолет, целится в нас. За мной Филиз, рядом с ней две девушки, за ними еще трое парней. Я схватил девушек в охапку, повалил, сам бросился на землю. На тех, что целились, сзади напали наши. Кто-то крикнул: «Они с оружием!» Все кинулись к нам. Двое полицейских тоже — якобы задержать их. Но подлецам удалось смешаться с толпой. Мы кинулись их ловить, а полиция нам мешает. Товарищи кричат: «Это они убили Баттала!»

Видим, все трое выбрались из толпы. Мы тоже. Начали их преследовать. Они обежали задами казино «Таксим», выскочили на проспект. Нас было шестеро: Филиз, ее подруга и еще трое ребят. Один из них говорит: «Придется нам поработать за полицию. Посмотрим, куда они денутся».

По двое идем по мостовой, преследуем их. Они уже не спешат, идут медленно. Заметив нас, прибавили шагу. Начали кружить по кварталу — то шагом, то бегом. Преследование длилось довольно долго. В конце концов мы оказались на мосту Ункапаны. Они бросились бежать. Мы за ними. Метров сто нас разделяло. «Сзади полицейская машина!» — кричит Филиз.

Замедлили бег. Полицейские подъехали к нам. «Куда это вы спешите, поганцы!» — крикнул из машины комиссар. Один из наших отвечает: «Не нами занимайтесь! Вон те трое с оружием». — «Без вас разберемся,— отрезал комиссар. — Валите домой!»

Дали газ, догнали тех троих. Притормозили, что-то им сказали и исчезли из виду. Мы продолжали преследование. Полиция как сквозь землю провалилась. Короче, оказались мы в одном из переулков. Они свернули за угол. Мы побежали за ними. Тут из-за угла раздалось пять выстрелов. Мы бежали прямо под пули словно завороженные. Я упал. На какой-то миг потерял сознание. Когда открыл глаза, надо мной склонились товарищи. Люди высыпали из домов, стояли в дверях, торчали в окнах. Глядели на нас со страхом. На мостовую выбежал пожилой крепкий мужчина: «Убитые, раненые есть, ребята?» Увидел меня, поднял на руки, побежал к ближайшему дому. Крикнул: «Скорей сюда! Идет полицейская машина!»

Меня внесли в заднюю комнату. Он говорит: «Я все видел, полиция и не думала ловить тех, кто стрелял. Пустилась за вами».

Кроме него в комнате были еще две женщины. Товарищи перевели дух, принялись помогать хозяину, который осматривал мою ногу. «Повезло тебе, парень, говорит, пуля не застряла. Всем вам повезло, что очутились возле моего дома». Он пере-

тянул мне ногу, чтобы остановить кровь, полил рану йодом, стал перевязывать. Филиз сидит плачет возле меня. Один из наших рассказывает хозяину, что произошло. Тот улыбается. «Неумело вы за ними следили,— говорит.— Достаточно было одного человека, чтоб незаметно выведать, где они прячутся. Вооруженных людей не преследуют вот так, вслепую. Да и узнай вы про них все, толку не было бы. По моему разумению, полиция не за ними, за вами следила. Что теперь говорить?! Мы тоже во время стачки наделали ошибок. Часа три-четыре посидите здесь, а когда стемнеет, я помогу вам улетучиться».

Женщины заварили чай, принесли нам поесть. Потом оставили одних. Долго мы там сидели. Стало темнеть. Вдруг звонок в дверь. Слышим: «Добрый вечер, мастер!» — «Добрый вечер, Али!» Голос нашего спасителя. Вошедший говорит: «Я слышал от наших, что тут у вас стряслось. Помощь нужна?»—«Нужна, нужна».

Открылась дверь. Вместе с хозяином вошел молодой, как мы, парень. По виду рабочий. Улыбается. «Да будет это в прошлом, братцы!» — «Спасибо на добром слове!» — «Что там, на улице? — спрашивает мастер.— Полицию видел?» — «Нет,— говорит,— полиции. Заметил только, что несколько человек крутятся между проспектом и нашим кварталом. Рожи злющие, но на полицию не похожи. Мне и в голову не пришло, а теперь вот...»

Когда совсем стемнело, мастер и Али помогли нам выбраться на проспект. А меня и Филиз мастер проводил до улицы, где она живет. Остальное вам известно. А Эркала, пока мы гонялись за этими типами, полиция забрала вместе с другими товарищами.

Рассказ Фахри взволновал меня.

— Да,— говорю, стараясь придать своим словам шутливый тон,— приключение что надо... Что это за шайка, я более или менее представляю, верней, догадываюсь. Наглеют день ото дня. Они и сейчас продолжают ходить за вами?

— Знаем, что ходят,— ответил Эркал.— Когда нас много или мы все вместе на факультете, они поджимают хвост. Иногда задираются, ищут предлог для скандала. А поодиночке в малолюдных местах мы стараемся им не попадаться. Научились отличать их. Есть студенты, что служат в полиции, вступили в общество по борьбе с коммунизмом. Мы выработали свои способы выводить их на чистую воду. Прежде всего их отличает невежество. Являются в аудиторию, точно с луны свалились, ни о чем не имеют понятия. На первых курсах иногда это им сходит с рук, а у нас, на последних, их видно издалека по ослиным ушам. Ни чертежа вычертить, ни карты нарисовать, ничего не умеют. Знаем, что у всех у них есть оружие.

— Чем же это кончится? — с грустью проговорил я.

— А кончится тем,— ответил Эркал,— что мы тоже организуемся, вооружимся!

— Вот здорово! Лучше и придумать нельзя,— сердито сказал я. — Подумали вы, что с вами будет?

— Уже было,— спокойно ответила Филиз.— Чего еще?

Я оторопело воззрился на нее.

— Послушай, отец,— сказал Фахри. — После 16 февраля прошлого года, то есть после Кровавой пятницы, ты сам знаешь, убито несколько человек. Никто из убийц не пойман. Значит, убийства будут продолжаться. И я не застрахован...

— Мы вооружимся только для самозащиты,— вмешался Эркал. — И организуемся не для того, чтобы взяться за оружие... У нас разные организации, разные взгляды. Объединяет нас одно — применять оружие можно только для самозащиты.

Я задумался. Хотят организоваться... И не удержался от искушения узнать, что они думают о нашей партии.

— Не кажется ли вам,— спросил я,— что каждый из вас принес бы куда больше пользы, если бы стал членом легально созданной, столько лет существующей партии с легальным уставом и программой?

Ребята переглянулись, будто вопрос этот был им в диковинку.

— На этот поезд мы опоздали, отец,— сказал Фахри.— Когда партия создавалась — до выборов 1965 года,— мы были еще детишками. А когда мы готовы были в нее вступить, в ней самой все смешалось. Вы начали обвинять друг друга в оппортунизме, консерватизме, раскольничестве и так далее. Кто в этом виноват, не знаю, но молодежь от партии отвернулась. И сблизиться с вами мы не сможем. Не хочу вас обижать, однако мы убеждены, и время это покажет, что ваша партия в тупике.

Еще недавно мы возлагали на вас большие надежды, но последние выборы вас добили. Я всегда помогал вам, мы все вам помогали. Но что поделать, сейчас вы лучше нас знаете: ваша партия уже не поднимется. Лично я думаю, что умеренность не встречает одобрения в партии. Может, прав ваш председатель, может, его противники. Рассудит история.

Мне нечего было ему ответить. Пришлось бы снова вдаваться в детали, ввязываться в спор. А спорить с этой молодежью было бесполезно. И все же я не хотел сдаваться:

— Вы знаете, что в рядах партии, в ее окружном центре работают и молодые?!

— Оставь, дядя,— сказал Эркал. — Два-три «великих теоретика», «шейхи», которые сами себя посвятили в сан, собирают вокруг себя толпы наших фанатичных и невежественных сверстников, читают им «Капитал» со своими комментариями. Между тем, насколько я знаю, «Капитал» еще нужно как следует перевести на турецкий язык. Каждый партийный центр стал отдельной партией. Полицейские, провокаторы от радости на седьмом небе... Одному богу известно, сколько новых досье они завели! Всех взяли на заметку. Фахри сказал: «партия в тупике», и он прав. Сколько в партии лидеров, сколько председателей? Кто руководители? Неизвестно. У кого язык хорошо подвешен, тот и лидер. Тут уже не разобрать, кто раскольник, кто провокатор, а кто искренний, но недалекий человек. Куда нам податься? Кого держаться? Все обвиняют друг друга. Очень многие против вас, против председателя.

«Молодец! — подумал я про себя. — Ребята здорово разбираются в ситуации! Всё видят, всё чувствуют!»

— Выходит, мы стали оппортунистами, а? — усмехнулся я.

Фахри с Эркалом печально умолкли.

— Помилуйте, эфенди... Я бы сказала... Вы, вы слишком умеренные,— выручила их Филиз.

— Благодарю, дочь моя, ты очень деликатна... Мы, пожилые, чересчур предусмотрительны. Мы старались и стараемся сейчас иметь партию в рамках закона, легальную партию. Восемь лет мы шли этим путем, и, полагаю, неплохо. Но в последние два года вы заторопились, да кой-кто из «стариков» тоже. Вот и стали мы казаться вам «умеренными», как ты изволила выразиться. Верно, и быстрый рост партии, и теперешний ее развал — неизбежный исторический результат ее развития. Вы только что спрашивали: что будет дальше, к чему это приведет? Не знаю. За десятилетний срок мы, старшие, успели сыграть пусть небольшую, но свою собственную историческую роль. Конечно, общественное движение на этом не остановится. Мы продвинемся вперед настолько, насколько сможем. Вы должны пойти дальше. Единственное, на что хочу надеяться, чтоб вы не оказались на ложном пути. Хочу дать вам совет: книги книгами, принципы принципами. Надо, конечно, заглядывать в книги, сверяться с принципами. И свет и путь — там. Но пуще огня страшитесь оторваться от земли, по которой ходите. И еще хочу сказать: я ничего не имею против того, чтобы вы организовались. Но решительно против оружия. В борьбе идей не сегодня, так завтра непременно обнаружится, кто прав. В вооруженной же борьбе слышны только выстрелы, а их не отличить один от другого. Оружием вы никого не убедите, ничего не добьетесь. Движение Мустафы Кемаля против распавшейся Османской империи смогло увлечь народ, и потому это — огромное историческое событие. А все остальные шли вопреки воле большинства народа...

Вожди приходят и уходят, партии, чья историческая роль исчерпана, исчезают. А новые люди, новые партии могут продолжать исполнять свой долг. Основывайте организацию, какая вам надобна. Но если вы возьмете в руки оружие, вас тогда никто не спасет. Против вас выступят все силы государственной безопасности. Будьте дальновидны, будьте терпеливы, учитесь бороться без оружия, ждите своего часа. Вот все, что я могу вам сказать.

Какое-то время они молчали.

— Мы разделяем ваши мысли, дядя,— начал было Эркал,— верим в то, что вы сказали...

Филиз перебила его:

— Я догадываюсь, что ты имеешь в виду, Эркал. И хочу, чтоб ты понял: если бы твой дядя испугался, он удрал бы, как мой отец. Конечно, наши действия не могут не встревожить родителей, но...

— Не осуждай своего отца, Филиз,— сказал я. — У него свои тревоги, свои причины для беспокойства.

Филиз напряглась как струна.

— Я вам расскажу...

— Не стоит, Филиз,— мягко возразил Фахри.

Я понимал их отчаяние, их решимость. Но мы перешли на личности. Надо было сменить тему.

— Мы ушли в сторону, а я хотел вам еще кое-что сказать. Знайте: в вас стреляли люди правящей партии. Знайте, они липовые кемалисты, фальшивые националисты. Это просто профессиональные убийцы. Их общества, так называемые очаги, союзы — это игрушки, с помощью которых силы, правящие страной, пытаются отвлечь внимание от своих грязных дел. Вот почему органы государственной власти на их стороне, поддерживают и охраняют их. Есть единственный способ обезвредить их — не отвечать на их провокации.

Ребята искоса поглядывали на меня, не дело, мол, ты говоришь.

— Положим, все так,— с невинным видом возразила Филиз,— но они-то на нас нападают, преследуют.

— А вы их не преследуйте, какой толк гоняться за убийцами, которых не желает ловить полиция?

Фахри ухмыльнулся. И повторил слова привратника Ахмета:

— Вот это ловко, отец. А куда девалась мужская честь?

Видя, что мне с ними не договориться, я умолк. Тут Сельмин позвала нас к столу.

Парни поднялись. Выждав, когда Сельмин отойдет от дверей, я сказал:

— Да, увидел Сельмин и вспомнил. Послушайте: Садык, что просит руки вашей сестры, думает так же, как вы.

Они удивленно на меня поглядели. Фахри рассмеялся.

— В самом деле? Неужто?

— На прошлой неделе я с ним говорил,— ответил я со всей серьезностью. — До сих пор он не мог открыться, но, оказывается, уже несколько лет он помогает нашей партии. Даже помещение окружной организации снимал на свои деньги. Последние события побудили его изменить позицию: он стал помогать вашим. Он не сказал, каким именно организациям он помогает. И был, естественно, прав.

— И ты, папочка, конечно, ему тут же поверил? — брякнул Фахри.

— А почему я должен был ему не верить?

Эркал внимательно взглянул мне в лицо:

— А если он агент полиции?

На какой-то миг мне сделалось не по себе. Видно, это отразилось на моем лице.

— Не расстраивайся, отец, мы проверим, разберемся,— утешил меня Фахри.

(Окончание следует)

ФИШ РАДИЙ ГЕННАДИЕВИЧ (род. в 1924 г.)

Советский писатель-ориенталист и переводчик. Кандидат филологических наук. Перевел более двадцати книг турецких поэтов и прозаиков, в том числе романы Сабахаттина Али «Дьявол внутри нас» (М., 1955), «Юсуф из Кююджака» (М., 1958), К. Тахира «Глубокое ущелье» (М., 1972), стихи Назыма Хикмета, Орхана Вели и др. Автор романов-исследований о Н. Хикмете, Джелалиддине Руми и работ о турецкой литературе и культуре.

ЯН КОЗАК

Адам и Ева

РОМАН

Перевод с чешского В. МАРТЕМЬЯНОВОЙ

VIII. Когда в раю не было дождя

Не всякий день — божье благословение. А нас уже третий год подряд погода не баловала. Одну весну солнце чуть ли не с середины апреля жарило так, как в июне. Деревья зацвели разом, но в конце месяца ночами мороз доходил до восьми градусов — и все спалил. Следующий год выдался холодный, дождливый, солнышко почти совсем не проглядывало. Зато нынче, вплоть до последней недели мая, природа, казалось, решила вознаградить нас за предыдущие невысокие урожаи. Буйно цвели вишни, яблони, персики, завязи набухали прямо на глазах, так стремительно и в таком изобилии, что сердце радовалось. Только абрикосовые деревья в этот раз отдыхали. А вскоре наступили засушливые дни.

Неделями на выцветшем белесом небе не появлялось ни облачка, оно раскалилось добела. Земля томилась от жажды. В дрожащем летнем мареве чахли зеленые всходы, листья деревьев и кустов. Листва посерела от пыли; изнуренные зноем плоды засыхали. Молоденькие яблоньки, только-только высаженные на вновь заложенных участках, гибли.

С раннего утра мы исходили потом, в нос и рот лезла раскаленная пыль. Менее выносливые стволы, ослабленные засухой, мы, невзирая на изнурительный зной, опрыскивали, спасая от вредителей. Вокруг деревьев и кустов, суливших неплохой урожай, широкими кругами настилали сечку — толстый слой кормовой смеси, клевера и травы,— все это должно было сохранить подземную влагу от испарений. Однако зелени было прискорбно мало — кормов в госхозе не хватало, едва ли не падал скот. Мы скосили травы, не дав им засохнуть на корню, обжали серпом межи, всю крапиву, росшую вдоль заборов.

Из вечера в вечер привозили в сад по нескольку бочек воды и с помощью насосов нагнетали влагу к корням. А сверх того таскали ее ведрами. Ах, какой это мучительный труд! У нас уже руки отваливались, а сад по-прежнему чах от жажды. Чем дальше, тем больше трескалась земля.

Каждый день мы ждали дождя, и, не переводя духа, чертыхаясь, взывали ко всем святым или проклинали руководство госхоза. Еще в прошлом году нам была обещана оросительная система, но никто вовремя не позаботился ее доставить. Вот и в нынешнем году уже с февраля месяца мы каждую неделю настойчиво напоминали об этом, и все впустую. Не помогло даже вмешательство района. День ото дня таяли надежды на хороший урожай. Ко всему прочему наша новая,

Окончание. Начало см. в № 2, 1986.

только что высаженная яблоневая шпалера (нам удалось-таки отвести под нее бывшие приусадебные участки) просто погибал без воды.

Был полдень. Истомленный жарой, я приплелся на обед. Разомлевшие Луцка с Томеком нежились в сенях — здесь, на облитых водой прохладных плитках пола, только и можно было спастись от непереносимого зноя.

— Неужто явился? — приветствовала меня Ева. — А я уже давно дома. Марш в ванну. Скоро обедать.

Сидя в лифчике и трусиках у затененного распахнутого окна, она дышала с трудом, а в кухне на плите кипела и шипела, выплескиваясь из кастрюли, вода.

— Я только что из-под душа. Господи, да когда же конец этой жаре?

— Никаких новостей нет? — спросил я просто так, по привычке.

— В этакую-то жарищу? — Она подняла брови. — Дышать и то нет мочи. Какие уж тут новости?

— О погоде ничего не сообщали?

— Как всегда,— вздохнула Ева. — Над всей Центральной Европой область высокого давления, 1028 миллибаров ртутного столба, +31° в тени. Теперь у них прогнозы верные. А я просто изнемогаю.

— Черт побери! От такой жарищи свихнуться недолго,— покорно соглашаюсь я. — Из района не звонили?

Ева нахмурила брови, глаза блеснули гневно и насмешливо.

— Ты от них чего-то еще ждешь? Ко мне с такими вопросами лучше не суйся. У них заботы поважнее, чем наш сад!

Она со вздохом поднялась, пошла на кухню и, не переставая возмущаться, загромыхала крышками. Я особо не вслушивался. Вскоре она снова появилась в дверях, оперлась о косяк и, отирая со лба пот, напустилась на меня:

— Ты только погляди, на кого похож. Высох, как вобла. А все твоя работа. Штаны чуть не падают, а толку никакого. Никто, даже твой район, нам не поможет. А теперь давай-ка я намылю тебе холку.

Она ухватила меня за слипшиеся от пота волосы, пихнула в бок локтем, не успел я опомниться, как оказался в ванне, до краев наполненной прохладной водой, и вот уже полощусь, фыркаю, захлебываюсь от наслаждения, а Ева наклоняется надо мной. Вот ведь, бранить — бранила, а ванну приготовить успела.

Стоило ей повозиться в воде, и она вновь словно бы ожила.

И как тут упустить случай и не выложить мне все, что на сердце. Она тут же и выпалила:

— Глянь-ка, Адам, волосы у тебя мало-помалу седеют, редеют, а голова никак мудрее не становится, нет, не становится! Эх, открутить бы ее да почистить.

Схватив меня за чуб, она наклонила мою голову и решительно, чуть не с яростью начала втирать шампунь.

— Одержимый, сумасброд! Смотреть уже на это невмоготу. Замучился совсем! Изводишь себя работой, когда другие одними посулами отделываются. А какой толк? Всякий раз надеешься, что тебе помогут... Да спустись ты на землю-то! Очнись!

Она сердилась не на шутку. Снова на мою голову сыплются упреки: сами, дескать, должны были загодя все обдумать, прежде чем до упаду вкалывать на этой новой яблоневой плантации, которая теперь все равно погибнет от засухи.

Она права, хоть и не совсем. Перебарщивает, как всякая женщина, когда ей неймется доказать (еще бы!), что она умнее всех. Про себя я ей возражаю, однако только про себя, не вслух. Собственно, вслух мне и слова не вымолвить. Только отфыркиваюсь да брызжу пеной, которая лезет и в глаза, и в уши, и в рот. Чертовка Ева! Запустила мне пальцы в волосы и знай себе скребет и скребет!.. И языком без остановки молотит. Пощады от нее ждать нечего. По счастью, мне за-

лило уши. А приятно все-таки в воде поплескаться. Ухмыляюсь про себя. Пускай выговорится! Я ведь ее знаю. Время от времени ей требуется выпустить пар. Так почему бы ей этого не позволить?

Слушаю вполуха обрывки того-сего. А Ева все бранится, режет правду-матку, раздает всем сестрам по серьгам.

В потоке слов, которые я кое-как улавливаю и принимаю к сведению, различаю, что она снова клянет Олдржиха, а заодно с ним, разумеется, и меня. Припоминает сперва, как я позабыл зайти в родительский комитет, где она проводила совещание с дирекцией, а потом как я уже дважды обещал за ней заехать, когда она в городе делала покупки, и не заехал, и ей пришлось больше часа (со злости она чуток перехватила), как ослице, тащиться с двумя набитыми сумками.

— Ты кончила? — пытаюсь я прервать ее красноречие.

— Молчи у меня! — Для пущей надежности она прикрыла мне рот мыльной ладонью. — Не думай, что с тобой сладко живется, баран ты этакий! Что себе в голову заберешь — то и долбишь, а остальное — гори синим пламенем. Ни о ком не думаешь — ни обо мне, ни о детях. Мы для тебя пустое место. Или не так? Ну, признавайся. Когда и где мы были в последний раз? Даже на речку — и то не ходили. — Она перевела дух. — И тебе не стыдно? Ну, что молчишь?

Вот ведьма! Знает, как меня уесть.

— Каюсь, голубушка! — Я пробую задобрить и успокоить жену. Изогнувшись, обхватываю ее, притягиваю к себе — с меня течет, она вся вымокла, но ей хоть бы что.

— И не надейся, так просто ты от меня не отделаешься. Придется дать обещание!

Неожиданно она выливает мне на голову целый ушат воды.

Я снова пытаюсь изловить Еву. Подымаю обе руки и вслепую хватаю ее за плечи, но она ускользает, закрывает кран и, отхлестав меня полотенцем, набрасывает его мне на голову. Довольна. Торжествует.

И вдруг спохватывается:

— Ну вот! Из-за тебя про картошку забыла. Разварилась поди. Сказала — и нет ее!

Я вылезаю из воды и сразу чувствую себя человеком. Через открытые двери слышу, как Ева бренчит тарелками и зовет Луцию и Томека обедать.

Садимся за стол. Молодая картошка и салат из огурцов, перед каждым — стакан холодной простокваши. Только такую еду еще и можно есть в эти невыносимо жаркие дни. Томек отхлебывает простоквашу. Луция вилочкой разминает картофелины и обмакивает в топленое масло, где плавают лодочки тмина. От картошки поднимается пар...

Пар этот невольно напоминает мне дрожащий, переливающийся на солнце душный воздух, который сейчас за стенами дома иссушает наш сад, терзает землю. Я не могу отделаться от этих мучительных видений; заботы вновь одолевают меня...

— Дети, мы с папой договорились, что сегодня вечером пойдем купаться,— раздается Евин голос. — Что вы на это скажете?

Ах, уж эта моя плутовка-жена! Коли точно знает, чего ей хочется, ничего не оставит на волю случая! Я в дураках, а ее прямо-таки подмывает порадоваться победе, добытой хитростью, но она сдерживается.

— Мама совершенно права. Давно пора прогуляться на речку,— давясь горячей картошкой, соглашаюсь я. А что еще остается? — На какое место пойдем, дети?

— К купальне! — кричит Луцка и хлопает в ладоши, хотя только что едва не засыпала над тарелкой.

— Там сейчас не искупаешься. Лучше пойти под Липу, а потом можно и порыбачить.

— Мне бы не хотелось идти туда с Луцкой, там глубоко,— возражает Ева.

— Да теперь воды везде по колено,— со знанием дела настаивает Томек.

— Ладно,— я кладу конец переговорам. — Все успеем. И выкупаться, и рыбку поудить. А где ловить будем? Под запрудой или у омута? — Я взглянул на Еву. Она тоже любила посидеть с удочкой.

Пока Луцка в восторге верещала что-то насчет купальни, Томек, опередив Еву, воскликнул:

— У омута. В Лабе не клюет...

Как только речь заходит о рыбалке, Томек не знает никакого удержу. Он непоколебимо уверен, что стоит ему забросить лесу, как тут же на крючке забьется жирный карп.

— Разве что вонючая малявка попадется случайно,— продолжал Томек.

— Что верно, то верно,— согласилась Ева. — Когда в последний раз, в дождь, ты двух подлещиков принес, мне пришлось их выбросить.

— Видели бы вы усачей под плотиной, когда вода в реке была еще чистой,— вспомнил я.— А теперь что. Как-то смотрел я рыбацкие состязания. Набралось там человек сто, стояли чуть не впритык один к другому, весь берег заполонили. Разыгрывались три премии. Одна — за самую крупную рыбину, вторая — за самый большой улов, а третья — за самую маленькую рыбку.

— А ты что-нибудь выиграл? — влезла в разговор Луцка, слушавшая меня лишь краем уха. Все внимание ее было поглощено мороженым, которое Ева только что принесла из холодильника, и Луцка с помощью печенья заправляла его в рот.

— Вот глупая,— заметил Томек.— Ты что, ничего не слыхала?

— Все три премии получил один пенсионер.

— Так ему одному все три и отдали? — удивилась Луцка.

— Заслужил,— ответил я.— Сперва попался ему на крючок карп. Похоже, последний в тех местах, и довольно крупный. Больше никто ничего не вытянул — так, парочку голавликов да несколько язей. Этой сорной рыбке ни грязь, ни смрад нипочем, лишь бы нажраться. Так вот и получилось, что все награды одному и достались.

— Но мы все равно пойдем к омуту,— повторил Томек. Он тоже за обе щеки уплетал мороженое.

— Луция! — окликнула дочку Ева.— Посмотри, сколько после тебя крошек. Как в хлеву.

Там, где сидела Луция, и впрямь все было усыпано крошками от печенья.

— Это все Томек,— отмахнулась Луция.— Он мне под руку глупости всякие болтал.— И вдруг, сверкнув на Еву блестящими глазками, добавила: — Вот стану большой и перестану крошки оставлять. У меня на груди такой же, как у тебя, балкончик вырастет, и там все будет застревать.

Мы расхохотались.

Пока Ева готовила кофе, я устроился в кресле и на минуточку прикрыл глаза. Переваривал в уме все то, что Ева успела наговорить, пока мыла мне голову.

Земли, отведенные под яблоневые посадки,— это начало нашего нового обширного сада... Сколько хлопот, изнурительного труда вложено в него! Хотя район принял решение передать нам приусадебные участки, но на деле все оказалось иначе.

Кооперативщики взбунтовались. И не только они. Кто-то из соседей вспомнил, что здесь испокон веку пролегала самая короткая пешая дорога — через поля на Гостераз и в лес, куда по утрам наведывались грибники, а по вечерам удалялись влюбленные. Дескать, для пенсионеров там самое место дышать свежим воздухом или зани-

маться случкой собак, а пионерам больше негде выполнять обязательные школьные поставки лекарственных трав, кроме как обирая кусты шиповника, растущие по межам.

Все объединились против нас.

Даже ленивым людям, которые по этой пешей тропе и шагу не ступили, вдруг стало жаль ее. Общественный совет, во главе которого стоял брат одного из владельцев усадеб, заявил протест и разослал жалобы повсюду, куда только мог. Меня вызывали на заседания кооператива, я объяснял суть дела, но все напрасно. На собрании общественного совета, где разбирался наш спор с чиновниками, меня и Олдржиха (на сей раз он мне помогал, чем только мог) прямо-таки освистали.

Им сыграло на руку и то обстоятельство, что именно в этот момент район наш упразднили, и все его органы и учреждения были переведены в Литомержице. Должностные лица сменились, на нас ни у кого не оставалось времени.

Первый секретарь, Ситарж, работал теперь в областном центре. Единственной радостью для меня был уход Паточки. Он дослуживал свой срок где-то в районном совете профсоюзов, в должности куда менее значительной, чем прежде.

Разумеется, мы не сидели без дела. Поскольку кооперативщики получили участки в другом месте и земля теперь принадлежала нам — мы тут же обнесли ее оградой и высадили первые саженцы.

Но противники не сдавались. Не проходило дня, чтобы где-нибудь не повалили забор. Один раз какие-то дикари за ночь вырвали из земли и сломали около восьми сотен яблонек сорта «золотой делиций», которые мы только-только высадили в землю. Эта выходка взбудоражила и возмутила общественное мнение настолько, что многие одумались.

Однако вражда не исчезла.

Наблюдая, как мы с раннего утра до глубокой ночи, не разгибая спины, таскаем ведрами воду, а едва укоренившиеся деревца все равно гибнут в пересохшей земле, кое-кто с нескрываемым злорадством потирал руки.

Отошли в прошлое дни тихого довольства и покойных умствований за чашечкой кофе. Вновь и вновь являлся моему воспаленному воображению огненный призрак сожженного засухой урожая. Проклятье! Когда же наконец соберется дождь! Сад, деревья, почва изнывают без влаги. Воды! И Еве это хорошо известно. Еще бы. Ей ли не знать, что такое хорошая почва, вода и солнце для новых посадок. Статистические данные и сведения об урожайности каждой плантации и отдельных сортов теперь составляет она. Ева рассчитывает и определяет, каких удобрений и сколько дать на тот или иной участок, под тот или иной сорт — в зависимости от качества почвы. Она знает, каких примесей требует земля. Ей слишком хорошо известно, что такое вода для тех химических процессов, которые обеспечивают правильное питание деревьев. Оттого-то год назад она особенно настаивала, чтобы некоторые сорта персиков подкармливали поливкой, и мы действительно научились подводить воду к корневой системе с помощью насосов. Результат превзошел все ожидания. Урожай с этих деревьев сняли в три раза больше, чем с остальных, а отдельные плоды весили около семисот граммов. Хоть сейчас на выставку!

Все это Еве известно. Ее расстраивает, что для оросительной системы ничего не делается, вот она и злится и со злости распекает меня. Это она умеет. Уж я ее знаю. Да оно и понятно — накопившемуся раздражению нужен выход. Хоть какая-то разрядка, лишь бы вырваться из заколдованного круга. Отсюда и внезапное предложение — хоть разок поплескаться в воде, хватит таскать ее для деревьев.

Я открываю глаза, мимо меня неслышно, как дух, проходит Ева; ложится на диван и кладет на лоб и глаза прохладное мокрое поло-

тенце. Она теперь часто глотает болеутоляющие лекарства. Уже три года страдает от мигреней — с тех пор как вернулась из больницы.

— Сколько опять таблеток проглотила? — спрашиваю.

— На всякий случай две. Мне тоже еще поработать надо. А лучше бы вырвало. После рвоты всегда легче. К вечеру оправлюсь.

Но вышло так, что купанье не состоялось и в этот день.

Мы уже собрались было уходить, как вдруг под окнами остановилась знакомая светлая «Волга». Из нее вылез директор нашего госхоза, а с ним какой-то незнакомый человек.

— Эй, Адам! Ты дома?

Я вышел.

Они ждали меня в тени под раскидистым кустом сирени. Голубое небо все еще полыхало зноем.

— Видать, купаться собрались,— заметил директор. — Не бойся, я тебя ненадолго задержу... Ну и жара... — Он вытер со лба пот.

— Это инженер Штадлер. Земляк. Мы из одного села. Случайно встретились в Литомержицах. Работает референтом торготдела «Сигмы». Слыхал, а?.. — Он рассмеялся. — «Готовь насосы у «Сигмы»,— переиначил он известную поговорку. — Чего-нибудь прохладительного не найдется?

— Сейчас. — На меня словно дохнуло радостным предчувствием.

— По-моему, оросительная система уже на подходе,— вне себя от волнения бросил я Еве, доставая из холодильника две тотчас запотевшие бутылки пива.

— Да уж догадываюсь,— кивнула Ева. — Возьми другие стаканы.

— Вот чего просила моя душа! — воскликнул директор, потянувшись к бутылке. И отхлебнул прямо из горлышка. — Представляешь, инженер Штадлер ни разу не бывал на Ржипе. Ну, поставили его машину на прикол ко мне в гараж, а на моей приехали. Сегодня у нас переночует. Есть о чем потолковать.

— Тащиться в гору нам не захотелось, остановились у подножия,— сказал инженер, протянув мне руку.

Это был мужчина лет сорока, стройный, высокий, спортивного вида. На нем была бежевая рубашка с короткими рукавами, светлые холщовые брюки и мокасины на белесоватой «манке». Худощавое, резко очерченное лицо с выражением, свойственным человеку, который не имеет обыкновения навязываться, зная, что при такой профессии он везде необходим.

— Значит, вы специалист из той самой нужной нам конторы,— заметил я. — И сюда прямо с неба свалились. А ведь мы уже с прошлого года ждем вас по поводу нашей заявки — и все впустую. Черт возьми! Надеюсь, теперь-то вы наконец договорились? — спросил я, обратившись к директору.

— Да нет,— ответил вместо него инженер и отхлебнул пивка. — Ничего пока не получается. В нынешнем году ничего не выйдет. — Он чеканил фразы, как диктор на радио.

— Хорошо тут гостей приветствуют, а? — усмехнулся директор.

— Да я уже привык. Что поделаешь? — Инженер взглянул на меня. — Сочувствую, конечно. Я уже объяснил Карелу...

— Объяснили, что нам сочувствуете? Вот спасибо так спасибо! Вот это помощь! А ведь оросительной системе давно пора здесь быть! — вскипел я.

— Знаешь, я уже нашего гостя как следует обработал. Но даже знакомство ничего не дает,— вздохнул директор, вытирая ладонью лоб, на котором после выпитого пива выступили крупные капли пота. — Если в ближайшие дни не пойдет дождь — сгорит весь урожай.

— Да будь это возможно, систему доставили бы вам уже завтра,— лениво процедил инженер.

— Проклятье! В чем же помеха? — Меня прямо-таки в жар бросило.

— У нас с вами все уже налаживалось,— невозмутимо пояснил инженер,— но случился прокол в загранотделе. Дырка в экспорте, а затыкать ее приходится нам. Вот и продаем системы только за твердую валюту.

— Это что еще за бессмыслица такая? — рассердился я. — Хвост вытащишь, голова увязнет. Да ведь у нас все сгорит. Черт возьми... Ведь требуется всего-навсего одна поливальная установка.

— Всем нужна только одна установка. Но в такую погоду распродано все, что можно. — Инженер допил пиво. — А для внутреннего рынка не осталось ничегошеньки. Возможно, получите в третьем квартале. И ни днем раньше.

— В третьем квартале! А на кой черт она нам в третьем квартале, позвольте узнать?! — возмутился я. — Мертвому припарки! Она и заграницe тогда уже ни к чему.

— Я полагаю, что именно поэтому вы и получите,— вздохнул инженер. — В числе первых, это я вам могу обещать. Сам прослежу.

В этот момент по утрамбованной дороге, вздымая облака пыли, прогрохотал трактор, тащивший прицеп, груженный на удивление зеленой, все еще сочной травяной сечкой.

Ошеломленный, я взглянул на Шамала, который молча соскочил с трактора, подошел к водопроводному крану, набрал полное ведро и, наклонившись, припал к нему. Потом окатил себя водой и, как был — в грязной мокрой рубахе, подошел к нам с широкой улыбкой.

— Где косил? — подозрительно спросил директор. — У нас скот кормить нечем...

— Это не наше. Да на корм скоту и не годится. Они этого и жрать не станут,— медленно проговорил довольный Шамал.

— Слушай, Шамал... где ты это взял? — я машинально повторил вопрос директора.

— Теперь наше. А где взял — неважно. — Взгляд Шамала сиял самодовольством. — На болоте у Добржиньской рощи. Случайно наткнулся.

— А там еще что-нибудь осталось?

— Может, копешка наберется. Но за той лучше утречком пораньше съездить.

— Вряд ли она уже пригодится,— вздохнул директор. — Земля сухая, как трут.

Шамал, не говоря ни слова, окинул его презрительным взглядом.

— Мы землю водой поим, а потом сечкой прикрываем,— объяснил я.

— Раскидаю тут эту копешку, а потом уже за водой прикачу. — Шамал повернулся к амбару, куда вразвалочку направлялись и Гонзик с Гоудеком.

— Готовьте водовозную бочку! — прогудел Шамал.

— В полдень наполнили обе,— с тоской ответил Гонзик.

Они с Гоудеком двинулись к водопроводному крану.

— Под какие кусты раскидать? — спросил Шамал.

— Я покажу,— вызвалась Ева, внезапно появившись среди нас. Она была в легкой, спортивного покроя блузке песочного цвета и в шортах — в чем собиралась идти купаться.

— Поезжайте наверх, к абрикосовым деревьям. — Голос у нее был расстроенный, сердитый. — Насколько я понимаю, от пана инженера (она произнесла «пан», а не «товарищ») зависит, будет ли у нас поливальная установка, а пока придется выдумывать разные хитрости. Просто тошнит от всего этого.

Рука инженера, зажигавшего сигарету, словно онемела. Неподвижное, бесстрастное лицо заиграло. Внешность и поведение Евы явно ему импонировали.

— Черт возьми! Да неужто вы и впрямь оттуда? — На какое-то мгновенье Шамал оторопел от мысли, что Штадлер приехал по поводу долгожданной установки. Ничем другим его присутствие здесь он не мог себе объяснить. — Где она? Давно бы пора ей на месте быть! — Он сплюнул. — Забастовка у нас, что ли?

— Пока лишь на валюту поставляем,— почти не раскрывая рта, пробубнил инженер. — Трудности у нас.

— Нет, держите меня, а то упаду! Вы слышали? — вскричал Шамал.— Хотелось бы мне знать, во что им наши поливалки обходятся и сколько мы сами отвалим валюты, когда придется у них те самые фрукты покупать, что они с помощью наших установок вырастят? Нет, где-нибудь еще вы такой сумасшедший дом видели? — Шамал посмотрел на меня. — Нет, черт возьми, мы его отсюда просто так, подобру-поздорову, не выпустим.

— Ничего не поделаешь,— сухо отозвался директор. — И никак ни на чем не подъедешь. Ни за какие коврижки ничего не получишь.— Он чувствовал себя задетым и обиженным.

Инженер затянулся сигаретой и прищурился. Отвечать Шамалу он считал необязательным. «Пан» инженер не сводил глаз с Евы, и взгляд его словно бы вопрошал: «Ради всех святых, кто она»?

Директор, во всяком случае, оценил этот взгляд именно так, потому что вдруг спохватился:

— Позвольте представить — жена Адама. Инженера, как мне кажется, представлять уже нет надобности.

— Да, я все слышала,— ответила Ева.

Подойдя к Еве, инженер пожал ей руку. Потом вдруг, повернувшись к машине с травой, набрал горсть зеленой, слегка пожухлой сечки и вдохнул ее аромат.

— Так вы говорите, ни на чем не подъедешь? — ядовито рассмеялся Шамал. — Любопытствую поглядеть. Спорю — эти коврижки можно так расписать, что небо с овчинку покажется. — Шамал поскреб свою голую грудь — пуговиц у ворота не было.

Инженер не обращал на него никакого внимания. С горстью травы в руке подошел к Еве.

— Это называется мульчированием, да? — как-то придушенно спросил он. — Верхний слой высохнет, а нижний заплесневеет. Каторжная работа. И притом мало что дает, лишь несколько задерживает высыхание.

— Порой и это очень важно. А иногда решает все,— ответила Ева.

— Хотелось бы взглянуть. Не захватите меня с собой?

Она смерила его холодным взглядом немигающих глаз. Без улыбки кивнула.

— Отчего же не взять? По-моему, вам совсем не повредило бы хоть разок хлебнуть такой работенки. — Прозвучало это как: «Черт бы вас побрал совсем» — или вроде того.

Ева оглянулась. В дверях веранды стояли насупившиеся Луцка и Томек. Луцка готова была зареветь. Томек, с удочками в руках, неприязненно хмурился.

— Подождите меня! — крикнула им Ева. — Я мигом. Только покажу дядям, где траву настилать... Ну, пошли.

Она двинулась вперед, а Шамал, вне себя от ярости, полез на трактор.

— Идиоты! И кто там только работает? — сплюнул он в сердцах.

— Но ведь и в самом деле... безвыходное положение,— расслышал я голос инженера. Пояснение это он адресовал не Шамалу.

Фыркнув, взревел мотор.

Ева со Штадлером поднимались по склону — в залитый солнцем, пышущий жаром сад.

Вернулись они спустя полчаса. Штадлер был сконфужен. На обратном пути он споткнулся о ящик, брошенный у склада, и ободрал о стену правую ладонь. Поскольку он себя очень ценил, неприятность эта, произошедшая к тому же на глазах у Евы, сильно его обескуражила. Ссадину он обмотал носовым платком.

Ева обработала рану перекисью водорода.

— Ну вот — готово, все в порядке.

Инженер с легким стоном замахал рукой, а Ева, едва заметно усмехнувшись, светло поглядела на детей, которые со смесью неприязни и надежды посматривали на гостей.

— Ну а теперь, детишки, в путь,— проговорила она.— Надо думать, не вся еще из Лабы вода утекла.

— Позволю себе внести другое предложение,— внезапно вмешался директор.— Что вы скажете, если я приглашу вас в наш погребок? Мы с инженером намеревались заглянуть туда. Все уже подготовлено, Боуша нас ждет.

Мы с Евой растерялись от неожиданности.

— Там приятно и прохладно,— продолжал директор, отирая пот со лба.— Лучше ничего не придумаешь.

Он был прав. «Погребок»— уютный ресторан, устроенный в каменном подвале бывшего лобковицкого замка; вино роудницких виноградников в огромных деревянных бочках выдерживается там уже восемь столетий. Летом посидеть в таком подвальчике особенно приятно.

— Просто не знаю, как и быть,— сказала Ева.— Заманчиво, ничего не скажешь.

— Всего на часок-другой. Кутнем немножко. Я велел приготовить чего-нибудь повкуснее. И отведаем, каков наш «Вавржинец» и «Мюллер-Тюргау». Решено — едем с нами в погребок. А обратно вас мой шофер доставит.

Директор подмигнул мне из-за инженеровой спины, давая понять, что за бокалом вина снова можно попытать счастья насчет этой проклятущей поливальной установки.

— Голова у тебя уже не болит?— спросил я Еву.

— Нет, прошла.— Глаза ее вдруг блеснули.

— Но мы ведь обещали детям...

Одной рукой она погладила коротко остриженную головку Луции, а другой сжала плечо Томека.

— Послушайте,— неожиданно проговорил инженер.— Я вот все думаю об этом вашем деле. И надумал попробовать одну штуку — хоть это чертовски трудно, но, может, и получится. Наперед я вам ничего, разумеется, не обещаю. Многое зависит не только от меня.

— Наконец-то речь не мальчика, а мужа! — воскликнул директор и по-приятельски шлепнул инженера по спине.— Это нужно отметить!

Было заметно, что предложение директора произвело на Еву должное впечатление.

— Ну как? Поедем? — спросил я.

Поколебавшись, она повернулась к детям и решительно произнесла:

— Дети, купанье откладывается на завтра.

Луция, не пропускавшая ни одного слова из разговора, плаксиво затянула:

— А я хочу купаться...

— Ну, что за манеры, Луция. В девять часов — не позже — мы будем дома. Томек останется с тобой.

Войдя в дом, она увлекла с собой Луцию и Томека, но в дверях еще раз оглянулась:

— Сейчас улажу отношения и вернусь. Заодно и сама марафет наведу.

Какое-то время из окна еще доносились жалобы и хныканье, потом все стихло.

— Ну вот, уговорила,— произнесла Ева, объявившись минут через двадцать.— Все, можем ехать.

Штадлер смотрел на нее в полном изумлении.

Ева надела легкое белое платье, с едва приметным оттенком ванильной желти. Смуглое лицо, загорелые руки и плечи, густые черные волосы делали ее похожей чуть ли не на мулатку. Выглядела она свежо, успела подчернить ресницы, а губы подкрасила помадой черешневого цвета. На смуглой шее, прямо в глубоком вырезе платья, солнечным светом лучился янтарный кулон.

— Ну как? Можно уже показываться людям? — обратилась она ко мне.

В голосе ее совсем не чувствовалось усталости; в нем звенела жизнь.

— Мне иногда приходит в голову, что твои мигрени — просто выдумка,— ответил я.

Ева рассмеялась счастливым смехом. Улыбкой, которой она меня одарила, мне пришлось поделиться с директором и инженером.

— Очень красиво. Но не лучше ли захватить еще и теплую кофточку? — посоветовал директор.— В погребке холодок хоть и приятный, но сыровато.

— Не стоит,— без колебаний отвергла совет Ева.— Часок-другой приятного холодка не помешает. Зной прокалил меня уже насквозь.

Она обернулась ко мне.

— Я обещала Луции и Томеку вернуться не позже девяти. Поехали.

Усталость ее как рукой сняло. Быстрой, пружинящей походкой она пошла к машине. И шла, словно оделяя всех дарами.

Инженер не сводил с нее глаз. Галантно подскочил к дверце, хотя обе они и без того были распахнуты настежь.

Машина перегрелась донельзя. Настоящее пекло.

Зато в погребке на нас повеяло освежающей прохладой. Боуша все приготовил. Лампа освещала простой продолговатый стол и лавки вокруг него. На столе — два холодных блюда, хлеб, бокалы и бутылки с белым и красным роудницким разных лет выдержки. Сбоку, в древней каменной стене, поросшей мягкой седой плесенью, мерцал камин. Стены, влажные от сырости, отливали матовым блеском; пламя камина отбрасывало красноватые блики и на гигантские деревянные бочки, образовавшие длинный туннель; на некоторых были написаны названия виноградников —«Совице», «Брзанки», «Бехлин».

Вступив в этот седой от старины, отдающий затхлостью склеп, я почувствовал, что расслабился. Словно попал в какой-то волшебный мир, чуждый суете и хаосу. После стольких дней невыносимого зноя, лишавшего сна даже по ночам, это было особенно приятно. Тем более что инженер хотя и не слишком внятно, но откликнулся на нашу просьбу... Меня даже не задевали его галантности и внимание, которые он оказывал Еве.

Инженер откровенно ухаживал за ней. А я похохатывал про себя. Мой милый, не ты первый и не ты последний, кто к ней подбирался, прельстясь призывной прелестью красивой женщины. Ведь она прямо-таки обдает жаром чувственности. И с тобой она расправится, как с другими, успокаивал я себя.

После двух-трех выпитых бокалов у инженера развязался язык. Приглушив голос, он с самоуверенной небрежностью рассказывал нам о своих поездках. И мы, с удобством расположившись за столом, потягивая винцо, посетили вместе с ним Париж, Франкфурт, Венецию и всякие прочие места, где он уже побывал. (Путешествия — наша с Евой страсть и слабость.) Без сомнения, под воздействием выпито-

го — а мы пили вперемежку красное и белое вино разных лет выдержки — нам особенно отчетливо представлялось, как наши поливальные установки помогают увлажнять земли разных стран, как брызжет из них живительная влага, дарующая жизнь всему растительному миру.

Сперва Ева слушала инженера рассеянно, а теперь внимала ему как зачарованная. Схватывала на лету всякое оброненное им слово, согласно кивала, внимая рассказу о вынесенных им впечатлениях. Когда же Боуша — он сидел вместе с нами за столом, постоянно подливая вино,—принес из канцелярии магнитофон и включил музыку, Ева и вовсе ожила! Глаза засветились, как у кошки, она ерзала, вертелась на лавочке, кровь так и бурлила в ней. Вскоре она позвала меня танцевать.

Стол приставили поплотнее к стене, чтобы освободить у камина как можно больше места. Ева лучезарно улыбалась мне. Лицо ее разгорелось, она жарко стиснула мне руку. Оглянувшись, я убедился, что улыбка ее обращена к Штадлеру! При каждом повороте взгляд Евы ласточкой перепархивал на инженера.

Потом он пригласил ее. Черт побери — танцевал он много лучше моего, куда более ловко и уверенно. Не знаю отчего, но в быстрых танцах я сбиваюсь с ритма.

Складывалось впечатление, что они вполне понимают друг друга. Инженер что-то нашептывал Еве, а она заразительно, весело смеялась. Потом подняла руки и положила их ему на плечи. Ей так нравилось танцевать! А Штадлер — еще бы! — толковал эту ее доверительность по-своему.

Танец окончился, но они не разошлись, уселись рядом. А дальше все продолжалось в том же духе. Меня Ева как бы совсем не замечала.

Прошло довольно много времени, мы выпили порядочно, и я напомнил Еве:

— Уже девять. Пора бы возвращаться.

— А чего ты спешишь? — удивилась она.— Когда в последний раз мы выбирались из дома? Мне тут хорошо,— безапелляционно добавила она. И, переведя дух, словно опомнившись,— после быстрого танца Ева тяжело дышала, грудь ее то вздымалась, то опускалась — попросила:

— Адам, пожалуйста, позвони детям и предупреди, что мы задержимся еще немного.

На лице Штадлера мелькнула самодовольная усмешка. Сердце у меня зашлось от гнева.

— А твоя мигрень — совсем тебя отпустила? — прошептал я Еве на ухо таким елейно-ядовитым шепотом, что она оторопела. На мгновенье словно приросла к полу, поглядела на меня пристально и испытующе, а потом отрезала, сердито сверкнув глазами:

— Я ведь уже сказала, ничего у меня не болит! Двигаться мне полезно... А пан инженер отлично танцует, правда? Хорош! Очень хорош!

Пожав плечами, она снова вовлекла Штадлера в танец.

С той минуты в Еву словно бес вселился. Она плясала без передыху. Перед моими глазами мелькали то ее прогнувшаяся в танце спина, то линия округлых бедер, то высокая грудь, то крепкие, стройные ноги... А стоило увидеть ее поднятое к Штадлеру лицо, полураскрытые губы — и сразу казалось, что, танцуя, она льнет к нему, подставляя губы для поцелуя. Она вся была воплощенная чувственность.

Меня ослепила ярость.

Я и всегда-то не слишком радовался, когда вокруг Евы увивались разные фаты и щеголи, но мне было приятно, что она нравится, а главное — у меня не было сомнений, что любого слишком назойливого ухажера они приструнит сама... Но такого она мне еще не устраивала.

Мы оба закусили удила. Притворялись, будто не видим друг дру-

га. Она плясала, а я веселился с директором и Боушей, без конца вспоминая всякие истории, только бы за столом не прекращался разговор, однако ни одно движение Евы не ускользало от моего внимания. Больше всего мне хотелось схватить этого инженеришку за шиворот и вышвырнуть вон.

Я предпочел бы с утра до ночи таскать ведра с водой и поливать сад, чем видеть Штадлера рядом с Евой.

Меня просто трясло от негодования. И если я держал себя в руках, то лишь ради того, чтобы не выдать, как я боюсь за Еву. (Чего, однако, стоила мне эта выдержка!)

Было около одиннадцати, когда мы с директором наконец поднялись из-за стола. (С трудом, признаться, потому что под скамейкой валялась не одна пустая бутылка. Зато у меня от этого прибавилось решимости.)

— Пора. Придется завтра с утра поливать сад, коли сегодня заливали себе глотки,— сказал я и подхватил Еву, крепко, до боли сжав ей руку.

Она вырвалась, хлестнув меня ненавидящим взглядом.

Директор, хотя язык у него ворочался с трудом, вспомнил, из-за чего мы тут собрались и за что должны были выпить, да запамятовали.

Он по-приятельски хлопнул Штадлера по плечу.

— Ну, так как же? Уверен, что все сладится...— тут он икнул,— дружище.

— Заметано. — Инженер кивнул в знак согласия. Сейчас, в присутствии Евы, он готов был достать луну с неба. Так увлекся.

— Здорово. Слышал, Адам? Что ты на это скажешь?

— Покамест ничего,— отрезал я.

— Что-нибудь придумаем,— посулил инженер. — Я в скором времени объявлюсь,— добавил он, взглянув на Еву.

— Так по рукам, дружище! — все еще икая, проговорил директор. — Действуй, под лежачий камень вода не течет... Или... под сухой, а? — Он рассмеялся.

Их слова доносились до меня как сквозь вату, вскипевшая кровь оглушала меня гулом в ушах.

Ева отвернулась.

Как будто ей было противно все, что отвлекало ее от танца, музыки, мешало радоваться жизни. Казалось даже, что ее покоробило напоминание Штадлеру о его обещании, которое он дал перед тем, как отправиться в погребок.

Подойдя к столу, она взяла бутылку сватоваржинецкого и наполнила бокал...

При прощании инженер, склонившись над Евиной рукой для поцелуя, коснулся головой ее груди.

Я обмер. Щеки полыхали, словно в лихоманке. Я чертыхался, проклинал все на свете, но внешне вел себя будто ничего не случилось. Директор чмокнул Еву в щечку.

— Прекрасный вечер! — сказала Ева, возвращая ему поцелуй. И, словно вдруг решившись, звонко воскликнула: — Еще один танец! Напоследок!

Она сама положила руки на плечи ошеломленному Штадлеру — в эту минуту он обратился прямо в соляной столб,— обняла его и провальсировала с ним между огромными бочками, сделав несколько кругов. И вдруг бросила его. Подхваченная неудержимым ощущением счастья, она, тихонько напевая, будто лишь для себя, танцевала теперь одна. Прикрыв веки, расслабившись, словно освободившись от всяческих пут, кружила по влажной бетонированной площадке. Раскинула руки и — как нам почудилось — обнимала весь мир. Не видя никого вокруг, мечтательно улыбалась чему-то своему. Вдруг, вытянув

руки, приникла к влажному, холодящему дереву бочки, прижалась к нему лбом, коснулась губами, словно оно было живым.

Мы затаили дыхание. Я до сих пор не уверен, что Ева проделала все это сознательно, а не в каком-то экстазе. По крайней мере, это выглядело именно так.

Случись такое в другом месте и в другой раз — я восхищался бы Евой! Гордился бы, зная, что ее порыв вызван мною, что я привел ее в состояние счастливого самозабвения.

Штадлер стоял рядом и весь лоснился самодовольством. Он не сомневался, что все это — его заслуга, пережитым мгновением восторга Ева обязана только ему. Я готов был пристукнуть его на месте. Но разве один он тут виновен? А сама Ева?..

Добираясь домой в машине, мы не проронили ни слова. Лишь искоса посматривали друг на друга, стараясь не встречаться взглядами. Я был оскорблен до глубины души, напряжение, возникшее между нами, росло с каждой минутой...

Легли спать, и каждый замкнулся в себе. Я маялся. Молчание было нестерпимо, но мне представлялось унизительным первому начинать разговор. Ева, закинув руки за голову, смотрела в потолок; лежала, сомкнув губы и, казалось, долго на что-то решалась; было невыносимо тяжело.

Наконец она заговорила.

— Ну, что такое? Ты почему молчишь? — спросила она вроде бы спокойно и миролюбиво. Но под этим миролюбием таился с трудом сдерживаемый гнев.

— И ты еще спрашиваешь? — взорвался я. — И ты еще спрашиваешь? После всего, что произошло?

— Ты вел себя недопустимо! — выпалила Ева. — Как мальчишка. А я просто...

Она умолкла. Потом, будто махнув рукой, произнесла:

— Просто мне было хорошо. Весело. Тебе этого мало?

— Ты так себя вела... — кровь снова бросилась мне в голову,— с этим фраером, инженером... Словно последняя девка, господи прости!

Я обрушил на нее свои обвинения — все, до единого. Припомнил ее взгляды, улыбки, жесты, прикосновения к Штадлеру и шепот на ушко. Воспоминания вновь разбередили мою ярость, которая переполняла мою душу. Я был беспощаден к Еве, потому что она была беспощадна ко мне.

Ева села на постели. Оцепенело, затаив дыхание, наблюдала за мной.

— Что ты такое говоришь, Адам... Адам?! Да это же безумие,— прерывистым голосом произнесла она. — Ты понимаешь, что ты говоришь?

— Как последняя девка! — выпалил я.

Ее взгляд испепелял меня. Она молчала. Я-то ждал от нее извинений, объяснений, а она твердила только: «Мне было так хорошо!» С ним... с ним! Ревность не отпускала меня.

— Отправляйся к нему! Слышишь? Уходи!

Ева с пылающим от гнева лицом выскочила из постели и хлопнула дверями. (Ну, что я натворил!)

Всю ночь я провел без сна, голова разламывалась. «Как последняя девка»,— шепотом твердил я, чувствуя себя жертвой предательства. Сердце мое истекало кровью.

Утром, поднявшись, я увидел, что Ева лежит в комнате Луции. Она не спала. Смотрела прямо перед собой, глаза были красны от слез. Стоило мне появиться, как взгляд ее вспыхнул. Словно две разъяренные жужжащие пчелы впились в меня.

Ева резко повернулась ко мне спиной.

Вот такие потянулись дни...

Годами я, самонадеянный глупец, вылезая из постели, благодушно говорил себе: сегодня понедельник, это счастливый день, Адам. Сегодня ничего плохого случиться не может. И так, по порядку, я славил один за другим все семь дней очередной недели! Одним словом, бросал вызов судьбе! Иногда сам перед собой прикидываешься удальцом. Скажем, спросит тебя твой добрый приятель: «Черт возьми, Адам, что ты делаешь, когда у тебя разыгрывается ишиас, радикулит, мучит изжога и прочие недуги?» Я и отвечаю: жду, мол, когда пройдут, милок. А про себя сетую и вздыхаю; глотаю порошки, принимаю всякую гадость. Если в них толика спиртного — тем лучше, скорей подействует. Но хочешь не хочешь, а выпадают дни и впрямь отвратные. Вот один такой — пожалуйте. Тем более оценишь следующий — удачный. Лишь бы они не шли чередой. (Накануне невезучего дня мне, отъявленному атеисту, отвергающему всяческие суеверия, обыкновенно снятся грибы, мелкие монеты или малые дети. А перед тем, как наступить дням счастливым, я вижу во сне нашу старую уборную во дворе, с выгребной ямой около навозной кучи, служившей не одной семье. Эти приметы сбываются с такой же вероятностью, с какой привидевшийся конь или поезд приносят неожиданное известие.)

Не помню уж, какие знамения предшествовали нашей ссоре, но и я и Ева намаялись порядком. Целый месяц, день за днем, мы как бы «сосуществовали».

Ева не возвращалась ко мне с тех пор, как впервые провела ночь у Луции в комнате. Спала вместе с нею. Мы почти не разговаривали. Если один бросит словцо, другой притворяется, что ничего не слышит. Что бы я ни делал, чего бы ни говорил — все невпопад. Ее обижал любой пустяк. Сущая фурия. Иногда она молча поднималась и уходила. Или, усмехаясь чему-то, устремляла взгляд в пустоту, или вызывающе громко напевала. Часто мыла голову, делала прически; стоя перед зеркалом, медленно, сосредоточенно красила оттопыренные губы своей неизменной черешневой помадой. Вынула из шкафа свои лучшие наряды, о которых было известно, что они ей к лицу, а если уходила в правление госхоза по делам, то возвращалась позже обычного.

Фантазия (верная моя советчица) на сей раз обратилась против меня. Чего только я не выдумывал! Если Ева отлучалась из дома, у меня закрадывалось подозрение, что она идет на свидание с инженером. Однако гордость не позволяла мне обнаруживать свои подозрения (по крайней мере, мне так казалось). И тем больше я терзал себя.

Однажды за ужином — уставший, весь в поту, я только-только вернулся домой — Ева как бы между прочим бросила:

— Штадлер велел тебе передать, что он все уладил. Через два дня установку погрузят в вагон.

Она произнесла это как нечто заурядное, даже глаз на меня не подняла.

— А тебе откуда известно? — спросил я после долгого молчания. (О том, что значит такая установка для сада, я в первый момент даже не вспомнил.)

— Он позвонил.

— Ах так,— обронил я.

Сомнений не оставалось. Они встречаются! Ева мне изменяет. И поэтому такую новость сообщает между прочим. На уме и сердце у нее заботы поважнее.

Больше мы не обмолвились ни словом.

Рогоносец! Обманутый, одураченный муж! Голова у меня пылала как в огне. Сердце готово было выскочить из груди. Я едва не задыхался.

Ночью — я ворочался в постели, как на раскаленных угольях,— меня вдруг обдало ветерком. Вихрь так резко налетел на распахнутые окна, что стекла задребезжали. И почти одновременно по листьям,

стеклам, по земле забарабанил так давно, так страстно ожидаемый дождь! В комнате повеяло приятной, освежающей прохладой и ароматом облегченно вздохнувшей земли.

Я еще и теперь помню все, как сейчас,— стою у окна и прислушиваюсь. Звуки дождя звучат музыкой, она наполняет меня ликованием. Слышу шлепанье падающих капель, шум листьев, сгибающихся под их тяжестью. Вода струится по желобу; по тропкам, журча, побежали ручьи. Какие чудные звуки! Чувство такое, будто освежающие, прохладные струйки катят по моей спине, по мне, обессилевшему от зноя. И я снова становлюсь мальчишкой... Стою босиком под проливным дождем, по щиколотку в воде, лужа с каждой минутой разливается все шире. Потоки несутся, смывая грязь и образуя розоватую заводь из тысяч сорванных ветром и дождем цветов каштана. Лужа вся в пузырях, они лопаются, разлетаясь грязновато-коричневыми брызгами.

Прислушиваюсь... Разверзшиеся хляби расчистили небо, а заодно смыли одурь и с меня самого. Горечь и восторг переполняют меня, и в этой сумятице чувств, всколыхнувших душу, я удовлетворенно и с облегчением произношу вслух:

— Может, в этом году нам уже и не понадобится оросительное устройство!

Каким глупцом становишься в ослеплении ревности или самолюбия!

И все-таки я оказался прав.

Дождь лил целых два дня и две ночи. Земля была напоена досыта, даже с избытком. И снова возродилась, вновь заблагоухала. Омытые дождем деревья, освободившись от пыли, ожили. Ливнем сорвало засохшие, увядшие плоды, зато те, что уцелели, получали теперь из корней, стволов и листьев добавочное питание. В последние минуты! Ведь к первому сбору ранних персиков можно было приступать уж(через две недели. Именно в эту пору дождь и солнце творят подлин ные чудеса; плоды резко прибавляют в весе, объеме, становятся более сочными. И того и другого, влаги и солнца, теперь хватало вполне...

А Ева?

Все это она сознавала так же хорошо, как и я. И все-таки, встретив меня на кухне утром после тропического ночного ливня, не вымолвила ни словечка. Словно ее это не касалось.

Выйдя на веранду, я увидел Шамала; напялив на себя непромокаемый плащ с капюшоном и сапоги, он решительно шлепал по грязи к складу.

— Дьявол! — ругался он на дождь. — Сколько же мы его ждали! Если бы наверху навели порядок,— Шамал мотнул головой, указывая на небо,— никакой бы оросительной системы не понадобилось, без нее бы обошлись. — Он прокашлялся. — И все-таки чудно, что у «Сигмы» дело наконец сдвинулось с мертвой точки. Небось район здорово нажал, а?

Мне словно ножом саданули в самое сердце. Почудилось, будто он надо мной измывается.

Отношения наши с Евой становились чем дальше, тем хуже. Напряжение в доме только возросло с тех пор, как мы остались одни. Томек уехал в пионерский лагерь на Махово озеро, а Луцку Ева на машине отвезла к бабушке в Писек. Луцка обрадовалась — она из года в год проводила у бабушки две-три недели. Ева пробыла у матери целых три дня... Неужели все это время торчала в Писеке?

Червь неуверенности и сомнений точил мою душу. Перед глазами неотступно стояла картина — Ева со Штадлером, они танцуют, и он обнимает ее. Она приникла к нему, будто вверяя ему душу и тело. Неужели это возможно, как она могла вести себя так после все-

го, что было между нами? Припоминались наши счастливые минуты. Переживая эти мгновения снова и снова, я начинал думать, что все мои подозрения — чистая бессмыслица, мне ли не знать, что Ева обожает танцы, забывая при этом все на свете! Ты оскорбил ее, внушал я себе. Был измотан и раздражен, видя, что засуха губит плоды наших трудов, сознавая свою беспомощность и неспособность добыть оросительную систему, необходимую для сада. Всякое соображение растерял в этакой жаре, и куда только весь ум подевался, куда? Уже три недели не могу выбраться из трясины недоразумений, как муха, угодившая в молоко. А к тому же я тогда выпил. Если бы не проклятый алкоголь, мне бы и не пришло в голову накричать на нее! Я был несправедлив, обидел ее!..

Но тут перед глазами снова всплывало, как тщательно она прихорашивается в последнее время перед зеркалом, пропадает бог знает где, задерживается в госхозе, передает сообщения от Штадлера...

Словом, я ел себя поедом; после всех этих неприятностей нервы стали ни к черту, словно обнажились.

А Ева сияла, вернувшись из Писека. О том, как добралась, обронила несколько словечек, а уйдя в кухню, замурлыкала песенку.

Вечером посидела у телевизора, а потом молчком ушла в ванную. Вымывшись, легла спать у Луции в комнате. Осторожно приоткрыв дверь, я заглянул к ней, но она притворилась спящей.

Между тем убрали вишни, началась выборочная съемка персиков. Пора, прежде доставлявшая мне ни с чем не сравнимое удовольствие.

Нашим ранним сортам вишен засуха нанесла очень большой урон. Вишенки получились худосочные; плоть, в иные времена сочная и мясистая, теперь едва прикрывала косточку. К этой напасти, которая постоянно мозолила мне глаза, добавились неприятности с закупочными организациями. Урожай плодов и овощей был невелик, и районная организация «Плодоовощ» оказалась под угрозой срыва заготовок, а это означало, что работникам не заплатят положенных премий. Поэтому торговцы старались даже и поздние, более сочные, вызревшие в отличных условиях плоды закупить по самым низким ценам, а в магазинах продавать по цене высших сортов. Их система подтасовки и мошенничества мне уже давно осточертела, а теперь, когда на душе скребли кошки, видеть их ухищрения мне и вовсе было невмоготу. Короче говоря, мы с заготовителем вцепились друг другу в патлы. Я стоял на своем — помнится, спор шел о первосортных зрелых вишнях, собранных с поливных участков. Я не сдержался (крик стоял, хоть святых выноси) и сгреб его за грудки. Все присутствовавшие при сем окаменели, испуганно вытаращив на меня глаза.

Нужно было на какое-то время выкинуть все это из головы, побыть одному, успокоиться.

Обходя длинные яблоневые шпалеры, я рассматривал деревья, небо, птиц; слушал кузнечиков, стрекотавших в траве. Солнце уже клонилось к закату, когда я по тропке добрался до западного края персиковых посадок. Там, где мы настилали сечку, сохраняя прикорневую влагу, ветви деревьев были усыпаны набухающими плодами. Солнечные лучи, просвечивая сквозь листву, играли на коре стволов, светлыми бликами ложились на землю. Не умолкая распевали птицы.

И вдруг совсем близко я услышал веселый смех, возгласы и щебетанье девичьих голосов. Проходя междурядьями, на меня двигалась группа молодых сборщиков.Человек двенадцать— почти все девушки, только два парня; одних от других не отличить. Все в джинсах, все длинноволосые, лишь майки разных цветов. Семнадцати-восемнадцатилетние ученики гимназий, которые отрабатывали свой трудовой семестр, помогая снимать урожай вишни и персиков. Пока не наступило время массового сбора, пока «не горело», они собирали плоды чаще всего спозаранку и вечером, чтобы на следующий

день уже к шести утра все было готово к отправке. Почти все прекрасно загорели — в полдень, когда жарче всего палило солнце, они предавались безделью, проводя время у реки. Обрывки их разговоров, смех и шутки не переставая звенели в воздухе... Приятно было их слушать. Да и глядеть на них.

Останавливаясь, девушки поднимались на цыпочки и протягивали руки к персикам — на солнечной стороне, на плодовых ветках приземистых крон они уже вполне вызрели; девичьи блузы и маечки напоминали крылья разноцветных мотыльков, порхающих вокруг деревьев. Странные это были мотыльки: верхние их крылья переливались веселыми кричащими расцветками — канареечной желтью, лазурной синевой, черно-белыми полосами или шоколадно-коричневой окраской с оранжевыми колечками, напоминающими павлиний глаз, а два сомкнутых нижних крыла были у всех одинаковы. Джинсы, почти у всех основательно потертые, делали их похожими на каких-то странных бабочек-голубянок.

С неожиданным для себя удовольствием я любовался красотой дозревающих на солнце желто-розовых персиков (в густой листве плоды были еще зеленоваты) и прелестью девичьих форм, прикрытых — правда, весьма небрежно — кофточками и майками. Как тут не потешить взгляд грацией фигур и причудливым разнообразием красок?

К одной из девушек подошел длинноволосый паренек, готовивший вместе с Гонзиком ящики для отправки фруктов. Сборщицы, уставив ящики рядком, шли дальше, а Гонзик с кем-то из юношей, написав имена укладчиц, переносил ящики на волокушу, стоявшую на краю участка. Держа в одной руке мягкий круглый персик, пальцем другой паренек показывал на глубокий плодовый шов, тянувшийся от ямки черенка.

— Погляди, Алиса! — воскликнул он. — Точь-в-точь как задница у нашей Шарки! — И, желая подкрепить шутку, плотоядно впился в мякоть персика зубами, так что сок заструился у него по подбородку.

Вокруг все прыснули.

И только кто-то один упрекнул:

— Нехорошо, Роберт!

Но одинокий голос потонул в одобрительном гуле. Неподалеку, у соседнего куста, стояла девушка; трудясь над ее фигурой, природа не поскупилась. Кофточка, расшитая гвоздиками и розами, туго облегала ее грудь, а джинсы сзади чуть не лопались. Чистое свежее девичье лицо вспыхнуло жарким румянцем.

Жестокая шутка! Но увы! — молодость беспощадна, дерзка и невоздержанна! Этот долговязый юнец, у которого еще молоко на губах не обсохло, считал себя героем. И очень собой гордился. Гонзик тоже ржал как помешанный, не сводя глаз со стройной свеженькой красотки, белокурой, с выразительными голубыми глазами на смуглом лице. Полураскрыв рот, он прямо-таки готов был ее проглотить.

— Ну довольно. И шевелись, время не терпит, — поторопил я его, чтобы покончить с этим спектаклем.

Осматривая вызревающие плоды сорта «майский цвет», я заметил среди ветвей ловкую, гибкую девушку, которая снимала персики в стороне от подруг. Довольно рослая, стройная фигура, грива длинных русых волос, а под прозрачной майкой небесно-голубого цвета с черной надписью «Grand Prix» — прекрасной формы крепкая грудь. Одной рукой девушка придерживала высокие ветви, а другой срывала зрелые плоды.

Очарованный, я не мог отвести глаз от молодой упругой груди. солнце просвечивало ее как рентгеновскими лучами. Девушка была прямо ангельской красоты, но отнюдь не ангельской скромности. Злодейка прекрасно сознавала свою привлекательность. Уже одна май-

ка с надписью «Гран-при» свидетельствовала о том, как она уверена в себе.

Я невольно вспомнил, как недавно на моих глазах из автобуса вышла старушка, иссохшая и изможденная, но в блузке с надписью «The old Dairy». Бедняга! Она наверняка не имела представления, что за реклама отпечатана на ней. «Старая молочная ферма».

Белокурая девушка наклонялась, высыпая собранные плоды в ящики, и искоса поглядывала на меня. Знала, что я за ней наблюдаю. Выпрямившись, словно сгоняя усталость, потянулась соблазнительно и призывно. И вдруг рассмеялась.

Обернувшись, я застыл как вкопанный (а ноги едва не подломились в коленях).

Ева.

Она стояла чуть поодаль и наблюдала за мной.

Кровь прихлынула к моим щекам.

— Ах, вот ты где,— с холодным презрением бросила она.— Что, ворон считаешь?

— Я? — У меня перехватило дух. — Ты меня ищешь?

— Зачем же мне еще здесь быть? Слышала, как ты кричал у склада, на другом конце, в вишневом саду. А теперь мне сказали, что ты едва не придушил заготовителя. Что за глупости ты вытворяешь? Одну за другой!..

— Да я его лишь тряхнул маленько. Иногда помогает...

— Но теперь-то перебесился? Или желаешь продолжать в том же духе? Жаждешь еще на ком-нибудь досаду сорвать?

— Мне и впрямь полегчало — малость успокоился (а у самого сердце билось, как колокол).— Вот видишь, смотрю, каков урожай. Прекрасные плоды.

— Это я тоже заметила. Все глаза проглядел, из орбит чуть не выскочили. Облизывался, как кот на сметану, а в душе уже меня предал.

Я слушал ее с опаской, в некоторой растерянности. Что это вдруг? Она ли это? Но по тону, по решимости чувствую — ее проняло. Это меня вдохновило.

— И в мыслях не было! — шутовски ужасаюсь я.— Тебе — и изменять?

Она сверкнула взглядом.

— Приятно полюбоваться молодой крепенькой яблонькой, правда? Вполне тебя понимаю.

Хотела меня подловить: знал я ее.

— А что, уж и полюбоваться нельзя?

— С любованья, Адам, все и начинается. Хотя что это за мужик, если его даже полюбоваться не тянет. Невелика честь для меня такого выбрать. — Она огляделась вокруг. И, словно отмахнувшись от чего-то, произнесла: — Ну довольно. Пойдем, мне с тобою поговорить надо.

В тоне звучала решимость. Да и по выражению лица было видно, что пощады ждать нечего.

Мы пришли к берегу и уселись в густой траве.

— Теперь слушай, — начала она. — Тебе не кажется, что хватит уже с нас твоих безумств и подозрений? И не стыдно такое вытворять? Ревнивец несчастный! Сам себя растравляешь, да еще и упорствуешь. А мне это уже надоело.

Она застигла меня врасплох.

— Как будто я один упорствую. А сама?

— Похоже, ты так и не образумишься, не сумеешь взять себя в руки. Вон и сейчас — я же вижу — у переносицы морщинки, а брови насуплены, как у чернокнижника. — Она помолчала. — Ну как ты можешь подозревать, что у меня шашни с этим шутом Штадлером? Это же оскорбительно! Держишься, будто я тебе изменяю. Вот так

бы и влепила тебе подзатыльник, чтоб опомнился. Какого счастья мне искать и где? Благодарю покорно. Того, что выпало на мою долю до встречи с тобой, мне до могилы хватит.

— Утешать ты умеешь, что правда, то правда, — заметил я.

— Неужто тебе все еще мало? Я по твоим глазам вижу, ты вот уже месяц ни о чем другом не думаешь, кроме как о том, затеяла я с ним роман или нет... А я просто веселилась. Знаешь ведь, как я танцы люблю. И чувствовала себя прекрасно. Вот и все.

— Вот и все?! Льнула к нему, волчком вертелась — лишь бы его раззадорить. Он с тебя глаз не сводил, сразу можно понять, что к чему. Впился как клещ.

— Что правда, то правда, — самоуверенно подтвердила она, рассмеявшись. — Летел, как оса на мед... Уже по пути наверх, когда пошли нашу сечку смотреть, все в любезностях рассыпался. И сулил, когда снова на международную ярмарку поедет, все привезти, что моей душе угодно. На обратном пути попытался даже меня обнять. Я его отпихнула, вот он и налетел на стену да ободрал себе руку.

— Ах, так? — У меня перехватило дыхание. — Что же ты мне ничего не сказала?

— А когда я могла это сделать? Я и собиралась. Да разве ты слушал?.. А тот прямо огнем полыхал. Надутый, чванный, самонадеянный. Как мой первый супруг — просто копия. Когда-то, девчонкой, я считала это достоинством. Но стоит один раз обжечься... Вот и решила: погоди, я тебя проучу... Нарочно поддразнивала — чтоб знал!

Во взгляде ее сквозила насмешка. К кому она относилась — к Штадлеру или ко мне?

— С вами, мужиками, обращение очень простое! Улыбнешься обещающе, коснешься бедром, не застегнешь пуговичку у воротничка платья — и все. А если еще с интересом всякие глупости слушать, от удивления вздыхать да глаза закатывать — вот павлин уже и вовсе в клетке. Уже и готов. Но тебя на него променять... Это мне даже во сне не снилось; это мне уж совсем ни к чему. А ты словно с ума спятил.

Сорвав былинку, она вертела ее в пальцах. Задумалась.

— Как будто ты меня не знаешь, Адам. Словно мы и не прожили вместе столько лет. И после всего пережитого говорить мне: ступай к нему... В эту минуту я тебя убить была готова или, взбесившись, и впрямь рога бы наставила... Все ждала: проспишься — наутро помудреешь... А ты меня подозревать начал. За каждым шагом следишь. Не веришь. Ты даже не представляешь, как это меня оскорбляет и выводит из себя. Я тебя нарочно допекать стала. Раз ты меня терзаешь и мучаешь, ну так и сам терзайся, если уж такой недотепа. Ешь себя поедом, это уж твоя вина. Но поиграли — и будет.

Взглянув на меня, она вдруг выпалила:

— За кого ты меня принимаешь, скажи, пожалуйста? За глупую гусыню, которой можно голову сладкой улыбкой вскружить, — а она и рада первому встречному в объятья кинуться. Самое себя на гроши разменять. Нет, Адам. У меня хватит уважения к себе — да и к тебе тоже. Если наша с тобой жизнь — да и жизнь вообще — чего-нибудь стоит, мы должны остаться неразменным золотым. Грошового тебя я бы тоже не приняла. Но как ты посмел обо мне такое подумать?

Она схватила меня за руку.

Я молчал. Молчал все время, пока она говорила. Горечь исчезла, тяжесть спадала, волна облегчения залила душу. Жег стыд. (Пропесочила она меня изрядно, всыпала как следует. И — что хуже всего — поделом. Господи, как же иногда глупеешь!)

— Прости! — вырвалось у меня. — Я безумец. — От ее руки ко мне шло тепло, сердце смягчилось. От смущения и стыда мне было не по себе, меня будто сковало.

— А что он? — спросил я.

— Он сюда больше не сунется! — Ева счастливо и победно рассмеялась. — Кретин! Но чего я хотела, того добилась. Оросительная система уже здесь. Ну куда вы годитесь со всеми вашими совещаниями, планами, конференциями? Со всеми вашими пленумами — районными и областными? О нашем руководстве я уж и не говорю. Видишь, Адам, как сложна жизнь. Какова цена всяческих решений и предписаний. Обыкновенная простая баба достигнет не в пример больше!

Она была права. Именно это меня и бесило. Высмеяла нас (есть за что!).

— Так-то вот. Ты доволен? — Она одарила меня глубоким, лучистым взглядом. — Или все еще бастуешь? Как видишь, я тебя великодушно прощаю. И ты меня не поцелуешь?

Душа моя давно уже рвалась к ней. Но великодушие женщины чем-то унижало, сковывало меня.

Раскрыв объятья, она прильнула ко мне и поцеловала влажными, заждавшимися губами...

IX. Коварный солнцепек

Сколько же с той поры промелькнуло лет? Сколько урожаев у нас уже позади? Восемь?

Я уже сбился со счета. (Зато у меня в дневниках и в записках у Евы они все описаны, один за другим, там же проведена их сравнительная оценка, куда более наглядная и необходимая, чем те сведения, которые мы подаем в разные инстанции и учреждения.)

Восемь снятых урожаев... Впрочем, нет — последний, восьмой, еще до конца не убран! Яблоки уже золотятся и рдеют, кожица у них уже гладкая, бархатистая. Скоро дозреют все. Их меньше, чем в прошлом году, некоторые яблони нынче отдыхали. Зато урожай вишен, абрикосов и персиков, можно сказать, уже снят. И небывалый! Никогда еще мы не имели такого!

В начале августа, в самые теплые дни лета, чуть не целую неделю стояла жара — днем около тридцати, а ночью не ниже двадцати градусов; ранние сорта персиков и абрикосов созревали дружно. Чем дольше стояло вёдро, тем напряженней шла работа в садах. Все, кто в состоянии, помогали снимать урожай. Машины заготовителей едва поспевали перевозить плоды в город...

С раннего утра солнце палило нещадно. Наступил полдень. Трактор с полевой столовой дотарахтел до самого дальнего участка персиковой плантации, где уже шла уборка. После нескольких часов тяжелого труда и изнурительного зноя приятно было сесть за длинный, во всю длину фургона стол. Боковые стенки опустили, остался только туго натянутый верхний тент, защищавший столовую от прямых солнечных лучей. По всему прицепу гулял ветерок. Мы потянулись в «столовую». Жара сморила нас вконец. Есть никому особенно не хотелось, хотя Боженка уже ставила перед каждым на полиэтиленовую скатерть пластмассовые миски с картошкой и тушеным мясом и широкие тарелки с салатом из огурцов. Из кухонного угла, где помещалась газовая плита и новая термическая посуда с горячей, только что доставленной едой, приятно тянуло свежим кофе.

Драгоценные минуты ленивого, безмятежного покоя были прерваны неожиданным треском автокара. На плантацию въехал Томек, отпущенный на побывку домой. Заявился прямо в военной форме, но тут же переоделся в легкие светлые брюки и майку и удобно расположился вместе со всеми.

Мы с Евой не могли налюбоваться на него. За время службы (он отсутствовал уже четырнадцать месяцев) Томек окреп и возмужал. Очень шла ему короткая стрижка — раньше-то его волосы висели длинными патлами.

Приняв от Боженки тарелку с едой, Томек огляделся вокруг:
— Ну, как нынче урожай?
— Отменный. Такого еще не бывало.
— Вижу.
Прямо из-за стола он осматривал сад, а я следил за его взглядом.
Далеко вокруг простирались бесконечные ряды деревьев, усыпанных чудесными, изжелта-бордовыми плодами. Некоторые ветки провисали под их тяжестью, так что пришлось поставить подпорки. Прогретый воздух был прямо-таки напитан кисловато-сладким ароматом. Куда ни глянь — повсюду необозримые сады. Лишь где-то вдали, за крышами бывшей Калешовской фермы, сквозь дрожащее марево виднелась вроде как пустынная полоска бурой земли. (На самом деле это были новые посадки молодых вишен.) Сбоку к ней прилегала еще одна персиковая плантация, часть ее уже в будущем году должна была плодоносить.

На равнине, вдоль поселковых домиков, прорисовывалась полоса густых яблоневых шпалер, обнесенная забором. Утешная, радующая глаз картина! Было на что посмотреть. Тем более что несколько поодаль от нашей походной столовой, среди персиков, на краю бассейна, красовались, рассевшись группами, сборщицы, в большинстве своем молоденькие девушки.

Бассейн — это огромное водохранилище, длиной в двадцать пять, шириной в восемь, а глубиной в четыре метра; уже три года мы пользуемся им для поливки персиков. Насос гонит лабскую воду в резервуар, где она согревается солнцем, а потом с помощью ирригационных устройств ее распределяют по всему саду. Старую поливалку, «штадлеровку», переместили поближе к новым яблоневым посадкам.

Со стороны бассейна летит немолчный веселый гомон и смех. Девушки, плескавшиеся в воде — нимф этак десятка три,— брызгали водою на тех, что прятались в тени дерев. Залитая солнечным сиянием, бурлящая поверхность водоема слепила глаза. Разумеется, не настолько, чтобы не различить обнаженных девичьих тел, чаще всего прикрытых лишь бикини. В общем, эта полуденная сиеста, фургон-столовая возле озаренного солнцем сада, благоухающего прогретыми золотисто-бордовыми персиками, загорелые девушки, барахтающиеся в теплой лабской воде, голубое безоблачное небо над зреющей, набирающей силу красотой — все это больше напоминало сцену пикника из какого-то американского фильма о жизни миллионеров, чем обеденный отдых бригады сборщиков.

Неожиданно из группы купальщиц, согревавшихся на солнце, поднялась высокая блондинка в бикини, лениво потянулась, так что все мускулы пришли в движение, и так же лениво направилась в нашу сторону. Остановилась и, ни к кому конкретно не обращаясь, спросила:

— А завтра мы тоже будем до самого вечера собирать персики?

— Нет, только с пяти до восьми. Ведь завтра пятница, — ответил я и повернулся к Томеку: — Вот видишь, ничего не изменилось. Заготовители принимают товар только до пятницы, а в субботу и воскресенье пусть все хоть сгниет на месте.

Блондинка не уходила. Стояла, несколько выставив вперед полусогнутую ногу, словно демонстрируя свою гибкость и грацию.

Хороша, чертовка! Загорелая, смуглая, на что ни взгляни — глаз не оторвать! Тонкая ткань небесно-голубого лифчика прикрывала лишь вызывающе торчащие груди да узкую полоску бедер над крепкими стройными ножками. Скользнув по нас безразличным взглядом, она посмотрела на Томека, и тут глаза ее блеснули, словно в них просияло солнце. Качнув бедрами, она повернулась и, сознавая собственную неотразимость, со спокойной и естественной уверенностью молодости продефилировала обратно к бассейну. Она шла золотым зной-

ным полднем, упиваясь им, точно первым солнечным днем в этом году.

Томек смотрел ей вслед.

— Черт возьми, вот так штучка. Откуда такая? — поинтересовался Шамал.

— Марцела,— отозвался Гонзик.— Даже в такую жарищу не теряет прыти. Ей бы романы сочинять, — деловито, не переставая жевать, заметил он, единственный, кто при виде девицы не потерял интереса к еде. Нож и вилка праздно лежали возле его тарелки — он управлялся одной ложкой. Парень у нас на глазах превращался в статного молодца. Нынче он отвечал за бригаду сборщиков.

— Раньше я ее здесь не видела. Кто такая? — спросила Ева.

— Уборщицей работает. Теперь это самая шикарная должность, — пояснил Гонзик. — Устроишься на несколько предприятий сразу и разъезжай себе от одного к другому на мотоцикле. Соберешь кое-где мусор для вида — и двигай дальше. Летом она эти занятия вообще бросает — так и филонит целых три месяца. Уик-энд длиною в лето. А осенью снова такую же непыльную работенку подыщет. Если б не погода, я бы ее не принял. Но убирать урожай пускай убирает. Сколько уберет — столько и получит.

— Так я и думала, что-то в этом духе,— согласно кивнула Ева, провожая девицу враждебным взглядом.

«Ничего не попишешь, справедливости ради надо признать — интересная женщина», — размышлял я, слушая рассуждения Шамала. Он поддакивал Еве. Его возмущало, что разные паразиты и лодыри живут себе припеваючи, некому их к ответу призвать, и хуже всего как раз с молодыми. По общему мнению, честно работают теперь одни только дураки, о молодежи уж и говорить нечего. Шамал тут же посетовал и на телевидение. Показывают каких-то волосатиков с гитарами, пьяниц да голых баб, и так по этим фильмам выходит, что руки даны человеку, чтоб драться, убивать или распускать их для всяких других бесстыдств.

—Теперь такой вот молоденькой девке переспать с кем попало все равно, что для нас — поздороваться. Везде, видать, прогресс намечается. Интересно, чем он кончится.

В душе я признавал, что он прав, но только наполовину. У меня с бездельниками расправа короткая, по принципу: «Кто не работает, тот не ест». Нет ничего проще, как вознаграждать людей по количеству и качеству проделанного. Работы у нас по горло. Что, голубчик? Трудиться как следует не хочешь? Плохо хозяйствуешь? Тогда не обессудь. Не заслужил обеда — так и не полакомишься, убирайся-ка прочь от стола! Никакого нового способа эксплуатации человека человеком мы не потерпим. Может, поголодаешь чуток, вот руки-то дела и запросят. Рецепт вполне простой и действенный. Держу пари на что угодно — трудовой народ примет его с легкой душой. Ведь добросовестных и трудолюбивых у нас больше. Но именно их-то бездельники и обдирают как липку...

Разумеется, Марцела себе голову такими рассуждениями не забивала. Со скучающим видом подошла она к краю бассейна, словно выбирая место, где удобнее прыгнуть. И вдруг нырнула вниз головой.

Томек поднялся. Потянулся, запустил в волосы всю пятерню и со вздохом сказал:

— Пойду-ка я тоже выкупаюсь.

Сбросив брюки и рубашку, он в одних плавках ринулся за Марцелой.

— Солдат — он солдат и есть! — заметил Гонзик.— Напролом ломит.

— Типун тебе на язык!— замахала руками Ева и засмеялась.— Ты свои глупые шуточки брось. Жарко — вот он и решил немножко освежиться. Я бы сейчас тоже не отказалась.

Она держала себя так, будто все в порядке, но тоже учуяла что-то неладное.

Томек с Марцелой уже плескались в бассейне.

Дивная, беспечная пора молодость! Пока они развлекались, мы, томимые заботами, сидели за столом.

Одолевали нас бесконечные хлопоты. Солнце, раскаленным шаром висевшее в небе, уже несколько дней подряд с утра до вечера лютым зноем заливало землю, опаляя наши души. В такую жару персики вызревают не по дням, а по часам. Утром они еще зеленые, словно озябшие, а к вечеру уже золотисто-розовые, налившиеся сладким соком. А эти треклятые закупщики после полудня «закрывают лавочку», им хоть трава не расти. В половине четвертого грузовые машины приезжают последний раз, а следующие две — только назавтра утром, около восьми. А там, глядишь, выходные дни, до понедельника никого не жди, положись на господа бога. Все это изводило нас несказанно.

— Почему бы им не загружать абрикосами холодильные установки. Ведь до понедельника все плоды сгорят, — спросил меня Гонзик.

— Да был у меня разговор с их директором, — нехотя объяснил я. — Загнал его в угол, но ничего не добился: в холодильных боксах бананы.

— Вот те на! — возмутился Шамал. — Нашли время южный фрукт закупать! А свои прямо с дерева снятые персики и абрикосы пускай гниют?

— Эти бананы идут в уплату за наши машины. На складах к их-ним контейнерам настолько привыкли, что покупать у своих им не с руки. С бананами куда проще. Будь их воля — они бы вообще только с заграницей дело имели, — пояснил Гонзик.

— Что за чертовщина! Все через пень колоду, — кипятился Шамал.

— Бюрократ за что ни возьмется — все погубит,— вздохнул Гонзик. — Если эта жара продержится еще несколько дней, абрикосы размякнут, вконец перезреют, раскиснут — и плакали наши труды, никакие заготовители такой товар не примут.

— А как бы обрадовались на пляжах — да, впрочем, и везде, если бы мы доставили туда абрикосы и персики прямо с дерева. Вот дьявольщина! — горячился Шамал. — Пока господа закупщики, шоферня и складские в воскресенье кейфуют, давайте погрузим хоть две подводы абрикосов да отвезем на пляж.

Ей-богу, мне эти сетования уже надоели. Не то чтоб я придерживался иного мнения. Они звучали бы музыкой для моего слуха, будь от них хоть какой-то прок. Просто мы не имели права сами сбывать свою продукцию, поскольку производство у нас начисто отделено от сбыта. Людям это, разумеется, было бы и удобно и выгодно, но закупочные конторы, «Плодоовощ», все эти их главные управления, областные и районные директора, экономисты, счетоводы и секретарши, все эти заготовщики-перекупщики, кладовщики и шоферы, работники всей теперешней торговой сети лишились бы кое-каких прибылей, а не то — упаси боже! — и самой работы. Этакие пиявки — убиваюсь я — присосались к нашему телу, и каждую накорми досыта. Поэтому, наверное, и недополучает наш брат, все те, кто круглый год об урожае пекутся и за всякие причуды погоды, неурожаи и нечаянные напасти головой отвечают. Небось мы фрукты за шесть крон продаем, а люди в магазине по двенадцать платят! Да и то за помятые и подпорченные! А почему? Да потому, что зрелые фрукты закупщики у нас не берут, прекрасные, сочнейшие плоды принуждают снимать совсем незрелыми. Могу поспорить, что горожанам и невдомек, каковы на

вкус свежие, созревшие на дереве яблоки! А всем наплевать. «Плодоовощи» непременно должны проделать положенный им крестный путь, пройти через все промежуточные звенья, которые мы сами и выдумали. Ведь у каждого из нас свои планы и свои премии за их выполнение. Ну и какой же выход? Кабы знать...

Однако пора за работу, время не терпит. Проклятье! Ничего другого нам не остается. С утра начнем перебирать абрикосы (еще зеленоватые). В понедельник придется встать пораньше, часа в четыре, потому что после шести приедут машины закупщиков.

Тут мне пришло в голову, что на худой конец я мог бы, например, обзвонить все заводские столовые и детсады — а всякие там глупцы-тупицы пусть себе возмущаются сколько влезет. Мы могли бы поставить этим заведениям по ящику-другому абрикосов, которые закупщики все равно ни за что не возьмут. И это будут как раз самые сладкие, самые сочные плоды. А заготпункт пусть их себе заактирует. (Да еще поблагодарит за это.) Но сгноить урожай я не позволю.

На том порешив, я встал из-за стола.

— Пора. Кончен бал. Кому-то ведь нужно работать.

Я огляделся.

Среди зеленой листвы сверкали золотистые и карминовые плоды, а на фоне голубой глади бассейна возникли Томек с Марцелой. Они только что вышли из воды и, расшалившись, брызгались и тузили друг друга. Марцела прямо заходилась от веселого смеха.

— Погляди-ка на него, — сказала Ева, подойдя ко мне. — Как бы эта красотка не подцепила нашего Томека.

— Обойдется! — рассмеялся я. — Из этой тучки, голубушка, дождь не прольется.

Она пожала плечами.

— Он ведь еще такой недотепа!

Томек? А что? В его возрасте я бы и сам поступил точно так же. А как же иначе в молодые лета, когда горячая кровь бурлит и играет, когда жаждешь хотя бы нечаянно коснуться притягательного женского тела, — оно манит, будоражит воображение, ты уже наслаждаешься им, бредишь упоительными видениями...

Тут уж прости-прощай, разум!

Пока шла работа, Томек ни на шаг не отступал от Марцелы, помогал ей. Успокоится ли он на этом? Какое... Вечером Томек исчез.

В последующие дни солнце палило по-прежнему беспощадно. Уже с утра казалось, вот он — самый жаркий день года. В воскресенье я по привычке поднялся около пяти и обошел сад.

Абрикосы румянились как в горячке. С некоторых дерев плоды уже осыпались на землю. На пересохшей, растрескавшейся от зноя почве они лежали горкой оранжево-золотистого мармелада, положенного на ломоть черствого хлеба. Персики тоже созрели. Их мохнатая золотистая кожура с размытыми огненно-красными пятнами даже на рассвете была теплой, нежной, словно женская кожа.

Я возвращался домой, голова от забот шла кругом. Ясно — абрикосы нужно снимать. Вчера и сегодня — самое подходящее время. Но сложить фрукты в прогретых сараях — это хуже, чем оставить их на деревьях. Дозреют они быстро, но, сваленные в кучи, помнутся и тут же загниют. Все, кто в состоянии, утром должны выйти на плантацию...

Дома уже все проснулись. Около одиннадцати мы собирались на речку; вечером у Томека кончалась увольнительная, он уезжал. Однако сын до сих пор еще не поднялся с постели, а когда Ева позвала его завтракать, что-то мрачно буркнул в ответ.

— Что с ним, не знаешь? — спросила она, обратясь ко мне. Но произнесла свой вопрос почти обрадованно, с облегчением.

С той секунды, как Томек отправился в бассейн следом за Марцелой, Ева не спускала с него глаз. Дважды он уезжал на автокаре из дома, и Ева была сама не своя. Особенно вчера вечером; собираясь в дискотеку, Томек тщательно выбирал рубашку, чистил зубы, без конца причесывался и весь сиял.

Но вернулся неожиданно рано — мы с Евой и Луцкой еще сидели у телевизора. Этой прекрасной, теплой, звездной ночью он вернулся хмурый, какой-то растерянный и оскорбленный. Сам не свой. И с нами сидеть не стал, лишь поздоровался. Луцка крикнула ему вслед: «Как дела, братец? Что-то ты больно скоро...» — но в ответ он только хлопнул дверью.

Яйца, хлеб с маслом и чай уже стояли на столе, когда Томек явился наконец завтракать. Ел молча. Лениво обстучал ложечкой два всмятку яйца и так же лениво, без аппетита съел. Почти без хлеба.

— Да ты поешь хорошенько,— просила его Ева.— Может, сыру или ветчинки хочешь? Я ведь спрашивала, что приготовить, а ты только бурчал в ответ. Хочешь, я приготовлю еще чего, а?

— Я не голоден, — отрезал Томек, уставившись в стол пустыми глазами.

— Ну, дело твое, — вздохнула мать, но взгляд ее не выразил грусти.

Томек отхлебнул еще чаю, а потом, не говоря ни слова, поднялся и, как был, в одних спортивных трусах вышел из дому. Постоял в задумчивости возле автокара, перетащил его в тень и принес инструмент.

Ева, убрав со стола, тут же принялась готовить обед. Любимое мое и Томека блюдо. По-домашнему откормленную молодую уточку со свежей капустой и кнедликами. Даже сейчас, в нестерпимой духоте, я уже заранее облизывался. Доброй, с любовью и вкусом приготовленной едой я готов лакомиться в любое время, но еда должна быть едой, не какой-нибудь жвачкой (бог мой, это же всегда чувствуется), а, к примеру, золотистой, в меру пропеченной уточкой либо гусочкой, если она не слишком жирна или, напротив, не чересчур суха и худосочна; так, чтобы поджаренная корочка хрустела на зубах, а мясцо было нежное, чтобы сок с плавающими в нем лодочками тмина был такой же золотистый, как и хрустящая корочка, а капуста — чуть кисловатой на вкус. Повариха Ева превосходная, а сегодня я более, чем когда-либо, мог рассчитывать на отменное угощение.

После завтрака Еве стало ясно как божий день, что свидание, да, наверное, и знакомство Томека с Марцелой ни к чему не привело. И если после вчерашнего вечера мать лишь вздохнула с облегчением, то сегодня энергия так и бурлила, так и искрилась в ней. Даже в такой зной — солнце палило с самого утра, да и газовая плита с ее горелками и разогретой духовкой не убавляла жару — Ева поспевала всюду. В своем летнем кухонном наряде, в широком полотняном фартуке с большими, обшитыми пестрой тканью накладными карманами, надетом прямо на голое тело — под ним только трусы и лифчик,— она то и дело возникала на пороге комнаты с ложечкой или мешалкой в руках. Прислонясь к косяку, отирала ладонью потное лицо, устраивала себе передышку. Но вскоре из кухни опять доносились звуки ее кипучей деятельности. Ева шинковала ножом свежий кочан капусты, звенела крышками, гремела посудой, кастрюлями и сковородками, громыхала в мойке тарелками... Жареная утка благоухала по всему дому.

Усевшись в комнате, я разложил было перед собой кучу бумаг и пытался заполнить несколько служебных формуляров.

Но от стоявших в воздухе ароматов отвлечься было невозможно, и занятия мои показались мне никчемными и бессмысленными.

А надо было подсчитать урожай вишни — записать в длинные колонки разные данные. Требовалось вычислить среднюю прибыль каждого из сортов на гектар сада, а также на каждое отдельное де-

ревце; я должен был сопоставить прибыли прошлых лет, определить среднюю цифру доходов за последнюю пятилетку, а потом подробно описать расходы различных химикалий на опрыскивание и удобрение земли. Среди данных, которые следовало перечислить, были, разумеется, и финансовые затраты, скажем, оплата труда сборщиков в нынешнем сезоне сравнительно с оплатой в прошлые годы, хотя какое уж тут сравнение: урожаи всякий год разные, различны были и заработки сборщиков. Цифры эти никому ничего не говорят и никому никогда не потребуются.

Само собой, к этим бумагам я отношусь так, как они того заслуживают. Но заполнять обязан! А как же! Ведь целый ряд наших управлений, отделов, референтов только такими бумагами и оправдывают необходимость своего существования! Вот уж увлекательная работенка! Недавно нашему директору спустили еще одно предписание: помимо уже перечисленных данных (господи боже мой, да ведь это целые тома!) он должен сообщать, кто из работников нашего госхоза произносит речи на похоронах, чтобы отправить их на курсы риторики. Как будто мы не знаем, как произнести прощальное слово над гробом товарища, который годами работал рядом, страдал и радовался вместе с нами; словно нам неизвестно, как он жил, что за свою жизнь сделал, что после него останется на земле и какой у него был характер. Ну, а поскольку этот «указ» попал мне на глаза первому, то я посоветовал директору ответить референту с полной искренностью приблизительно так: «Дорогой товарищ референт! Наших покойничков я хороню сам. И с большим удовольствием продемонстрирую тебе, как это делается, если только ты сам изволишь покинуть сей мир». Директор смеялся от души, а потом почесал за ухом, вздохнул и сказал: «Ты прав, нечестивец! Да что поделаешь? Иной раз и этот референт на что-нибудь сгодится. С начальниками лучше жить в согласии».

Я уж приготовился было заполнить эту бумагу, как в дверях снова появилась Ева. На лбу у нее блестели капельки пота.

— Ковыряешься в своих треклятых бумагах? Черт их побери! — воскликнула она. — Наверное, садоводы скоро будут над одними бумагами корпеть, где уж тогда об урожае заботиться. А нельзя ли хоть на сегодня, когда мы в кои-то веки собрались вместе, оставить эти бумажки?

— Да что-то ведь нужно с ними сделать!

— В окно вышвырнуть. Урожая они не прибавят.

Подойдя к столу, она просмотрела несколько колонок и покачала головой:

— Всю жизнь только и слышу, что о борьбе с бумажной волокитой, а воз и поныне там. Ни с места. У меня есть предложение: пусть власти выделят нашим организаторам кой-какой фонд, из которого они смогли бы всех, от кого эти анализы, данные и рапорты требуют, вознаградить за истраченное время. А сэкономленные деньги оставляли бы себе на премии. — Она облизала ложку. — Увидишь, сколько бумаг враз отпало бы. Господа начальники стали бы требовать только самые необходимые. Могу поспорить, и без необходимого обойдутся. Вот какая произошла бы экономия времени, труда, бумаги и денежных средств.

— Твоя правда,— развеселившись, воскликнул я. И впрямь, Еву порой посещали очень здравые мысли.

Но тут она вспомнила про утку в духовке и всполошилась:

— Господи, ее же поливать надо, а то подгорит!

Утка уже благоухала так, что слюнки текли. Аромат становился все назойливее, как и навязчивая мелодия, которая била по моим барабанным перепонкам.

В таком смешении запахов и звуков работать было невозможно. И я, оставив бумаги, вышел из дому.

На веранде сидела Луцка, включив магнитофон на полную мощность. Лицо у нее было перемазано, ладонями и пальцами она разминала комок мягкой блестящей глины. Уже два года Луцка три раза в неделю посещала народную художественную школу. Я с удовольствием наблюдал, как она со всей страстностью девочки-подростка обрабатывает бесформенный кусок глины.

И при этом шевелит губами, как бы помогая рукам.

Жуя жвачку, она словно смаковала материал, проникала в самую его суть, готовясь вдохнуть душу в глину. Иногда я поддразнивал ее, подсмеиваясь над неудачными творениями (правда, ни один ученый не свалился еще на землю с неба, да и мастерами не родятся сразу), но и радовался тому, что в век научно-технических достижений, окружающих нас со всех сторон, а порой, сдается, и хватающих за горло (мы еще не научились молниеносно их осваивать), моя дочь занимается делом, в котором хранится тепло и естественная простота нашей земли. Славная девчушка. Общительная и веселая. Там, где она, смеху хоть отбавляй. И настойчивая. Если что не по ней, не отступится, пока не добьется своего.

— А не поубавить ли нам этот визг? — спрашиваю я, наклоняясь над ней и наблюдая за ее работой.

— А я люблю все, что можно слушать, — ответила она и без особой охоты, не спеша обтерев руки о мокрую тряпку, щелкнула клавишей магнитофона, а тут заодно, раз уж оторвали от работы, потянулась за персиком. Теперь высасывает его сок.

— Еще немного — и никакая печь для обжига уже не потребуется,— заметила она, отерла ладошкой лоб и протянула мне персик.

Я отказался, сославшись на то, что кондитеры не любят конфет, а свою порцию я съел еще утром. И стал разглядывать кукол и другие Луцкины изделия, выставленные, а вернее сваленные, на полочку. У Золушки глаза были сделаны из слив, нос из маленького яблочка, щеки — из персиков, а волосы — из вишневых листьев; пузатый коричневый кувшин, вазочка, зеленая, как молодой тростник (зелени я бы поубавил, но молодость падка на все броское). Беру грушу восковой спелости, верчу в руках.

— Эта тебе удалась. Так бы вот и вонзил в нее зубы.

— Ну, еще бы. Ты ведь известный лакомка,— произнесла Луцка со своей веселой ухмылочкой.

Однако похвала доставила ей радость. Она повернулась ко мне. На носу у нее веснушки. Но эти мелкие, там-сям рассеянные точечки, следы солнечных поцелуев, не портят ее прелести. Наоборот, мне они очень даже нравятся. (Еще бы, это единственное, что ей досталось от меня, ведь во всем остальном она вылитая Ева.)

— Люблю поесть, что правда, то правда. Но только что-нибудь стоящее, сама знаешь. А над чем ты трудишься сегодня? Что это будет?

— Блюдо.

— Здорово. И наверняка оно получится не таким плоским, как этот паяц. Не терплю ничего бесплотного. Воротит меня от всего такого — ничего не могу с собой поделать...

В дверях вновь появилась Ева, прижимая к боку небольшую квашню, на сей раз она мешалкой взбивала тесто.

— Вы оба здесь? Забыли, что собирались пораньше на речку? И никто не вызовется мне помочь?

Я вызвался (пожалел Луцку — сам не люблю, когда меня отрывают от работы).

Уходя, я услышал за спиной чмоканье, куда более приятное, чем в квашне. Оглянувшись, убедился, что Луцка, округлив губы и вытянув запачканные глиной пальцы, посылает мне воздушный поцелуй.

И подмигивает. Глаза у него веселые и блестят, как умытая росой трава. Ах, хитрющая лиса-плутовка. Умеет подольститься!

Немного погодя, отдуваясь и обливаясь потом, я снова вернулся в комнату. Там, развалясь в кресле, сидел Томек и делал вид, что сосредоточенно следит за перипетиями героев телепередачи. Но взгляд его был неподвижен и пуст, парня явно не волновало происходящее на экране. Телепередача служила лишь ширмой, ограждавшей его одиночество, которое именно сейчас было ему важнее всего. Я понял это и не стал нарушать молчания.

Но Ева повела себя иначе. Заглянув к нам, она сразу же накинулась на Томека:

— Да что это с тобой? Вот незадача! Вчера ты с этой... — она не договорила. — Ты у нее был?

Удар нанесен точно. Томек поднял было голову, но тут же и опустил. Собирался с силами, как боксер, потерявший равновесие. По-видимому решив, что нет смысла ходить вокруг да около, искренний паренек отважно признался:

— Прогнала она меня.

Однако головы так и не поднял — покраснел до корней волос.

— Это мы с мамой поняли еще утром. Ничего, не расстраивайся! — Я попытался подбодрить парня.

— Удрала, — признался Томек.

— Как это — удрала?

— Поначалу все вроде было хорошо, а потом там появился парень постарше, ее знакомый. Они потолковали о чем-то, и она мне сказала, что ей нужно уехать. И они уехали в новом красном «фиате».

Мужская гордость Томека страдала, он был оскорблен до глубины души.

— Ну, этого от нее можно было ожидать. Экая тварь! — отвела душу Ева. — А ты будь доволен, что она уехала. Если бы у тебя был «фиат», она бы смоталась на «фольксвагене» или «саабе».

— Эти маневры ты проиграл! Но только маневры! Экая важность, голубчик! Голову даю на отсечение, что кое-какую пользу из этой истории ты для себя извлек.

Сын наш по-прежнему хмурился, зато Ева сияла, и по лицу ее разлилась мягкая, почти счастливая улыбка.

Через полуоткрытые двери было слышно, как в духовке шкворчит и брызжет горячим жиром утка. Во всем доме воцарились теперь мир и покой.

Выглянув в распахнутое, но затененное окно, я в беспокойстве взглянул на небо. Все еще голубое, оно слегка потускнело, тронутое легкой дымкой. Далеко, где-то позади Ржипа, краешек неба словно покрылся пеплом и сделался серым.

Приблизительно через полчаса — Ева как раз накрывала на стол — сквозь звяканье приборов и тарелок послышался глухой далекий рокот.

Мы оба вмиг очутились у окна.

Светило солнце, но улицу словно зашторили занавеской. От мертвенно-неподвижного, раскаленного воздуха по-прежнему изнывала земля. Но наверху, над макушкой персикового сада, небосвод сделался сизым.

— Господи. Лишь бы...

Руки у Евы опустились. Она озабоченно посмотрела в сторону абрикосовых плантаций.

Вдали снова громыхнуло.

— Наконец-то! — послышался веселый голос Луцки. — Что-то надвигается! Хоть немножко станет прохладнее!

Ева словно не слышала ее.

— Как бы ветер чего не нагнал. И как раз теперь... А не нужно ли?.. — Она в упор смотрела на меня, не выпуская тарелку из рук.

— Томек, Луция!— позвал я, не раздумывая больше.

Они поняли меня.

— Что, и поесть не сможем? — спросила удивленная Луцка, вдруг заколебавшись.

Но Ева уже выключала плиту, отставляя горшки и сковородки.

— Беги на склад. Заводи автокар! Скорее, — подгонял я Томека.

В чем были мы побежали к абрикосовым деревьям.

Томек уже отпирал ворота склада, когда возле дома, резко затормозив, остановилась машина и прямо в клубы пыли, поднятой колесами, на землю соскочил Шамал с женой.

— Быть грозе! — крикнул он. — Часовня на Ржипе сияет, будто сахарная. Хорошего не жди!

Из машины неуклюже вылез и Гоудек — он не привык разъезжать на «колесах».

Автокар Томека, на который он погрузил ящики, уже катил, рокоча, в гору. Ворота склада так и остались распахнутыми настежь...

Золотистые абрикосовые плоды, сочные и теплые, прогретые солнцем, от малейшего прикосновения сами падали в руки, словно не могли дождаться этого мгновения. Мы работали молча. Лихорадочно. Слышалось только бранчливое ворчание Шамала. Надвигающаяся гроза подгоняла нас... Раскаты грома, вспышки молний, разрывавших темно-серый небосклон, становились все ближе и ближе. Томек отвез первую партию фруктов.

Ящики быстро наполнялись плодами, как вдруг Ева, собиравшая абрикосы на соседнем дереве, оглянулась и крикнула мне предостерегающе: «Адам!»

Обернувшись, я увидел, как над Крабчицким шоссе и в поле клубится столб белесоватой пыли.

И тут же по деревьям хлестнул резкий порыв ветра. Жалобно зашелестели листья, почти в одно и то же время хлопнули ворота склада, громада ящиков покатилась наземь. Пыль засыпала нам глаза, забивалась в нос и рот, слепила, мешала дышать... Разметавшиеся на ветру верхушки деревьев словно разбегались в разные стороны. Абрикосы посыпались с ветвей градом: ветер, срывая, угонял их и бросал далеко от стволов деревьев.

И тут припустил ливень, сопровождаемый блеском молний и грохотанием грома. На автокаре теперь сидел Шамал, собравшийся переправить еще одну партию. «Погоди!» — крикнул я и подскочил к коляске, стараясь удержать ящики, раскачивавшиеся на неровностях дороги. Но на повороте ветер и ливень, объединив усилия, ударили по ящикам, и те не выдержали напора. Абрикосы разлетелись в разные стороны. Сочная их плоть тут же расплылась, потекла в потоках грязи...

— Сволочная работенка! — орал Шамал, обращаясь к дождю и ветру; лицо его было искажено злостью. Я почти ничего не слышал, ливень заглушал его слова. Мы бежали домой сквозь дождь и ветер; все давно уже промокли до нитки... Это был даже не бег, мы словно плыли, сносимые потоками в долину. Вода катилась по заскорузлой от зноя, пересохшей земле, которая не успевала впитывать ее. Водные валы скатывались вниз, сбивая с ног людей, скользивших по мокрой траве.

Как в тумане — струи дождя застили глаза — я увидел Еву. Поскользнувшись, она упала, но, падая, успела опереться на корзинку, которую держала в руках (в корзине оставались последние фрукты, что ей удалось сорвать), и быстро вскочила на ноги.

Наконец мы вбежали в дом. На пороге уже стояли Гонзик с же-

ной, с них тоже ручьями стекала вода, и Гонзик сокрушенно проговорил:

— Не поспели мы. Не добежали. Ну как там?..— Он не договорил, голос у него осекся.

— Лучше не спрашивай. Да ты ничем бы и не помог. Собрали урожай — кончено!

Опершись о стену в мокром забрызганном грязью платье, Ева выжимала волосы. Но вдруг руки у нее упали, бессильно повиснув вдоль тела. С выражением такого же бессилия и беспомощности смотрела она на сад. Потом молча вошла в дом. Но в дверях остановилась, словно вдруг очнувшись. Повернулась к нам:

— Входите, я приготовлю кофе.

Она приглашала всех и ждала у дверей, пока мы не войдем.

До сих пор, стоит вспомнить тот день, все во мне клокочет от ярости и отчаяния. Перед глазами встает картина разорения, произведенного грозой и бурей.

Часа два спустя снова выглянуло солнце. От земли шел пар: от мокрой травы, от мокрых листьев помолодевших дерев к лазурному небу поднимались прозрачные облачка тумана. Воздух был словно насквозь пропитан острым, въедливым, кисловатым запахом. И повсюду в грязи и лужах валялись побитые и расплющенные плоды. Кое-где их можно было прямо сгребать лопатами. Еще утром прекрасные и здоровые, сочные фрукты теперь оранжевой кашей расползлись по земле. И на обнаженные пучки волокон уже усаживались осы, пчелы и толстые черные мухи, справляли тризну муравьи. Ласточки, которые после дождя обычно летают высоко, кружили теперь над этим мрачным побоищем, их манили полчища мух.

Все наши усилия, которые мы изо дня в день отдавали новой плантации, тяжкое напряжение, пот и кровь, заботы и затраты — все пошло прахом. Не менее трехсот двадцати центнеров спелых отборных плодов было уничтожено лишь потому, что какому-то идиоту пришло в голову установить на крупном предприятии служебные часы даже в пору созревания урожая...

Но ощущение собственной ничтожности и абсолютного бессилия длилось недолго. Отступило перед закипавшей в груди яростью. В полном исступлении я поносил все на свете: «Ах негодяй! — клял я Гошека, управляющего объединением «Плодоовощ». Это для того мы сажали и растили прекрасные деревья, для того старались, не зная покоя ни днем ни ночью, лишали себя суббот, воскресений, праздников, поливая, удобряя, опрыскивая, прореживая и разжигая костры, когда надо было спасать цвет от заморозков, чтобы какой-то негодяй своей безалаберностью взял и все уничтожил?» И я давал себе клятву, что это преступление и глупость будут отомщены и никогда не повторятся. Провинность и ее следствия — все вместе, неважно, умышленно совершено злодейство или просто по расхлябанности. Что вразумит такого разгильдяя, если нет у него совести, нет потребности хорошо сделать свою работу? Только заслуженное возмездие, и оно его постигнет. Лодырь и глупец, забравший власть, иной раз может нанести куда больше урона, чем явный неприятель.

Я обошел бескрайнее кладбище, где был погребен урожай. Персики тоже пострадали, но, к счастью, не слишком. Некоторые сорта вызревают постепенно и медленно, к тому же у персиков крепче черенок. Истекали кровью побитые и забрызганные грязью плоды только под деревьями ранних сортов.

Я вернулся в абрикосовый сад.

Кроны с поникшими, кое-где порванными листьями, голые ветви — лишь изредка на веточке покрепче увидишь одинокую абрикосину — на фоне голубого неба выглядели печально и убого.

Оторвавшись от грустного зрелища, я вдруг увидел идущую из дому Еву. Она приближалась ко мне робко и нерешительно, словно

опасаясь, как бы чего не раздавить и не поломать. При виде картины полного разгрома лицо ее исказилось страданием и гневом.

Мы стояли молча, приникнув друг к дружке.

— Такого я этому треклятому негодяю больше не спущу. И это называется хозяйствование?! Черт побери! Уж я с ним поговорю, пусть даже придется душу из него вытрясти!

Ева сжала губы.

— Если можешь, поговори. Ничего не спускай им, Адам...

Рано утром я уехал в Литомержице. Директор Гошек принял меня моментально. Кругленький, невысокий, не то колобок, не то капелька ртути. Не успел я войти, как он уже вскочил мне навстречу и только что не лучился восторгом — оттого, дескать, что наконец-то снова меня видит. Он хорошо понимал, зачем я к нему пожаловал.

— А-а, ты здесь? — воскликнул он.— А я-то думал тебе звонить. Божье попущение, ну что тут поделаешь?! Чертова работенка! Наслышан, наслышан. Могу себе представить.

Он усадил меня, мерзавец, в кресло и не давал мне рта раскрыть, затараторил сам: ведь моя походка, насупленное лицо, разъяренный взгляд — все кричало о том, зачем я явился.

Гошек уставился на меня своими малюсенькими, небесно-голубыми глазками, утопавшими в пухлых щеках. В голосе его звучала озабоченность, он производил впечатление добродушного человека, всегда готового помочь во всем, где только это требуется. Тем более нам. Как-никак мы ведь его кормильцы.

Так вот, этот продувной ловкач принялся меня утешать. Буря, дескать, напакостила не только у нас, потери понесли и другие хозяйства. Увы, такое случается чуть ли не всякий год, с этим приходится считаться. Бывает, урожай гибнет от засухи и на поле и в садах, от мороза и от града, урагана или наводнения. Иной раз от капризов погоды больше всего пострадают зерновые, а в другой — плодовые деревья, овощи или ягоды. В данном случае — к счастью! — убытки не столь велики, скажутся только на урожае летних плодов и овощей да на хмельниках.

Тут он принялся перечислять, в каких кооперативах, в каких количествах ливень побил посадки поздней цветной и кочанной капусты, салатов и так далее. Ему уже звонили... А главное, меня должно, видите ли, радовать, что абрикосы у нас произрастают только на шести с половиной гектарах. Много хуже дело обстоит в тех хозяйствах, которые на производстве абрикосов специализируются, а это совсем рядом.

Он бы так и продолжал разглагольствовать, но его остановило мое лицо. Наверное, оно побагровело. Похоже, мой вид напомнил ему быка, готового ринуться на обидчика, потому что голос у Гошека стал оседать, пока не стих совсем. Он умолк и попытался дружески улыбнуться.

— Что я могу для тебя сделать, Адам? — спросил он наконец.

— Ты уже сделал! — Я громыхнул кулаком по столу, так что задрожали стекла в широком фанерном шкафу. Секретарша этого проходимца, милая девочка, заглянула было в кабинет, но тут же закрыла двери.

— Вот это твоя работа! Смотри!— Я шлепнул о стол несколько фотографий — оправившись от пережитого погрома, мы с Томеком сделали их вчера вечером. — И больше зубы мне не заговаривай. Хватит разговоров. В этом погроме повинны вы одни.

Он мельком взглянул на фотографии. (Они удались, картина разоренного сада была так убедительна, что создавалось впечатление, будто от кучи плодов, разбитых и превращенных в липкую кашу, над которой кружат кучи ос и мух, даже здесь, в канцелярии Гошека, исходит кисловатый запах гнили).

Маленькие глазки испуганно забегали.

Перебрав фотографии, он медленно пододвигал их ко мне.

— Ты что, белены объелся?

Теперь уже он беспощадно сверлил меня взглядом.

— В чем это ты нас обвиняешь? Может, я господь бог и посылаю на землю громы и молнии? Что это, старина, взбрело тебе в голову? Мы давно знаем друг друга, и, сам понимаешь, будь на то моя воля, я и капле дождя не дал бы на тебя упасть.

— Вот именно, мы давно знаем друг друга, и не мне объяснять, в чем твоя вина. Ты не прислал машины. В пятницу с утра. прекратил закупки. Урожай абрикосов мы могли собрать. Такой урожай бывает раз в десять — пятнадцать лет! В такую жару плоды вызревают не по дням, а по часам, а вы как раз в самый разгар сбора закрыли контору почти на три дня. Такие пятница и суббота выпадают раз в году!

— Все лето и всю осень что-нибудь созревает, — отрезал он, — зелень, овощи, фрукты. Целый год мы должны бы работать и днем и ночью, в праздники и воскресенья, без передышки. А рабсилы у нас нет. Хоть лопни, а на такую работу людей не найдешь.

И он принялся перечислять все трудности, которые связывают их по рукам и ногам. Шоферы и грузчики за неделю наездят больше, чем позволяет закон, а случись что — в ответе организация. И потом: они такие же трудящиеся, как и все прочие, и тоже имеют право на отдых в субботу и воскресенье. К тому же как раз теперь один «кореш» женился, а двое гуляли на свадьбе. Попробуй-ка в сезон отпусков усади кого-нибудь за руль в выходные дни... Мне должно быть известно, чем кончил его предшественник. Настолько загонял шоферов и подсобных рабочих, заставляя их работать по субботам и воскресеньям, что начались осложнения и неприятности с профсоюзами — он, дескать, кровосос. Руководство раскритиковало его, поставив в вину превышение установленного законом лимита на сверхурочные часы. Так и свалился с инфарктом...

— Ты что, хочешь, чтобы я тоже загремел? — съехидничал Гошек. — Не я эти предписания выдумал, голубчик. А потом — холодильные установки у меня и так доверху забиты. Когда мы получаем южные фрукты — выбирать не приходится. Прибыли — и все тут.

А к чему мне абрикосы в субботу и воскресенье? Продавать в выходные дни никого не заставишь, магазины закрыты... Ты словно с луны свалился! И будто не знаешь, что кое-кто из директоров магазинов отказывается принимать быстропортящийся товар уже в пятницу утром. Больше того, иногда они отказываются принимать его даже в конце месяца, если план по выручке уже сделан, ведь за большое перевыполнение премию не увеличивают. Вот и возвращаются ко мне обратно машины с клубникой, виноградом и абрикосами, хотя народ о них уже проведал... Черт возьми, я, что ли, отвечаю за эту идиотскую систему оплаты и премий?

Выходит, я должен абрикосы вечером в пятницу у тебя взять, оплатить и оставить у себя, чтобы они до понедельника сгнили на складе? А на чей счет списывать убытки? Мои работники премии лишатся.

Гошек перевел дух.

— Нет таких дураков — свое же предприятие обкрадывать. И нечего меня обвинять в том, что всеми мыслимыми и немыслимыми предписаниями установлен такой порядок. Не понимаю, чего ты от меня хочешь!

— Не понимаешь? — воскликнул я. — Черта лысого перед людьми оправдаешься — это, мол, у нас так устроено, что свежие плоды, собранные, складированные, приходится с места на место перебрасывать, а потом усохшие, полугнилые, жалкие по магазинам развозить! Людям нужно, чтоб собранные утром фрукты уже после обеда или

утром следующего дня лежали на прилавке. Все остальное их ничуть не интересует.

— Ну, с этим ко мне обращаться нет смысла. — Гошек снова часто-часто заморгал глазами. — Не по адресу.

— Погоди! — возразил я. — У нас с тобой договор. Ты обязался взять абрикосы и потому, будь добр, позаботься о них, как я забочусь о том, чтоб их вырастить и вовремя собрать. За сбыт отвечаешь ты, это твоя работа. И если тебе мешают — засучи рукава, иди в верха и там возмущайся. Действуй! Но купить у нас фрукты, передать их в магазины, не допустить порчи ты обязан. Черт побери, это же единое хозяйство! В твоем распоряжении —и купля и продажа, везде твои же работники сидят. И ты бессилен даже в таких ситуациях? Вообще, как ты можешь спокойно спать, если из-за твоей беспечности сводится на нет труд людей, погибают продукты, которых везде ждут не дождутся? Только потому, что какие-то там предписания оправдывают твое безразличие и расхлябанность? Нет, я пойду жаловаться в район!

Он смерил меня взглядом. Но на лице его не промелькнуло ни тени обеспокоенности или смущения. Волнение как будто бы даже поулеглось.

— Давай беги! — вздохнул он. — Сбегай, Адам. И если мне подкинут людей и помогут отменить разные предписания, я буду только рад. Я не меньше тебя желал бы, чтобы наше сотрудничество стало более рачительным. Обоим нам, дружище, приходится нелегко, и долг каждого — защищать свои интересы.

Гошек заговорил вдруг усталым голосом:

— Тебе известно, как обстоит дело с рабочей силой? Мы всяких бездельников оберегаем, словно боимся, как бы не растерять их к двухтысячному году. А что поделаешь?

Я встал и хотел уйти, но он вдруг меня остановил:

— Погоди. Задержись-ка чуток. Ничего ты, голубчик, не добьешься. Главное — действовать хладнокровно. Успокойся.

Он поднялся, открыл холодильник и наполнил две рюмки коньяком.

— Как видно, ты не в себе. Гнев ослепляет. Да ведь ничего не потеряно. Разве у тебя нет страховки?

Он взглянул на меня, потом перевел взгляд на рюмку. Поднял ее, словно бы через нее посмотрел на солнечный свет, проникавший сквозь занавесь, и залюбовался чистым, коричневатым, как будто изнутри светящимся сиянием.

— Слушай, фотографии твои — неплохая штука, они еще тебе пригодятся. Я понимаю, ты болеешь за свой госхоз. Не хочешь понести урона, и я и ты — мы оба печемся о своих людях. Может, я и присоветую тебе кое-что дельное.

Я смотрел на него ошарашенно. Ему, конечно, известно, что мы застрахованы. Но не о том же речь! Он попытался перевести разговор совсем на другое. От удивления я снова опустился на стул. Этот стервец все объяснил по-своему. (Наверное, даже рассудил, что и пришел-то я к нему ради этого.) Какое-то мгновение он молчал, все еще не осмеливаясь пойти в открытую, но, решившись, сказал:

— Урожай абрикосов погиб, персики тоже пострадали, страховое агентство вынуждено будет признать. Наверняка у тебя там найдутся знакомые, а оценщики — народ благодарный, когда надо, умеют смотреть сквозь пальцы. Страхкасса поставит тебя на ноги. Кроме того...— в его голосе зазвучали доверительные нотки,— кое-что мы у вас уже приняли. Мы с вами рассчитались сполна? — Он пристально поглядел на меня. Этот торгаш, прикрывающийся предписаниями, прекрасно знал, что расчет полностью произведен не был.

Я понял. Он предлагал отступного, при котором мы оба материально не пострадали бы.

Ходили слухи, что иногда он таким образом «помогает» некоторым поставщикам, чаще всего — овощеводческим кооперативам, потерпевшим от паводков, града, нежданных заморозков. Задерживает расчеты за уже полученную часть урожая, пока страхкасса не определит убыток. Это не то, что называют «помощь от чистого сердца». При этом он никак не прогадывает. Пострадавшие тоже соглашаются, чтобы с ними по самым низким закупочным ценам рассчитались за уже оплаченные страхагентством продукты, а в оптовой торговле они пойдут по первому сорту или как отборные. Тогда каждый получит свое, никто не останется в накладе. Кроме государства — то есть кроме всех нас. Ведь за эти подтасовки и мошенничество расплачиваемся мы сами.

И вот теперь нечто подобное он предлагает мне! Само собой, как человек хитрый и искушенный, он вел себя осторожно, обходясь без лишних слов. Не произнес ничего, что касалось бы его лично. Спросил только, какое количество абрикосов и персиков мы уже им сдали.

Я почувствовал, что краснею.

А он уже не сомневался в моем согласии.

— Ну как? — спросил он и улыбнулся улыбкой хитрой и многообещающей.

— Все понятно. Только я не согласен! — выпалил я. — Знаешь, дорогой (обращение это прозвучало язвительно, я чуть не скрипел зубами), мы выращиваем фрукты для того, чтобы их продавали людям, то есть мы делаем дело себе на радость, а другим — на благо. Мы бережем их не для того, чтобы потом сгноить и удовлетвориться компенсацией за расходы, даже если она выгодна вдвойне. Ты просчитался. Перехитрил сам себя. Я хочу получить свое, а чужого мне не надо. Вот давай и потолкуем.

На какое-то мгновение он остолбенел. Как будто подавился костью. Но быстро взял себя в руки. Глаза сузились, холодный как лед взгляд пронизывал меня насквозь.

— Чужого? — резко переспросил он. — Не понимаю, ты о чем? (Он притворялся, будто на самом деле ничего не понимает). Я посоветовал тебе обратиться в страховую кассу. Ты пришел не по адресу.

Я поднялся. Не было смысла тратить попусту время на этого негодяя.

— Идиот! — услышал я. — Беги куда угодно, коли других забот нет. Жизнь заставит спуститься на землю.

Я хлопнул дверью.

В висках у меня шумело; голова, казалось, вот-вот расколется. Преступник! Ему абсолютно безразлично, что плоды погибли, что урожай уничтожен. Укрывшись, как щитом, всякими предписаниями, он даже пальцем не пошевелил, чтобы помочь нам со своевременной уборкой. Он вообще не понимал, чем я так задет, про что толкую! Этот проходимец считал свои действия вполне естественными... Да еще и извлекал выгоду из этих уронов и потерь! Словно ему никогда и в голову не приходило служить и работать на благо людей.

И тут в голове мелькнуло: какое же это несчастье, какое горе, если творение твое, которое ты создавал, движимый любовью, во что вложил душу, в конце концов попадает в руки кого-то, у кого нет ни малейшего внутреннего, выстраданного отношения к работе, а для тебя она — источник радости, первейшая необходимость... Кто, подобно бездушной, хорошо смазанной (или противно скрипящей) машине, знай себе набирает скорость, вращая колесом, потому что только на это способен. Мчит неведомо куда, топчет, сметает на своем пути все, что создано другими и что является источником их жизни. О чем думает этакий пустой, жалкий выродок, который может даже считаться и способным, хорошим организатором? Ради кого он живет и работает? Это — преступник. Пусть он действует от имени и во имя своих сослуживцев — это ничего не меняет. *Наш завод, наше*

предприятие — одна семья. А остальное пусть пойдет прахом? Что же учит людей так рассуждать? Что позволяет им думать так и соответственно *совершать* такие поступки?

Я вышел на улицу, но никак не мог продышаться. Нет, я не устал, не пал духом. Гнев и негодование, переполнявшие меня, образовали во мне заряд энергии и упрямства, потребность действовать. *Глупец тот, кто позволяет обкрадывать самого себя, кто позволяет топтать плоды трудов своих, принадлежащие всем.* Вздохи и сетования тут не помогут...

X. Бабье лето

Я все еще лежу на вершине горы, то поворачиваясь лицом к небу, то уткнувшись носом в благоуханную траву. Солнце клонится к закату; тени широко раскинувшего ветви орехового дерева разрослись и стали длиннее. Слушаю стрекот кузнечиков, щебет ласточек, то там, то сям кричат фазаны. Время позднее. А я все еще предаюсь воспоминаниям и размышляю...

Мысленно возвращаюсь к тому времени, когда после беды, приключившейся с нашим хозяйством, мы решили посовещаться, как быть дальше. Я приехал от Гошека и на следующий день собрал всю бригаду. Пришли все до единого. Волнение еще не улеглось, все были взбудоражены и возмущены. Один за другим и все вместе, хором, чертыхались и проклинали и Гошека, и всю систему заготовок. Прикидывали, соображали, как избежать повторения подобных случаев. Кто вслух, кто бормоча себе под нос, но все были едины. У каждого перед глазами стояли картины недавней разрухи.

На одном мы сошлись тотчас. Гошек должен понести наказание! За манипуляции и мошенничества. (Найти свидетелей — само собой, это легло на мои плечи и оказалось совсем не просто, но я посоветовался в районе, и оттуда позвали на помощь государственный контроль.) Но Гошека следовало также наказать и за равнодушие, способствовавшее потере урожая. Труд людей нельзя топтать безнаказанно... Ведь его результатов ждали наши сограждане, ждали — и не дождались. («На всякое зло столько же и доброго,— говорил я себе.— Значит,употребим зло во благо».)

Мы описали все по порядку, факт за фактом. Учитывали при этом, что каждый из фактов нам придется и доказать. И если мы не сумеем обосновать самый незначительный факт, при разбирательстве закупщики раздуют его, и он обратится в главный и определяющий, а тогда уже ничего не стоит похоронить и все прочие обвинения. (У меня тут есть кое-какой опыт.) Когда имеешь дело с вышестоящими инстанциями, нужно быть чертовски осмотрительным, даже если прав тысячу раз. Незначительная оплошность, один-единственный опрометчивый шажок — и поскользнешься, и только царапиной не отделаешься. Ноги переломаешь.

Так вот, мы все тщательно взвесили, обдумали, обосновали и предложили, чтобы в районе и области подумали о том, соответствует ли система заготовок и продажи всеобщей выгоде. Сами мы, да и все граждане, убеждены, что лучший и самый надежный порядок заключается в том, чтобы снятые с дерева зрелые, налитые соком плоды должны быть на прилавках магазинов уже рано утром или после обеда, во всяком случае не позднее следующего утра. Такая практика оправдывала себя всегда, а нам, теперешним хозяевам нашей земли, следует еще больше заботиться о том, чтобы люди получали свежие овощи и фрукты.

И разве мы не правы?

И разве наше несчастье не в том, что все излишние, разбухшие, разросшиеся инстанции-посредники, словно солитеры и пиявки, ослабляют тело, организм нашего общества?

Даю голову на отсеченье, а я не хотел бы ее лишиться — тогда мы разрешили бы проблему рабочих рук и нашли людей для тех участков, где их больше всего требуется, постепенно во всем навели бы порядок.

А распалясь, мы предложили обсудить еще один вопрос. Какой? А вот какой. Мы пришли к выводу, что яблоки, пусть поменьше размером, но крепкие и вызревшие, ничуть не хуже крупных, потому установление так называемых качественных тарифов на один и тот же вид фруктов провоцирует на подмену, а значит, и обкрадывание клиента. Можно продавать все снятые с дерева, крепкие, одинаково зрелые яблоки, начиная с установленного размера, по одной и той же цене — в зависимости от того или иного сорта, — а остатки стрясти с дерева и отвезти на плодоперерабатывающий завод. Число работников и расходы на сортировку значительно снизились бы. Глядишь, и убили бы двух зайцев разом...

Это предложение было только добавлением к тому, что ежедневно мучило нас, отравляло жизнь, что давно уже созрело и требовало разумного внедрения в практику.

Мы просидели над нашим сочинением в общей сложности целый день, если не больше. Споров и разных мнений было высказано при этом великое множество. И хорошо, что спорили. Нечего бояться споров, если споришь о том, как сообща найти лучший путь к достижению общей цели. Лишь глупец может считать, что он умнее всех. Наша партийная организация и руководство госхоза одобрили наше письмо, и я вместе с управляющим отнес его в районный комитет партии. И тут обнаружилось, что мы не единственные, кого подобное хозяйствование связывало по рукам и ногам, кто требовал исправлений и усовершенствований. Среди протестовавших были и те, кто выращивал фрукты и овощи, и те — а их было еще больше, и голос их слышался громче,— кто эти продукты потреблял. *Да, стоит приподнять крышку, и сразу учуешь, что варится в горшке.*

И все-таки вели себя все по-разному. Немало встречалось перестраховщиков, советовавших бросить эту затею и забыть о ней, коль скоро и сам в нее встрял.

«Обожжешься, Адам, — пророчили мне они. — Глупец, что ты суешься в такие дела? Где у тебя разум? Конечно, все так, да что поделаешь? Такой порядок не нами заведен, не нам его и менять... Критиковать отдельных работников — это пожалуйста, критикуй на здоровье, а попробуй коснись кого повыше, копни поглубже, сверху тебя тут же приструнят. Обвинят, что поставляешь аргументы в руки нашим недоброжелателям или отступникам. В таких делах, дурак ты набитый, лучше держаться старого присловья: «Кто ничего не делает, тот никогда не ошибается. А кто не ошибается, того и по головке погладят. А кого по головке гладят, того и возвысят». Держись этого правила, оно не подведет. Заботься лучше о себе, будь как все, не возникай. У тебя даже дом — и тот не собственный. Что будешь делать, если выгонят? Где жить станешь? (На будущий год я должен был получить кооперативную квартиру, а пока что с этим вопросом не торопился.) А машина твоя, твоя «шкода» — рухлядь, можно сказать... Да и о семье ты не печешься. Что детям оставишь? И вообще, Адам, ради кого ты хлопочешь, работая не покладая рук? Что, не видишь разве, на чем теперь мир держится? Глупец, не умеешь ты жить, не умеешь! А ведь мог бы...»

У меня прямо дух занимается, как представлю себе, что такое они мне советуют. Как будто деньги и вещи — это и есть мерило всех жизненных ценностей. Убогие люди. Кому они подражают? На уме у них удобства да комфорт. Если б осилили, они солнце сняли бы с не-

ба и подвесили себе к потолку. Но разве я не богаче их, черт побери? Чем же я располагаю?

Я смотрю на нашу землю, простирающуюся вокруг, алчущим взглядом, как человек, который после долгого воздержания любуется полным бокалом охлажденного вина. Я сын этой земли. Ее плоть и кровь. И принадлежу ей. А теперь, возделывая и обрабатывая эту мою любимую землю, я изменяю ее облик. Нынешнее ее обличье — это дело и моих рук, мое творение.

Поглядите на мой сад! Конечно, он принадлежит нам всем, но и мне тоже. Я заложил его вместе с моими товарищами. И он переживет меня, он останется тут, когда меня уже не будет. Я стану прахом, а люди все еще будут наслаждаться его плодами. Я останусь в памяти людей тем, что я создал. Все это мое — плод от плода, плоть от плоти!..

И, черт побери, разве не радостно видеть, как меняется под твоими руками земля? Глазам моим и сердцу отрадна эта картина. Мы сделали совсем не так уж мало... (Правда, могли бы сделать и больше, но человек — увы! — со своими способностями, достоинствами и недостатками всегда остается человеком, даже если позволяет себе вмешиваться в дела Создателя и пытается изменить лик земли.) И разве не подивился бы наш праотец Чех, если бы теперь с вершины горы Ржип оглядел наш край? Однако то, что он завещал своим соплеменникам, давним нашим предкам, действенно и поныне. Наша земля станет обильной и прекрасной, если мы вовеки пребудем усердными, старательными и трудолюбивыми. Если завещаем эту мудрость и детям нашим, и нашим внукам!

Детям... Да-да... И они тоже мое достояние, мое богатство. Томек... Не я его отец, это правда, но он — мой сын. Ни фигурой, ни лицом он на меня не похож. И ходит не так, как я, и жесты у него другие, но кое-какие черты характера и образ мысли — от меня. Вместе с Евой, его матерью (жаль, немного поздновато), я вдохнул в него «душу живу». Я приручил его, ухаживал за ним и поэтому считаю, что это наш общий с Евой сын. Неужели семя души менее существенно, чем семя плоти? Одно без другого никак не обходится и никогда не обойдется. Вот поди тут разберись — кто его породил... (И впрямь — неужели не я?)

Он меня любит и гордится делом моих рук. Его душа — моя душа, и это даже больше, чем тот факт, что носит он мое имя (этот слизняк, его папаша — спасибо ему, иначе мы с Евой, глядишь, и не поженились бы — отказался от Томека: ему не было дела до старых обязательств, у него новых хлопот предостаточно). А что у Томека от своего отца? Ничего, кроме внешнего сходства...

Славный и трудолюбивый паренек. Честный... Мне хотелось, чтобы он тоже разводил сады, но Томек не пожелал. Ученье его тоже не привлекло. Выучился на электротехника и работает телевизионным мастером. Лишь одна черта у него мне не по душе. И вот какая. На людях он чуть что — весь сжимается, уходит в себя, запуганный, растерянный какой-то. Он знает за собой это свойство и иной раз страдает. Даже пробует избавиться. А как избавиться? Только удалью... Такие «коленца» откалывает, которые обыкновенно глупостью одной оборачиваются. Так вот было и с его Марцелой. Я, кажется, понимаю, отчего он так чувствителен и легко раним. Досталось ему в наследство это качество еще в ту пору, когда Ева его во чреве носила, а потом укрепилось в атмосфере, складывавшейся из крика, брани, шлепков, перепавших ему в раннем детстве. Когда Ева привела сына ко мне, мы несколько сгладили это, но вполне искоренить эту черту уже не смогли. Я никогда не упрекаю в этом Еву. Она тут не виновна. У нее от тех времен своя отметинка; к счастью, проявляется она во всем добром, а главное — в том, что Ева умеет ценить радость и красоту, которые дарит нам жизнь!

А кроме Томека — Луция. Она совсем другая. Общительная и ве-

селая, но при всем том — упрямица (и есть в кого! Мы с Евой — люди норовистые). Луция, коли ей хоть в чем повезет, прямо светится счастьем. И обычно она знает, чего хочет, и умеет этого добиться, резкое слово или препятствие никак ее не пугают. Моя милая девочка, при всем ее природном обаянии и женственности, умеет их преодолевать. (Томек — тот предпочел бы все острые углы сгладить.) Кто выберет ее себе в жены — точнее, на ком она остановит свой выбор,— наверняка вкусит вдосталь всего того острого, сладкого и перченого, что разжигает и улучшает аппетит.

Но больше всего в детях меня радует то, что оба хотят жить самостоятельно. Не ждут и не рассчитывают, что мы обеспечим им легкую жизнь. Чтобы встать на ноги — они получат все необходимое. Но и сами они любят труд... И неудивительно. С малых лет видят, как мы с Евой трудимся. Так неужто я не богаче любого из накопителей, что относятся к породе вечных грызунов (правда, некоторые лишь недавно в них переродились — носят и носят по зернышку в свою нору)? Подсмеиваются надо мной, качают головами. А я смеюсь им в глаза и жалею их... Это потухшие звезды. Людское тепло и радость ушли от них. Кого же они согреют?.. Не хотел бы я питаться их зернами. От них — погибель. Чем щедрее у тебя сердце — тем ты богаче. Душа моя полна, и ее богатства никто у меня не отнимет!

Что же такое они гудят мне в уши? Чего я, мол, не угомонюсь, чего лезу на рожон. Трусы, негодяи! Неужели это слишком много — отстаивать свое право думать, искать, испытывать, пробовать и терять и снова трудиться до изнеможения, короче, созидать и открывать все, как если бы впервые? Ведь это же наше право, наш долг и наша обязанность. Ведь мы теперь распоряжаемся своею землей. Живется на ней лучше, чем в былые времена. Но не станем уверять себя, что все у нас в полном порядке. Порядок — это когда встреченным на пути трудностям смотришь в лицо, когда у тебя хватает мужества их разрешать. (Проклятье, Адам! Это опять-таки беспрестанный труд!) Тогда только мы добьемся того, чтобы наше колесо крутилось и двигалось вперед по пути, который мы определили сами. Забивать голы в свои ворота — жалкий удел! Нет, к черту, неужели я в таком случае побоюсь подать голос и подсказать, куда надо послать мяч?

Размышляя, я взвешивал все «за» и «против», все, что меня ласкало, и то, что было не по нутру. Работая, я никогда не успокаивался. Но что же иное оставалось в моем положении, кроме как ждать? (Ждать, но не сложа руки!)

Однажды и до нас дошло, что комиссия госконтроля обнаружила у Гошека целый ряд неполадок и подлогов; оказывается, руководство этого объединения обкрадывало не только нас, но и государственную казну. Гошек был смещен и с двумя приятелями попал под следствие. Ждали суда. Однако уже одно сообщение об этом оказало свое действие. Видя, что справедливое возмездие настигает и тех, кто до сих пор руководил предприятием, что безответственность, разгильдяйство, мошенничество наказываются со всей строгостью, люди воспряли духом, у них появилось желание работать. Те, кто, мучась сомнениями и возмущаясь, угрюмо молчал и уже потерял веру в себя, вдруг расправили крылья, кое-кому их все-таки укоротили. Атмосфера, воздух вокруг стали чище. Хотя новый директор не мог творить чудеса, тем не менее методы, которыми велись закупки, переменились. По мере необходимости объединение закупало фрукты и в субботу, а вагоны загружались даже по воскресеньям. Снова подтвердилась та истина, что с людьми можно договориться, что они всегда пойдут навстречу, способны на жертвы, если убедятся, что справедливые законы распространяются на всех... Значит, операция оказалась удачной. (Мы считались с ее необходимостью. Ведь любой рачительный садовод, ратующий за дело, тот, что все силы прило-

жит, лишь бы деревья росли сильными и давали сочные, сладкие, здоровые плоды, знает, как необходимо обрубить больные, не плодоносящие ветви, тем более если ветви эти — бог весть почему — начинают сохнуть. Они всегда — источник заразы.)

Стало быть, дела налаживались. Вдобавок ко всему после долгого заседания областного комитета партии, после бесконечных споров с управлением «Плодоовощ» и переговоров с представителями отраслевых профсоюзов мы настояли на том, чтобы нам, садоводам, разрешили отправлять фрукты непосредственно в специализированные магазины шахтерского Моста и в Прагу. И у себя в Роуднице, у нас дома, нам позволили организовать экспериментальную лавку!

Работники прежней системы нашего снабжения фруктами и овощами будто бы мешали этому (могу себе представить; многие из нас понимали почему), всеми правдами и неправдами добивались запрещения такой самодеятельности, сыпали аргументами, разглагольствовали об анархии, которая при этом якобы неизбежна. Но в конце концов здравый разум и голоса людей, требовавших, чтобы всем были доступны свежие овощи и фрукты, сделали свое. И хотя наша победа была только первой ласточкой, кровь в нас забурлила, словно насытясь кислородом, дышать сразу стало легче.

И снова — в который уже раз! — мы убедились: нужно подать голос, и будешь услышан. (А не то раздадутся другие голоса — лживые или просто занудные, и произнесут они слова пустые и замшелые, такие, что никого не всколыхнут...) Господи боже мой, разве это — не самый лучший подарок к моему дню рождения?

Эти добрые вести мы со всей нашей бригадой отметили, как полагается, накануне моего дня рождения. В саду, на свежем воздухе, развели костер и с удовольствием отведали жаркого, выпили за здоровье, за радость, за все, что нам уже довелось сделать, и за то, что ждало нас впереди; попели и повеселились на славу. (Наш виночерпий Боуша ради этого случая не поскупился и вынул из своего погребка отменное винцо, самое лучшее, какое только нашлось в его запасах; обнаружилось тут и несколько бутылочек старого выдержанного (вавржинецкого), красного, как густая кровь, искристого, ароматного, мягкого, ну прямо шелкового; напиток сам собою проскальзывал в горло.)

Я снова протягиваю руку к бутыли, валяющейся рядом в траве, подношу ко рту, делаю последний глоток. (Последний — из этого сосуда; я верю, что не созрела и даже еще не посажена та лоза, нектара которой я отведаю последний раз!)

Вокруг пахнет травами и листвой. Мне чудится, будто я различаю аромат созревающих яблок. С Лабы доносится гудок теплохода, где-то неподалеку лает собака...

В задумчивости еще раз обозреваю пройденный мною путь. Заглядываю себе в душу... Разве в прошлое проникаешь не затем, чтобы лучше представить себе будущее? Прошлое — корень дерева, настоящее — его плодоносная крона. В плодах заложены семена и ростки будущего... Я взвешиваю добро и зло, уготованные мне жизнью и уже отпущенные ею. Все доброе и злое уложено во мне глубокими благодатными пластами, откуда мой мозг и сердце черпают животворные соки и силы...

Сколько раз мое сердце сжималось от горести? Выпадают минуты, когда кажется, что больше уже не увидишь ни солнца, ни звезд. Однако переломы срастаются, в кровь изодранная кожа заживает... Мне припоминаются победы и поражения, перенесенные мною. Размышляю я и о судьбах мира. Ему снова угрожают те, кто уже столько раз — корысти и доходов ради — пытался поработить иные народы, а теперь в безумном своем тщеславии и заносчивости задумал спалить всю нашу планету в огне атомной войны. В душе вспыхи-

вает огонек веры в наши силы, в силу тех, кто защищает дело рук своих и оберегает жизнь, исполненную здоровья, красоты и неистощимой человечности. Все, конечно, зависит от нас. Помочь себе сможем только мы сами. К счастью, у нас надежные союзники.

Думы мои бегут дальше, но глаза сами собой закрываются, веки тяжелеют... Мысли путаются, исчезают и возникают снова... Образы расплываются, сознание туманится...

Очнулся я неожиданно. Тело онемело. Левая рука затекла, щеку саднило от вмятин, оставленных травой. Приподнимаю веки и, сощурившись, гляжу на ореховое дерево. Его тень сливается с подкрадывающимися сумерками. Настроение мрачное, усталость дает себя знать...

Стареешь, Адам... Вот и брюшко наросло, и спина согнулась, и волосы редеют. Сказывается артроз в суставах, ломит в костях и в боку, сводит пальцы, то там заболит, то здесь кольнет. Я заранее определяю перемену погоды, а для садовода это неплохо. (Руки у меня еще крепкие, мозг живой, и фантазия не увяла, еще питают ее здоровые соки. Но силы все-таки убывают, ничего не попишешь.)

Припоминаю все свои недуги, которые порой мучат меня, но тут надо мной раздается знакомый голос:

— Ну, довольно валяться, соня. Очнулся наконец?

Ева. Села рядом.

— Как видно, ты снова посовещался с бутылочкой. Не хватит ли? — усмехается она.

— Охотно пригласил бы и тебя, посовещались бы вместе, но, как видишь, родник иссяк. Бутыль пуста,— со вздохом признаюсь я.

— А что ты, собственно, тут делаешь?

— Размышляю.

— Это я слышала. Храпишь на всю округу. Я уж полчаса сижу тут, а тебе и невдомек.

— Чего же ты меня не разбудила?

— Не хотела мешать. Я тоже не терплю, когда мне мешают размышлять,— усмехается она. — Даже больше скажу, я нисколько тебе не удивляюсь. За эти два дня досталось тебе на орехи, а? Так что заслужил право на раздумье. Я тебе не помешаю?

— Мне не хватало тебя. Я тебя ждал.

— Ладно, не выдумывай.

Она не поверила, но теперь мне кажется, что так оно и было. Я вдруг замечаю, что Ева надела выходное платье. На ней костюм из искусственной замши цвета голубиного яйца, и он очень ей к лицу. Оттеняет смуглую кожу и черные с матовым отливом волосы. Ева сидит рядом, о чем-то думает, положив руки на колени.

— Чего это ты такая нарядная?

— Ходила за покупками. К тому же... — она смолкла в нерешительности,— у тебя ведь все еще праздник. Твой пройдоха-приятель, твой Олдржих, отчалил, вот и подумала, что ты скоро вернешься.

Немного погодя, словно желая скрыть, что принарядилась она ради меня, Ева добавила:

— Да и еще какой-нибудь поздравитель может заявиться. Знаешь, сколько их тут уже перебывало...

— А кто после обеда заходил?

— Тебя тут все искали... Звонили по телефону, но я говорила, что тебя нет. И в общем, ни разу не обманула. Дома тебя не было.

— Пожалуй, пора возвращаться. — Я зевнул и потянулся.

— Не торопись,— остановила Ева. — Луция знает, где мы.

— Слушай,— вдруг припомнил я. — Ты ведь мне так и не сказала, как тебе понравился ее подарок.

У меня при этом воспоминании сразу стало радостно на душе. Луция, милая моя девчушка, на день рождения подарила мне чудный изразец. А на нем — Ева. Ее профиль, обрамленный прядями волос и воткнутыми в них розовыми персиковыми цветками. Изображение не слишком удачное, но узнать, что это Ева, все-таки можно. Я, признаюсь, увидев барельеф, схватил Луцию в объятья и так стиснул, что чуть кости не переломал.

— Неужели у меня такой острый нос? — спросила Ева, сделав при этих словах гримасу, будто втягивает воздух. Она ни на секунду не забывала, что она женщина. Вечная Ева.

— Тебе не нравится твой собственный нос? — усмехнулся я.

— Не издевайся,— отмахнулась она. — Но, по правде говоря, мне это ее занятие по душе. Будь я помоложе, я бы тоже с удовольствием занялась этим делом. В искусстве есть материя и есть душа. Для всего — свое занятие: и для рук, и для сердца, и для головы.

Мне нравится ее речь. Мы понимаем друг друга. Но только Луция должна сама выбрать и решить, чем она будет заниматься в будущем. В жизни нужно занимать твердую позицию, крепко стоять на собственных ногах.

Мысль моя перескакивает на Томека — жаль, что в этот мой день Томека с нами не было. Он прислал мне письмо и подарок. Раздобыл где-то старый садовый нож, всамделишную музейную редкость. Я обрадовался ему не меньше, чем когда-то в детстве маленькому календарику, который купил за несколько крон, впервые заработанных на сборе вишни. Он был мне дороже всяких сокровищ.

Ева, похоже, прочла мои мысли, потому что ни с того ни с сего вдруг проговорила с тоской:

— Томеку в жизни придется труднее, чем Луции... С его-то характером... Будет сказываться его беззащитность.

Она тяжело вздохнула, но чтобы развеять мои думы, прошептала:

— А теперь признавайся, о чем же ты все это время размышлял? Улизнул от меня на целых полдня. Что-нибудь произошло? Было ради чего?

— Твоя правда. Чествование меня немного утомило. — Я погрустнел. — Шестой десяток разменял, и не заметишь, как состаришься. Вот я и пораздумал, поразмял мозги... дал роздых костям... И дереву надобно отдохнуть, чтобы снова набраться сил. А у нас, сама знаешь, работы еще порядочно. Мы еще не дотянули свои сады до подножия Ржипа.

— А ты все еще не оставил этой затеи? Все еще об этом думаешь? — Ева удивленно взглянула на меня. — Плантации за Калешовом еще не начали плодоносить, а ты уже придумываешь себе новую заботу. Мало у тебя хлопот?

Ева ворчит, но я-то знаю, что это для виду. Когда понадобится, она станет рядом и будет воевать бок о бок со мною. И станет злой, как львица, стерегущая своих детенышей.

— Все я помню,— обороняюсь я. — И все надо исполнить по порядку, одно за другим.

Она нахмурилась.

— Ты в это и впрямь веришь? — переспросила Ева.

— Да ведь все в наших руках, Ева,— отвечаю я. — Ты только взгляни на наш сад! Какой он был вначале и как выглядит теперь. Конечно, это сделали не мы одни, но дорогу часто приходилось открывать нам. Хотя замок на воротах бывал ржавый и порой отмыкался с трудом, но главное, ключ в наших руках... И я не знаю такой дьявольской силы, которая смогла бы нам помешать в том, что мы хотим осуществить!

И тут же я весело добавляю:

— Не помню кто, когда и где сказал, что постоянная работа и тренировка — залог успеха. Персиковое дерево было когда-то всего лишь горьковатым дичком, а цветная капуста — не что иное, как хорошо вымуштрованная белокочанная.

Она слушала меня молча, не произнося ни слова. Что совсем не в ее привычках. В другой раз наверняка бы на меня напустилась. Явно что-то ее мучило.

— Вот ведь какая упрямая у тебя башка. Своеволье одно. И когда ты поумнеешь? — с глубоким вздохом проговорила она. — Нет тебе покоя. Оставим лучше эту тему. Я не за тем к тебе пришла.

Я вопросительно уставился на нее.

— У тебя для жены когда-нибудь найдется время? — раздумчиво протянула она. — Или ты так вознесся от этих чествований, что обо мне и думать забыл?

Я не сразу понял.

— Как это забыл? Ты же все время рядом была.

— Рядом, но не вместе. — Она поморщилась. — Видать, тебе и этого довольно? Я ведь тебя даже не поздравила как следует.

— Да ведь ты меня каждый день поздравляешь,— донимаю я ее.— И всегда самым наилучшим образом.

Она пропустила это мимо ушей. Будто я ничего и не сказал.

— Мы ведь ни разу наедине не остались. Ты еще любишь меня, упрямец несчастный?

Сегодня она была настроена на удивление миролюбиво.

— Мне больше никого не надо. Мне и тебя довольно. Что до любви, Ева, то тут мужчины, наверное, всегда порядочные эгоисты,— ухмыльнулся я. — Может, я люблю тебя оттого, что мне с тобой хорошо.

— Очень мило с твоей стороны. — Ева вздернула губку. — И на том спасибо. Пользуйся, пока можно. Но чтоб подсластить тебе твою любовь, я испекла торт. Тот, первый, ты наверняка даже и не пробовал.

— А нет ли чего послаще?

Я взял ее лицо в ладони и поцеловал в губы.

Она сопротивлялась, но только для виду.

— Пусти. Разве это любовь? Все прочие тебе милее, чем я.

Приподнявшись на локте, я привлек ее к себе и крепко сжал в объятиях.

— Ни-ни, озеленишь,— проговорила Ева, но тут же рассмеялась. И перестала сопротивляться, жарко прильнула ко мне.— Ну, ладно,— выдохнула она.— Так-то оно лучше.— Положив голову мне на плечо, она подняла лицо к небу и, чуть помолчав, добавила:— Погляди, Адам... Это небо снова наше. Мы уже давно не смотрели на него вместе, а?

Высоко за темно-зеленой кроной ореха на догорающем небе дрожали и словно бы пенились белесоватые, оранжевые, зеленоватые полосы света. Искрящейся теплой струей катились по ним лучи солнца. Вспыхивали сполохами где-то за горизонтом. Потом цвет небосвода на западной стороне переменился... Словно его залило кровью рассеченного пополам дня. Разноцветные полосы делались размытыми, остывали, впитывались сгущавшейся синевой наступающей ночи.

Однажды вечером, после какой-то глупой, бессмысленной ссоры — я уже давно позабыл, из-за чего она, собственно, возникла,— мы с Евой сидели на берегу омута. Ловили рыбу; каждый следил за своей удочкой, лежавшей на берегу, густо поросшем тростником. Молчали, дулись друг на друга.

В оцепенении, чем-то оскорбленный, я не сводил взгляда с поплавка и одновременно чувствовал, как в глубинах омута и в густых тростниковых зарослях уж накапливается пронизывающая и навевающая тоску сентябрьская прохлада. Холодом веяло от этого августовского

вечера, он проникал в душу, пробуждая в ней тоску по согласию, созвучию, согревающему единению... И вдруг сзади кто-то обнял меня за плечи... «Я пришла сказать, что люблю тебя»,— прошептала Ева. Я не шелохнулся. По-прежнему обиженный, упорно и угрюмо смотрел на воду... «Погляди на небо, Адам»,— попросила Ева. Я запрокинул голову, и она поцеловала меня в губы и присела ко мне... Над нами, так же как теперь, сияло, и переливалось, и дышало небо.

Сентябрьской тоски и печали мы уже не ощущали. Не важно было, что поплавки наши погрузились в воду. Рыба сорвала наживку с такой силой, что удилище подскочило, леска оборвалась...

Сколько молодых карпов мы поймали с той поры — не перечесть, но обаяние вечеров, живого, беспредельно просторного, медленно остывающего неба, запах тростников, аира, свистящий шум крыльев пролетающих уток навсегда сохранились в душе. Так же как наши ночи. Сколько их мы прожили вместе! Мгновения восторга, когда мы одаряли друг друга любовью. То были мгновения добрые, необходимые для жизни, как хлеб. Они и были сама жизнь... Все было, и все прошло. Но память сохранила именно те минуты, когда любовью упивалась не только наша плоть, но и наши сердца. Благословенные минуты; навечно ими обогащается душа. Они чаруют, позволяют сердцу испить жар солнца.

— У нас есть о чем вспомнить, Адам,— неожиданно произнесла Ева.

— Да,— ответил я. — Прожили вместе прекрасные минуты. Но эта — лучшая из них, Ева.

Она взглянула на меня.

— А та, у омута, разве была хуже? — спросила она с некоторым удивлением и обидой. — Вот уж не думала.

— Да нет же,— поправляюсь я. — Конечно, не хуже, но то, что прошло, никогда не сравнится с тем, что есть. И если в самом деле что-то есть в настоящем, то оно всегда сильнее того, что минуло, осталось у нас за плечами.

Про себя я добавлю: «Мы наслаждаемся данной минутой, мы крепко держим ее в руках, чтобы она не упорхнула. Она уже не возвратится никогда, обернется чем-нибудь иным. А прежние мгновения? Помогают ли они нам глубже узнать и оценить то новое, что мы переживаем именно теперь? Пока конец пути не виден, завтрашний день впереди. И не один урожай мы еще снимем. Но это не повод разбазаривать время — нашу жизнь. Она нам дается только раз; раз и навсегда. Так надо наполнить ее до краев и испить до дна».

— Вот какие мысли бродят у тебя в голове,— тихо сказала Ева. — Я очень рада этому, Адам.

Она улыбнулась, словно прислушиваясь к себе и вглядываясь в самое себя.

— Знаешь,— проговорила она,— я на тебя иногда сержусь. И ругаюсь... Но не всерьез. Порой опасаюсь за тебя и твержу: не поступай так, отбрось свое упрямство. Не надейся осуществить все, что задумал... Но ты меня не слушай. Будь таким, какой ты есть. Я женщина и мать. Мне бы хотелось никого не отпускать от себя или, по крайней мере, знать о вас все и быть покойной и довольной... Вот это я и хотела тебе сказать. Ты меня понял?

Не в ее привычках говорить так много. Свои слова Ева произнесла легко, и они благоухали, как хлеб. Она словно смягчилась, стала более покорной и уступчивой. В это мгновение ничто не тяготило ее. Она расслабилась, раскрыла душу. Ни слова не сказав — иначе наверняка захлебнулся бы,—я еще крепче прижал ее к себе.

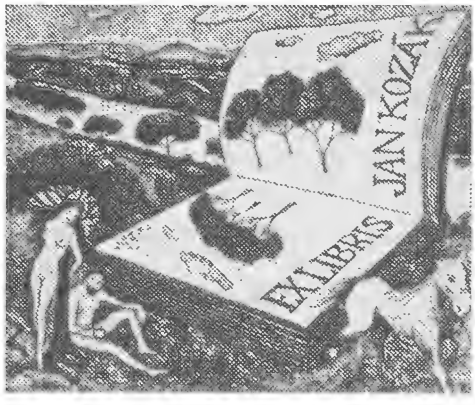
Ева, жена моя. Манящая и умиляющая одновременно. От нее веет теплом, в ней бурлят здоровые женские силы. Я давно уже убедился, что подлинная, истинная красота всегда идет изнутри. Черты, выраже-

ние лица, весь внешний облик человека могут быть прекрасны и сами по себе. Но куда привлекательнее и красивее человек, если он одарен богатством души.

Да... Я богат. Богаче меня нет никого на свете.

Небо потемнело, аромат яблок усилился. Урожай осталось снять только с них. Все остальные деревья отдыхают, готовятся к зиме. И как раз в эту пору славного завершения трудов, в пору мнимого, кажущегося покоя, в их ветвях вызревают зародыши новых плодов. Сокрытые от мира, глубоко внутри дерев, зарождаются новые почки.

1978—1981



К. Славикова.

Литературное наследие

ДЭВИД ГЕРБЕРТ ЛОУРЕНС

Дева и цыган

ПОВЕСТЬ

Перевод с английского И. БАГРОВА

...Усталый редактор решил в конце рабочего дня просмотреть еще одну рукопись. Ему попался рассказ неизвестного автора. Он начал читать и почти сразу после первых же строк отложил рукопись в ящик с надписью: «Принято». Так был открыт Дэвид Герберт Лоуренс (1885—1930), оказавшийся писателем выдающимся, а сейчас, на исходе века, предстающий в качестве одной из крупнейших творческих фигур, которые дала Англия в двадцатом столетии.

У нас Лоуренса заметили рано, однако появившиеся тогда переводы были до того небрежны и невыразительны, что никакого впечатления не оставили. Зато до нас докатился шум, поднятый последним лоуренсовским романом — «Любовник леди Чаттерлей». Роман обрел славу скандальную и был «реабилитирован» в Англии только в 1960 г.

С именем Лоуренса оказалось прочно связанным слово «секс». Это справедливо и несправедливо в одно и то же время. Лоуренс постоянно говорил о проблемах плоти человеческой, пола, однако никогда не касался он деликатных проблем ради «клубнички».

Повод для всевозможных упреков Лоуренс давал постоянно, поскольку писал о том, о чем писать было не только не принято, но и запрещено, и писал так откровенно, как мало кто. А когда писатель идет против устоявшихся мнений и, более того, против закона, ситуация неизменно складывается сложная, даже запутанная. Закон есть закон, и если в 1960 г. лондонский суд принял иное решение, чем в 1926 г., то лишь потому, что законы изменились.

«Вы своей жене или дочери посоветуете читать этот роман?» — такой вопрос прокурора внес известное смятение в ряды защитников «Любовника леди Чаттерлей» даже в 1960 г., а уж тридцатью — сорока годами раньше подобный вопрос и задавать не требовалось.

Противников у Лоуренса было немало, но и сочувствующие окружали его плотной стеной. Не всегда сторонники писателя, как и он сам, отличали смелость от скандальности. Враги Лоуренса тоже не хотели видеть разницы между нарушением приличий и обсуждением щекотливых проблем. Ситуация в самом деле запутанная

ДЭВИД ГЕРБЕРТ ЛОУРЕНС — DAVID HERBERT LAWRENCE (1885—1930)— английский писатель. Автор романов «Белый павлин» («The White Peacock», 1911), «Сыновья и любовники» («Sons and Lovers», 1913; рус. пер.— 1927), «Радуга» («The Rainbow», 1915; рус. пер. под названием «Семья Брэнгуэнов»— 1925), «Жезл Аарона» («Aaron's Rod», 1922; рус. пер. под названием «Флейта Аарона» — 1922), «Любовник леди Чаттерлей» («Lady Chatterley's Lover», 1928), сборника рассказов «Англия, моя Англия» («England, my England», 1922), собрания стихотворений («Collected poems», v 1—2, 1928) Перевод повести Д. Г. Лоуренса «Дева и цыган» выполнен по изданию 1970 г., впервые повесть была опубликована в 1925 г. («The Virgin and the Gipsy». London, Penguin Books, 1970).

Один эпизод лоуренсовской биографии может в этом отношении послужить символом всей его судьбы. Во время первой мировой войны Лоуренса заподозрили в шпионаже и чуть было не арестовали. Нелепость! Но, с другой стороны, зачем он забрел в запретную зону да еще безо всяких документов и к тому же будучи женатым на немке? Вот так и в творчестве: хождение по опасной границе между дозволенным и недозволенным вело его к риску, который иногда был дерзанием, а иногда — нагромождением нелепостей.

И в лоуренсовском стиле совмещались или, точнее, смешивались проникновенность, живость с навязчивой и высокопарной риторикой. Возможно, это была удача, что первый редактор Лоуренса вынес одобрительный приговор на основании всего лишь нескольких строк. Ведь тут же, рядом, можно было бы увязнуть в непролазной словесной трясине. А. М. Горький, прочитав или, по его собственному выражению, пробуя прочитать «Любовника леди Чаттерлей», сделал такой вывод: «Это очень плохо сделанная, очень скучная книга, скука ее кажется вызванной отчаянием и глубокой душевной усталостью. Ее соль — откровенное и детальное описание полового акта; повторенное несколько раз, оно вызывает чувство недоумения какой-то внутренней незаинтересованностью автора и отсутствием в нем эротического пафоса... Очень странная, плохая и, знаете, печальная какая-то книга. А ведь Лоуренс — талантлив был» (из письма К. А. Федину — «Горький и советские писатели. Неизданная переписка». «Литературное наследство», М., 1963, т. 70, с. 536).

Ричард Олдингтон в сущности держался того же мнения и об этом злополучном романе, и о лоуренсовском творчестве в целом, а он был близок с Лоуренсом и доказал свою преданность ему на деле. В мемуарном очерке, который был недавно опубликован в составе небольшого сборника лоуренсовских рассказов («Дочь лошадника», М., 1984), Олдингтон нарисовал именно такой портрет своего старшего друга: натура талантливая и временами... невыносимая! В творчестве эти личные качества писателя отражались, по мнению Олдингтона, самым непосредственным образом: та же смесь ярчайших страниц с выспренней чепухой.

Натура есть натура, и с этим уж ничего не поделаешь, однако Олдингтон, как и другие хорошо знавшие Лоуренса свидетели, считали характер Лоуренса столь же точным отражением сформировавших его условий.

Сын шахтера — исходный факт лоуренсовской биографии. Среди наиболее известных английских писателей было немало людей происхождения незнатного, однако собственно из народа, из низших слоев наверх пробивались считанные единицы. Фактически помимо Лоуренса можно назвать еще только одного Роберта Бернса, ибо, скажем, Шекспир или Диккенс — это уже «средний класс».

Лоуренс не просто вышел из демократической среды. Его отец был, точно, шахтером, веселым, сильным и — неграмотным. Зато мать была образованна и к тому же очень набожна. Семья держалась силой любви, некогда шагнувшей через сословные барьеры, которые в английском обществе сколь высоки, столь и прочны. И та же семья все время, на глазах у детей, сотрясалась от внутренних конфликтов, имевших ту же подоплеку — неравенство.

Рос Лоуренс в местах байроновских. Его родной шахтерский городок, или просто поселок, находился неподалеку от Ньюстедского аббатства. «Уж пуст мой замок родовой. Заглох его очаг...» Можно сказать, что появление семейства Лоуренса в этих местах было результатом того процесса, который вытеснил Байрона из его родового гнезда. Промышленная революция с конца XVIII столетия преображала этот край: под натиском шахт исчезали вековые дубовые леса, некогда служившие приютом Робин Гуду.

Рабочий быт отличался своеобразием. Конечно, были нищета и убожество, если бедность соотносить с богатством по некоей абсолютной шкале. Однако по сравнению с положением какого-нибудь батрака это было большим продвижением вперед. Сейчас те времена и тот быт социологи вспоминают будто золотой или героический век рабочего человека, тоже получившего возможность сказать: «Мой дом — моя крепость».

О том, чтобы Лоуренс пошел по стопам отца, не могло быть и речи. Он вообще выжил чудом — настолько у него с малых лет было слабое здоровье, прежде всего слабые легкие. Так ведь и умер Лоуренс почти в том же самом возрасте, что Чехов и Стивенсон.

Образование ему удалось получить высшее, хотя и неполное. Некоторое время он учительствовал — в младших классах. Посвятить себя полностью литературной работе ему помогла поддержка редактора, который отложил рассказ в ящик с надписью: «Принято», и издателя, у которого консультантом был Эдвард Гарнет. Гарнеты — целый литературный клан, их заслуги перед английской словесностью очень велики. Они были, в частности, пропагандистами русской литературы в Англии, а Эдвард Гарнет как внутренний рецензент крупного издательства стал крестным отцом многих известных писателей.

И материал у Лоуренса особый: шахтерский быт, становление молодого человека, выходящего из этой среды в большой мир.

Родился и начал формироваться Лоуренс еще в эпоху викторианства. Время его становления в начале века — эдвардианская пора. А литературная деятельность, начавшаяся в 1910-х годах, пришлась на годы георгианства, чреватые первой мировой войной. Как у англичан водится, эти обозначения связаны с именами королей. По существу же викторианство — время имперского торжества, полнейшего буржуазного самодовольства и ханжества. Истинные викторианцы — это Форсайты. Эдвар-

дианское время, напротив, отмечено усилением самокритики среди англичан (и об этом рассказывал Горькому именно автор «Саги о Форсайтах», Джон Голсуорси). Георгианской полосе стал свойствен некий неоромантизм, который, однако, под влиянием мировой катастрофы сменился разочарованием, горечью — «потерянностью».

Все эти настроения и веяния, конечно, отразились в творчестве Лоуренса. В то же время он как бы держался ото всех в стороне и шел своей дорогой. В основе такого впечатления — особенности его судьбы, которая сделала Лоуренса своеобразным отщепенцем, бродягой. По здоровью Лоуренс не участвовал в войне, а на время вовсе уехал из Англии и странствовал по свету, живя в США, Мексике, Австралии. Растущая литературная известность сделала его на родине предметом внимания со стороны великосветских кругов. Им заинтересовались аристократы, желавшие покровительствовать литературе и искусству, но, разумеется, среди этой публики Лоуренс появлялся в качестве весьма экзотического существа.

Ничего нет ошибочнее представления, будто Лоуренс — чуть ли не порнографический писатель, нечто вроде Арцыбашева. По существу он — писатель, как это ни покажется парадоксальным, пуританский. Соединение пуританской праведности с чувственностью было его идеей. Идея, конечно, фантастическая, неосуществимая, навязчивая, поскольку пуританство есть пуританство и с живой плотью оно всегда вело борьбу. Именно по поводу такой неосуществимой, немыслимой «гармонии» Лоуренс наговорил немало нелепых, пустых слов, но искренняя проповедническая устремленность его рассуждений остается вне всякого сомнения.

Что же внес в литературу Лоуренс? Новый подход к описанию природы человеческой: в единстве всех импульсов и мотивов, определяющих личность, ее склад, поведение. «Человек целиком, с учетом всех мотивов, прежде не принимавшихся во внимание». Эта формула из книги «Литература и психоанализ» (1956) относится не к самому Лоуренсу, а к Фрейду. С ним обычно связывают творчество Лоуренса, которое рассматривается в качестве художественной иллюстрации фрейдизма. Разумеется, Лоуренс был сыном своего времени, дышал «духом века», а в начале века психоаналитические идеи носились в воздухе, но все же с работами Фрейда Лоуренс мог познакомиться лишь позднее, когда его собственные психологические интересы вполне определились. Знакомство с фрейдизмом оформило его воззрения в доктрину, но, к счастью, писатель брал верх над доктринером — на лучших его страницах. Здесь Лоуренс выступает как достойный наследник психологизма, получившего столь мощное развитие в литературе прошлого века. В некоторых отношениях Лоуренсу удалось углубить этот психологизм — оставаясь в тени великанов XIX в., Лоуренс все же внес новые оттенки в творческое постижение человеческой личности.

Человек целиком — как результат взаимодействия всех факторов, его формирующих: общественных, семейных, индивидуальных, включающих не только психику, но и физиологию, даже биологию. Стремлением постичь и показать человека в такой полноте Лоуренс и представляет для нас интерес как художник. Если Толстой в «Войне и мире» лишь упомянул о ревности, которую графиня Ростова испытывала к возможному супружескому счастью своей дочери (и даже этим мимолетным замечанием озадачил читателей своего времени), то Лоуренс делает подобные, странные на первый взгляд ситуации предметом специального рассмотрения. Новые оттенки внес Лоуренс и в традиционную тему «отцов и детей». Вообще ситуации, прежде выглядевшие исключительными, он делает обычными, ибо видит их на каждом шагу благодаря своему психофизиологически и социально обостренному зрению. Некие чудаки и прямо монстры, которые на страницах Диккенса или Теккерея предстают в качестве особых типов, у Лоуренса могут быть обнаружены в любом из персонажей. «Темные силы», которые писателями прошлого экстрактировались в виде отдельных, опять же особых фигур вроде мистера Джекила у Стивенсона, Лоуренс усмотрит в любой психике. Да, он выявляет нормальность ненормальности, а затем спрашивает: что же считать нормой? Нормальны ли чувства матери, которая, так сказать, душит дочь или сына в своих объятиях? Нормальна ли тяга пола к полу, если при этом нарушаются социальные или нравственные границы? Как быть юности, если силы жизни просыпаются в ней задолго до того, как это предусмотрено семейно-брачным кодексом? И наконец, что же делать, если самого современного человека начинает тянуть назад — не к благам цивилизации, а прочь от них?

Множество подобных вопросов поставил в своих книгах Лоуренс. Таких вопросов, которые по тем временам и нравам считались неудобными и даже вроде бы вовсе не существующими. Лоуренс пристально присматривался к той человеческой природе — во всей ее полноте и истинной сложности,— которую буржуазно-пуританская мораль гнала в дверь, а она, эта упрямая природа, все-таки влетала в окно.

Толстой, Достоевский, сестры Бронте, Томас Харди, Сэмюэл Батлер — своих выдающихся предшественников Лоуренс знал, подчас он шел прямо по их стопам, в том направлении, где даже им не удавалось пройти или, во всяком случае, не удавалось дойти до читателей своей эпохи. Как известно, некоторые страницы «Анны Карениной» в печать не попали, из «Братьев Карамазовых» оказалась исключена целая глава, для смысла всего романа очень существенная. «Воскресение» также вышло не полностью. Томас Харди замолчал как романист после «Джуда Незаметного», на страницах которого, как показалось критикам, брат испытывал к сестре не только братские чувства. Батлеровский «Путь всякой плоти», дающий картину такого семейного воспитания, в результате которого воспитанник начинает ненавидеть свою семью и свою среду всеми фибрами души, пролежал под спудом двадцать лет и

был опубликован лишь после смерти автора. Вот эти как бы пропущенные или вычеркнутые страницы Лоуренсом не только восстанавливаются, но и развертываются в целые повествования, отдельные мотивы предшественников становятся у Лоуренса магистральными. Он усиленно пишет о том, о чем предшественники не могли, не успели, а иногда и не хотели написать. Считая «Анну Каренину» величайшим из романов, Лоуренс готов был вступить в соперничество с самим Толстым, который, как представлялось Лоуренсу, сам же испугался сил крови и плоти, разбуженных им в своих персонажах. И Лоуренс намеревался по-своему переписать примерно ту же ситуацию. Спорил Лоуренс и со своим современником-соотечественником Голсуорси, считая, что его персонажи вовсе не имеют понятия о том, что такое настоящие чувства, а знают лишь одни «приличия» и «неприличия». В этой полемике невозможно целиком стать на сторону Лоуренса. Мы упоминаем о ней, чтобы читатель почувствовал направление его мысли.

Важнейшие произведения Лоуренса — это, конечно, его романы. Прежде всего «Сыновья и любовники» (1913), «Радуга» (1915) и «Влюбленные женщины» (1921). «Сыновья и любовники» — лучший его роман, давно признанный классикой. Эта книга никого никогда особенно не шокировала, но у нас репутация этого романа была испорчена очень неудачным переводом, появившимся еще в 20-е годы. Будем надеяться, что новый, на современном уровне сделанный перевод вернет эту книгу нашим читателям.

Но Лоуренс — автор плодовитый, писал он почти во всех жанрах и в каждом дал образцы, вошедшие в современную классику, будь то рассказы, путевые очерки или же стихи. Мы уже упомянули небольшой сборник лоуренсовских рассказов, вышедший в «Библиотеке журнала «Иностранная литература». Теперь на страницах журнала читателям предлагается подборка его стихотворений и небольшая повесть, очень характерная для Лоуренса.

Ричард Олдингтон рассказывает, что, когда повесть «Дева и цыган» была опубликована уже посмертно, впечатление свежести заставило отнести ее к ранним произведениям писателя. На самом же деле повесть написана в конце творческого пути. Тут Лоуренс в порядке подведения некоторых итогов как бы наново переписал самого себя.

На небольшом пространстве повести концентрируется почти весь Лоуренс: и специфически лоуренсовская ситуация с «женским бунтом»; и характерная для Лоуренса обстановка в семье, где старшие подавляют младших уже самим фактом своего существования; и становление юных характеров, изображенных с истинно лоуренсовским вниманием к «человеку целиком» — от сознания до «зова плоти»; тут и «естественный человек», более (по Лоуренсу) привлекательный, чем все «цивилизованные люди». И, как водится, тут же наряду с типичными лоуренсовскими достоинствами проявляются и типичнейшие его недостатки: мелодраматичность и явная тенденциозность.

Это рассказ о природе человеческой, стремящейся вырваться на волю. В центре повести — семья провинциального проповедника, «векфилдского священника» своего времени, если вспомнить знаменитый роман Голдсмита. Но в отличие от голдсмитовского героя, ставшего жертвой помещика, над персонажами Лоуренса нет ничьей видимой власти, кроме общественных норм и предписаний. Живут эти люди если не в достатке, то без нужды, и единственное, что требуется от них, это соблюдать принятые правила и порядок. И вдруг порядок нарушается уходом жены. Подобная ситуация, сейчас представляющаяся обычной, для той поры обладала силой социального взрыва, и Лоуренс очень хорошо передает степень пережитого священником потрясения. Когда же дети начинают сопротивляться обстановке, казалось бы для них вполне органичной, тут уже одна органика начинает сопротивляться другой. Разрыв доходит до самых основ, до натуры. Младшее поколение не только мыслить и чувствовать, но даже чай пить, как старшие, уже не может. Поначалу они, молодые, все вместе бросают вызов старшим. Затем большинство, в основном юноши, проявляют готовность «войти в быт», из которого еще недавно так стремились вырваться. Бунт продолжают девушки, две сестры, в особенности одна из них.

В «Происхождении семьи, частной собственности и государства» Энгельс говорил о том, что женщина служит наиболее прочной опорой в семье, что она оказывается охранительно-сдерживающей силой в первичной общественной ячейке. И, надо полагать, внутренняя непрочность той же самой ячейки обнаруживается до конца, когда вспыхивает именно «бабий бунт». Лоуренс берет два феминистских полюса: на одном — опора-бабушка, на другом — разрушительница-внучка. Никаких из ряда вон выходящих поступков Иветта покуда не совершает. Все развертывается в границах и формах того же быта, в пределах ссоры из-за открытого окна и сквозняка, и лишь благодаря психологической зоркости Лоуренса видим мы глубину конфликта. Чаепитием и открытым окном дело, понятно, не ограничивается — Иветта неодолимо стремится «в пампасы», на волю...

Ситуацией, когда женщина из более или менее «высшего» класса тянется к «низшему», Лоуренс занимался всю жизнь. Так сложилась семья, где он вырос, таков был его собственный брак — с немкой-аристократкой, имевшей перед своей девичьей фамилией многозначительную приставку «фон», таковы сюжеты многих его романов и рассказов. В данном случае в роли человека простого и сильного, истинно живого, одним словом «естественного», выступает цыган. Читая эту повесть, Олдингтон обратил внимание на романтические приемы идеализации «благородного дикаря» у Лоуренса. Надо полагать, что идеализация здесь сознательная — как бы

сохранен взгляд девушки,— но романтический характер носят и заключительные страницы повести.

Лоуренс, конечно, неоромантик и неоруссоист. Эта повесть, как и почти все его творчество,— яростный протест против современной буржуазной цивилизации. Но устремлен протест вспять и вправо — к почве и крови. По этому пункту в свое время очень энергично с Лоуренсом спорила прогрессивная печать: то была борьба с позиции революционности против консервативного утопизма, и об этой борьбе забывать нельзя, важно правильно понять ее смысл и уровень.

Одним из существенных показателей значения всякого писателя служит его влияние. Воздействие Лоуренса заметно в творчестве практически всех западноевропейских и американских писателей, выступивших после него, начиная с 20-х годов. Правда, до многих из них воздействие Лоуренса доходило косвенным путем, и читатели зачастую знакомились с чем-либо типично лоуренсовским через его учеников и последователей. Что некогда первым усмотрел Лоуренс, то стало темами и средствами всей литературы, вошло в общий литературный арсенал. Не исключено, что и наши читатели воспримут эту повесть как нечто уже знакомое и давно читанное. Ну что ж, остается лишь учесть, что в данном случае перед нами первоисточник.

ДМИТРИЙ УРНОВ

1

На весь белый свет ославила приходского священника жена: сбежала с каким-то неимущим юнцом. Бросила двух малых дочерей, семи и девяти лет от роду. Оставила такого хорошего мужа. Правда, волосы его уже тронуты сединой, но усы черны, да и сам священник — мужчина видный. И сильна его затаенная страсть к своевольной красавице жене.

Почему она ушла? Почему умчалась прочь, порвав с мужем столь недостойно, словно рассудок ее враз помрачился?

Объяснить этого никто не мог. Святоши лишь твердили, что она «погрязла во грехе», иные праведницы помалкивали: они понимали отступницу.

А осиротевшие девочки так и не поняли. Они крепко горевали: наверное, мама ушла потому, что они ей не нужны.

Злые ветры судьбы сорвали с места семью священника. Кто бы мог подумать, что его — автора полемических, задиристых статей, человека небезызвестного в литературных кругах, где ему весьма сочувствовали в постигшем горе,— занесет в глухое местечко на севере, в Пэплуик. Но воистину, нет худа без добра. Господь усмирил злой рок и определил простого священника настоятелем местной церкви.

Поселился он в довольно неприглядном каменном особняке на берегу реки Пэпл при въезде в селение. За мостом при дороге высились огромные старые каменные хлопкопрядильни, некогда движимые силой воды.

С получением прихода изменилась и жизнь священника, и его семья. Новый настоятель перевез к себе старуху мать и сестру с братом из города. У малых дочерей его появилось новое, совсем отличное от былого окружение.

Настоятелю было в ту пору сорок семь лет. Он, словно забыв о достоинстве, не скрывал от людей глубокой тоски по беглянке-жене. Сердобольные прихожанки едва отвратили его от самоубийства. Голова у него поседела почти всплошную, во взгляде появилось безумное, трагическое выражение. Весь облик его говорил о тяжком горе. Посмотришь и сразу скажешь: лихо пришлось человеку, жестоко с ним обошлись.

И все-таки угадывалась в его нынешней скорби фальшь. Некоторые прихожанки, еще недавно всей душой сочувствовавшие бедному священнику, брошенному женой, стали втайне недолюбливать настоятеля. Угадывалась в его мученическом облике тщательно скрываемая самоупоенность.

Малышки дочки, не в силах постичь всего детским своим умом, безропотно принимали перемены в семейной жизни. Теперь в доме главенствовала бабушка, хотя ей перевалило за семьдесят и видела она все хуже. Хозяйством стала ведать тетя Цецилия, ей шел пятый десяток, была она постна лицом и набожна; снедал ее какой-то скрытый недуг. Поселился у них и дядя Фред, сорокалетний невзрачный скупец; жил он скучно, заботясь лишь о себе, каждый день ездил в город. Первым лицом в семье был сам настоятель, разумеется после бабушки.

В семье ее величали Матушкой. Была она из тех крепких и хитрых старух, кто всю жизнь вершит свою волю, потрафляя слабостям родичей-мужчин. И на этот раз она быстро смекнула, что к чему. Конечно же, сын и поныне «любит» грешницу-же-

ну и будет «любить» до гробовой доски. А посему — молчок! Чувства настоятеля святы! В сердце своем воздвиг он памятник чистой девушке, с которой пошел под венец и которую боготворил.

А где-то далеко, в суетном греховном «миру», ходит-бродит порочная женщина, предавшая настоятеля и бросившая малых детей. Она связалась с жалким юнцом, с ним она, конечно, окажется на дне, впрочем, там ей и место! Именно это нужно особенно подчеркнуть, а об остальном — молчок! Ведь в чистой и высокой душе настоятеля белоснежным цветком распустился непорочный образ юной невесты. И цвести ему — не отцвести. А та, что сбежала с жалким юнцом, совсем-совсем другая женщина, и настоятель к ее жизни непричастен.

Матушка, доселе жившая в маленьком домике по-вдовьи смирно и неприметно, в каменных настоятельских покоях утвердилась на семейном престоле, крепко припечатав его грузным телом — не свергнуть! Хитрая старуха, скорбно вздыхая, воздавала дань немеркнущему чувству сына, хотя на людях и поругивала его. Из уважения к «великой любви» сына она ни словом не осудила этот чертополох в женском обличье, что сейчас расцвел пышным цветом во греховном мире. Слава богу, блудница нашла себе нового мужа и сменила фамилию. Ни одна женщина больше не носит фамилию настоятеля! А непорочный белоснежный цветок отныне и вовеки будет жить в сердце Артура, не принимая конкретных очертаний и имен. Даже имя изменщицы — Синтия — почти не упоминалось в семье, о ней вспоминали не иначе как о «той пресловутой особе».

Матушке это было лишь на руку. Ее положение упрочилось — вряд ли Артур женится еще раз. Она перехитрила сына, сыграв на, казалось бы, незначительной его слабости — на себялюбии, которое он тщательно скрывал. Ах, какую невесту себе он выбрал — неувядаемый белоснежный цветок! Ах, счастливчик! Но вот его обидели. Ах, бедняжка! Ему горько и тоскливо! Ах, безгранична его любовь! Он даже простил изменщицу! Да, белоснежный цветок прощен! Не появись этот проходимец, супругу настоятеля ждало бы со временем немалое наследство... Впрочем, хватит. Молчок! Даже в мыслях не прикасаться к этому чертополоху, к «той пресловутой особе»! Пусть себе процветает в зловонном похотливом мире. А белоснежному непорочному цветку уготовано место в заоблачных вершинах прошлого. О дне сегодняшнем разговор отдельный.

Так и росли девочки, видя перед собой упоенного своим мученичеством отца, о матери не упоминалось вообще. Им показывали лишь белоснежный цветок в заоблачных далях и внушали, что это святыня, помещенная в гордом отдалении от их жизни и недоступная.

И все же порой из зловонной мирской суеты доносился тлетворный, чертополоший запашок «той пресловутой особы» — запашок эгоизма и низкой похоти. Время от времени она даже умудрялась передать дочкам записку. И седовласая Матушка молча исходила злобой: случись «пресловутой особе» вернуться, почтенной главе семейства — конец! Старухина затаенная ненависть опаляла и девочек — детей мерзкой, распутной Синтии, всем сердцем презиравшей Матушку.

Девочки отчетливо помнили прежний дом в приходе на юге и свою обаятельную, но переменчивую мать. Синтия наполняла дом жизнью, ярким светом, однако солнце это не только грело, но и жгло, оно то появлялось, то вновь исчезало. Когда мать бывала дома, девочки и радовались и боялись; та и чаровала их, и отталкивала собственным эгоизмом.

И вот чаровницы больше нет, остался лишь застывший, точно на фарфоровом погребальном венке, белоснежный цветок. Не нужно больше бояться переменчивых настроений, непредсказуемых желаний и прихотей, терзавших всех хищными когтями; жизнь установилась, стало тихо и спокойно, как на кладбище.

А девочки между тем росли. И год от года росло их замешательство, множились безответные вопросы. Матушка, наоборот, дряхлела, слепла. Ее уже приходилось водить по дому. Вставала с постели она лишь к полудню. Впрочем, почти ослепнув и обезножев, она тем не менее верховодила в семье.

Да так ли уж она одряхлела? Всякий раз, когда в доме появлялись мужчины, Матушка царственно встречала их, сидя в кресле. Разве хитрая старуха могла допустить, чтобы обошлось без нее? Ведь в доме объявились соперницы.

И первая — младшая дочь настоятеля, Иветта. Что-то унаследовала она от «пресловутой особы»: такая же беззаботная и беспечная, не замечающая ничего и нико-

го вокруг. Разве что не столь своевольная. Вовремя, видать, укротила ее бабушка. Надолго ли?

Настоятель не чаял души в младшей дочке, баловал ее, являл «слепую отцовскую любовь», желая показать каждому, как он добр, мягок, снисходителен. Он хотел, чтобы именно так о нем и отзывались. Матушка знала все его слабости до мелочей. И не только знала, но и умело пользовалась ими, обращая их в достоинство сыновнего характера. Подобно тому как женщины мечтают об обворожительных туалетах, Артур мечтал об обворожительном характере. И Матушка ловко маскировала одни его недостатки, облагораживала другие. Любящим материнским сердцем угадывала она его слабости и в угоду ему приукрашивала их. Не в пример «той пресловутой особе»... Хотя в данном случае ее лучше не упоминать. Ведь в глазах бывшей жены Артур представал едва ли не ублюдком-горбуном.

Удивительно! Бабушка втайне ненавидела старшую девочку — Люсиль — куда сильнее, чем избалованную Иветту. Застенчивая и легковозбудимая, Люсиль, в отличие от своей взбалмошной и беспечной сестры, острее чувствовала бабушкин гнет.

Зато тетя Цецилия ненавидела Иветту, самое имя было ей противно. Свою жизнь тетя принесла в жертву Матушке и прекрасно это сознавала, ее обреченность не скрылась и от старухиных глаз. Конечно, с годами тетина жертвенность стала всем привычной, ее перестали замечать, примирилась внешне и сама тетя Цецилия. Она истово молилась о смирении: видно, и у нее, бедняжки, в потайных уголках души не умерли еще человеческие чувства и страсти. Однако она потеряла себя и как личность, и как женщина. Годы ее катили к пятидесяти. Порой неистовым злобным зеленым пламенем возгоралась ее душа, и в такие минуты Цецилия бывала невменяема.

Но из-под властной матушкиной десницы не вырваться. Так и продолжала тетя заботливо ходить за старухой — ради этого и жила.

Порой адское зеленое злобное пламя готово было пожрать и девушек. Несчастная тетя потом всякий раз долго молилась, выговаривая себе прощение Всевышнего. Но своей загубленной жизни она никому простить не могла, потому-то и полнилось время от времени ядом ее сердце.

Матушка казалась доброй и приветливой. Но то была лишь искусная личина. С годами начали замечать это и девочки. Старомодный кружевной чепец, серебристые седины, черное шелковое платье, скрывавшее короткое, толстое, с обширной грудью и выпяченным животом тело — такова была бабушкина внешность, за которой таилась коварная женская душа, беспрестанно утверждавшая свою власть. И это ей удавалось: она ловко играла на слабостях вялых и безвольных мужчин, которых некогда вскормила. Власть ее не ослабевала и в семьдесят лет, и в восемьдесят, и на следующей ступеньке в жизни — на девятом десятке.

Помогало ей и то, что в семье было принято выказывать «верность дому», то есть как друг другу, так и Матушке. На ней, само собой разумеется, держалась вся семья. Сама же старуха видела в домочадцах лишь придаток собственной персоны и, конечно же, помыкала ими. А сыновья и дочери, жившие всяк сам по себе и не обладавшие сильными характерами, конечно же, являли «верность дому». Ибо что ждало их вне семьи? Беды, поношения да позор! Настоятель испил эту чашу до дна, женившись на Синтии. А потому нужна осмотрительность. Осмотрительность и «верность дому» спасут от козней судьбы. И не столь важно, если меж собой дети грызутся и ссорятся. Главное — плечом к плечу встречать все невзгоды.

2

Каково жить под властной, окостенелой бабушкиной десницей, девочки поняли в полной мере лишь после гимназии, вернувшись домой. Люсиль в ту пору шел двадцать первый год, Иветте минуло девятнадцать. Учились они в гимназии, пользовавшейся хорошей репутацией. Выпускной год провели в Лозанне. Выросли девушки самыми заурядными: долговязые, румяные, подвижные, впечатлительные; волосы стригли коротко, «под мальчика», и держались тоже по-мальчишески — нарочито небрежно и дерзко.

— В Пэплуике тоска зеленая,— заметила Иветта еще на борту пароходика, пересекавшего Ла-Манш. Все ближе надвигались тоскливо-серые скалы Дувра.— Оттого, что там совсем нет мужчин. Завел бы себе папа парочку симпатичных приятелей, что ли! Ведь дядю Фреда и минуты не вынести!

— Кто знает, что нас ждет,— ответила более рассудительная Люсиль.

— А то ты не знаешь! — фыркнула Иветта.— По воскресеньям — церковный хор. Терпеть не могу смешанные хоры, мужчины поют восхитительно, а женщины только все портят. Еще будем читать псалмы да толковать Библию в воскресной школе. Еще вступим в клуб «Девушки-квакеры», будем ходить в гости, и всякие «божьи одуванчики» замучают расспросами о бабушке. И ни одного настоящего мужчины на всю округу!

— Ну уж не знаю, что тебе нужно! А о братьях Фрамли забыла? Да и Джерри по тебе сохнет!

— Терпеть не могу мужчин, которые по мне сохнут! — Иветта капризно дернула носиком.— С ними от тоски помрешь! Привяжутся — не отстанут!

— Что ж тебе тогда нужно? По ней сохнут — ей не нравится. По-моему, лучше ничего не придумать! Пускай себе ухаживают, им же приятно, а ты знаешь, что все равно замуж за них не идти!

— А я хочу замуж! — воскликнула Иветта.

— Тогда тем более. Пусть ходят за тобой, пока не выберешь более или менее подходящего жениха.

— Я так ни за что не смогу. От всех этих воздыхателей меня просто мутит! Тоска смертная! Ужас, да и только!

— И мне тошно, когда они чересчур навязываются. Но если им не потакать, то они вполне сносны.

— Вот бы влюбиться без памяти!

— Как раз в твоем духе! Но это не для меня! По-моему, влюбляться — ужасно! Вот влюбишься, может, согласишься. А пока поживем, осмотримся, а то ведь и сами не знаем, чего хотим.

— Неужто тебе не противно возвращаться в Пэплуик? — ахнула Иветта и снова дернула носиком.

— Да нет, не особенно. Придется, конечно, поскучать. Жаль, у папы нет машины. Видно, без наших допотопных велосипедов не обойтись. Плохо разве прокатиться по холмам до болот в Тэнси?

— Еще бы! Только пока со своим драндулетом по холмам лазаешь — сдохнешь!

Все ближе серые скалы. День хоть и летний, но хмурый. Девушки надели пальто, подняли меховые воротники, до глаз надвинули маленькие изящные шляпки. Высокие, стройные, румяные, простодушный взор самонадеян и по-школярски ершист — безошибочно в них угадывались англичанки. На первый взгляд такие свободные, а приглядеться — рабыни собственной робости и сомнений. На первый взгляд вызывающе независимые, а приглядеться — опутанные условностями, и заперты их девичьи души от всех и вся. Кажется: вот отчаливают от берега и бесстрашно выходят в открытое море жизни две отважные души. Ан нет! Носит от причала к причалу две жалкие посудинки без руля и ветрил.

Войдя в настоятельский особняк, они похолодели от ужаса. До чего ж он безобразен, едва ли не убог! Некогда он отвечал обывательским меркам «семейного очага», но сейчас от него веяло не уютом, а затхлой сыростью. Все в стылом каменном доме почему-то показалось девушкам грязным. Видавшая виды, почерневшая мебель, серые, словно несвежие салфетки и постельное белье. Несвежей, почти тошнотворной казалась даже еда, будь то жаркое с кислой капустой или холодная баранина с картофельным пюре, разносолы или всенепременнейший пудинг, и запах ее и вкус отвращали поживших за границей девушек.

Бабушка любила «побаловаться свининкой», ей также особо готовили бульон с гренками, а на десерт — заварной крем. Постнолицая тетя Цецилия вообще почти ничего не ела. На столе перед ней всякий раз стояла тарелка с одинокой вареной картофелиной. Мяса она не ела совсем. Так и сидела за обедом — угрюмая, задумчивая, а бабушка проворно уписывала одно блюдо за другим, то и дело роняя или проливая что-нибудь на выпирающий живот. Еда в доме отбивала всякий аппетит. Да и могло ли быть иначе: тетя Цецилия ненавидела как еду, так и застолье, больше трех месяцев со служанками не уживалась. Каждая трапеза обращалась для девушек в пытку. Люсиль переносила все стойко, а у Иветты от отвращения подергивался капризный носик. Один лишь седовласый настоятель невозмутимо вытирал салфеткой длинные, тоже седеющие усы и отпускал шутки. Он погрузнел, стал тяжел на подъем, вместо того чтобы пойти погулять, размяться, день-деньской просиживал в каби-

нете. Однако за столом, под крылышком Матушки, оживал и беспрестанно шутил, колко и ядовито.

Окрестности — крутобокие холмы и узкие лощины — были мрачны и унылы, но таилась в них какая-то могучая стать. А в двадцати милях к северу уже начинались заводы. Впрочем, деревушку Пэплуик можно было считать уединенной, даже затерянной. Жили там люди суровые и неколебимые, точно холмы окрест. И была в их каменно-прочном укладе некая высокая и строгая прелесть.

Девушки еще помнили этот уклад, и теперь приходилось к нему возвращаться: петь в церковном хоре, помогать в приходских делах. Но воскресной школе Иветта воспротивилась, равно как и клубу «девушек на выданье», и квакерскому клубу — то есть всему, чем ведали убежденные старые девы да закосневшие старики маразматики. Она и в церкви старалась бывать пореже, и из дома убегала при первой возможности Чаще всего она находила пристанище в большой, веселой и безалаберной семье Фрамли — жили они на Мызе. А то пригласит кто к обеду или позовет кто из женщин с бедной улицы — Иветта не отказывалась. Так занятно потолковать с их братьями или мужьями. И в простонародье случаются грубо-красивые лица. Хотя, конечно, жизнь у них совсем-совсем иная.

Так проходил месяц за месяцем Джерри Сомеркот по-прежнему души не чаял в Иветте. Ухаживали за ней и другие: сыновья фермеров да мельников. Вроде бы развеселые времена настали для нее — что ни день, то танцы или вечеринка, приятели на машинах возили ее в город, там в самой большой гостинице устраивались балы, недавно открыли и роскошный танцевальный зал

Но всегда и повсюду словно колдовские чары мешали Иветте веселиться всласть. Глубоко в душе накипала нестерпимая злоба, ничем не оправданная и несправедливая. Иветта сама себе не рада бывала в такие минуты, и от этого становилось еще горше.. Так и не поняла она. откуда бралась эта злоба.

Дома она давала себе волю и позволяла неслыханные дерзости с тетей Цецилией; несносный характер Иветты стал в доме притчей во языцех.

Более рассудительная Люсиль устроилась в городе на работу секретаршей — она умела стенографировать и бегло говорила по-французски, что и требовалось ее хозяину Каждое утро она ехала в город тем же поездом, что и дядя Фред, и каждый вечер возвращалась домой. До станции всегда добирались порознь: и в вёдро, и в непогодь Люсиль — на велосипеде, дядя Фред — пешком.

Обе девушки не сомневались, что без веселых компаний они зачахнут, и потому люто ненавидели свой дом — разве у них друзей примешь? На первом этаже всего три комнаты — мрачная столовая; кабинет настоятеля; большая, неприглядная (однако считавшаяся уютной) общая комната, она же гостиная, да кухня, где, к своему неудовольствию. ютились две служанки. В столовой топили газом, а настоящий камин разжигали лишь в гостиной. Да и то потому, что там любила восседать Матушка.

В гостиной собиралась вся семья. Вечером после ужина настоятель и дядя Фред неизменно развлекали бабушку кроссвордами.

— Ну. как Матушка, вы готовы? Первая буква «н», шестая — «у».

— Как-как? Первая «м», шестая «у»?— Бабушка была туговата на ухо.

— Да нет. Матушка. Не «м», а «н»! А шестая «у». Таиландский чиновник.

— Поняла. Первая «н», шестая «у», голландский чиновник.

— Таиландский! Таи-ланд!

— Как-как?

— Таиландский!

— Ах, таиландский! Как же у них зовутся чиновники? — глубокомысленно вопрошала старуха, сложив руки на круглом животе. Сыновья предлагали свои догадки, на что Матушка неизменно откликалась: «Как-как?» Настоятель поразительно ловко решал кроссворды, а дядя Фред знал много научных слов.

— Да, крепкий орешек попался!— заключила старуха, когда сыновья зашли в тупик.

Люсиль тем временем сидела в уголке и, закрыв руками уши, делала вид, что поглощена чтением. Иветта с ожесточением рисовала и нарочито громко напевала, дополняя говорливое семейное трио. Тетя Цецилия беспрестанно жевала шоколадные конфеты. Если бы не шоколад, тетя давно бы отдала богу душу. Сидела она поодаль: сунув в рот очередную конфету, вновь принялась читать приходский журнал. Но вот подняла голову — пора нести бабушкино лекарство.

Едва она скрылась за дверью, Иветта резко встала и сердито распахнула окно. Никогда комнату не проветривают, все пропахло бабушкиными каплями, всюду ее запах. А у старухи, обычно тугой на ухо, в самый неподходящий момент вдруг прорезался острый слух.

— Ты, Иветта, никак окно открыла? Не забывай, что в комнате есть люди и постарше тебя.

— Так душно же! А потом — на холод! Оттого и чихаем да кашляем, что в духоте сидим!

— Комната просторная, воздуха достаточно, и камин хорошо греет.— Тем не менее старуха зябко поежилась.— А при таком сквозняке мы все на тот свет отправимся.

— Какой сквозняк! — еще пуще закричала Иветта.— Глоток свежего воздуха!

Старуха снова поежилась:

— Ничего себе глоток!

Не говоря ни слова, настоятель решительно подошел к окну и захлопнул его. На дочь даже и не взглянул. Обычно он ей не перечил, но, в конце концов, и она должна знать меру.

Дьявольски замысловатые кроссворды решали, пока бабушка не принимала капли и не отправлялась спать. Члены семьи желали друг другу покойной ночи. Церемония эта проходила так: все вставали, девушки нагибались к полуслепой старухе, и та их целовала; настоятель подавал ей руку, и все выходили. Замыкала шествие тетя Цецилия со свечой в руке.

Ложилась спать бабушка в девять часов, хотя в ее возрасте можно было бы и раньше. Но заснуть ей никак не удавалось. Приходила тетя Цецилия.

— Понимаешь,— сказала ей как-то старуха,— я не привыкла спать одна. Пятьдесят четыре года я спала бок о бок с батюшкой, и каждую ночь мне было покойно — я чувствовала его рядом. Не стало его, и я старалась приучиться спать одна. Но только закрою глаза, сердце как заколотится, как затрепещет — вот-вот выпрыгнет. Ты, конечно, вольна думать все что угодно, но поверь, спать одной после пятидесяти четырех лет идеальной супружеской жизни страшно! Я не просила господа, чтобы он призвал меня раньше, каково б тогда батюшке было остаться одному, он бы не вынес!

И тетя Цецилия стала спать вместе с бабушкой. До чего ж ей было мерзко! По ее словам, ночами она вообще не смыкала глаз. Прибавилось седины у нее в волосах, поубавилось внимания к кухне — готовить стали еще хуже, пошатнулось здоровье — тете пришлось сделать операцию.

Одной Матушке все нипочем: вставала она к полудню, спускалась к позднему завтраку, воцарялась за столом, вывалив большой живот. В красном обрюзгшем лице угадывалась некая пугающая величавость — крутой лоб, пронзительные, хотя и невидящие голубые глаза, вислые щеки. Скудные седины едва прикрывали до неприличия голый череп. Это не мешало настоятелю отпускать шутки в бабушкин адрес. Та делала вид, что сердится, хотя ничто не в силах было поколебать ее самодовольство: после завтрака она, нимало не смущаясь, громко рыгала, поглаживая рукой по необъятной своей груди.

Больше всего старуха досаждала девушкам, когда их навещали знакомые. Словно жуткое языческое божество, облеченное в дряхлую плоть, восседала она на своем троне, посягая на всеобщее внимание. Поболтать с друзьями девушки могли только в гостиной, где кроме Матушки всегда находился злой и ехидный ее страж — тетя Цецилия. Поначалу каждого гостя следовало представить старухе: она изображала радушную хозяйку. Ах, как она любит общество! Каждого спросит, как зовут, из каких мест, чем занимается. И только дотошно выпытав все подробности, заводила беседу.

Девушек безмерно злило, когда гости восхищались бабушкой:

— Да она просто чудо! Ей почти девяносто, а как живо она всем интересуется.

— Особенно чужой личной жизнью,— не упускала случая съязвить Иветта.

И сразу же ей делалось стыдно. Ведь и впрямь чудо — дожить почти до девяноста лет и сохранить ясную голову И потом: бабушка никому не причиняет зла. Просто она стала для всех обузой. Разве не подло ненавидеть ее только за то, что она старая и всем мешает?!

Иветта сразу делалась смирной и послушной. Бабушка с упоением вспоминала

свои девичьи годы, прошедшие в маленьком провинциальном городке. Говорила она без умолку, ах, как всем было интересно!

И впрямь, чудо-старушка!

В тот вечер пришли Лотти, Элла и Боб Фрамли, а с ними Лео О'Скопилли.

— Добро пожаловать!

И все четверо один за другим проследовали в гостиную. Там у камина уже сидела бабушка в белом чепце.

— Бабушка, познакомьтесь, это — господин О'Скопилли.

— Как-как? Простите, я немного глуховата.

Старуха протянула смущенному молодому человеку руку и вперилась в него невидящими глазами.

— Сдается мне, вы не из нашего прихода,— заметила она.

— Нет, я из Диннингтона,— прокричал Лео.

— Завтра мы собираемся на прогулку к мысу Бонсалл. У Лео машина. Как-нибудь все втиснемся,— вполголоса сказала Элла.

— К мысу Бонсалл? — встрепенулась бабушка.

— Да!

Все примолкли.

— Вы, кажется, упомянули, что едете на машине?

— Да, у господина Меринсона своя машина.

— Надеюсь, он опытный водитель. Дорога очень опасна.

— Он очень опытный водитель.

— Не очень опытный, говорите?

— Очень, очень опытный!

— Раз вы едете на мыс Бонсалл, я, пожалуй, пошлю с вами письмо для леди Чванинг.

В разговоре при гостях бабушка всякий раз упоминала эту злополучную леди Чванинг.

— Мы поедем другой дорогой! — не выдержав, крикнула Иветта.

— Какой же? Вам нужно ехать через Хинор.

Молодые люди сидели словно чучела, как потом сказал Боб — уставились на старуху и лишь смущенно ерзали.

Вошла тетя Цецилия, следом — служанка с чаем и сладостями: непременным и нескончаемым (купленным давным-давно) бисквитом и блюдом со свежими пирожными. Никак тетя специально посылала за ними к булочнику.

— Матушка, чай подали!

Вцепившись в ручки кресла, старуха грузно поднялась. Все почтительно встали, ожидая, пока бабушка, опершись на руку тети Цецилии, прошествует к своему месту за столом.

В разгар чаепития из города с работы вернулась Люсиль. Измученная, с черными кругами под глазами. Увидев гостей, она даже вскрикнула от радости.

Когда оживление за столом угасло, вновь наступила неловкая пауза. Бабушка спросила:

— Мне кажется, Люсиль, прежде я не слышала от тебя о господине О'Скопилли?

— Не помню,— бросила та.

— Право же, ты мне о нем не говорила. Фамилию эту я слышу впервые.

Тем временем Иветта беспечною рукой взяла с почти опустевшего блюда второе пирожное. Тетю Цецилию это взбесило: какая бестактность, какое неуважение к гостям! И зеленым пламенем заполыхала в душе злоба. Тетя взяла со своей тарелочки пирожное, которым собиралась было полакомиться сама, и с ядовито-приторной вежливостью протянула его Иветте:

— Не съешь ли заодно и мое?

— Спасибо! — рассеянно бросила раздосадованная девушка и все с тем же напускным безразличием надкусила тетино пирожное. Но тут же, будто спохватившись, добавила:

— А вам и вправду не хочется?

Теперь у нее на тарелочке красовались два пирожных. Люсиль побледнела как смерть и склонилась над чашкой. Тетя же позеленела от злобы, но внешне являла

полное смирение. И в разгар этого предгрозового затишья грузно восседавшая на своем троне бабушка, не чуя общего настроения, изрекла:

— Коли завтра ты, Люсиль, едешь на машине к мысу Бонсалл, захвати от меня письмецо к леди Чванинг.

Люсиль лишь вздохнула и искоса укоризненно взглянула на слепую старуху. Леди Чванинг — глава семейства, жившего на мысе короля Карла,— всякий раз упоминалась бабушкой; очевидно, это должно льстить гостям.

— Хорошо, непременно передам.

— На прошлой неделе она мне так услужила — прислала со своим шофером сборник кроссвордов.

— Но ведь вы ее уже поблагодарили! — воскликнула Иветта.

— Я бы хотела послать ей записку.

— Так можно почтой! — не выдержала и Люсиль.

— Нет, нет, я хочу передать ее с тобой. В прошлый раз леди Чванинг навещала меня и...

Словно стая глупых мальков, пораскрывали рты молодые гости, а бабушка все говорила и говорила о леди Чванинг. Тетя Цецилия сидела молча. Девушки знали наверное: ее сводит с ума, лишает чувств и сил недавняя стычка. А может, бедняжка молилась.

К великому облегчению девушек, гости скоро ушли. Как намучились сестры за этот вечер. Тогда-то и приметила Иветта в старухе, на первый взгляд казавшейся воплощением материнства, жесткую и неуемную волю к власти. Бабушка глубоко вдавилась большим своим телом в кресло; красное, одутловатое лицо, испещренное старческими крапинами, неподвижно; кажется, бабушка дремлет, но запечатлелось на бесстрастном, словно маска, лице что-то непоколебимое и беспощадное. Даже в покое проявлялась ее чудовищная деспотичность. Откроет бабушка глаза, пожует губами и начнет выспрашивать все до мелочей о Лео О'Скопилли. Пока же она в полузабытьи, в старушечьих грезах. Но вот она заговорит, пробудится ее мысль, ненасытное любопытство к чужой жизни, и посыплются нескончаемые вопросы. Иветте вспомнилась старая жаба: та сидела на летке улья, и как только появлялась пчела, жаба с непостижимой быстротой заглатывала ее. Иветта как зачарованная смотрела на жабу. Неужто весь пчелиный рой окажется в этом кожистом чреве, похожем на тугой кошелек? И так из года в год пожирала гадина одно поколение пчел за другим, и не суждено им было расправить крылышки и познать прелесть весны. Иветта позвала садовника, тот прибежал, разъярился и убил жабу камнем.

— Ишь тварь поганая, полакомиться захотелось? Этак ты нас и вовсе без пчел оставишь!

3

Следующий день выдался серый и унылый, дороги развезло — недели две лил беспросветный дождь,— однако молодежь все-таки отправилась на мыс Бонсалл. Бабушкину записку они, конечно же, не взяли. Пока старуха взбиралась по лестнице после завтрака, внучки с друзьями незаметно выскользнули на улицу. Ни за что на свете не поедут они к этой леди Чванинг! Не ведала, не гадала безобидная вдова мелкого дворянина-врача, что станет ненавистной для молодежи.

Шестеро юных мятежников весело катили по дороге, из-под колес во все стороны летела грязь. Читалась, однако, на молодых лицах и какая-то озабоченность. В конце концов, какие они мятежники! Родители отпустили их на волю, предоставили самим себе, и нет никаких преград, запретов, запоров. Ключи от их судеб в их собственных руках. Но что с ними делать — вот забота!

Ломать тюремные решетки куда легче, чем открывать двери в неведомое — вот к какому огорчительному выводу пришли молодые люди. Взять хотя бы бабушку. Не прикажешь ведь несчастной старухе: «Ложись и помирай!» Безусловно, она всем в тягость, но она не чинит зла. Поэтому и ненавидеть ее просто подло.

Итак, молодые люди отправились на пикник, и настроение старались поддерживать самое развеселое. Вольны делать все, что придет в голову! Но в голову, конечно, ничего не приходило. Они сидели в машине и перемывали косточки соседям, да еще парни пытались неуклюже заигрывать с девушками. Удавиться от такого веселья! Вот бы им что запретили, а они возьми да ослушайся. Так нет же, отказались везти записку — и все ослушание. Да и то, настоятель их в душе, наверное, и корить бы не стал. Не очень-то привечал он семейство леди Чванинг.

Проезжая угрюмыми деревушками, они нестройно, перескакивая с одной на другую, запевали новомодные и, как казалось, веселые песенки. В предвечерней тени придорожных дубов и на опушках попадались лани, косули — их словно тянуло к людям.

Иветта упросила остановиться — ей захотелось поговорить со зверями. Девушки в высоких сапогах повыскакивали на мокрую траву. Лани следили за ними, но смотрели без страха. Вот неспешно отошел самец, голова его запрокинулась под тяжестью рогов. А самка, чутко прядая ушами, легко поднялась с травы и увела за собой детенышей, лишь когда девушки подошли едва не вплотную.

— Какие они грациозные и красивые! — воскликнула Иветта.— Трава мокрая, а они лежат себе — хоть бы что!

— Надо ж и им иногда прилечь! — рассудила Люсиль.— И под деревом не так уж и сыро!— Она оглядела примятую траву.

Иветта подошла, пощупала землю.

— Пожалуй. Даже тепло,— неуверенно согласилась она.

Лани вновь собрались вместе чуть поодаль и застыли в предзакатной тени. Луговина и лес спускались к быстрой речушке, а за перильчатым мостиком раскинулась обширная дворянская усадьба. Над иными трубами курился голубой дымок. А за усадьбой темной, с пурпуром, стеной вздымался лес.

Девушки молча стояли и смотрели, взявшись за руки, подняв меховые воротники. Высокие сапоги с широкими голенищами надежно защищали от сырости.

Внизу на серых стенах приземистой усадьбы играли розоватые блики. Лани маленькими кучками стояли совсем рядом, под кронами вековых деревьев. Так кругом было покойно, так безыскусно, так печально.

— Где-то сейчас хозяин-герцог? — нарушила молчание Элла.

— Да, уж конечно, не здесь,— ответила Люсиль,— где-нибудь на юге, за границей.

С дороги позвал автомобильный гудок и донесся голос Лео:

— Поторапливайтесь, ребята! Нам еще на мыс надо, а потом в Амбердейл, к чаю успеть.

Снова залезли они в тесную машину, ноги у них во время прогулки застыли. Промелькнул лес, шпиль тихой церквушки. Миновали широкие ворота, за ними — мост. Дальше начинались каменные дома большой деревни, стояла она у самой реки. Трудно и долго ехали по раскисшей дороге. За крутыми скалами не видать солнца. Слева бежит говорливая река, справа — либо утес, либо лесистый холм.

Кроны деревьев склонялись над самой дорогой, она пошла в гору, и Лео переключил скорость. Медленно поползла машина вверх по белесой грязи. Наверху прилепились каменные домики деревушки Глиняный Холм, там на перекрестке с давних времен сохранилось распятие, стоявшее на приступке. От домов доносился аромат свежих булочек. Все дальше, все выше забиралась машина, с крутых, осыпающихся склонов ей кланялись поникшие от дождей деревья и папоротник. Но вот раздвинулись крутые холмы, нет больше деревьев, лишь чахлые былинки на невысоких, сложенных из тесаного камня межах-оградах. Они подъезжали к мысу Бонсалл.

Некоторое время молчали. По обочине дорога поросла травой, дальше бежала низкая каменная ограда, а по самой хребтовине холма вилась, поднимаясь к вершине, тоже сложенная из камня стена. Она словно подпирала низко нависшее небо.

Машина вырвалась на голую вершину, под самый купол серого неба.

— Ну что, остановимся на минутку? — крикнул Лео.

— Конечно! — разом воскликнули девушки.

Снова вылезли из машины, осмотрелись. Места эти они прекрасно знали. Но уж так повелось: приехал на мыс — непременно погляди окрест.

Холмы внизу — точно костяшки сжатых в кулак пальцев. Долины — как впадинки меж ними, тесные и мрачные, больше похожие на ущелья. Вот из скалистых глубин, словно из преисподней, клубами повалил дым — то медленно шел на север поезд. До вершин долетал дробный стук колес, множимый раскатистым эхом. А вот глухой знакомый удар — взрывают в карьере.

Непоседа Лео уже торопил в обратный путь:

— Ну что, поехали? А то к чаю в Амбердейл не успеем. Или, может, где ближе перекусим?

Но все предпочли Амбердейл.

— Какой дорогой вернемся? Верхней, через перевал, или нижней?

Всякий раз перед ними этот выбор. Наконец, решили, что поедут через перевал.

И машина отважно двинулась вперед. Они взобрались на самую хребтовину, выше — одно лишь небо. А внизу мелькали «костяшки» и «впадинки» холмов и долин. Внизу — весь мир. А здесь только голые вершины да сочно-зеленая трава по склонам. Как вены на руке, ветвились старые каменные ограды-межи, местами они уже порушились, кое-где видны следы былых свинцовых разработок и рудников. Вон каменный фермерский дом на отшибе, ощетинившийся редкими куцыми деревьями. Вдалеке серые каменные квадратики домов почти сливались — там деревня. На полях паслись унылые отары черных овец, все тихо и недвижно. Крыша Англии! И как всякая крыша — холодная, безжизненная. А под крышей этой теснятся графства.

— «И многоцветье пестрых графств окинуть взором!» — пробормотала Иветта. Особого многоцветья что-то не видно. Невесть откуда вылетела стая грачей. Поди, промышляли на пашне, там много навоза. Машина ехала вдоль сложенного из камней парапета, с другой стороны простирались луга. Компания примолкла: каменные межи внизу составляли затейливый узор, тропинки белыми полосками прочертили склоны, что вели в сокрытые сейчас от глаза долины.

Впереди ехала легкая повозка. Правил мужчина, а по обочине шагала крепкая старуха с узлом за спиной. Вот они поравнялись и сразу заняли всю узкую дорогу — не разъехаться. Лео резко нажал на гудок. Возница обернулся, старуха лишь прибавила шагу.

У Иветты екнуло сердце. Цыган. Черноволосый, красивый, движения небрежно-ленивы. Наземь он не соскочил, лишь смерил компанию взглядом из-под козырька кепки. И обернулся-то словно нехотя, и смерил их взглядом в упор, не стесняясь, но равнодушно. У него был тонкий прямой нос, густые черные усы, на шее — яркий красно-желтый шелковый платок. Вот цыган что-то коротко сказал старухе. Она остановилась, потом повернулась к сидящим в машине — они подъехали едва не вплотную. Лео еще раз настойчиво просигналил. Замелькал пестрый платок — старуха припустила за повозкой. Цыган повернулся к ним спиной и, небрежно поведя плечом, поднял вожжи, дорогу, однако, не уступил. Машина едва не врезалась в задок повозки. На вопли гудка и скрежет тормозов цыган обернулся, рассмеялся и что-то крикнул — на смуглом лице сверкнули белые зубы. Потом небрежно махнул смуглой рукой.

— Дайте проехать! — прокричал Лео.

В ответ цыган мягко осадил лошадь, повозка стала, наконец перегородив дорогу. Сама лошадь была хорошо ухожена, под стать и темно-зеленая повозка, ладная и опрятная.

Разъяренному Лео пришлось еще раз затормозить.

— Не желают ли красавицы барышни, чтобы им погадали? — улыбаясь, спросил цыган. Но в черных глазах улыбки не было, пристальным взглядом обошел он всех, задержавшись на юном, нежном лице Иветты. На миг она поймала этот бесстрастный, до неприличия прямой взгляд, почувствовала, до чего безразличны цыгану люди вроде Боба и Лео, и в груди вдруг занялось жаркое пламя. Подумалось: он сильнее меня! Только что́ ему до этого.

— Погадайте! Непременно погадайте! — тут же крикнула Люсиль.

— Погадайте! Погадайте! — подхватили и остальные девушки.

— А про время забыли? — напомнил Лео

— К черту это дурацкое время! Надо воспользоваться случаем! — горячо возразила Люсиль.

— Ну, если вам все равно, когда возвращаться, мне — тем более,— великодушно уступил Лео.

А цыган все сидел, развалясь на повозке и разглядывая молодые лица. Потом мягко́ спрыгнул наземь, размялся. Было ему слегка за тридцать, одет по-своему щеголевато: короткая двубортная охотничья куртка грубой шерсти, темно-зеленая с черным, облегающие темные брюки, черные сапоги и темно-зеленая кепка, большой желто-красный шейный платок. Был в одежде его некий изыск и особый, цыганский шик. Удался мужчина и лицом. На стародавний цыганский манер он чуть чванливо подбирал подбородок. На юных путников он больше не обращал внимания — взяв чалую под уздцы, повел ее вместе с повозкой на обочину. Только сейчас приметили девушки в глубоком овраге близ дороги два цыганских фургона, снятых с колес, дымок костра. Иветта проворно выскочила из машины. Овраг этот получился из заброшенного

карьера на скалистом склоне ниже дороги, и туда, как в нору, забрались на зимовку цыгане. Всего у них оказалось три фургона. Позади они соорудили навес из ветвей — стойло для лошадей. Он прилепился к крутому утесу, выходившему пологой частью к дороге. На дне карьера там и сям высились груды щебня, кое-где уже пробилась трава. Укромнее и удобнее для зимовки места не найти.

Старуха с узлом открыла дверь одного из фургонов и вошла. Тотчас высунулись две черноволосые детские головки. Цыган что-то коротко крикнул и стал заводить повозку в карьер. Вышел старик — видно, распрягать лошадь. Молодой цыган подошел к самому новому фургону, взошел на приступку и скрылся за дверью. Подле на привязи сидела охотничья пятнистая — белая с коричневым — собака. Она поднялась навстречу Лео и Бобу и грозно зарычала. И сразу же на крыльцо выпорхнула, вильнув оборками широчайшей зеленой юбки, смуглолицая цыганка: голова повязана розовой шалью, в ушах — крупные золотые серьги. Смуглое продолговатое лицо ее привлекало вызывающей, но несколько угрюмой, хищной красотой. Так вызывающе красивы бывают испанские цыгане-кочевники.

— Добрый день вам, дамы и господа! — проговорила она, беззастенчиво, словно добычу, разглядывая девушек.

Те поздоровались.

— Кто из юных красавиц первой хочет узнать судьбу? С чьей ручки мне начать?

Цыганка была высока, а порой она еще вытягивала шею и пугающе подавалась вперед. Взгляд ее, быстрый, холодный и пронизывающий, перебегал с одного лица на другое. Появился и цыган — очевидно ее муж — с черноволосым малышом на руках. Постоял на крыльце, поигрывая крепкими мускулистыми ногами, попыхтел трубкой. На приезжих он смотрел равнодушно, словно они были далеко-далеко, и в больших, с длинными черными ресницами глазах читалась дерзкая надменность. У Иветты задрожали колени: несомненно, он видит ее насквозь. И она нарочно стала пристально разглядывать пятнистую собаку.

— Сколько возьмете со всех за гадание? — спросила Лотти Фрамли. Ее юные розовощекие спутники-христиане недоверчиво взирали на язычницу-цыганку, ведь такие считаются изгоями.

— Со всех? И с барышень, и с молодых людей? — задумалась, прикидывая, цыганка.

— Мне гадать не надо! А вы — как знаете! — провозгласил Лео.

— И мне не надо,— подхватил Боб.— Только четырем девушкам.

— Четырем барышням? — переспросила цыганка. Оглядев Боба и Лео, перевела испытующий взгляд на «барышень».— Пусть каждая даст мне шиллинг,— определила она,— и еще немного на счастье. Совсем чуть-чуть!— Она попыталась льстиво улыбнуться, но улыбка больше походила на хищный оскал.

— Ладно! — бросил Лео.— С каждой по шиллингу. Только побыстрее.

— Это еще почему? — накинулась на него Люсиль.— Мы все хотим узнать.

Цыганка вынесла из фургона две табуретки, поставила сбоку, взяла за руки высокую смуглую Лотти Фрамли, усадила.

— Не боишься, если другие услышат? — спросила она, вкрадчиво заглянув ей в лицо.

Лотти смущенно зарделась, а цыганка уже держала ее ладонь в своей, поглаживая грубыми, безжалостными на первый взгляд пальцами.

— Не боюсь,—пролепетала девушка.

Цыганка, вглядываясь в линии на ее ладони, водила по ним жестким грязным указательным пальцем. Сама же она была опрятна. Гадала она неторопливо, стоящие рядом то и дело прерывали ее возгласами:

— Ой, да это Джим Багли!.. А этому я не верю!.. И такого тоже не было!.. А кто ж эта добрая женщина, что живет под деревом?

Наконец, Лео внушительно, как и подобает мужчине, заметил:

— Полно вам, девушки! Вы же сами ей все подсказываете!

Пунцовая от смущения Лотти встала. Теперь черед Эллы. Она куда спокойнее и рассудочнее, во всяком слове гадалки ищет смысл. Неуемная Люсиль то и дело восклицала: «Ну и ну! Вот это да!»

Цыган изваянием застыл на крылечке, лицо у него было совершенно бесстрастно. Но Иветта постоянно чувствовала на себе дерзкий взгляд, вот задержался на щеке, сейчас — на шее. Сама же поднять глаза не смела. На красавца цыгана изредка по-

сматривал Фрамли, но встречал лишь спокойный взгляд, взгляд мужчины. Взгляд горделивый и надменный. Особый взгляд: так смотрят изгои, те, чье достоинство попирается. Во взгляде этом насмешка и вызов вольного бродяги всем покорным рабам закона. Цыган так и стоял с ребенком на руках и, нимало не смущаясь, наблюдал за гаданием.

Теперь перед гадалкой сидела Люсиль.

— Ты была далеко за морем. И встретился тебе там мужчина — бубновый король. Да только стар он слишком...

— Вот это да! — ахнула Люсиль, оглянувшись на сестру

Но Иветта, словно зачарованная, ничего не видела и не слышала вокруг: каждый нерв ее трепетал — такое иногда находило на нее.

— Через несколько лет ты выйдешь замуж, не сейчас, годика четыре подождать придется. Разбогатеть не разбогатеешь, но жить будешь в достатке. И ждет тебя дальняя дорога.

— Одну или с мужем?

— С мужем.

Подошел черед Иветты. Гадалка долго в упор смотрела ей в лицо. Иветте стало не по себе.

— Я передумала. Не хочется мне знать свою судьбу. Честное слово, не хочется.

— Боишься?— безжалостно спросила цыганка.

— Вовсе нет...— Иветта замялась.

— У тебя есть тайна? И ты боишься, что я всем про нее расскажу? Пойдем, красавица, со мной в фургон, там никто не услышит.

Цыганка вкрадчиво уговаривала, Иветта же, по обыкновению, упрямилась. На пухлом, почти детском лице ее появилась печать своеволия и непреклонности. И вдруг она согласилась:

— Хорошо! Почему бы, в конце концов, и не пойти?

— Ишь какая! Так нечестно! — загомонили остальные.

— Я бы на твоем месте не пошла,— воскликнула Люсиль.

— А я вот пойду! — упрямо бросила Иветта. Перечить другим у нее в характере.— Пусть погадает мне в фургоне.

Цыганка что-то крикнула мужу. Тот на мгновение скрылся за дверью, потом появился снова, спустился с крыльца, поставил малыша на еще нетвердые ножки. Вид у цыгана был щегольской — до блеска начищенные сапоги, облегающие черные брюки, плотная темно-зеленая фуфайка. Держа малыша за руку, он пошел к столу под навесом, обходя ямы, откуда некогда брали камень. Меж щебенкой пробивался чахлый папоротник. Старуха задавала лошади овес. Проходя мимо Иветты, цыган взглянул на нее все так же дерзко и вместе с тем уклончиво. И сжавшаяся в комок душа ее приняла этот вызов, зато плоть растаяла от цыганского взгляда. В душе запечатлелись безупречные черты: прямой нос, скулы, виски. Фуфайка облегала его безупречное тело, сама безупречность эта — точно насмешливый ей укор.

Двигался он лениво-неспешно, но легко. И снова пронзила ее мысль: он сильнее! Из всех мужчин, которых она встречала доселе, лишь этот сильнее. Сильнее по ее меркам, по ее разумению.

Любопытно, что-то нагадает ей цыганка. Иветта поднялась вслед за нею по ступенькам. При каждом шаге полы ее сшитого по фигуре светло-коричневого пальто распахивались, мелькало короткое холщовое салатное платье и ноги, открытые чуть ли не до колен. Длинные, красивые, скорее худощавые, нежели полные. Словно ноги изящной газели или лани, схожие даже по цвету — на Иветте были бежевые чулки тонкой шерсти. У самого порога она обернулась и с простодушной и, как ей казалось, величавой небрежностью бросила друзьям:

— Долго копаться я ей не позволю!

Меховой воротник пальто открылся — в вырезе салатного платья показалась нежная шея. Плетеная коричневая шляпка сползла на затылок, очертив нежное девичье лицо круглой рамкой полей. Нежность в ее облике удивительно сочеталась с властностью и бесстыдством. Она чуяла, что цыган обернулся и смотрит ей вслед, почти воочию видела изгиб его безупречной шеи, аккуратно расчесанные волосы. Он не спускал с нее глаз, пока она не вошла в фургон.

Никто так и не узнал, что нагадала ей цыганка. Друзья заждались Иветту. Собирались сумерки, становилось холодно. Из трубы одного фургона потянулся ды-

мок, вкусно запахло едой. Чалую тоже покормили, накрыли желтой попоной. В отдалении переговаривались двое цыган. В старом, заброшенном карьере жила особая, таинственная тишина.

Но вот дверь фургона распахнулась, пригнувшись, вышла Иветта. Будто ее околдовали и превратили в цаплю — перебирая длинными тонкими ногами, она спустилась с крыльца. Ступила на сумеречную землю, и ее окутало колдовское молчание.

— Долго я там пробыла? — спросила она рассеянно, ни на кого не глядя. Глубоко спрятала она свою тайну под личиной беспечного детского своеволия.— Надеюсь, вы не скучали. Неплохо бы сейчас чая напиться. Ну что, поехали?

— Садитесь! — скомандовал Боб.— Я расплачусь.

Шурша и виляя жесткими широкими юбками, из фургона вышла цыганка. Выпрямилась во весь свой недюжинный рост, на смуглом хищном лице — ликование. Шерстяная шаль в красных розах сползла с черных курчавых волос. Заносчиво и дерзко взглянула она на молодых людей, едва различимых в сумерках.

Боб сунул ей две монеты по полкроны.

— Прибавь, красавец, на счастье. На счастье своей любимой! — принялась улещивать его цыганка.— Позолоти ручку, чтоб тебе всегда удача была.

— Шиллинг дал на счастье — хватит с тебя! — спокойно осадил ее Боб, и вся компания пошла к машине.

— Одну монетку! Всего одну, чтоб удачлив в любви был!

Уже у самой машины Иветта неожиданно повернулась, шагнула навстречу цыганке, протянула руку, сунула ей что-то в ладонь и, пригнувшись, забралась в машину.

— Да будет жизнь твоя счастливой, красавица, и да будет с тобой цыганкино благословение! — В словах гадалки слышался полунамек, полунасмешка.

Мотор рявкнул раз-другой, и машина тронулась. Лео включил фары, и вмиг растворился во тьме и карьер, и цыганский табор

— Покойной ночи! — перекрывая шум мотора, крикнула Иветта. Но ее никто не поддержал, и гонкий голосок прозвучал неуместно весело и беспечно. Яркие фары высветили узкую каменистую дорогу.

— Ну-ка не скрывай, расскажи, что тебе нагадала цыганка! — крикнула Люсиль, не поняв молчаливой сестриной мольбы — не спрашивай!

— Да так, ничего особенного,— нарочито добродушно отозвалась она,— обычные их штучки. Брюнет принесет счастье, блондин — горе: смерть в семье — очевидно бабушкина,— но для меня это не такой уж страшный удар. Выйду замуж в двадцать три, буду купаться в деньгах и мужниной любви, растить двоих детей. Все как по писаному — лучше и не придумаешь.

— А зачем ты дала ей еще денег?

— Так просто, захотелось. С такими людьми нужно быть хоть чуточку великодушными.

4

Какой скандал разыгрался в настоятельском доме из-за денег, скопленных Иветтой на Витраж! После войны тетя Цецилия вознамерилась увековечить память павших прихожан витражом в церковном окне. Но почти все павшие оказались иноверцами, поэтому им соорудили лишь убогий маленький обелиск перед сектантской молельней.

Однако тетя Цецилия не опустила руки, она собирала пожертвования, устраивала благотворительные базары, спектакли, в которых заставляла играть племянниц,— и все ради дорогого ее сердцу Витража. Иветте нравилось быть на сцене, нравилось внимание публики, поэтому она сыграла водевиль «Мэри в зеркале», собрала выручку, вычла расходы на костюмы и декорации, а остальное — на Витраж. Они с Люсиль даже завели специальные копилки.

Прикинув, что денег уже достаточно, тетя Цецилия вдруг решила проверить копилку Иветты. И обнаружила там лишь пятнадцать шиллингов. Тетя прямо позеленела от злобы и ужаса.

— Где остальные деньги?

— Да я взяла их на время,— беспечно бросила Иветта,— там и было-то всего ничего.

— А где же три фунта и тринадцать шиллингов за «Мэри в зеркале»?! — завопила тетушка так, словно разверзлись врата ада.

— Верно — три фунта. Я их взяла. Я верну.

Бедная тетя Цецилия! У нее внутри точно лопнул гнойник, и вся затаенная злоба хлынула на Иветту. От страха и отвращения девушку заколотило.

Даже настоятель был с ней суров.

— Почему же ты не сказала, что тебе нужны деньги? — строго спросил он.— Разве тебе когда отказывали, если речь шла о чем-то важном.

— Я думала, ничего плохого не делаю,— пробормотала Иветта.

— И что же сталось с этими деньгами?

— Истратила.— Лицо у девушки вмиг осунулось, смятением наполнился взгляд широко раскрытых глаз.

— На что?

— Не помню точно, кое-что купила: чулки там, мелочи всякие, часть денег отдала.

Бедная Иветта! Вот когда начала она расплачиваться за свои широкие жесты и царственные замашки. Настоятель серчал: нос у него сморщился, зубы оскалились — вот-вот зарычит. Он боялся, как бы в дочери не проявились гнусные пороки «той пресловутой особы».

— Тебе нравится распоряжаться чужими деньгами?— холодно осклабившись, спросил он. И в ухмылке этой запечатлелась вся его маловерная душа. Низкая душа, не согретая изнутри верой в добро, не приученная радоваться жизни. И толики веры в собственную дочь не оказалось в сердце у настоятеля.

Иветта побледнела и враз сделалась далекой, отчужденной. Ее гордость — драгоценная искорка, которую каждый норовил погасить,— вспыхнула, точно от порыва холодного ветра, и стала таять. Лицо побелело как снег — ни дать ни взять белоснежный цветок, взращенный отцовским тщеславием,— помертвело, ничего, кроме отрешенности, в нем не прочитать.

«Он не верит в меня! — стучало сердце.— Я для него ничто! Ничто! Позорное ничтожество! Для него все в жизни — позор и стыд!»

Разъярись отец, отчитай ее, Иветта бы, конечно, обиделась, разозлилась. Но в его глазах она достойна лишь холодной усмешки, он не верил в нее, и унижение ей было горше всего.

Непокаянное, раздумчивое молчание дочери слегка испугало настоятеля. Ведь ему и нужна-то всего лишь видимость дочерней любви, доверия, счастья. А того, что у самого в душе копошится раскормленный червь неверия, он бы ни за что не признал.

— Что скажешь в свое оправдание? — спросил он.

Иветта взглянула на отца все с тем же отсутствующим выражением на мертвенно-бледном лице. Хорошо помнил это выражение настоятель, а вспомнив, боялся его, в душе всякий раз просыпалась вина — ничего уже не поправить. «Та пресловутая особа» смотрела на него с таким же безмолвным, выбелившим лицо страхом — до чего ж унижало мужнино неверие, этот жуткий червяк, суть его души. Как бы кто не заметил — вот что страшило настоятеля. Он ненавидел тех, кто угадывал этого мерзкого червяка и кого эта мерзость отвращала.

Заметил он отвращение и в глазах Иветты. И мгновенно переменился: надел личину простого, незлобивого, но трезво мыслящего человека.

— Ну что ж! Придется тебе, доченька, вернуть эту сумму. Я выдам тебе карманные деньги на несколько месяцев вперед, и ты расплатишься. А я за это буду брать с тебя четыре процента, как настоящий ростовщик. Даже сам дьявол платит проценты по своим долгам. А впредь к чужим деньгам не прикасайся. Непорядочность отнюдь не красит.

Иветту словно растоптали, обесчестили и облили грязью. И ползает она по этой грязи за гаснущей искоркой собственного достоинства. Она ненавидела самое себя. Зачем только рука ее потянулась к этим гадким деньгам! Вся плоть ее сжалась от омерзения, будто над ней надругались. Ну почему все так выходит? Почему?

Конечно, нельзя тратить чужие деньги. И ругают ее за дело.

Почему же тогда содрогнулась сама плоть ее? Почему такое чувство, будто коснулась страшной заразы?

— Глупая ты! — поучала ее безмерно огорченная Люсиль.— Ты же всем им даешь повод, лезешь на рожон. Неужто не понимала, что все раскроется? Сказала бы мне, я бы достала для тебя денег. И не было бы скандала. Как ужасно все вышло! Тебе

бы прежде подумать! Надо же, как тетя Цецилия разошлась! Ужас, просто ужас! Как она тебя только не обзывала! Услышь мамочка такое, она б не смолчала!

Когда в жизни их что-то не ладилось, они вспоминали мать, отца же, как и весь его «низкий» род, презирали. Мать, несомненно, была иной породы, изысканной, хотя и пугающе «безнравственной». И бесспорно, более эгоистичной. А как она любила пускать пыль в глаза! Хотя людям этой породы и неведомы угрызения совести, они могут походя оскорбить, но никогда не унизят так, как унизил Иветту отец.

Иветта считала, что хрупкое, нежное тело она унаследовала от матери. По отцовской линии все были погрубее, словно из дубленой кожи снаружи и с червоточинкой внутри. Впрочем, женщины по отцовской линии никогда своих мужей и детей не бросали. А хрупкая, нежная Синтия, «та пресловутая особа», ушла от настоятеля да еще хлопнула дверью. Бросила не только его, но и малых дочерей. Простить такое девушки не могли.

После скандала с деньгами Иветта начала, хоть и смутно, ощущать, какой это священный дар — ее плоть, ее беззащитная, невинная плоть, которую «высоконравственные» родичи сумели осквернить. Издавна мечтала об этом. Ибо не верили в семье в самое жизнь. А «та пресловутая особа» не верила разве что в ханжескую добродетель.

Иветта осунулась, стала еще более задумчивой и рассеянной. Настоятель возместил тете Цецилии урон, от чего у той лишь прибавилось злобы. Она исходила бессильной яростью. Как ей хотелось поведать о злодеянии племянницы на страницах приходского журнала. Как досадовала изошедшая желчью женщина, что не в силах разнести эту весть по всему белу свету. Какое себялюбие! Какое неслыханное себялюбие!

Настоятель не забыл предъявить счет дочери: сумма долга, проценты — все это вычиталось из ее невеликих карманных денег. Правда, одну гинею он внес и сам, ибо считал причастным и себя.

— Как отец провинившейся, я тоже подлежу штрафу в одну гинею,—пошутил он,— не удалось умыть руки, так хоть отмою совесть.

На деньги он не скупился. И очевидно, решил, что может поэтому с полным правом называться щедрым человеком. Хотя и деньги и щедрость он употреблял, чтобы властвовать над дочерью.

О скандале он больше не вспоминал. Кажется, он воспринял происшествие как забавное недоразумение. Все еще тешил себя мыслью, что дочь не разгадала его.

Зато тетя Цецилия никак не могла оправиться от потрясения. Однажды вечером, когда Люсиль не было дома (ее пригласили на вечеринку), Иветта легла спать пораньше: все ее нежное, исхудавшее тело онемело и болело, как после побоев или насилия. Вдруг тихонько приоткрылась дверь, и в просвете обозначилось землисто-зеленоватое лицо тети Цецилии. Иветта от страха вздрогнула.

— Притворщица! Воровка! Жалкая корыстная гадина! — шипела тетя, исказившись лицом.— Лицемерка! Лгунья! Гадина! Алчная гадина!

В застывшем безумной зеленоватой маской лице, в неистовых словах было столько ненависти, что Иветта лишь беспомощно открыла рот — вот-вот закричит, забьется в истерике. Но тетя Цецилия исчезла так же внезапно, как и появилась, затворив за собой дверь. Иветта соскочила с постели, заперлась на ключ, потом, едва не падая от страха перед несчастной безумицей, кое-как вернулась — руки-ноги онемели, онемела и попранная гордая душа. И вдруг сквозь страх и гадливость, словно пузырек воздуха сквозь толщу воды, прорвался смешок. И впрямь — и мерзко и смешно!

Тетина выходка будто бы и не задела Иветту. Словно кошмарный сон привиделся, только и всего. Впрочем, конечно же, задела: сковала все тело, уязвила плоть. Будто умерли разом все члены, лишь звонкой струной трепетал каждый ее нерв. По молодости своей она еще не понимала, что с ней творится.

Она лежала в постели и думала: вот бы стать цыганкой. Жила бы в таборе, спала бы в фургоне, не ведала бы, что такое дом, церковный приход, на церковь бы и не взглянула. В сердце ее крепко угнездилось отвращение к настоятельскому дому. Она ненавидела благоустроенные жилища, все эти ванные и туалеты — есть в них что-то невыразимо гадкое. Ненавидела она и отцовский дом, и все, что с ним связано. Ненавидела и жизнь в этом доме — точно в зловонной выгребной яме, хотя кругом чистота; каждый его обитатель — от бабушки до служанки — дышал тяжелым

смрадом. А цыгане хоть и не моются в ваннах, зато живут не в таком зловонии, привольно дышат полной грудью. В отцовском доме привольно не вздохнешь. Затхлый воздух. Затхлые души.

Сердце ее возгоралось от ненависти, тело пребывало в прежнем оцепенении. Вспоминались цыганкины слова: «Есть один брюнет, не ведающий, что такое дом. Он любит тебя. А все остальные топчут душу твою. И покажется тебе, что умерла душа. Но раздует в ней искорку брюнет. И добрым пламенем она запылает вновь».

Еще во время гаданья почуяла Иветта в словах цыганки уклончивость. Но ее это не беспокоило. Все в доме настоятеля будило в ней по-детски непримиримый протест против затхлой, гнилой жизни. Ей пришлась по душе высокая, смуглая, похожая на волчицу цыганка с большими круглыми серьгами в ушах; понравилась и розовая шаль поверх черных курчавых волос, и тесный корсаж коричневого бархата, и широкая — веером — зеленая юбка. Нравились и смуглые, сильные, даже безжалостные руки. Они крепко, как волчьи лапы, упирались в нежные ладони Иветты. Очень нравилась ей цыганка. И таящаяся в глазах властность, и презрение к страху. Нравилось в ней женское начало, неприкрытое до бесстыдства, но гордое. Такую женщину не сломить! Как возненавидела бы она настоятельский дом и царящую там высокую нравственность! С бабушкой расправилась бы играючи. А папу с дядей Фредом убила бы презрением — разве это мужчины! Для нее они все равно что старый слюнявый пес Пират, черный и лохматый. Что, кроме насмешки от женщины, заслужили эти домашние твари, величающие себя мужчинами.

А сам цыган! Иветту пробрала дрожь. Ей вспомнился взгляд его больших дерзких глаз, и во взгляде — откровенная, неприкрытая страсть. Под этим дерзким, страстным взглядом она беззащитна, перед ним не устоять. Точно в жаркой плавильне тают ее силы и воля, меняется весь облик.

Так и не призналась она никому, что два фунта из тех злополучных денег она отдала цыганке. Вот бы узнали отец с тетей! Иветта сладко потянулась в постели. Вспомнила о цыгане — и ожило ее тело, еще крепче закалилось сердце в ненависти к отцовскому дому: бессильная ярость и отчаяние сменились новым чувством, напоенным силой.

Вскорости Иветта рассказала сестре, как страшным привидением возникла у нее на пороге тетя Цецилия. Люсиль взъярилась:

— Как она надоела! И что ей неймется! С этими деньгами все уши прожужжали! Господи, можно подумать, что тетя сама безгрешна! Тоже мне, пташка божья! В конце концов, решать папе, и раз он о деньгах больше не вспоминает, нечего и тете встревать!

Но потому-то и исходила желчью тетя Цецилия, что настоятель и впрямь ни словом не обмолвился о содеянном. Более того, он вновь стал баловать и миловать беспечную, витающую в грезах Иветту. А та, и верно, никогда не замечала, что́ волнует ее близких. И, понятное дело, была глуха к их заботам. Это-то и бесило тетю. Слыхано ли — сопливая девчонка, появившаяся на свет от беспутной женщины, живет припеваючи, а на ближних ей наплевать!

В последнее время стала очень раздражительной Люсиль. Приехала она в настоятельский дом, и нарушилось в душе какое-то равновесие. Бедняжка Люсиль, сколько забот легло на ее плечи: обо всем-то подумать, обо всех-то порадеть. И по хозяйству похлопотать, и врача пригласить, и лекарства заказать, и служанке отдать распоряжения. Целыми днями она корпела на работе, с десяти утра до пяти вечера при электрическом освещении. А приезжала домой — и ее донимала бабушка невыносимо въедливыми, по-стариковски бестолковыми расспросами. Люсиль приходила в исступление.

Хотя о проступке Иветты больше не упоминалось, грозовые тучи в семье не рассеивались. Да и погода стояла отвратительная. Так что в выходной Люсиль осталась дома, чем только навредила себе. Настоятель уединился в кабинете. Иветта помогала сестре шить платье (опять же для нее, Иветты). Бабушка мирно дремала на кушетке, свесив голову и всем своим видом напоминая запятую.

Материал был французский — тонкий голубой бархат,— и платье, судя по всему, получилось на славу. Люсиль попросила примерить еще раз — она ворчала, что морщит под мышками.

— Подумаешь — беда! — фыркнула Иветта, вытягивая тонкие, нежные, почти

детские руки, уже чуть посиневшие от холода.— И охота тебе по пустякам волноваться! И так сойдет.

— Вот как ты меня благодаришь! Знала б, не стала бы в свой выходной спину на тебя гнуть, лучше б себе что сшила.

— А я, между прочим, и не просила! Просто ты и минуты не проживешь, чтобы не командовать.— Говорила Иветта совсем незлобиво — это раздражало больше всего. Она подняла локотки, заглянула через плечо в большое зеркало.

— Ах, ты меня не просила? А зачем же тогда все вертелась вокруг да вздыхала? Будто я тебя не знаю.

— Ты это про меня? — чуть удивленно спросила Иветта.— Когда это я около тебя вертелась да вздыхала?

— Тебе лучше знать.

— Откуда? Откуда мне лучше знать? Так все-таки когда?— Иветта умела задавать вопросы мягко и будто невзначай —как это раздражало!

— Стой спокойно и помалкивай, а то я больше к этому платью не прикоснусь.— В голосе Люсиль уже слышалась ярость.

— До чего ж ты любишь поворчать. А тебе и слова не скажи! — заметила Иветта, крутясь перед зеркалом.

— Ну, вот что! Хватит! — Люсиль обдала сестру испепеляющим взглядом. Глаза у нее неистово горели.— Сейчас же замолчи! С какой стати мы должны терпеть твой ужасный характер и во всем тебе потакать?

— Ничего ужасного в своем характере не замечала,— сказала Иветта, осторожно стянула с себя недошитое платье и надела прежнее.

На лице ее обозначилась упрямая гримаса. Иветта подсела к столу и, хотя уже собирались сумерки, принялась шить самостоятельно. Вскоре по всей комнате валялись обрезки бархата, ножницы тоже оказались на полу, содержимое корзинки с рукоделием — на столе, а на пианино весьма ненадежно примостилось еще одно зеркало.

Бабушка, дремавшая на большой мягкой кушетке, пробудилась, поправила чепец.

— Даже подремать спокойно не дадут,— вздохнула она, пригладила редкие седые прядки. Видно, кое-какие звуки достигли и ее тугих ушей.

Вошла тетя Цецилия, достала из сумочки шоколадную конфету.

— В жизни такого беспорядка не видывала! Иветта, убери-ка мусор.

— Сейчас,— кивнула та,— сию минуту.

— Значит, не дождаться вовек,— хмыкнула тетя, резко нагнулась, подобрала ножницы.

Наступило короткое затишье. Люсиль, сидя за книгой, обхватила голову руками и зарылась пальцами в волосы.

— Убери же наконец мусор,— вновь завела тетя Цецилия.

— Будем к чаю стол накрывать — уберу,— ответила Иветта. Она поднялась, натянула через голову платье, широко взмахнула длинными голыми руками — рукава она еще не пришила — и стала меж двух зеркал.

Она неловко повернулась, и зеркало, едва державшееся на пианино, звякнув, упало на пол. К счастью, оно не разбилось, но все испуганно вздрогнули.

— Зеркало разбила! — завопила тетя Цецилия.

— Зеркало? Какое зеркало? Кто разбил? — прокаркала бабушка.

— Ничего я не разбивала,— невозмутимо откликнулась Иветта,— цело зеркало.

Люсиль оторвалась от книги:

— Больше туда не ставь.

Иветта лишь раздраженно пожала плечами — стоило столько шума из-за пустяка поднимать! — и принялась пристраивать зеркало в другом месте, но тщетно.

— Топись камины у нас в комнатах, не стали бы все сюда набиваться. Только шить мешаете,— зло пробормотала она.

— А что это за зеркало ты все переставляешь? — заинтересовалась бабушка.

— Не бойтесь, не ваше. Оно еще из прежнего дома,— огрызнулась Иветта.

— Откуда б ни было, а разобьется, боюсь, у нас,— заметила бабушка.

В семье неприязненно относились к вещам, оставшимся после «той пресловутой особы». Ее мебель, к примеру, поставили на кухне и в комнате прислуги.

— Все это пустые предрассудки, я в них не верю,— бросила Иветта.

— Еще бы!— хмыкнула бабушка.— Если человек за свои поступки не отвечает, ему обычно наплевать на все, что происходит вокруг.

— Да в конце концов, это мое собственное зеркало, не беда, если и разобьется.

— Нет уж, в этом доме зеркала пусть не бьются,— продолжала бабушка,— кому бы они ни принадлежали сегодня или некогда. Цецилия, голубушка, у меня не сполз чепец?

Тетя подошла, поправила ей чепец, усадила поудобнее. Иветта нарочито громко стала выводить какую-то несуразную мелодию.

— Может, ты все-таки уберешь мусор? — напомнила тетя.

— Ну и жизнь! — взвилась Иветта.— С ума сойти! Каждый только и знает, что пилит по пустякам.

— Кто это «каждый», позволь спросить? — грозно надвинулась тетя Цецилия.

Не иначе, быть еще одному скандалу! Люсиль метнула на тетю недобрый взгляд. В обеих девушках взыграла кровь «той пресловутой особы».

— И вы еще спрашиваете! Да каждый, каждый в этом жутком доме! Вы меня прекрасно поняли! — вне себя выкрикнула Иветта.

— По крайней мере наши-то предки — люди приличные,— язвительно вставила бабушка.

Стало тихо, как перед грозовым раскатом. Люсиль вскочила с кресла, глаза ее метали яростные искры.

— Замолчите сейчас же! — крикнула она прямо в неподвижно-величавое лицо престарелой матроне.

Старуха задышала часто и тяжело — бог весть какие чувства обуревали ее. Итак, гром грянул, и воцарилось леденящее кровь затишье.

Тетя Цецилия, лиловая от злобы, вихрем налетела на Люсиль.

— Прочь! Марш к себе в комнату! — прохрипела она.— Живо! — И принялась выталкивать ее за дверь. Люсиль была бледна, лишь глаза горели неистовым пламенем. Люсиль не сопротивлялась тете. А та все орала:

— И не смей выходить, пока не попросишь прощения! Пока Матушка тебя не простит!

— Не стану я просить прощения! — уже из коридора донесся звонкий голос Люсиль. Тетя же теснила ее дальше, к лестнице, потом наверх, до самых дверей ее комнаты.

А Иветта каланчой застыла посреди гостиной. Лицо ее выражало оскорбленное самолюбие, а душу сковала столь непривычная оторопь. Так и стояла она в недошитом платье без рукавов. Даже ее ужаснула Люсиль, посягнувшая на величие старости. Хотя сама Иветта полнилась холодным гневом: как не стыдно бабушке попрекать их кровными узами!

— Разве я сказала что обидное? — удивлялась старуха.

— А то нет! — холодно бросила Иветта

— И не думала! Я сказала лишь, что, хоть мы и верим в приметы, мы люди приличные.

Иветта не поверила своим ушам. Не ослышалась ли? Возможно ли такое? Возможно ли, чтобы убеленная сединами бабушка так беззастенчиво лгала?!

Впрочем, Иветта знала ответ наверное: да, бабушка самым бесстыдным образом солгала. Но едва произнесла эти слова, как сама же им и поверила!

В гостиную вошел настоятель, и перепалка прервалась.

— Что стряслось?— нарочито весело, пряча настороженность, спросил он.

— Да так, ничего особенного,— небрежно протянула Иветта,— просто Люсиль попросила бабушку замолчать, а тетя Цецилия ее выпроводила и велела из своей комнаты не выходить.— И прибавила по-французски: — Дело выеденного яйца не стоит. Хотя, конечно, Люсиль слегка погорячилась.

Старуха не расслышала всего, что сказала Иветта, однако вступила в разговор.

— Люсиль не мешало бы поучиться владеть собой,— заметила она.— Она уронила зеркало, ну и я, конечно, испугалась. Так и сказала. А Иветта завела что-то про приметы в нашем ужасном доме. Я и говорю, дескать, пусть мы верим в приметы, но все-таки люди приличные. Тут на меня Люсиль как напустится! Как заорет: «Замолчите сейчас же!» Просто стыд и срам, до чего теперешняя молодежь себя распускает, нервам волю дает.

В комнату вошла тетя Цецилия. Поначалу даже она опешила от матушкиных слов. Потом, видно, убедила себя, что все именно так и было.

— Я запретила Люсиль выходить из комнаты, пока не извинится перед Матушкой,— сказала она настоятелю.

— Долго ждать придется,— спокойно и надменно произнесла Иветта, скрестив голые руки.

— Не нужны мне никакие извинения,— промолвила старуха,— она просто дала волю нервам. Если уж у них сейчас нервы сдают, что же дальше-то будет! Ей бы успокоительное принимать. Цецилия, голубушка, Артур, наверное, заждался чая.

Иветта собрала в охапку свое шитье и пошла к себе наверх, снова что-то бессвязно и громко напевая. Внутри у нее все дрожало.

— Обновка к празднику?— игриво спросил отец.

— Обновка к празднику,— эхом, но без тени улыбки отозвалась она. Перекинула платье через руку и стала медленно подниматься наверх. Хотелось утешить Люсиль, а заодно спросить, как теперь сидит на ней голубое платье.

У подножия лестницы она остановилась и по привычке поглядела в окно на дорогу и мост. Как героиня Теннисона — в «Леди из Шалота»,— она все время ждала, что появится *некто* на берегу реки, весело напевая «тра-ля-ля» или что-нибудь не менее содержательное.

5

Скоро пить чай. Дорожку за окном — от флигеля до ворот — запорошило снегом. Садовник подправлял круглые раскисшие клумбы, разбросанные по сбегавшему к реке лугу. Сразу за воротами грязная, с остатками снега дорога перебегала каменный мост и змеей уползала вверх по каменистой круче к горстке домов, над которыми курился дымок,— к северной деревне, прилепившейся за унылыми, сложенными из камня мельницами. В зажатой холмами долине виднелись высокие прямые трубы.

Настоятельский дом стоял у реки Пэпл, по обеим берегам его окружали холмы, и на одном из них находилась деревня. Сразу за домом круто вздымался холм, поросший темными голыми лиственницами, меж которыми виляла, то появляясь, то исчезая, дорога. А напротив дома, на другом берегу — кусты стеной, еще выше — луговина, за ней — темные стволы деревьев, и венчала холм серая каменистая макушка.

Из коридора Иветта видела лишь поворот дороги да лавровые заросли-изгородь. Дорога спускалась к мосту, потом снова уводила по холму наверх, к кучке домов — деревне Пэплуик, мимо полей, испещренных каменными оградками-межами.

Всякий раз Иветта ждала: вот-вот появится *нечто* на дороге из Пэплуика. И всякий раз задерживалась подле окна у лестницы. Порой проезжала повозка, или автомобиль, или грузовик с камнем, проходил батрак или кто из прислуги. Только вот задорный песенник так и не появился у реки. Давно миновали все развеселые тралляйские дни.

Но сегодня за поворотом грязно-белой дороги, меж лужайкой и каменной оградой показалась чалая лошадка. Бодро и смело спускалась она с холма, на облучке легкой повозки сидел мужчина в кепке. Он свободно раскачивался на сиденье, подпрыгивая вместе с повозкой на ухабистой дороге, которая терялась у подножия холма в тихих собирающихся сумерках. Из повозки, прыгая и кивая на ходу, торчали длинные метлы, щетки из камыша и перьев. Иветта отбросила занавески за спину и прильнула к самому стеклу, обхватив руками голые плечи.

Спустившись с холма, лошадь пошла еще резвее, колеса прогромыхали по каменному мосту, метлы и щетки запрыгали еще пуще; возница мерно, как в полудреме, покачивался взад-вперед. Неужели это наяву? — думалось Иветте.

Но вот повозка миновала мост и уже катит вдоль ограды настоятельского дома. Возница взглянул на мрачный каменный особняк, спрятавшийся под сенью холма. Иветта еще крепче обхватила руками плечи. Поймав цепкий и сметливый взгляд из-под козырька кепки, поняла, что смуглолицый возница ее увидел.

У белых ворот он резко осадил лошадь, не сводя глаз с коридорного окна. Иветта, все еще прикрывая плечи посиневшими от холода веснушчатыми руками, зачарованно смотрела на мужчину.

Едва заметно кивнув ей, он повел лошадь в сторону, на лужайку. Затем проворно и сноровисто откинул парусиновый верх повозки, вытащил метлы и щетки, выбрал две-три камышовых и индюшачьего пера и, глядя прямо на Иветту за окном, подошел к воротам, открыл.

Иветта кивнула ему и понеслась в ванную переодеваться. Она тешила себя надеждой: может, цыган и не заметил ее тайного привета. Со двора послышалось рычание старого глупого Пирата вперемежку с тявканьем молодой, но еще более глупой Трикси.

У дверей гостиной Иветта столкнулась со служанкой.

— Никак метлы привезли продавать? — Она заглянула в гостиную.— Тетушка, там привезли щетки и метлы. Пойти встретить?

— Кто привез-то? — оторвалась от чаепития тетя Цецилия. За столом кроме нее были лишь настоятель да Матушка. Девиц решили оставить без трапезы.

— Какой-то мужчина на повозке.

— Цыган,— подсказала служанка.

Тетя Цецилия, разумеется, тотчас же поднялась из-за стола. Непременно нужно взглянуть.

У черного хода, рядом с отвесно поднимавшимся мрачным холмом, поросшим лиственницами, стоял цыган.

В одной руке он держал целый букет из щеток и метел, в другой — связку медных и бронзовых поделок: сковороду, подсвечник, чеканные блюда. Сам он был одет опрятно, даже франтовато: темно-зеленая кепка, двубортная зеленая куртка в клетку. Держался он спокойно и почтительно, хотя сквозило во взгляде и достоинство, и некоторая равнодушная снисходительность.

— Не угодно ли что-нибудь хозяйке? — тихо и вкрадчиво обратился он к тете Цецилии, устремив на нее проницательный взгляд черных глаз.

Та сразу отметила, как хорош собою цыган, как чувственны губы под ниточкой черных усов, и затрепетало ее сердце. Выкажи цыган хоть толику неучтивости или навязчивости, она бы с презрением захлопнула перед ним дверь. Но он являл такое смирение мужской своей гордыни, что тетя пришла в замешательство.

— Какой красивый подсвечник! — воскликнула Иветта — Вы сами сделали? — И по-детски простодушно взглянула на него. Впрочем, она не хуже цыгана умела затаить во взгляде и иной смысл.

— Да, барышня, сам.— Он коротко взглянул ей прямо в глаза с такой неприкрытой страстью, что девушка обмерла: силы разом покинули ее, цыгановыми чарами умирилось, словно во сне, ее лицо.

— До чего ж красивый!— как в полузабытьи, пробормотала она.

Тетя Цецилия принялась выторговывать подсвечник. Был он невысок и массивен, с двумя поддонцами. Вежливо, но равнодушно разговаривал цыган с тетушкой, а на Иветту и вовсе не взглянул; она прислонилась к дверному косяку и задумчиво смотрела на цыгана.

— Как поживает ваша супруга? — неожиданно спросила она, когда тетя Цецилия ушла с подсвечником к настоятелю посоветоваться, не дорого ли просят.

Цыган вновь взглянул Иветте прямо в лицо, едва заметная улыбка тронула губы. Но взгляд остался серьезным, сквозившая в нем страсть лишь ужесточила его.

— Жива-здорова, а когда вы еще будете в наших местах? — Говорил он тихо, словно оглаживал словами.

— Право, даже не знаю,— зачарованно пробормотала Иветта.

— Приезжайте как-нибудь в пятницу — я тогда дома.

Иветта смотрела вдаль, мимо цыгана, словно и не слыша его. Вернулась тетя Цецилия, принесла деньги. Иветта с нарочитой беспечностью принялась напевать — по обыкновению, какую-то мешанину из разных мелодий,— потом повернулась и пошла прочь, не очень-то деликатно намекнув, что делать ей здесь больше нечего.

Однако, дойдя до лестничной площадки, она притаилась у окна, чтобы проводить цыгана хоть взглядом. Ей хотелось проверить, подвластна ли она его чарам. На этот раз она постаралась, чтобы он ее не заметил.

Вот он идет к воротам, держа в руке щетки и метлы. Вот подошел к повозке. Бережно погрузил свой товар, поднял парусиновый верх. Легко, даже с ленцой вспрыгнул на облучок, тронул чалую вожжами, и та сразу пошла вперед, заскрипели колеса, повозка поползла в гору. Вскоре цыган скрылся из виду — так ни разу и не обернулся. Скрылся, растворился, точно сон, бесплотное видение, однако как трудно от этого видения избавиться.

И никаких-то чар у него нет, убеждала она себя, а жаль, ох, как хотелось подпасть под чью-либо власть.

Она поднялась к сестре. Люсиль была бледна и все еще возбуждена. Иветта отчитала ее: разве можно выходить из себя по пустякам?!

— Что толку, что ты велела бабушке замолчать? Конечно, всякого нужно приструнить, коли гадости говорит. Но ведь бабушка не хотела обидеть тебя. Честное слово, не хотела. Она и сама о своих словах жалеет. Так что нечего из мухи слона делать. Давай оденемся к ужину, как светские дамы. Будем держаться чинно и гордо. Ну же, Люсиль!

Точно нежная паутинка оплела лицо — так непривычно блаженно чувствовала себя Иветта в плену своих видений, так инстинктивно, вслепую, старалась она уйти от всего неприятного. Словно осенним бодрящим утром пробираешься сквозь туманную мглу и ласковый дождь гладит лицо. И уже не знаешь, где ты.

Ей удалось уговорить Люсиль, и в гостиную они решили выйти в самых нарядных платьях: Люсиль — в серебристо-зеленом, а Иветта — в бледно-сиреневом с бирюзовой искрой. Добавьте к этому изящные туфельки, немного румян и пудры и поймете, почему комната расцвела, как райские кущи. Напевая, Иветта оглядела себя, изобразила на лице «милую непринужденность» юной аристократки. В такие минуты у нее смешно выгибались брови и поджимались губы. Она враз отрешалась от всех земных помыслов и уносилась в жемчужно-небесные дали своей мечты. Выглядело это весьма забавно и не слишком убедительно.

— А ведь я, Люсиль, и вправду красивая,— вкрадчиво проговорила она,— и ты тоже — просто загляденье, особенно сейчас, когда в глазах укоризна. В тебе куда больше благородства, чем во мне, посмотри, какой у тебя нос! А укор в глазах придает обаяния — ты просто загляденье! Зато во мне, пожалуй, больше привлекательности. Как ты думаешь? — И она обратила к сестре лукавое, обманчиво-простодушное лицо.

Впрочем, ни единым словом она сестре не слукавила. Что думала, то и говорила. А лукавство ее в том, что она ничем не обнаружила иного чувства, овладевшего ею: она стоит словно голая под чужим взором, только голая не телом, а душой, самым сокровенным своим женским естеством. И наряжалась и прихорашивалась лишь затем, чтобы забыть о взгляде цыгана, о взгляде, который не задержался на ее миловидном лице, не отметил ее манер, а устремился внутрь ее, на нечто таинственное, трепетное, неодолимо влекущее.

Гонг позвал к ужину. Девушки уже были готовы, но тем не менее подождали, пока не услышали голоса мужчин. И лишь тогда величественно проследовали вниз. Иветта была довольна собой: как всегда, простодушна и мила, как всегда, чуть рассеянна. Люсиль же чувствовала себя крайне неловко — вот-вот расплачется.

— Господи боже мой! — всплеснула руками тетя. Сама она к ужину не переоделась, на ней было все то же вязаное темно-коричневое платье для прогулок.— Это еще что за явление! Далеко ли вы собрались?

— На ужин в семейном кругу,— ответила Иветта простодушно,— и по такому случаю выбрали платья получше.

Настоятель от души рассмеялся, а дядя Фред поклонился:

— Для всей семьи это высокая честь.

Что ж, старшие держатся подобающе, именно галантности и хотела добиться от них Иветта.

— Подойдите-ка, дайте я пощупаю ваши платья,— попросила бабушка.— Это выходные? Как досадно, что я не вижу.

— Сегодня нам, Матушка, выпало проводить девушек к столу, и честь эту предстоит оправдать,— сказал дядя Фред.— Не возражаете, если сегодня вас поведет голубушка Цецилия?

— Отнюдь нет,— кивнула старуха,— дорогу молодости и красоте!

— Сегодня такой случай, Матушка,— радостно подхватил настоятель и взял под руку Люсиль, дядя Фред — младшую из сестер.

Но ужин прошел как обычно: тягостно и уныло. Люсиль старалась развлечь всех беседой, да и Иветта была в духе, хотя не покидало ее прежнее ощущение: в мглистом гумане гладит лицо ласковый дождь. Из глубины сознания всплыла мысль: почему мы все такие неживые, деревянные, как шкафы? Почему нам все безразлично?

Этим вопросом она задавалась постоянно: почему нам все безразлично? В церкви, или на вечеринке, или на танцах в городе все тот же маленький воздушный пузырек упрямо рвался на поверхность. Почему нам все безразлично?

Многие молодые люди могли бы не только влюбиться в нее, но и преданно полюбить. Но она гнала их, как докучливых мух. Почему они ей так безразличны, и даже более того — неприятны?

О цыгане она ни разу не задумалась. Стоит ли вспоминать мимолетную встречу? Однако близилась пятница, и Иветта стала ждать ее, как важного события.

— А что мы делаем в пятницу? — спросила она Люсиль, и когда та ответила, что ничего особенного, душа у Иветты растревожилась.

Но вот и пятница. Как ни боролась с собой Иветта, весь день она думала о придорожном каменном карьере близ мыса Бонсалл. Ей непременно нужно туда! Между тем ехать туда она и не помышляла. К тому же опять зарядил дождь. Она дошивала голубое платье к завтрашнему балу, а душою была с цыганами меж фургонов в заброшенном карьере. Словно кто похитил и увел за собой ее душу, а дома осталась лишь ее плоть, даже не плоть, а пустая оболочка. А плоть истинная тоже была в цыганском таборе.

Назавтра на балу Иветта ничего не видела, не слышала кругом. Не замечала, что кокетничает с Лео. Не ведала, что отбивает его у терзаемой ревностью Эллы Фрамли. Очнулась она лишь за мороженым с фисташками, когда до нее долетели слова Лео:

— А почему бы нам с тобой, Иветта, не обручиться? По-моему, лучше для нас обоих и не придумаешь.

Конечно, Лео зауряден, зато добр и богат. Он даже нравился Иветте. Но чтоб с ним обручиться?! Глупее ничего не придумаешь! Ей хотелось швырнуть ему в лицо свое шелковое белье — на, обручайся!

— А я думала, ты выбрал Эллу.

— Не будь тебя, может, и выбрал бы. Но ведь ты сама все затеяла: цыгане, гадалка. Как она тебе судьбу открыла, я сразу понял, что я создан для тебя, а ты — для меня!

— Да что ты говоришь? — от изумления Иветта растерялась.

— Ты, наверное, и сама это чувствуешь.

— Да что ты говоришь? — Иветта задыхалась, точно рыба на песке.

— Хоть чуточку чувствуешь?

— Что чувствую? К кому?

— Ко мне. То же, что я чувствую к тебе.

— К тебе?! Это ты все об обрученье? Со мной?! Ни за что! С чего ты взял? Мне и в голову такое не приходило. И во сне такая нелепица не приснится!

Теперь она говорила как всегда, прямо и искренне, но нимало не щадя чувств собеседника.

— А что тебе мешает? — спросил слегка уязвленный Лео.— Я думал, наши чувства взаимны.

— Ты снова об этом? — изумленно пролепетала она с беззлобной, но девически беспечной искренностью. Одних искренность эта чаровала, других — отвращала.

Столь велико было изумление Иветты, что ее раздосадованному собеседнику оставалось лишь стоять рядом да помалкивать.

Заиграла музыка, Лео взглянул на Иветту.

— Больше танцевать я не хочу.— Она поднялась, надменно оглядела зал — Лео будто и не было рядом. Во взгляде ее еще сквозило недоумение и некая оторопь. Нежная неяркая краса ее и впрямь была под стать белоснежному цветку, столь трепетно взлелеянному отцовской памятью.

— А ты иди, танцуй,— по-детски снисходительно разрешила она.— Пригласи кого-нибудь на этот танец.

Он поднялся и, негодуя, пошел прочь.

А впечатлительная Иветта еще долго изумлялась предложению Лео. Невероятно! Помолвиться с ним! Да она скорее помолвится со своим черным лохматым Пиратом! Да и мыслимо ли вообще с кем-нибудь обручаться? Смехотворнее ничего не придумать.

И лишь сейчас, где-то стороной, промелькнула мысль: но ведь есть же цыган! И тут же Иветта возмущенно отогнала ее. Еще чего не хватало! С ним — ни за что на свете!

Но почему же? — задалась она вопросом, и вновь подкралось замешательство. Почему же? Ни о какой помолвке и речи быть не может. Но почему?

Загадка не из простых. Она оглядела танцующих юношей: оттопыренные локти, толстые ляжки, затянутые талии. Нет, среди них разгадки она не найдет. Конечно, ей претили толстые ляжки и женственно подобранные талии — за ладно сшитыми смокингами и фраками она не видела мужчин.

Что-то во мне есть такое, досадуя на самое себя, решила она, чего мужчины не понимают и вовек не поймут. Однако на душе полегчало — и хорошо, что не поймут! Так куда проще жить.

Иветта была из тех людей, для кого важнее всего зримый образ, вот и сейчас увиделась ей темно-зеленая фуфайка навыпуск, стройные, проворные ноги, не ведающие, как и глаза, покоя, красивые бедра. Не сравнить с толстыми, точно плотно набитые колбасы, ляжками сегодняшних танцоров. Под стать им и Лео. А ведь воображает, что прекрасно танцует! Гордится своей фигурой!

Иветте представилось лицо цыгана: прямой нос, подвижные, тонкие губы, спокойные, выразительные, черные глаза. Казалось, они целили в неведомую, но очень важную точку и били без промаха.

Она негодующе выпрямилась. Да как смел он так смотреть! Ее гневный взор пришелся на кукольно-щеголеватых танцоров. До чего же противные! И как цыганки из пестрого гомонливого табора ненавидят иноплеменных мужчин, ненавидят их покорную, точно у смирных домашних псов, походку, так и Иветта возненавидела эту толпу. Кто из них способен одним лишь взглядом подчинить ее, внушить, что он сильнее?

Нет, домашний пес ей не пара!

Дрогнули тонкие ноздри, упали мягкие каштановые волосы на задумчивое лицо, так похожее на белоснежный цветок. Во всем угадывалось ее девство. И все-таки в этой высокой юной деве проглядывала поистине колдовская сила, она-то и отпугивала смирных домашних псов Не успеешь и глазом моргнуть, как Иветта превращалась в сущую ведьму

Потому она и одна, хотя вокруг крутилось немало молодых людей. И чем их больше — тем госкливее.

Среди смирных псов Лео выделялся разве что породой.

После танца он расхрабрился и как ни в чем не бывало подошел к Иветте, присел рядом.

— Ну как, ты все обдумала?

Самодовольный, решительный, раскормленный парень. Иветта заметила, как, садясь, он поддернул брюки, и неожиданно для самой себя разозлилась. Ноги у него самые заурядные. А сел он по-хозяйски, уверенно.

— Обдумала что? — рассеянно спросила она.

— Сама знаешь,— хмыкнул он.— Согласна, что ли?

— На что согласна? — невинно спросила она, ничуть не притворяясь — мысль о помолвке уже затерялась в памяти.

— Ну что ты в самом деле! — Лео снова поддернул брюки.— Со мной обручиться, вот на что.— Говорил он почти так же небрежно, как и сама Иветта.

— Да об этом и речи быть не может,— спокойно и любезно, словно о пустяке, сказала она.— Я уж и думать забыла. Стоит ли всякие глупости вспоминать? И речи о таких вещах быть не может,— повторила она, как упрямый ребенок.

— Ах, вот что? — Лео усмехнулся ее холодному и отчужденному ответу.— А о каких вещах можно речь вести? Или ты хочешь умереть старой девой?

— А мне все равно,— беспечно отмахнулась она.

— Зато мне не все равно,— ответил он.

Иветта обернулась и с удивлением воззрилась на него.

— Тебе-то что? Не все ли тебе равно, останусь я старой девой или нет?

— Далеко не все равно.— Лео дерзко, с особым смыслом улыбнулся ей — не мытьем, так катаньем он заставит ее понять, о чем думает.

Однако дерзкая улыбка не достигла самого сокровенного уголка ее души и, словно неточно пущенный теннисный мяч, лишь скользнула поверху и тут же рикошетом больно ударила по нему.

— Дурацкая это затея — помолвка,— по-девчоночьи зло бросила Иветта.— Да и ты, уж наверное, обручен с...— Она вовремя спохватилась:— С дюжиной других девушек И вообще, с чего ты взял, что мне это приятно? Если кто узнает... Ох, если кто узнает! Я об этом и словом не обмолвлюсь, думаю, и у тебя хватит

ума помалкивать... А вот и Элла! — И, отвернувшись от Лео, она грациозно — ни дать ни взять нежный цветок на высоком стебле — прошествовала к поникшей Элле Фрамли.

Лео хлопнул белыми перчатками по колену.

— Ишь кошка злючая!

Но большим псам даже нравится, когда на них шипят кошечки, и Лео стал пуще прежнего выделять Иветту.

6

Всю следующую неделю лил дождь. Иветта беспричинно злобилась. Ей нестерпимо хотелось солнца, особенно когда неделя подошла к концу. А почему — этим вопросом она не задавалась.

В четверг — вот радость-то! — подморозило, кругом все заиндевело. Приехал на машине со своей компанией Лео. Но Иветта нелюбезно и непонятно почему отказалась ехать на прогулку.

— Спасибо, не хочется,— только и сказала она, упиваясь своим упрямством.

На прогулку к Черным скалам, мимо покрытых изморозью крутобоких холмов она отправилась в одиночку.

И следующий день выдался солнечным и морозным. Близилась весна, но здесь, в северном краю, февральское солнце еще не пригревало стылую землю. Иветта сказала дома, что едет кататься на велосипеде и возьмет с собой поесть, так что вернется, возможно, лишь к вечеру.

В путь она тронулась не спеша. В морозном воздухе уже пахло весной. На лесной поляне увидела она нежащихся на солнце ланей. Вот пятнистая самка медленно пошла вдоль сонных деревьев.

Пока Иветта ехала на велосипеде, ей было не холодно, замерзли разве что руки. Крутой холм пришлось одолевать пешком, и лишь тогда, на безветрии, отогрелись и руки. На холме было голо и чисто — точно иной мир. Иветта села на велосипед и медленно двинулась дальше. Как бы не заблудиться в лабиринте низких каменных оград-межей. Немного проехав по верной, как ей думалось, тропинке, она услыхала легкое постукивание с призвоном — похоже, били молоточком по железу.

Цыган сидел на земле, прислонившись к дышлу повозки, и чеканил медное блюдо. Сидел он на солнце с непокрытой головой, в зеленой своей фуфайке. Трое детишек мирно копошились под навесом — ни лошади, ни фургона там не было. Старуха цыганка, с шалью на плечах, что-то варила на маленьком костре. Тишину нарушало лишь скорое звонкое постукивание молоточка по тусклому медному блюду.

Едва Иветта соскочила с велосипеда, цыган поднял глаза, перестал стучать, но навстречу не встал. На лице мелькнула едва приметная довольная улыбка. Старуха обернулась и с любопытством уставилась на Иветту из-под седых косм. Цыган что-то коротко, тихо сказал, и она снова повернулась к костру. Сам же он взглянул на Иветту.

— Как дела у вас и ваших родных? — вежливо спросила она.

— Спасибо, хорошо! Присаживайтесь.— Он повернулся и достал из-под повозки табурет. Иветта прислонила велосипед к каменной стене, а цыган тем временем вновь принялся за работу. Рука у него была проворная и легкая — тук-тук, ровно дятел стучит.

Иветта подошла к костру, вытянула озябшие руки.

— Обед готовите? — по-детски непосредственно спросила она у старухи. Длинными, нежными, покрытыми «гусиной кожей» руками она едва не касалась красных угольев.

— Да, обед,— ответила цыганка.— Его да малых покормить надо.— И длинной вилкой указала на троих черноглазых ребятишек, те неотрывно смотрели на Иветту, черные нестриженые волосы падали им на глаза. Однако детишки были чистые. Чего не скажешь о старухе. Зато само «подворье» в карьере содержалось в идеальной чистоте.

Иветта присела у костра, стараясь согреть руки. Цыган с небольшими перерывами все колотил молоточком. Старая карга скрылась за дверью третьего, самого ветхого фургона. Детишки, словно зверята, играли молча и сосредоточенно.

Иветта поднялась от костра и повернулась к цыгану:

— Это ваши дети?

Он взглянул ей прямо в глаза.

— Мои.

— А где ваша жена?

— Уехала торговать. Взяла корзину и уехала. Все уехали. Один я торговать не езжу. Делать всякую утварь делаю, а торговать не езжу. Так, разве что иногда. Очень редко.

— Вы делаете из меди и бронзы?

Цыган кивнул и подвинул к ней табурет. Иветта села.

— Вы сказали, что бываете дома по пятницам, ехала мимо и решила заглянуть к вам. Сегодня такая чудная погода.

— Да, денек что надо!— Он взглянул на ее щеки — от холода они побелели,— на нежный завиток над покрасневшим ухом, потом перевел взгляд на длинные, все еще в гусиной коже руки, сложенные на коленях.

— Замерзли, небось, на велосипеде?

— Только руки! — Волнуясь, она сцепила пальцы.

— Что же перчатки не надели?

— Надевала, да мало толку.

— Не греют?

— Нет.

Из фургона выбралась старуха, неуклюже сползла по ступенькам, в руках она несла обливные глиняные миски.

— Обед готов? — негромко спросил цыган.

Старуха что-то пробормотала и принялась расставлять миски подле костра. Над огнем висели два чугунка, а на железной греноге что-то шипело в маленькой сковородке. Горячий воздух, мешаясь с паром, дрожал на солнце.

Цыган отложил инструменты и блюдо и поднялся с земли.

— Вы перекусите с нами? — спросил он, не глядя на Иветту.

— Я захватила еду из дома,— ответила та.

— Может, отведаете жаркого? — снова спросил он и что-то тихо сказал старухе, она так же тихо ответила и сняла один из чугунков.

— Фасоль с бараниной.

— Большое спасибо! — Иветта думала было отказаться, но вдруг решилась:— Разве что чуточку.

Она пошла к велосипеду за узелком с едой, а цыган поднялся к себе в фургон. Через минуту он появился, вытирая руки полотенцем.

— Если хотите, зайдите, помойте руки,— предложил он.

— Не стоит, пожалуй,— замялась Иветта,— они чистые.

Он выплеснул из тазика воду, взял большой медный кувшин с кружкой и пошел к роднику, что сбегал в ложбинку — там набралось целое озерцо.

Вернувшись, он поставил кувшин с кружкой подле костра, принес колоду, уселся. Детишки расселись прямо на земле, теснясь поближе к огню, и стали есть — кто ложкой, а кто и прямо руками. Цыган ел сосредоточенно, молча. Старуха заварила кофе в черном горшке на треноге и заковыляла в фургон — за кружками. У костра никто не проронил ни слова. Иветта сидела на табурете, сняв шляпу, рассыпавшиеся волосы блестели на солнце.

— Сколько у вас детей? — вдруг спросила она.

— Пятеро, кажись,— медленно проговорил он и вновь посмотрел ей прямо в глаза.

И снова сердце у Иветты затрепетало, птицей полетело куда-то вниз и замерло. Словно во сне, взяла она кружку с кофе у него из рук. Лишь молчаливую фигуру, тенью застывшую на колоде, видела она. Ни слова не говоря, он прихлебывал из глиняной кружки. И вся сила вдруг покинула Иветту, ослабели руки-ноги, возобладал над нею цыган, околдовал своей призрачной тенью.

А он, остужая горячий кофе, нацелил мысленный взор свой на извечно и необъяснимо чарующий плод, на несказанную нежность, заключенную у нее в теле.

Но вот он поставил кружку у костра и обернулся к Иветте. Она склонилась над кружкой, осторожно пробуя горячий кофе. На лицо ей упали волосы. В чертах ее запечатлелись нежность и покой, какие дарит распустившийся, но еще дремотный в своей красе цветок. Словно нежданно рано выглянул подснежник, выпустил навстре-

чу солнцу три белых лепестка и застыл в дремотной неге, наслаждаясь быстротечным счастьем. Так и Иветта: раскрылась, точно цвет на солнце, ее девичья душа, но до конца не пробудилась.

И за пробуждением этим пристально и неотступно следил цыган, колдовская тень его не покидала Иветту.

Наконец он заговорил, но чары не развеялись.

— Пойдите-ка в фургон, вымойте руки.

Она подняла подернутые словно дремотной пеленой глаза — не скрыть ей прекрасного девичества, пробуждающегося от детства. Цыгана она не видела, лишь чувствовала теплую волну, исходившую от него. Волна эта накатила, омыла ее тело, лишила воли. Иветта чувствовала скрытую, всепокоряющую власть цыгана.

— Хорошо, я сейчас,— пролепетала она.

Он молча поднялся, повернулся к старухе, что-то тихо и властно сказал. Потом вновь взглянул на Иветту, вконец подчинив себе — разом упали все путы: сделалось легким тело, смелой — душа.

— Пойдем! — только и сказал он.

Она безропотно двинулась следом, зачарованная движениями его тела и каждым мягким и властным шагом. Подчиниться было совсем нетрудно, его воля полностью поглотила Иветту.

Вот он взошел на приступок, она — на первую ступеньку, и тут послышался ей чужой, совсем неуместный сейчас звук. Иветта замерла. По дороге к карьеру ехала легковая машина. Цыган обернулся, холодным глазом окинул дорогу. Старуха что-то прокаркала, но за нарастающим шумом мотора слов было не разобрать. Машина миновала карьер. Потом вдруг вскрикнула женщина, заскрипели тормоза — видно, машина остановилась за поворотом.

Цыган затворил дверь фургона и спустился на землю.

— Наденьте-ка шляпу! — бросил он Иветте.

Она покорно подошла к табурету у костра, взяла шляпу. Цыган, насупившись, уселся подле тележного колеса, взял молоточек, блюдо. И вновь звонко и дробно застучал, только добавились теперь и сердитые нотки — словно застрочил пулемет. А с дороги донесся женский голос:

— Можно у вас обогреться?

К костру подошла женщина. Она куталась в просторную, отливающую на солнце серебром соболью шубу. Следом появился мужчина в синей шинели. Он стянул с рук перчатки на меху и достал трубку.

— У вас здесь так мило! — улыбнулась обладательница роскошной шубы, стоившей жизни стольким зверькам, в улыбке ее читалась и снисходительность, и скрытое самодовольство.

Никто не проронил ни слова в ответ.

Дама подошла к костру, даже под шубой ее пробирала легкая дрожь — они со спутником ехали в открытой машине.

Дама была очень мала ростом, на лице выделялся большой, похоже еврейский, нос. Ее крохотное, почти детское тельце, упрятанное в огромную шубу, казалось намного крупнее. Да и весь роскошный наряд не сочетался с ее обликом: в карих, чуть навыкате глазах, порочных глазах Иезавели, таилась обида.

Она присела к костру, вытянула руки — на пальцах сверкнули алмазные и изумрудные перстни.

— До чего ж замерзла! — Она передернула плечами.— Ну разве можно было ехать в открытой машине! Но попробуй пожалуйся мужу, что замерзла.— Она по-детски укоризненно взглянула на мужа, но проскользнула во взгляде и хитрая расчетливость женщины, живущей в достатке, может даже в богатстве.

Конечно же, эта Иезавель была влюблена в своего рослого светловолосого спутника, влюблена страстно и по-собственнически. Он бегло взглянул на нее — голубые глаза его, казалось, совсем лишены ресниц,— и на безусом и безбородом лице прорезалась скупая улыбка, пустая, ничего не значащая.

На первый взгляд мужчина походил на лыжника или конькобежца. Тело тренированное, не ведающее каждодневной работы. Вот он неспешно набил трубку, прижимая табак длинным и сильным, красным от холода пальцем.

Иезавель все смотрела на него, ожидая, что он заговорит, ответит. Но он лишь

бессмысленно улыбался. Женщина вновь повернулась к огню и, вскинув брови, уставилась на свои крохотные белые руки над костром.

Мужчина сбросил шинель на теплой подкладке и остался в шерстяном свитере с затейливым желто-серо-черным узором и хорошо сшитых свободных брюках. И он под стать своей спутнице — из богатых! Сложен великолепно; грудь выпуклая и мускулистая. Как привычный к походам человек, он начал неторопливо разводить почти погасший после обеда костер. Словно солдат на марше во время привала.

— Как по-вашему, он не рассердится, если мы подбросим в костер еловых шишек? Будет ярче гореть,— обратился он к Иветте, покосившись на цыгана — тот не отрывался от работы.

— Только спасибо скажут, наверное,— проговорила Иветта, она еще не пришла в себя — опустошив и разбередив ей душу, цыгановы чары рассеивались.

Мужчина сходил к машине, принес мешочек шишек, вытащил пригоршню.

— Подбросим, чтобы ярче горело? — крикнул он цыгану.

— Чего?

— Подбросим, говорю, еловых шишек, чтобы горело ярче?

— Бросайте, не жалко,— ответил тот.

Мужчина проворно и аккуратно разложил шишки на горячих угольях, огненными розами стали они вспыхивать одна за другой — запахло хвоей, смолой.

— Чудно! Чудно! — воскликнула Иезавель и снова взглянула на мужа. Тот с высоты своего роста одарил ее теплым взглядом, словно теплый лучик скользнул по льду.

— А вы любите огонь? — перекрывая звонкий стук молоточка, крикнула Иезавель Иветте.— Я, например, обожаю!

Молоток цыгана явно докучал даме. Она обернулась, нахмурила тонкие бровки, вот-вот прикажет: «Хватит стучать!» Иветта тоже обернулась. Приподняв крепкое плечо, широко раскинув ноги, цыган склонился над блюдом. Казалось, он и не замечал Иветту.

Спутник маленькой Иезавели, не вынимая трубки изо рта, подошел к цыгану, стал рядом. Сошлись двое мужчин, как два пса, которым для знакомства нужно обнюхать друг друга.

— У нас медовый месяц! — покосившись на Иветту как на кровную обидчицу, вдруг сказала Иезавель. Голос у нее был высок и резок, точно клич сойки или грача.

— Да что вы говорите! — воскликнула Иветта.

— Мы устроили медовый месяц до свадьбы! Вам знакомо имя Саймона Фосета? — На севере этого богача-инженера знали хорошо.— Так вот, я его жена, и он сейчас со мной разводится.— Дама бросила на Иветту неожиданно вызывающий и вместе с тем тоскливый взгляд.

— Да что вы говорите! — снова воскликнула Иветта. Она поняла, почему в больших, карих, почти детских глазах этой женщины столько вызова и затаенной обиды. Очевидно, она очень прямодушна, хотя и рассудочна. И это, быть может, послужило одной из причин, побудивших известного повесу Саймона Фосета развестись с ней.

— Как только я получу развод, мы с майором Иствудом поженимся.

Без обмана, без утайки она сразу выложила все карты на стол.

А поодаль переговаривались мужчины. Иезавель обернулась, большие карие глаза задержались на цыгане.

Он время от времени нарочито смиренно посматривал снизу вверх на мужчину в пестром свитере с трубкой в зубах, а тот, глядя на цыгана сверху, вел с ним «мужской» разговор.

— ...А лошадей оставили в Аррасе,— донеслись тихие цыгановы слова.

Говорили они о войне. Цыган служил на батарее в одном полку с майором.

— А он довольно красивый! — отметила дама.

Для нее цыган был лишь одним из безликой солдатской массы.

— Очень красивый! — признала Иветта.

— Неужели вы на велосипеде приехали? — В свой вопрос Иезавель вложила немало удивления.

— Да. Из Пэплуика. Мой отец — настоятель тамошней церкви господин Доброхотли.

— Вот оно что! — протянула Иезавель.— Как же, знаю, читала. Очень умно пишет! Очень умно!

Еловые шишки догорели, украсив костер букетом хрупких пепельных роз. Небо к вечеру затягивалось облаками. Наверное, ночью пойдет снег.

Вернулся майор, напялил тяжелую шинель.

— Мне показалось знакомым его лицо,— заговорил он,— и верно: цыган этот у нас в полку ходил за лошадьми.

— Вот что!— вдруг воскликнула дама, повернувшись к Иветте.— Поедемте с нами до Нормантона. Мы живем в Скорсби. А велосипед ваш привяжем к машине.

— Хорошо,— кивнула Иветта.

Мужчина покатил велосипед к машине, а Иезавель окликнула детишек — они украдкой разглядывали ее.

— Идите-ка сюда! Идите же, не бойтесь.— Она достала маленький кошелек и выложила на ладонь шиллинг.

— Подойдите же! Это вам! — крикнула она.

Цыган отложил молоточек и блюдо и скрылся в фургоне. Старуха что-то хрипло крикнула малышам из своего угла. Двое ребят постарше несмело вышли вперед. Иезавель дала каждому по серебряной монетке; одному шиллинг, другому — два, других у нее не нашлось. И тут же послышался окрик сокрытой от глаз старухи. По ступенькам спустился цыган, подошел к костру. Иезавель беззастенчиво и деловито, что присуще детям Сиона, стала разглядывать его лицо.

— Вы воевали под началом майора Иствуда?

— Да, сударыня.

— И надо же где встретились! — Она перевела взгляд на небо.— По-моему, скоро пойдет снег.

— Не так уж скоро,— возразил цыган, тоже посмотрев на небо.

Накрепко замкнул он свое сердце. Издревле цыгане вели неравную борьбу с обществом и его устоями. И нет-нет да и удавалось хоть в малом расквитаться.

Однако после войны угас и этот огонек редких удач. Нет, не смирился кочевой народ. По-прежнему горд взгляд цыгана, только сейчас взгляд этот устремлен в дальние дали. Он уже не проникает так дерзко в самые сокровенные уголки души. Вот что значит — пройти войну.

Цыган посмотрел на Иветту.

— Обратно на машине поедете?

— Да, ведь погода такая изменчивая,— жеманно произнесла Иветта.

— Еще какая изменчивая,— поддакнул цыган, взглянув на небо. Ни за что сейчас ей не угадать, что у цыгана на душе. Да, по правде говоря, ее это и не занимало. Куда больше ее привлекла маленькая Иезавель, мать двоих детей, высуживающая сейчас немалые деньги у известного инженера для неимущего, молодого и красивого майора Иствуда. Он, пожалуй, моложе ее лет на пять — на шесть. Как все увлекательно!

Вернулся светловолосый майор.

— Чарльз, дай сигарету! — печально, но властно попросила дама.

Он достал портсигар — каждое движение его сильного тела было неторопливо и выверенно. Будто постоянно он ждет удара исподтишка, вот и делает все неспешно и осторожно. Одну сигарету он протянул жене, другую — Иветте и без тени превосходства предложил портсигар цыгану.

— Благодарю вас, сэр!

Он степенно подошел к костру, прикурил от красных угольев. Иветта и маленькая Иезавель не спускали с него глаз.

— Ну, до скорого!— по-свойски, как и принято среди людей ее круга, попрощалась Иезавель.— Спасибо, что пустили к огоньку погреться!

— Не за что, он для всех горит,— сказал цыган.

К нему, нетвердо шагая, подошел малыш.

— До свидания,— сказала Иветта,— может, снег еще и не выпадет.

— Снег нам не помеха,— ответил цыган.

— Разве? А я думала, он некстати.

— С чего бы?

С царственной небрежностью Иветта закинула за спину длинный конец шарфа и пошла вслед за меховой шубой, поглотившей маленькую Иезавель; казалось, шуба идет сама собой.

7

Чета Иствудов, как стала величать их Иветта, весьма заинтересовала ее. Еще три месяца — и брак маленькой Иезавели расторгнут! Она отважилась снять на зиму холодный домик возле болот в Скорсби, недалеко от холмов. Теперь, глухой зимой, они с майором жили почти в полном одиночестве, без прислуги. Майор вышел в отставку и называл себя по-штатски — «господин Иствуд». Впрочем, для всех они уже были господином и госпожой Иствуд.

Маленькой Иезавели было тридцать шесть лет, дети ее уже вступали в отрочество. Муж согласился, чтобы они воспитывались у матери, но лишь после того, как она станет супругой Иствуда.

Так появилась в здешних краях эта необычная пара: маленькая изящная куколка с огромными, таящими обиду и укор глазами и копной черных, курчавых, ухоженных волос и высокий голубоглазый молодой атлет, от которого веяло силой и зимней стужей — не иначе в жилах у него течет кровь древних богатырей-викингов. Поселились они в маленьком новом домике меж болотами и холмами и без чьей-либо помощи устраивали свой семейный очаг.

И очаг прелюбопытный. Домик они сняли вместе с обстановкой, однако Иезавель понавезла с собой дорогой мебели. Неизвестно, почему ее привлекал стиль рококо: вычурные шкафчики с перламутровой инкрустацией, черепаховые шкатулки, безделушки слоновой кости и еще много всякой всячины; нелепо высокие, на гнутых ножках стулья из Италии, обитые аквамариновой парчой; тончайшей резной работы розоволикие святые в богато изукрашенных развевающихся одеждах; на полках — множество причудливых статуэток дорогого фарфора; и, наконец, редкая коллекция поразительных картин начала девятнадцатого либо конца восемнадцатого века, писанных на стекле.

Вот у такого необычного и тесноватого «домашнего очага» и приняла Иезавель навестившую ее без ведома родных Иветту. В доме стояли бесчисленные печки и плитки, так что в любом углу было тепло, даже жарко. И сама хозяйка, похожая на одну из статуэток — маленькая фигурка в изящном платьице и фартучке,— раскладывала на блюде окорок, а большой, в белом свитере и серых брюках, похожий на дрозда майор резал хлеб, растирал горчицу, варил кофе и управлялся еще с дюжиной дел. Более того: после холодного мяса и икры на закуску он подал тушеного зайца, которого приготовил сам.

Столовое серебро и фарфор — часть невестиного приданого — были поистине бесценны. Майор пил пиво из серебряной кружки, а Иветта и Иезавель — шампанское из красивых бокалов. Потом майор принес кофе, и разговор оживился. Иезавель пылала лютой ненавистью к бывшему супругу, а жить с нелюбимым человеком считала аморальным, потому и разводилась. И майор — неведомо как залетевший в эти края зимний дрозд,— сильный, по-своему красивый (ему бы только ресницы потемнее, а то их не видно, и майор еще больше походит на птицу), тоже ненавидел ханжескую мораль. Но гнев его, сокрытый в мощной мускулистой груди, отдавал ледяным холодом. Его любовь к Иезавели зиждилась на осознании попранной справедливости. Вот и занесли его в этот укромный уголок, точно шальные ветры, понятия о морали, унаследованные от предков-викингов.

Отобедав, все трое перешли на кухню. Майор засучил рукава, обнажил белые, крепкие руки и бережно, но споро принялся мыть посуду, а женщины вытирали. Пригодилась его сноровка. Потом он обошел все печки, печурки, плитки — проверил, не погасли ли случайно; каждый день он управлялся с этим за считанные минуты. Затем усадил Иветту в маленькую закрытую машину и под проливным дождем отвез домой. Высадил он ее на задах, у калитки меж лиственницами. Вниз по склону сбегали земляные ступеньки.

Иствуды буквально ошеломили Иветту.

— Ты представляешь, Люсиль! Я познакомилась с совершенно необыкновенными людьми.— И она подробно рассказала сестре о своих новых приятелях.

— Судя по твоим словам, очень милые люди,— согласилась та.— Молодец майор, все по дому делает сам и еще светский лоск не теряет. Вот они поженятся, и я с удовольствием познакомлюсь с ними.

— Да, да, непременно,— рассеянно бросила Иветта.

Как странно, что сошлись эти двое: маленькая Иезавель и голубоглазый молодой

великан-офицер. Невольно вспомнился Иветте и ее цыган — в последние дни она совсем о нем забыла. А сейчас вспомнила, и защемило сердце.

— Скажи, Люсиль, а почему люди сходятся? Вот Иствуды, к примеру? Или папа с мамой? Ведь они совсем-совсем разные? Или та цыганка, что гадала мне, большая такая, как кобыла, а муж у нее ладный, красивый? Почему, а?

— Из-за страсти. Хотя все ее понимают по-разному.

— Вот-вот, что такое страсть? Ведь это не простые ласки, верно ведь? Это совсем иное.

— По-моему, тоже,— ответила Люсиль,— это и должно быть иным.

— Понимаешь, с простыми парнями чувствуешь себя, как бы сказать, грязной, что ли. Поэтому на них и смотреть-то неохота, не то что страсть к ним питать.

— А по-моему, есть страсть низкая, а есть другая. Ох, и трудно же во всем разобраться! Простых парней я просто не терплю, но и к незаурядным никакой страсти не испытываю.— Люсиль особо неприязненно выделила «страсть».— Во мне, наверное, вообще ничего такого нет.

— Вот и я о том же! — подхватила Иветта.— И во мне тоже никакой страсти! Может, мы с тобой так созданы, что нам вообще с мужчинами жить не нужно?

— Брр! Как ужасно звучит: «С мужчинами жить!» — воскликнула Люсиль с отвращением.— Неужто тебе не противно будет «жить» с мужчинами? И к чему нам в жизни эта страсть? Куда б лучше: жили бы себе просто мужчины и просто женщины, и никаких страстей!

Иветта задумалась. В памяти всплыло лицо цыгана, его взгляд через плечо, когда она сказала: «Погода такая изменчивая». Она отреклась от своего цыгана и чувствовала, наверное, то же, что и апостол Петр, когда дважды пропел петух[1]. Или, лучше сказать, не отреклась, а просто вычеркнула цыгана из списка действующих лиц в своей жизни. А отреклась она от самого сокровенного в собственной душе, от того, что непостижимо и непокаянно тянуло ее к нему. И пропел удивительный черный красавец петух, насмехаясь над Иветтой.

— Конечно,— рассеянно пробормотала она,— конечно, Люсиль, все эти страсти — ужасное занудство. Живешь без них — вроде бы чего не хватает, а появятся — если такое вообще возможно — сразу тошно.— Она вздернула голову и с презрением сморщила нос.

— Ну, не скажи! — воскликнула сестра.— Мне бы хотелось крепко полюбить.

— Тебе только так кажется! — снова поморщилась Иветта.— Вот полюбишь, тогда по-другому заговоришь.

— Откуда ты знаешь? — спросила Люсиль.

— Точно, конечно, не знаю, но мне так думается. Да, именно так.

— Может, ты и права.— Иветтино отвращение передалось и сестре.— Рано или поздно страсть пройдет, вот когда тошно станет.

— Кто знает,— бросила Иветта и стала напевать.

— К чему голову ломать! Нас это не касается. Мы с тобой ни в кого не влюблены и вряд ли влюбимся. Так что все проще простого.

— За себя не ручаюсь,— усомнилась дальновидная Иветта.— Совсем не ручаюсь. В один прекрасный день возьму да как влюблюсь!

— Вряд ли,— жестоко возразила Люсиль.— Об этом все старые девы дни и ночи напролет мечтают.

Иветта задумчиво посмотрела на сестру, хотя и не вслушивалась в ее слова.

— Неужто? Ты и впрямь так считаешь? Бедные девушки, как же им тяжело! Неужто это для них так важно?

— Важно? — переспросила Люсиль.— Кто знает? Может, и не так уж важно. Может, просто молвы боятся — вот, дескать, засиделась в девках, не сумела парня заарканить.

— Да, наверное, из-за молвы,— согласилась Иветта.— И чего только о старых девах не болтают! Какой стыд! Зачем все это близко к сердцу принимать!

— Нам-то с тобой что беспокоиться,— сказала Люсиль.— За нами вон сколько парней увивается.

— Что верно, то верно,— согласилась Иветта,— но я б ни за одного замуж не пошла!

---

[1] «И говорит ему Иисус: истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от Меня» (Евангелие от Марка, 14, 30).

— И я тоже. А захотим — выйдем замуж. Просто сейчас нам и так хорошо, стоит ли о замужестве думать? Молодых людей вокруг хватает, все из хороших семей и с нами, согласись, ведут себя благородно и пристойно.

— Ага,— рассеянно бросила Иветта.

— А замуж выходить тогда надо, когда балы да вечеринки прискучат,— сказала Люсиль.— Тогда уж и семьей обзаводиться можно.

— Верно! — кивнула Иветта. Говорила она с сестрой мягко и дружелюбно, а в душе накипала досада. Захотелось вдруг убежать без оглядки.

Бедная Люсиль! Под прекрасными глазами легли черные тени, смотрит она печально. Эх, нашелся бы красивый, добрый и заботливый мужчина да женился б на Люсиль! Только бы она позволила!

Про Иствудов Иветта не сказала ни настоятелю, ни бабушке. Им только заикнись — пойдут бесконечные и ненавистные расспросы. В глубине души сам настоятель, может, и не порицал бы знакомство Иветты, но он отлично знал, что от чудища со множеством язвящих языков — от людской молвы — нужно держаться подальше.

— Если ваш отец ничего о нас не знает, вам не следует к нам приходить! — запальчиво бросила маленькая Иезавель.

— Видно, придется рассказать,— уступила Иветта.— Я уверена, узнай он о нашем знакомстве — заругает, хотя что он может иметь против?

Молодой офицер взглянул на нее — в зорких, по-птичьи бесстрастных глазах мелькнула непривычно теплая улыбка. Похоже, Иветта понравилась майору — его тронула неразбуженная нежность, дремотно-бездумная отрешенность в девушке.

Она чувствовала, что нравится, и гордилась собой. Иствуд тоже волновал ее воображение. Видный молодой офицер, воспитанный, выдержанный, водит собственную машину, прекрасно плавает. До чего занятно наблюдать, как он невозмутимо моет посуду или курит трубку. Всякое дело у него спорится. С тем же рвением и усердием, с каким Иствуд копался во чреве своего автомобиля, он колдовал и на кухне, готовя тушеного зайца. А потом во дворе под колючим ледяным ветром долго и любовно, точно кошка котенка, вылизывал до блеска машину. Возвращался в дом, обменивался с маленькой Иезавелью кротким, ласковым словом. Скучать ему, очевидно, не доводилось. Даже в ненастье, часами безмолвно просиживая у окна с трубкой, отрешившись от всего вокруг, он не позволял расслабиться своему мускулистому телу.

Иветта не кокетничала с ним, он ей и впрямь нравился.

— А как вы будете жить дальше? — спросила она.

— То есть как — жить дальше? — Он вынул изо рта трубку, в птичьих глазах мелькнула бесстрастная улыбка.

— А как же ваша карьера? Ведь каждый мужчина должен чего-то добиться в жизни, как говорится, отхватить кусок пожирнее.— И она с наигранным простодушием взглянула ему в глаза.

— Мне неплохо живется сегодня, хорошо будет и завтра.— Во взгляде его появилась холодная решительность.— Всякий день будет под стать сегодняшнему и завтрашнему, и дальше жизнь моя сложится не хуже. Зачем ее менять? — И он пытливо, не мигая, посмотрел на Иветту.

— Вы совершенно правы,— согласилась она,— а ходить на службу, ждать повышения мне бы тоже опротивело.— Однако думала она в ту минуту о деньгах маленькой Иезавели.

Майор молчал. Он обиделся, но и обида его была холодна, точно снег, тихо запорошивший душу. Вот куда завели их размышления о жизни. Маленькая Иезавель немного загрустила. Она по-своему тоже была простодушна и мужа не ревновала. Лишь молча, с грустью слушала.

Иветте подумалось, что нужно как-то загладить бестактность.

— Конечно, все в жизни так сложно,— сказала она.

— Еще как сложно! — громогласно подхватила Иезавель.

— Зачем-то нужно влюбляться, жениться — все это такая гадость,— поморщилась Иветта.

— Неужто вам бы не хотелось влюбиться и выйти замуж? — воскликнула Иезавель, она смотрела на Иветту во все глаза с изумлением и укоризной.

— Нет, пока не тянет,— ответила Иветта,— особенно если понимаешь, что это неизбежно. Так стоит ли самой в петлю лезть?

— Да знаете ли вы, что такое любовь! — возмутилась Иезавель.

— Не знаю, а вы?

— Я! — ахнула та.— Господи, мне ли не знать! — Она бросила глубокий и немного грустный взгляд на майора. Тот курил трубку, и на гладком бесхитростном лице играла довольная, обращенная внутрь себя усмешка. У майора была чудесная гладкая кожа — ни мороз, ни жара, ни ветры не оставили на ней своих метин-морщин, и оттого лицо его казалось почти младенческим. Конечно, оно утеряло детскую пухлость, на нем уже запечатлелся характер, пролегли вроде бы неуместные ироничные складки в уголках губ, и само лицо казалось застывшей в полуулыбке маской.

— Вы что же, и в самом деле не знаете, что такое любовь? — все допытывалась Иезавель.

— Не знаю,— прямодушно и безразлично ответила Иветта,— во всяком случае, мне так кажется. Наверное, это ужасно, в моем-то возрасте!

— И что, не было мужчины, от которого у вас вся душа переворачивалась? — Иезавель снова повела огромными своими глазами на Иствуда. Он как ни в чем не бывало продолжал попыхивать трубкой.

— По-моему, не было,— ответила Иветта,— разве что... разве что... тот цыган.— Она задумчиво склонила набок голову.

— Какой еще цыган?! — возопила маленькая Иезавель.

— Ну, тот, что служил на войне вместе с майором и ходил за лошадьми,— бесстрастно напомнила Иветта.

Иезавель оцепенело уставилась на нее:

— Не скажете же вы, что любите цыгана!

— Не знаю, но только от него одного у меня переворачивалась душа.

— Но отчего? Отчего? Он, может, говорил вам что-нибудь?

— Нет, ничего.

— Тогда отчего же? Ведь что-то же он сделал?!

— Ничего. Он просто смотрел на меня.

— Как?

— Не знаю, как объяснить. Только смотрел не как все. Другие мужчины на меня никогда так не смотрели.

— Так все-таки как же он смотрел? — допрашивала Иезавель.

— Ну, понимаете, так, что я видела страсть у него в глазах,— поначалу Иветта говорила отрешенно, но мало-помалу лицо ее оживилось, точно на глазах распускался цветок.

— Какой негодяй! Да как он смел так смотреть на вас! — возмутилась Иезавель.

— И кошке не заказано смотреть на короля,— спокойно вставил майор, улыбнулся и сам сделался похож на кота.

— И по-вашему, нельзя? — обратилась к нему Иветта.

Но тут снова вмешалась крикливая Иезавель:

— Конечно, нельзя! У него этих похотливых цыганок, небось, целая дюжина! Конечно, нельзя!

— Для меня это было как чудо, как колдовство. Первый раз в жизни.

— По-моему, страсть — самое чудесное, что есть на свете,— майор на минуту расстался с трубкой,— и всякий, кто способен на нее,— истинный король, остальных людей мне просто жаль.

Иезавель изумленно уставилась на него.

— Как же так, Чарльз! — воскликнула она.— Да у любого босяка в Галифаксе страсть — единственное сильное чувство!

Майор вновь вынул трубку изо рта.

— У них это всего лишь зов плоти.— И опять сунул трубку в рот.

— А вы думаете, у меня к цыгану — по-настоящему... чувство?

Майор лишь пожал плечами:

— Не мне судить. Был бы на вашем месте, разобрался бы сам, не стал других спрашивать.

— Да... но...— Иветта замялась.

— О чем ты говоришь, Чарльз! Какое там настоящее чувство? По-твоему, Иветта могла бы выйти за него замуж и кочевать вместе с табором?

— О замужестве я и не говорил,— возразил Чарльз.

— Тем более, значит, любовная интрижка! Чудовищно! Какого же низкого мнения должна она быть о себе! Это же не любовь. Это... Это — проституция.

Чарльз помолчал, попыхивая трубкой, потом заговорил:

— Лучше, чем этот цыган, у нас за лошадьми никто не ходил. Чудом выжил после воспаления легких. Я уж не чаял его увидеть. А он на́ тебе, воскрес.— Он взглянул на Иветту: — Да я и сам, почитай, с того света вернулся. Двадцать часов в снежном завале пробыл. Откопали — и хоть бы что.

Разговор прервался, точно подернулся льдом.

— Какой ужас,— вздохнула Иветта.

— И откопали-то случайно.

— Да что вы! Значит, судьба.

Майор промолчал.

8

Настоятель прослышал о дружбе Иветты с Иствудами и взъярился. Такого Иветта не ожидала. Она думала, что он и внимания не обратит. На словах он был всегда выше условностей, высмеивал их, играл этакого чертовски славного малого, без предрассудков. Сам он величал себя консерватором-анархистом, попросту говоря, человеком без истинной веры и убеждений, каких великое множество. Анархизм его выражался в беззлобных насмешках да дерзких, скрытых от всех помыслах; ко́нсерватизм, то есть страх перед всем анархичным, проявлялся в каждом его поступке. А помыслы его были весьма дерзновенны и нугали его самого. И он пуще смерти боялся всего, что «выше условностей».

Всякий раз, когда презренный страх и «консерватизм» брали верх, у настоятеля при разговоре топырилась верхняя губа, и он оскаливался, точно пес.

— До меня дошли слухи, что ты недавно подружилась с госпожой Фосет, которая сейчас разводится с мужем, и этим жуиром Иствудом.

Иветта не знала, что такое жуир, но почуяла яд в устах отца.

— Мы просто знакомые,— ответила она.— Очень милая пара, честное слово. Через месяц они поженятся.

Настоятель с ненавистью посмотрел на безмятежное лицо дочери. Душу его снедал страх, с этим страхом он прожил всю жизнь, с этим страхом родился. А такие люди — по природе своей рабы, и душа их корчится в ужасе и злобится, когда попадаются люди, способные надеть на них ярмо.

Потому-то и пресмыкался настоятель перед «той пресловутой особой» и пресмыкается даже сейчас. Она — вольная птица — презирала рабскую его душу, и он страшился ее презрения.

У Иветты тоже вольная душа. Значит, придет день, и она почует в отце раба, и пригнет его новое ярмо — дочернее презрение.

Стоит ли такое допускать? Нет, просто он не сдастся, будет сражаться. Его, точно крысу, загнали в угол, а загнанные крысы бьются насмерть.

— Быстро вы нашли общий язык! — усмехнулся он.

— Честное слово, они очень милые,— простодушно повторила Иветта, словно не замечая язвительности отца.— Мне они страшно нравятся. Все в них такое настоящее, честное.

— У тебя очень превратные понятия о чести,— снова ухмыльнулся он.— Молодой паразит на содержании женщины старше себя, бросившей дом, детей. Не знаю, от кого ты набралась таких понятий о чести. Надеюсь, что не от меня. Ты говоришь, они твои знакомые, значит, ты достаточно сблизилась с ними. Где же вы познакомились?

— Я каталась на велосипеде, а они ехали мимо на машине. Разговорились. Она мне сразу о себе рассказала, чтобы я все правильно поняла. Она очень честная.

Бедняжка Иветта оборонялась из последних сил.

— И часто вы встречались потом?

— Нет, я была у них всего два раза.

— Где это — «у них»?

— В Скорсби, они там снимают домик.

Он метнул на нее ненавидящий, испепеляющий взгляд и отпрянул, привалившись к оконным портьерам — загнали, видно, крысу, некуда деваться. Он уже видел дочь участницей чудовищных оргий, как некогда — бывшую жену, «ту пресло-

вутую особу». Он не в силах был побороть самые порочные свои фантазии. И, поселив в них свою вольнолюбивую, хотя и напуганную сейчас дочь, сам ужаснулся и отпрянул от нее, и красивое его лицо обезобразилось в зверином оскале.

— И после этого ты утверждаешь, что едва с ними знакома! Видно, ложь у тебя в крови. Думаю, унаследовала ты это не от меня.

Иветта смолчала, лишь чуть отвернулась от отца. Ей вспомнилась беззастенчивая бабушкина ложь.

— И что тебя привлекает в таких парочках? — глумливо спросил он.— Может, на всем белом свете порядочных людей не осталось и не с кем знакомство водить? Ты точно собака бездомная: в доброй семье на порог не пустят, вот она ко всякому отребью и льнет. Может, ты и другие пороки унаследовала кроме лживости?

— Какие другие пороки кроме лживости?— повторила она, чувствуя, как стынет в жилах кровь. Неужто она ненормальная, неужто способна на самое дурное? По спине побежали мурашки, тело одеревенело.

На девичьем, по-птичьи нежном лице настоятелю виделась бесстыдная развязность потаскухи. Как и под личиной белоснежной добродетели у «той пресловутой особы». В смертных муках корчилась его душа, когда он представлял, до какого разврата может дойти его порочная жена. Даже собственная любовь к ней (в которой, как и у всякого раба, преобладало плотское начало) представлялась ему порочной, в чем он боялся признаться себе. Так что же говорить о любви, не освященной законом?

— Тебе лучше знать свои пороки,— язвительно ответил он.— Их нужно обуздать, и как можно скорее, иначе кончишь в богадельне для умалишенных преступников.

— За что? — испуганно выдавила побледневшая Иветта.— За что меня в богадельню для умалишенных преступников? В чем я провинилась?

— Это знать тебе и Создателю,— продолжал глумиться настоятель.— Я это выяснять не собираюсь. Но определенные порочные наклонности, если их вовремя не обуздать, приводят к помешательству и преступлениям.

— По-твоему, мое знакомство с Иствудами — порочная наклонность? — цепенея от страха, спросила Иветта.

— По-моему, порочно знаться с людьми вроде госпожи Фосет и отставного майора Иствуда, который из корыстных побуждений волочится за женщинами старше себя!

— Ты не прав! — воскликнула Иветта.— Он очень простой и прямодушный человек.

— Рыбак рыбака видит издалека.

— Да, пожалуй, мы в чем-то схожи. Я думала, он и тебе придется по душе,— без тени лукавства сказала Иветта, до конца не поняв смысл своих слов.

Настоятель отшатнулся, еще глубже зарывшись в портьеры, точно дочь выпустила на него гремучую змею.

— Ни слова больше! — злобно и униженно крикнул он.— Слышать ничего не хочу! Мне и так все ясно! Ты достаточно изобличила себя! Хватит ужасных рассказов!

— Каких ужасных рассказов? — настойчиво спросила она.

От ее безграничной наивности настоятелю сделалось еще тошнее и страшнее.

— Ни слова больше! — прошипел он.— Я убью тебя, если пойдешь по стопам матери!

Он стоял меж бархатных портьер у окна своего кабинета, лицо его пожелтело от злобы, в обезумевших крысиных глазах — и страх, и гнев, и ненависть. На Иветту вдруг нашло холодное тоскливое оцепенение. Слова отца поразили ее словно громом.

И потянулось пустое, холодное, необоримое молчание. Вот она решилась взглянуть на отца. И безотчетное, неосознанное презрение появилось у нее в ясных, по-детски недоумевающих глазах. Вот когда презрение ее рабским ярмом придушило настоятеля.

— Ты считаешь, мне нельзя знаться с Иствудами?

— Знайся, если хочешь,— желчно бросил он.— Но в таком случае мне придется оградить от твоего пагубного влияния и бабушку, и тетю Цецилию, и Люсиль. Бабушка — верная жена и любящая мать, каких мало. На ее долю и так уже выпало одно потрясение, сколь постыдное, столь и ужасное. И другого потрясения я не допущу.

Слова доносились до Иветты смутно, она почти не слушала.

— Я пошлю им письмо, скажу, что ты против нашего знакомства,— пробормотала она.

— Поступай как знаешь, но помни: тебе выбирать между людьми беспорочными, уважаемыми — бабушка дожила до преклонных лет, но совесть ее кристально чиста — и теми, кто душой и телом погряз в пороке.

И снова — молчание. Иветта взглянула на отца, теперь у нее на лице ярче всего проступало недоумение. А за ним — холодное девичье презрение. То было презрение души от рождения свободной к душе рабской и низкой. Настоятель, как и все в роду Доброхотли, был низок душой.

— Значит, напишу, скажу, что ты против,— окончательно решилась она.

Настоятель промолчал. Душонка его подленько ликовала и упивалась победой.

— Я пока ничего не рассказал ни бабушке, ни тете Цецилии. Раз ты предпочла утаить свое знакомство, незачем всем о нем знать.

Снова повисло унылое молчание.

— Так я сейчас же и напишу,— проговорила наконец Иветта и понуро вышла из комнаты.

Короткое письмо она написала на имя маленькой Иезавели:

«Дорогая госпожа Иствуд!

Папа не хочет, чтобы я виделась с вами. Не обижайтесь, но наше знакомство придется прекратить. Мне очень жаль...»

Вот и все письмо. Когда она отправила его, на душе было тоскливо и пусто. Иветта теперь опасалась даже собственных мыслей. Прижаться бы к сильной груди красавца цыгана, почувствовать крепкое объятие, найти поддержку и успокоение! Как нужна ей сейчас поддержка в противовес отцовскому отвращению и страху.

Иветту трясло, у нее подкашивались ноги — а вдруг ее помысел непристоен, вдруг это и есть порок, а сама она умалишенная? И страх оплетал ей ноги. Великий, леденящий душу страх перед жалкой, рабской душой — ее отцом, перед всеми человеческими особями, копошащимися вокруг. Точно в трясине утопала она средь людей, нет сил выбраться, а каждый встречный страшен и гадок.

Новое отношение к людям прижилось в ней, как ни странно, довольно быстро. Нужно жить. Неразумно и наивно воевать с жизнью, с ее обыденностью, равно как и ждать от нее многого. Послевоенное поколение вообще очень быстро приноравливалось ко всем переменам в жизни, и Иветта вскорости смирилась. Отца не переделать. Он всегда будет встречать «по одежке». Она будет относиться к людям так же.

Под легкой дымкой рассеянности и беспечности иным становилось сердце Иветты, оно черствело и отвердевало, как кремень. Оборвалось милое ее душе знакомство, и разом растаяли все воздушные замки. Внешне Иветта не изменилась, а внутренне посуровела и ужесточилась, люди стали ей чужды, в сердце затаилась доселе неведомая мстительность.

А вела себя она как и раньше — окружающие не должны ничего замечать. Жизнь осталась прежней, значит, и ей, Иветте, надлежит изображать прежнюю, привычную всем девушку.

Но теперь ее взгляд на людей окрасился мстительностью. За внешней учтивостью красавца отца открылась ей слабая, ничтожная суть. Иветта презирала его. Впрочем, не умалялась и любовь к нему. Чувства так противоречивы.

Зато бабушку она возненавидела всем сердцем. Толстая слепая старуха, похожая на бурый, пятнистый, трухлявый гриб; голова провалилась меж плеч и вместе с дряблым тройным подбородком напоминала картофелину, а оплывшее тело — другую. На нее-то и обрушилась лавина внучкиной ненависти, яростной, всепоглощающей. Чувство это приносило Иветте радостное облегчение.

Бабушка прикрывала редкие седины кружевным чепцом, на красном одутловатом лице выделялся короткий властный нос и запавший рот с плотно сжатыми губами — точно капкан захлопнулся. Ах, как вредил этот рот облику добродетельной матери семейства! С годами губы растянулись и утоньшились и рот сделался как у жабы. К тому же нижняя выступающая челюсть крепко поджимала верхнюю, и сходство с капканом усиливалось. Именно этот капкан и ненавидела пуще всего Иветта: подбородок торчит, нижняя челюсть подпирает верхнюю, от чего вздергивается и без того короткий нос, и все лицо под высоким куполом лба будто смещено назад. Сколько своеволия в этой старухе! Своеволия неприкрытого и бесстыдного. Страшного

своеволия, присущего скорее не человеку, а допотопному гаду вроде жабы или черепахи, который живет и поныне. Так и бабушка: жить ей до скончания времен, ползать сморщенной, скрюченной черепахой вечно.

Разумеется, Иветта не осмеливалась сказать отцу, что бабушка отнюдь не совершенство. Он опять стал бы грозить богадельней для умалишенных. Этот козырь у него всегда под рукой: богадельня для умалишенных. Будто ее неприязнь к бабушке, ко всем чудищам-родственникам в доме и есть признак помешательства, да еще буйного.

Впрочем, однажды, когда душа переполнилась тоской и злобой, Иветта не выдержала:

— Что за противная у нас семья! Соберутся тетя Люси, тетя Нелл и тетя Элис, рассядутся с тетей Цецилией вокруг бабушки, как стая ворон, задерут перед камином юбки, чтобы ноги погреть, а нас с Люсиль словно и нет. Мы здесь совсем-совсем чужие. До чего ж противна мне ваша семья!

Отец пытливо посмотрел на нее. Ей удалось представить дерзкие слова свои вспышкой дурного настроения, а полный ненависти взгляд — капризно-недовольным; отец лишь рассмеялся: это, мол, просто детские обиды. Хотя в глубине души он понял, что каждое холодное, жестокое слово дочери продиктовано разумом и что с нею нужно быть настороже.

Жизнь Иветты свелась теперь к изматывающим душу стычкам и распрям со всем постноликим, пуританским укладом в доме Доброхотли. Она возненавидела и сам дом. Ненависть поглотила Иветту целиком, ненависть не выпускала ее даже за порог. Дом и отвращал ее и держал словно колдовской силой. Так проходил день за днем.

Об Иствудах она забыла. Разве сравнить бунт маленькой Иезавели против нелюбимого мужа с борьбой против бабушки и ее своры. Муж — явление в жизни временное и маловажное. То ли дело семья! Страшный, зловонный муравейник, его не разворошить, хотя там все прогнило, каждый держится за другого, а у основания, точно трухлявый пень,— старуха.

О цыгане она все же вспоминала. Но и на него не хватало времени. Целыми днями она изнывала от безделья, и все же не находилось и минуты, чтобы задуматься о чем-либо важном. Время меряется не днями и часами, а переменами в душе.

Дважды она даже видела цыгана. Один раз он заехал с товаром. Она следила за ним из окна у лестницы, но во двор не вышла. Укладывая утварь обратно в повозку, он заметил Иветту. Но виду не подал. Самообладание и осмотрительность вошли у него в плоть и кровь — ведь народ его, гонимый всеми и отовсюду, пробавлялся лишь случайной добычей,— и цыган отлично понимал, что, раскрой он себя, нигде не укрыться от страшных и цепких лап Закона. А еще он прошел войну и познал, что такое рабство для вольной души.

Выйдя за белые ворота, он спокойно и неспешно стал возиться с повозкой. Вид у него был очень независимый и отчужденный, как у красивого хищного зверя. Он знал, что она следит за ним. И предстать перед нею нужно спокойным и гордым. Он повстречал девушку на старой как мир военной тропе, где сошлись мужское и женское начала.

Женское начало — в ней, в Иветте? Да не ошибся ли он? Сердце застучало в груди звонким молоточком. А снаружи — тук-тук — тихонько звал он. И она отвечала ему втайне от всех, чтобы никто не слышал. Она радостно внимала ему: радовалась, что он рядом, такой спокойный и молчаливый. Радовалась, что он так необъяснимо терпелив, ведь терпит-то лишь ради встречи, не помышляя о победе. Радовалась, что он так непреклонен, но не жесток (после войны люди всегда мягче сердцем). Случись ей выбирать, в чьем стане быть, она несомненно бы ушла с ним. Не испугалась бы кочевой жизни, изгоев, а может, даже обрадовалась бы, сделалась бы настоящей цыганкой.

Увы, она родилась в стане белокожих. И ей по душе и уют, и положение в обществе. Ее уважали уже за то, что она дочь настоятеля. И ей это нравилось. Как нравилось и отколупывать кусочки краски и штукатурки с колонн в церкви. Она искала покоя и защиты под кровом церкви и все-таки, отковыривая кусочки колонн, подтачивала ее опору. Так должно быть, и у филистимлян сколько, наверное, было сшелушено, сковырено, отколупано с колонн их храма, прежде чем Самсон разрушил его.

— А почему бы и не погулять вдоволь лет до двадцати шести, а потом уж на все махнуть рукой и выйти замуж?

Вот каких суждений набралась Люсиль у женщин постарше. Иветте исполнился двадцать один год. Значит, впереди еще пять лет драгоценной вольной жизни. И с кем же ей «гулять», как не с цыганом! А выходить замуж в двадцать шесть лет за Лео или Джерри!

Так что все отведает женщина на своем веку: и праздничный пирог, и будничный кусок.

Отчаянно и безнадежно ополчившись на своих домочадцев, Иветта словно мигом прожила целую жизнь и набралась мудрости. Но то были опыт и мудрость юности, а опыт и мудрость зрелости или старости ей не указ!

Во второй раз Иветта встретила цыгана случайно. Стоял март. После неистовых ливней выглянуло солнце. В зелени живой изгороди проклюнулся желтый чистотел, а меж камней выглянул первоцвет. Правда, в воздухе попахивало серой с литейного завода и на серо-стальном небе появлялись порой дымные облачка.

Но главное — пришла весна.

Иветта не спеша ехала на велосипеде по Коднорской долине мимо известняковых карьеров. Вдруг она увидела цыгана: он выходил из каменного дома со щетками и медными поделками в руках, а на дороге стояла его повозка.

Иветта соскочила с велосипеда и засмотрелась на цыгана: до чего ж ей люб каждый мускул его сухопарого торса под зеленой фуфайкой, каждая черточка спокойного лица. Никого на свете, даже родную сестру, не чувствовала Иветта так полно, ей казалось, что частичка ее души навечно отдана цыгану.

— Сделали вы еще какую-нибудь красивую вещицу? — простодушно спросила она, разглядывая медную утварь.

— Нет, пожалуй,— обернувшись, ответил он.

Неприкрытая и волнующая страсть во взгляде осталась, но поубавилась ее сила, исчезла дерзость. Лишь иногда вспыхивал в глазах огонек, но скорее холодный, неприязненный. Впрочем, неприязнь рассеялась, пока он смотрел, как Иветта копается в медных и бронзовых поделках. Она выбрала маленькое овальное блюдо со странным чеканным узором наподобие пальмы.

— Оно мне нравится,— сказала она,— сколько стоит?

— Сколько не пожалеете,— ответил цыган.

Иветта оробела: ей показалось, что цыган насмехается над ней.

— Уж лучше вы назовите свою цену,— взглянув на него, попросила она.

— Сколько не жалко, столько и дайте,— повторил он.

— Нет!— вдруг решительно сказала Иветта.— Если не назначите цену, вообще не возьму.

— Ну, хорошо,— уступил он,— два шиллинга.

Она протянула ему полкроны, он порылся в кармане, вытащил горсть мелочи и отделил шесть пенсов сдачи.

— Старая цыганка видела вас во сне,— сказал он и пристально, испытующе посмотрел на нее.

— Вот как? — разом оживилась Иветта.— И о чем же сон?

— Смысл таков: будь смелее, не то упустишь счастье. А сказала она так: «Обрети смелость в теле своем, иначе удача отвернется от тебя». И еще: «Слушай, что говорит вода».

Слова эти ошеломили Иветту.

— А что все это значит?

— Я спрашивал, но она и сама не знает.

— Повторите, пожалуйста,— попросила Иветта.

— «Обрети смелость в теле своем, иначе удача отвернется от тебя». И еще: «Слушай, что говорит вода».

Он замолчал и взглянул на ее нежное, задумчивое лицо. Точно легкий, благоуханный ветерок повеял — он почуял благодарное и согласное движение ее души.

— Раз наказано обрести смелость в теле и слушать, что говорит вода, так и поступлю,— кивнула Иветта.— Правда, я не понимаю, к чему это, но постараюсь сделать как велено.

И подняла на него ясные глаза. Многолико естество человека, будь то женщина

или мужчина. Одной своей личиной Иветта любила этого цыгана, всеми остальными — либо противилась, либо не внимала ему.

— На мыс больше не приедете? — спросил он.

И снова в ответ лишь ясный, но пустой взгляд.

— Кто знает, может, и приеду. Когда-нибудь.

— Весной пахнет! — Он чуть улыбнулся и прищурился, глядя на солнце.— Скоро мы снимемся и — в путь.

— Когда?

— Наверное, на следующей неделе.

— И куда поедете?

Он повел головой:

— Наверное, на север.

Иветта посмотрела на него.

— Ну что ж! Наверное, заеду попрощаться и с вашей женой, и со старой вещуньей.

9

Слова своего Иветта не сдержала. Чудесные мартовские дни пролетели незаметно. Странно, всякий раз, когда приходилось делать что-то самостоятельно, Иветте становилось невмоготу. Вот бы кто решил все за нее — так трудно самой выбирать наилучший ход в игре, которая называется жизнь.

Жила Иветта по-прежнему: навещала друзей, ходила на вечеринки, танцевала все с тем же самоупоенным Лео. Ей хотелось съездить попрощаться с цыганами. Очень хотелось. И ничто не мешало.

После обеда в пятницу совсем было собралась. Светило солнце. Золотым пламенем горел отцветающий шафран, вдоль дорожек уже вились первые пчелы. Река Пэпл небывало вздулась. Вода почти достигла сводов каменного моста, от кустов волчьего лыка тянуло терпким ароматом.

Но Иветту вдруг разобрала истома, ах, какая ее разобрала истома! Как в полусне бродила девушка по саду в непонятном предчувствии. Пока пригревает весеннее солнышко, домой она не пойдет. Там страшное бабушкино царство: она сидит в просторном, точно сутана, платье черного шелка и белом кружевном чепце и слушает тетушку Нелл. Та всегда наведывалась по пятницам. Приедет после завтрака, а часов в пять после чая уедет. Итак, мать и дебелая, блеклая сорокалетняя вдовица-дочь шушукались у камина, а тетя Цецилия безостановочно сновала по дому. Самого настоятеля не было: по пятницам он уезжал в город. После обеда уходила и служанка.

Иветта сидела на деревянной садовой скамейке в двух шагах от берега. Река вспучилась, забурлила, грозно катились огромные валы. На клумбах догорали огоньки шафрана, темнели прогалины скошенной травы, привлекала взор яркая зелень лавров. На крыльце появилась тетя Цецилия, позвала Иветту к чаю — по пятницам за стол садились раньше. Из-за шума воды Иветта не расслышала слов, но поняла и лишь помотала головой. Солнце еще светит вовсю, а ее зовут к унылому застолью! Ну, уж нет! Покорно благодарю!

Нежась на солнце, она отчетливо представляла себе цыгана. Душой Иветта умела переноситься в разные места, к разным людям, завладевшим ее воображением. Несколько дней она могла «прожить» в семье Фрамли, несколько дней она всем сердцем была с четой Иствудов. Сегодня она «гостила» у цыган, бродила по их табору в карьере. Любовалась, как бьет молоточком по медному блюду цыган, как изредка поднимает он голову и смотрит на дорогу, как в лошадином стойле играют детишки. Видела она и женщин: вот жена цыгана, а вот крепкая старуха — они вместе со стариком возвращаются с поклажей домой. Иветта остро почувствовала, что сегодня ее дом именно там, в цыганском таборе, у костра, рядом — ее табурет, мужчина со звонким молоточком, старуха ворчунья.

Эта волнами накатывающая тоска по милым сердцу местам, по истинно родным людям вошла в плоть и кровь Иветты. Сегодня ее нестерпимо тянуло в цыганский табор. Он стал ей роднее дома, и все из-за мужчины в зеленой фуфайке. Ее дом, где этот человек, среди фургонов, детворы, старух. Все ей там мило и дорого, словно там родилась. Интересно, а «видит» ли ее сейчас цыган? Вот она сидит на табурете, вот поднялась, многозначительно посмотрела на цыгана и пошла к фургону. Почуял ли он этот взгляд? Почуял?

Зачарованно глядела Иветта на северный склон холма, поросший темными лист-

венницами. Там сокрытая от глаз дорога поднималась на вершину и вела дальше к мысу Бонсалл. Но не шелохнется темная стена, и Иветта скользит взглядом вниз. У подножия холма река круто поворачивала — путь ей преграждала гряда валунов — и с грозным рокотом мчалась вдоль сада к мосту. Такой полноводной Иветта ее не помнила. От ила и песка вода помутнела, стала точно разбавленное молоко. Слушай, что говорит вода, повторила она про себя. А что ее слушать, она вовсе и не говорит, а рычит!

Снова взглянула Иветта на разъяренную реку, бившую о валуны на излучине. Прямо над ней, по склону, обращенному на юго-запад, бежали черные огородные грядки, упрямо тянулись к солнцу фруктовые деревья. Дальше по склону, выше дома и огорода, стояла рощица чахлых лиственниц. Там, на краю огорода, у самой опушки, работал садовник.

Иветту окликнули. То была тетя Цецилия и тетя Нелл. Они шли к воротам и махали ей на прощанье. Вот тетя Цецилия напряглась и, перекрывая шум воды, крикнула:

— Я скоро вернусь! Не забудь, бабушка в доме одна!

— Хорошо! — крикнула Иветта, но ее, скорее всего, не услышали.

Она снова уселась на скамью. Вон две жалкие фигурки в долгополых пальто медленно перебрались через мост и стали карабкаться по тропинке на соседний холм. У тети Нелл в руках был саквояж, в нем она привезла кое-что для бабушки, а увозила дары настоятельского огорода и кладовки со съестным. Все меньше и меньше черные фигурки на белой тропе, все выше и выше поднимаются они к деревне Пэплуик. Тете Цецилии что-то там понадобилось.

Потускнело солнце, уже близок закат. Какая жалость! Какая жалость, что кончается солнечный день, придется идти обратно в дом, в опостылевшие комнаты, где бабушка. Да и тетя Цецилия в деревне не задержится — уже шестой час. А вскорости понаедут из города и все остальные, злые, усталые.

Иветта с тоской огляделась, и вдруг за рокотом реки, со стороны дороги, скрытой лиственницами, ей послышался перестук копыт и скрип колес. Поднял голову садовник. Иветта отвернулась, прошла еще немного вдоль бушующей реки. До чего же не хочется возвращаться в дом! Она посмотрела на дорогу, не показалась ли тетя Цецилия. Тогда, конечно, придется уходить из сада.

Иветта услышала крик и обернулась. По тропинке меж лиственниц к дому опрометью несся цыган. Замелькала на далеком склоне и фигурка садовника — он тоже пустился бежать. И тут же позади страшно ухнуло, и покатился, все ширясь, оглушительный рокот. Цыган махал рукой — обернись!

Иветта оглянулась и в ужасе остолбенела: от излучины реки стеной двигалась огромная, с лохматой пенистой шапкой, бурая волна. Страшный рев — точно многогласый львиный рык — подавил все вокруг. Иветта застыла, не в силах пошевелить ни ногой, ни рукой. Столь велико было ее изумление перед чудодейкой-стихией. Хотелось увидеть все до конца. Но не успела она и глазом моргнуть, как огромный ревущий вал подкатил к ногам. От ужаса Иветта едва не лишилась чувств. Цыган что-то снова крикнул. Иветта подняла глаза — он был уже близко, бежал что есть мочи, черные глаза выпучились.

— Беги! — заорал он, схватив ее за руку. И тут же их настигла волна, заплела Иветте ноги, закрутила водоворотом. Адский шум вдруг представился ей безмолвием. Ненасытные валы набрасывались на сад, круша и подминая все вокруг.

Цыган, нащупывая зыбкую землю под ногами, борясь с течением, тащил Иветту за руку. Сознание девушки помутилось, словно неведомые хляби разверзлись у нее в душе. Подле тропинки, огибавшей дом, оставался еще сухой бугорок, к нему-то и устремился, боком разрезая волну, цыган. Оттуда он, не выпуская руки Иветты, прыгнул на крыльцо и потянул ее за собой. Но налетел следующий вал, смел на своем пути все, вывернул с корнем деревья. Подхватил он и Иветту с цыганом. Закрутил, замолотил их леденящий водоворот. Иветта лишь чувствовала, как сильная рука держит ее запястье. Их обоих увлекло под воду и понесло, понесло. Иветта обо что-то больно ударилась, но боль отозвалась далеким эхом.

Цыгану удалось вырваться вместе с ней на поверхность. Ухватившись за ствол глицинии, росшей у стены, он удержался на ногах. Волной ветви разметало по всей стене. Голова Иветты была над водой, рука онемела от крепких пальцев цыгана. Она тщетно пыталась нащупать ногами землю. Перед глазами мельтешило так, что ее за-

тошнило. Словно в кошмарном сне, Иветта отчаянно барахталась, но земли все никак не доставала. Лишь сильная рука удерживала ее на плаву. Цыгану удалось притянуть ее к себе, но она вцепилась ему в ногу, лишив опоры. Он снова оказался под водой, однако ствол дерева не выпустил. Еще одно усилие — и Иветта рядом. Изо всех сил ухватилась она за него и наконец встала на ноги. Цыган же едва не разрывался, одной рукой цепляясь за ствол дерева, другой — притягивая Иветту.

Вода доходила ей почти до колен. Они взглянули друг другу в глаза — лица у них исказились, по ним ручьем текла вода.

— Скорее! На крыльцо! — крикнул цыган.

Крыльцо совсем рядом, за углом. Всего четыре шага. Иветта взглянула на цыгана — нет сил! Глаза его по-тигриному зажглись яростью. Он толкнул Иветту вперед, она прильнула к стене, там водоворот меньше. Но за углом ее едва не сбило с ног и отнесло прямо к крыльцу. Цыган не отставал.

Только они взобрались на ступеньки, как снова взрокотало, и дом зашатался. Снова забурлила, поднимаясь все выше, вода. Но цыган успел распахнуть дверь, и вода внесла их с Иветтой в прихожую, швырнула к лестнице, ведущей на второй этаж. Перед глазами Иветты мелькнула бабушка, нелепо-неповоротливая, приземистая, словно тумба. Волна настигла старуху в коридоре — та выходила из столовой. Она вскинула руки, рот раскрылся, точно разверстый гроб, раздался истошный вопль.

Больше Иветта ничего не видела, не слышала, не понимала. Есть лишь лестница наверх, туда еще не добралась вода, и промокшая, продрогшая девушка, повинуясь инстинкту, с кошачьей цепкостью карабкалась по ступенькам. Добравшись до площадки, она остановилась, вцепилась в перила, выпрямилась во весь рост. Иветту била дрожь, с нее ручьем текла вода. Дом сотрясался под напором стихии, в бурлящем потоке у подножия лестницы она увидела вышачканного илом цыгана. Он, видно, захлебнулся и никак не мог прокашляться. Кепку он потерял, черные слипшиеся пряди упали на глаза, но он неотрывно смотрел на страшный потоп. Иветта проследила за его взглядом и едва не лишилась чувств. Огромным нелепым поплавком на воде качалась бабушка. Лицо у нее побагровело, невидящие голубые глаза выпучились, на губах выступила пена. Вот старческая посиневшая рука уцепилась было за лестничные перила, блеснуло на пальце обручальное кольцо. Цыган уже прокашлялся, откинул со лба волосы, вскарабкался по ступенькам и, глядя на страшное почерневшее лицо внизу, крикнул:

— Держись крепче! Иначе снесет!

Вдруг резко и раскатисто ударило, дом зашатался, затрещали и заскрипели доски, где-то ухнуло, и вода вмиг заполнила весь дом. Бабушкина рука скрылась под водой, все скрылось под водой в бушующем водовороте Обезумев от страха, Иветта из последних сил стала карабкаться выше и остановилась лишь у двери собственной комнаты. Дом затрещал и зашатался — страх сковал девушку.

— Сейчас рухнет! — Перед глазами у нее замаячило посеревшее от ужаса лицо цыгана. Он поймал ее остановившийся взгляд.

— Где дымоход? В какой комнате у вас камин? Труба крепкая, не упадет.

Свирепый взгляд его пробудил Иветту. С неожиданным и необъяснимым самообладанием она спокойно кивнула на дверь.

— Сюда! Камин здесь! Все обойдется!

В комнате у Иветты камин был маленький, а меж двух окон пролегал широкий дымоход. Цыган все еще отчаянно кашлял и дрожал всем телом. Он подошел к окну, выглянул.

Внизу бушевало целое море. По волнам неслись вывороченные деревья, зеленая будка Пирата.

Цыган все кашлял и все так же неотрывно смотрел в окно. Одно за другим валились деревья, вода прибыла уже метра на три. Цыган трясся как в лихорадке, он пытался согреться, прижимая грязные руки к грязной груди. На посиневшем от холода лице читалось смирение перед судьбой. Он повернулся к Иветте, и тут дом затрещал, словно распадаясь, загрохотало,— видно, под напором воды прорвалась какая-то преграда. Что-то обрушилось,— наверное, стена. Пол под ногами вспучился и заходил ходуном. И девушка и цыган на мгновение замерли, цыган закричал:

— Эх, упадет дом! Не выдержит! Дымоход! Труба устоит! Она как башня! Она спасет! Спасет! Раздевайся и — в постель, не то от холода околеешь!

— Да ничего... Я и так... И так обойдется... — Иветта села на стул, взглянула на цыгана. У самой лицо было бледно, волосы слиплись, взгляд потерянный.

— Ничего не обойдется! — закричал он. — Раздевайся, я разотру полотенцем! Хоть не от холода помрем, если дом рухнет! А выстоит — так даже насморка не схватим.

Он закашлялся, содрогаясь всем телом, стал стягивать через голову мокрую фуфайку. Иззябшее тело и руки не слушались, фуфайка плотно облепила его сильную грудь, лицо.

— Помоги же! — крикнул он глухо.

Иветта послушно ухватилась за край, потянула изо всех сил. Цыган наконец высвободился, стал срывать подтяжки.

— Раздевайся! Возьми полотенце и разотрись! — грубо скомандовал он. Отчаянное положение, как на войне. Сам словно одержимый стянул с себя брюки, мокрую, прилипшую к телу рубашку. Красивое тело посинело, его била мелкая дрожь — от холода и пережитого страха. Он схватил полотенце и стал проворно растираться, громко и дробно лязгая зубами, будто тарелки дребезжат. Иветта видела все как в тумане, однако сообразила, что поступает он верно. Она тоже попыталась сбросить платье. Мокрая, леденящая ткань отнимала все тепло ее тела, а с ним из Иветты уходила жизнь. Цыган помог ей сорвать платье и, продолжая растираться, на цыпочках по мокрому полу подошел к двери.

На пороге он так и застыл в предзакатных лучах, голый, с полотенцем в руке: за дверью, где некогда лестница вела вниз к окну на площадке, теперь бушевало безбрежное море, по волнам неслись вывороченные с корнем деревья, доски, всякий хлам. Ни крыльца, ни лестницы, ни самой стены как не бывало. Лишь ощерившиеся половицы на втором этаже.

Не шелохнувшись, стоял он и смотрел вниз. Дул холодный ветер. Цыган напружился и стиснул зубы, чтобы хоть немного унять дрожь, закрыл дверь и вернулся в комнату.

Раздевшись догола, Иветта пыталась растереться полотенцем; дрожала она так, что мутило.

— Отлично,— крикнул цыган,— все в порядке! Вода выше не поднимется! Отлично!

Он принялся растирать ее своим полотенцем, хотя у самого зуб на зуб не попадал. Крепко ухватив ее за плечо, он непослушною рукой медленно тер и тер ее нежное тело, как мог вытер волосы, облепившие ее маленькую головку.

Вдруг он остановился.

— Ложись в постель,— скомандовал он,— мне и самому пора растереться.

Он едва выговаривал слова — так сильно стучали зубы. Все еще дрожа, Иветта покорно забралась в постель. Цыган что есть мочи тер себя полотенцем, стараясь согреться.

Вода прибыла еще немного. Солнце зашло. На горизонте догорали багровые отблески. Цыган вытер голову, взъерошив копну черных волос, отдышался — его снова затрясло,— еще раз выглянул в окно и принялся растирать грудь. Опять закашлялся. Полотенце окрасилось кровью,— видно, где-то поранил себя. Боли, однако, он не чувствовал.

Вода по-прежнему бурлила и рокотала, била об стену чем-то тяжелым. С запада налетел холодный, колючий ветер. От каждого удара дом сотрясался и стонал так, что стыла кровь в жилах. Ужасом наполнилась душа цыгана. В который раз подошел он к двери, открыл, и сразу в комнату вместе с рокотом и шумом волн ворвался ветер. Цыган все смотрел в страшный прогал меж двух стен: бушует стихия в этот предвечерний час, уже обрисовался узкий серпик месяца, несутся по небу черные тучи, гонит их холодный, злой ветер.

Стиснув зубы, он закрыл дверь — что ж, будь что будет, судьбы не миновать. Подобрал полотенце Иветты — оно посуше и без кровавых пятен,— снова вытер голову и пошел к окну, ему не хотелось, чтобы Иветта видела, что он бессилен унять дрожь. Иветта с головой укрылась белым стеганым одеялом и простынями, тщетно пытаясь согреться. Цыган положил руку на одеяло — оно ходило ходуном,— пусть девушка чувствует, что не одна. Но она все дрожала.

— Ну вот, все и обошлось,— сказал он. — Все обошлось. Вода убывает.

Иветта откинула с мертвенно-бледного лица одеяло и взглянула на цыгана. Как

в тумане увиделось ей посиневшее неправдоподобно спокойное лицо. Она и не замечала, что у него зуб на зуб не попадает. Видела лишь его глаза: горящие, полные жизни и вместе с тем покойные, смиренные, безропотно приемлющие судьбу.

— Согрейте меня! — клацая зубами, простонала она. — Согрейте! А то я умру от холода!

И все ее маленькое, скорчившееся под белым одеялом тело содрогнулось,— казалось, дрожь разрушит его вконец.

Цыган кивнул, обвил ее руками и крепко прижал к себе, усмиряя и собственную дрожь. А дрожал он не переставая и уже не замечал этого. Сказывалось нервное напряжение.

Для Иветты крепкое объятие цыгана было словно спасительный островок для утопающего. На сердце, доселе исполненном ужаса и тревоги, полегчало. И хотя прильнувшее к ней тело цыгана, незнакомое, гибкое, сильное, содрогалось так, словно сквозь него пропустили электрический ток, Иветта успокоилась, почуяв силу и уверенность в каждом мускуле, и мало-помалу перестала дрожать. Скоро затих и он. Схлынуло непомерное напряжение, отпустил сосущий под ложечкой страх. Пронизывающий холод уступал теплу. Они отогрелись, и мучительный, кошмарный полусон, в котором они пребывали все это время, сменился сном спокойным и глубоким.

10

Солнце стояло уже высоко, а селяне с лестницами все не могли переправиться через реку Пэпл. Мост снесло. Но сейчас вода отступила, дом накренился, будто застыл перед рекой в чопорном поклоне, вокруг нанесло ила, досок, всякого хлама; западная стена обвалилась, зияли страшные прогалы комнат на обоих этажах; на земле — груда кирпичей и штукатурки.

Никаких признаков жизни в доме не было видно. Из-за реки за домом наблюдал садовник, пришла и кухарка — ее разбирало любопытство. Когда она увидела бегущего к дому цыгана, то решила, что он грабитель и душегуб, и убежала, схоронившись меж лиственницами на склоне. Там же, на задах, приметила она и его повозку. Уже вечером садовник отвел лошадь на постоялый двор в ближнем селении.

Вот и все, что узнали жители Пэплуика, пока не переправились с лестницами через реку. К дому подошли опасливо — не ровен час рухнет, так он накренился фасадом, а заднюю стену точно срезало. С благоговейным страхом взирали на безмолвные ряды книг на полках в настоятельском кабинете, на бабушкину кровать с массивным медным остовом — одной ножкой она, словно ища опоры, повисла над пустотой; на развороченную комнату прислуги на втором этаже. Служанка и кухарка всплакнули. Кто-то из мужчин отважился пролезть через разбитое кухонное окно на первый этаж. Там на полу среди ила и обломков мебели он увидел бабушкино тело. Точнее, увидел он лишь ногу в черной мягкой туфле, торчащую из месива, и в ужасе убежал.

По словам садовника, Иветты в доме быть не могло. Он видел, как ее и цыгана поток настиг в саду. Однако полицейский настоятельно попросил осмотреть дом, и братья Фрамли с готовностью бросились связывать две лестницы. Хором покликали Иветту, но без толку. Ответа не дождались.

Подняли лестницу. Боб Фрамли залез наверх, вышиб окно и оказался в комнате тети Цецилии. Ему стало жутко: все-то в этом доме знакомо до мелочей, и вот теперь этот дом мертв. И с минуты на минуту может обрушиться.

Едва поставили лестницу, как из соседнего селения прибежали с известием, что на постоялый двор приходила старая цыганка и сказала, что ее сын видел Иветту на крыше дома. Но полицейский уже залез наверх и высадил окно в комнате Иветты.

Услышав звон стекла, она очнулась от глубокого сна, вздрогнула всем телом, закричала и еще плотнее закуталась в простыню. Полицейский лишь изумленно ахнул.

— Мисс Иветта, это вы?

Повернулся и крикнул стоявшим внизу:

— Мисс Иветта здесь, в постели!

И застыл на лестнице, опасливо уцепившись за подоконник. Был он холост и как себя держать, не знал.

Прикрываясь простыней, Иветта села на постели. Волосы у нее растрепались, взгляд безумный — она еще не отошла ото сна.

Убоявшись шаткой лестницы, полицейский перелез через подоконник в комнату.

— Не бойтесь, мисс! — приговаривал он. — Не волнуйтесь. Вы в безопасности.

От чего в безопасности? От кого? Со сна ей пришло в голову, что полицейский имеет в виду цыгана. Да, первым делом она подумала о нем. Где-то он, спасший ее от великого потопа человек?

Рядом его нет. Нет! А в комнате полицейский. Что ему надо?

Она потерла ладонью лоб.

— Одевайтесь, мисс, и мы спустим вас на землю. Дом может рухнуть. Я полагаю, в других комнатах никого нет?

Он осторожно ступил в коридор и с ужасом уставился на прогал вместо стены. Далеко на дороге, змеившейся по солнечному склону холма, он увидел машину настоятеля.

На застывшем лице Иветты запечатлелось лишь разочарование. Она проворно поднялась с постели, прикрываясь простыней, быстро оглядела себя и открыла гардероб. Оделась, посмотрела в зеркало, ахнула: волосы всклокочены. Впрочем, не все ли сейчас равно! Цыгана ведь рядом нет!

Грязной кучей валялась на полу ее одежда. А там, где он оставил свою,— лишь грязное пятно на ковре да два окровавленных полотенца. И больше никаких следов. Иветта стала приглаживать волосы. Постучал полицейский.

— Войдите,— откликнулась Иветта.

Он с облегчением заметил, что она уже одета и, кажется, в здравом уме.

— Нам бы, мисс, поскорее выбраться отсюда, дом вот-вот рухнет,— повторил он.

— Да что вы говорите!— спокойно взглянула на него Иветта.— Неужто рухнет?

Снизу закричали. Иветта подошла к окну. Внизу она увидела отца. Заливаясь слезами, он воздевал к ней руки.

— Папа, я жива-здорова! — говорила Иветта спокойно, хотя душа полнилась совсем иными чувствами. Ни за что не расскажет она ему о цыгане! По щекам у нее тоже побежали слезы.

— Не плачьте, мисс, не плачьте. Господин настоятель лишился матери, но он благодарен небу, что сохранил дочь! Ведь мы все думали, что вы утонули, даже не сомневались.

— Значит, бабушка утонула? — спросила Иветта.

— Вероятно. Бедняжка! — скорбно произнес полицейский.

Иветта достала носовой платок (за ним пришлось лезть в гардероб), вытерла слезы.

— Не бойтесь, вставайте на лестницу! — уговаривал полицейский.

Иветта взглянула вниз на далекую землю и твердо решила про себя: «Нет! Ни за что на свете!» И тут же вспомнились слова цыгана: «Обрети смелость в теле своем!»

— Вы во всех комнатах посмотрели? — спросила она сквозь слезы.

— Так точно, мисс! Кроме вас и... старой хозяйки в доме никого нет! Кухарка успела убежать, а Лиззи гостила у матери. Мы волновались только за вас и за старую хозяйку. Может, все-таки попробуете спуститься по лестнице?

— Да, да, конечно,— безразлично бросила Иветта. Раз цыгана нет рядом, ей все равно.

Внизу ждал настоятель. Душа у него переворачивалась — вот высокая, худощавая фигурка медленно, спиной вперед спускается по шаткой лестнице, которую придерживал, молодцевато выглядывая из разбитого окна, полицейский.

Спустившись на землю, Иветта, как и полагается, упала без чувств в объятия отца. Боб Фрамли посадил их в машину и увез к себе домой. Там их поджидала осунувшаяся и бледная как смерть Люсиль. На радостях с ней случилась истерика. Тетя Цецилия тоже рыдала, приговаривая при этом:

— Господи, упокой души старых и даруй жизнь молодым. Как горевать мне по Матушке, когда такая радость — Иветта жива!

На слезы она не скупилась.

Наводнение случилось из-за того, что прорвало плотину водохранилища вверх по реке, в пяти милях от настоятельского дома. Много позже дознались, что под плотиной находился рудничный ход, прорытый еще во времена нашествия римлян. О нем

никто и не подозревал, но стоило обвалиться своду, как стала рушиться вся дамба. Потому-то так чудовищно и вздулась в тот роковой день река. А потом дамбу и вовсе прорвало.

Настоятель с дочерьми остался в доме Фрамли, покуда искали новое жилье. Иветта долго пролежала в постели, даже не пошла на бабушкины похороны.

Рассказывая о спасении, она лишь упомянула, что цыган втащил ее на крыльцо, а дальше она сама выбралась на лестницу и каким-то чудом доползла до своей комнаты. О цыгане было известно только, что он жив. Об этом сказала старуха, когда пришла на постоялый двор за повозкой и лошадью.

Иветта мало что могла рассказать. Она была молчалива, подавлена, происшедшее с ней помнила плохо. На нее это похоже.

Вспомнил о цыгане Боб Фрамли:

— По-моему, он заслуживает медали!

И вся семья вдруг оторопело примолкла.

— Конечно же, нам нужно его отблагодарить! — воскликнула Люсиль.

Настоятель вместе с Бобом сели в машину и поехали к карьеру. Но табора там не оказалось. Цыгане снялись с места и ушли неизвестно куда.

Лежа в постели, Иветта повторяла с тоскою в сердце:

— Я люблю его! Люблю его! Люблю!

Не хотелось жить — так велико было ее горе. И в то же время разумом она смирилась с тем, что его нет, поняла, до чего мудро он поступил.

После бабушкиных похорон Иветта получила записку из безвестного местечка:

«Дорогая мисс!

Я прочел в газете, что после того купания вы живы-здоровы, как, впрочем, и я. Хотелось бы повидать вас когда-нибудь. Может, на ярмарке скота в Тайдсуэлле. Или, может, когда случится быть в ваших краях. В тот день я шел к вам попрощаться. Так и не удалось, помешала река. Живу надеждой.

Ваш покорный слуга

Джо Босуэлл».

Только сейчас Иветте пришло в голову: а ведь у цыгана есть имя.

БАГРОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. в 1946 г.)

Советский переводчик с английского. В его переводах публиковались произведения американских, английских и австралийских писателей, в том числе повести М. Де Йонга «Колесо на крыше», К. С. Причард «Сеяла Хэн лебеду...» («ИЛ», 1979, № 12), Ф. Ф. Дэвидсона «Непокорная», рассказы Дж. Апдайка, Ф. Скотта Фицджеральда, К. Маккалерс, В. Ихимаэра («ИЛ», 1977, № 9).

Стихи разных лет

Перевод с английского СЕРГЕЯ СУХАРЕВА
Составитель Н. ДЬЯКОНОВА

Из сборника «Рифмованные стихотворения» (1913)

Конец еще одних каникул дома

Когда увижу я снова, как луна на ущербе
Заходит за черным платаном в дальнем конце сада?
Когда смутный запах матово-белых флоксов
Прокрадется вверх по стене в мое раскрытое настежь окошко?

Почему удары полночного колокола, падающие в полумрак
(Да скоро ли кончит бить двенадцать?),
Вновь и вновь сжимают мне сердце тяжким упреком?

В лунной дымке деревня, доносится колокол сквозь полумрак,
И крыши домишек пригнулись с покорной, жалкой мольбою...
— Ответь мне, мой дом: неужели я делаю что-то не так?

Дом мой, дом! Вдруг я полон любви к тебе:
Вот лошадка постукивает подковами по дороге,
Ясно слышное, четкое цоканье растворяется в тишине
Вместе с долгим хриплым шумом поезда из долины.

■

Погасла полоска света под дверью в комнату матери.
О, как она любит меня —
Всеми покинутая, седая!
И я ее оставляю,
Поглощен своими стремленьями.
Неотступно Любовь вопрошает.
Дождю и солнцу нет дела, как долго
Зерно, борясь, прорастает во тьме.
Одинокий свой путь луна спокойно свершает,
Ибо некому тосковать о ее уходе.

Всегда за моим плечом жалостная любовь, до конца моей жизни,
Никнет в печали, словно домики в дымке за поворотом, сгорбленные на окраине.
Всегда из дымки из этой церковь вздымает перст в немой укоризне,
Мой взгляд обращая к любви, что прячет лицо, чтоб печалиться втайне.
Но дождь в глубь земли проникает тишком —
Увлажнить зерно, борющееся там во тьме,
И вспять незаметно уходит потом.
Ночами встает луна,
Спокойствием тихим полна,
Взбирается мирно в зенит,
За нею вослед не летит вздох разлуки,
Горесть любовных обид
Не тяготит лунной поступи неуклонной;
Но всегда рядом со мной —
С головою, горько склоненной,—
Нищенка с неутолимой мольбой,
Любовь с тоской неотступной.

Пугливый жеребенок, взгляд упирая вбок,
Изумленно почуяв в себе новой жизни стремленья,
Уносится в поисках одиночества.
Зерно, прячась в землю, жаждет уединенья.
Дремлющее яйцо, затаив от глаз
Терпеливо-упорный труд рожденья,
В неприметном укрытье о безмолвии молит.
Но как только, молчанья истертый плащ на глаза опустив,
собираюсь я в путь,
Жалостная любовь, касаясь застежки рукою дрожащей,
Под капюшон напрасно старается мне заглянуть
И ухом прильнуть к рыданьям мучительным крови —
И жаркие слезы капают чаще и чаще,
Насквозь прожигая мне грудь.

■

Луна отошла, темнея.
Коростель кричит из кустов
Жалобно и сурово —
И сердце мое, леденея,

Остановиться готово.
Монотонный, настойчивый зов
Вопрошает меня без слова,
Вопрошает снова и снова —
И снова... и снова... и снова...

Из сборника «Нерифмованные стихотворения» (1918)

Новые небо и земля

IV

И вот пришла смерть, всепоглощение смерти,
И с ней наконец избавленье: я умер.
Я сохранил возлюбленную, сохранил себя самого —
ушел из жизни...
Разразилась война — и руки, руки всех, потянулись к убийству.
«...И вот, хорошо весьма»[1]: теперь я убийца!
Хорошо, хорошо весьма! Я могу убивать, убивать и видеть, как падают
искалеченные, объятые ужасом юноши, тьмы и тьмы
тел, одно на другое сваленные грудами,
обезображенные, в крови, сжигаемые второпях;
к небу восходят зловонным дымом
тела убитых мужчин и юношей, сваленные
в кучи, грудами, смердящими зловонными грудами,
столько, что это уж слишком, слишком — невмоготу!
Тысячи, тысячи жутких, разлагающихся трупов —
мужчины, юноши и я сам —
горят, облитые нефтью, объятые смрадным, густым дымом,
сплошь застилающим небо, пока не спускается тьма —
тьма непроглядней ночи, смерти и ада,
непроглядней ночи, смерти и ада,
и я мертв и втоптан в ничто, в могиле, насквозь прокопченной дымом,
втоптан в могилу, в прах, мертв, втоптан в ничто, в ничто.

Из сборника «Анютины глазки» (1929)

Что за тварь буржуа

Что за тварь буржуа,
в особенности мужские особи,—

Представительны, в высшей степени представительны:
если угодно, могу вам представить.

Взгляните: разве собой не красавец? Разве не пышет здоровьем?
Не превосходный ли экземпляр?
Чем не чистый, свеженький англичанин — по виду?
Не подобие ль самого Господа Бога? Свои ежедневные тридцать миль
отмеряет, охотясь на куропаток или гоняя резиновый мячик
для гольфа?
Хотелось бы вам походить на него — благополучного,
точно такого, как надо?

Но постойте!
Дайте ему повстречать непривычное чувство,
дайте столкнуться с нуждою ближнего,
дайте ему уяснить хоть раз нравственную загвоздку, пускай жизнь
потребует от него уразуметь новое —
и посмотрите, как он расквасится, словно печенье в чашке чая.

[1] Библия. Первая книга Моисеева. Бытие, 1, 31.

Понаблюдайте, как он расползется кашей — равно и грубиян и олух.
Поглядите, каков он будет на вид, когда жизнь, сама жизнь
предъявит его уму-разуму
новые требования.
Что за тварь буржуа,
в особенности мужские особи,—

Отменно холеный, как поганый гриб,
что красуется, статен и глянцевит, у всех на глазах,
или гриб-паразит, возросший на останках прошлого,
тянущий соки из мертвых листьев великой некогда жизни.

И все равно: он давно прогнил, слишком уж долго торчит на месте.
Троньте его — и внутри обнаружите пустоту,
как у старого гриба, трухлявого, источенного червями,
а на вид обманчиво гладкого, крепкого.

Он кишит, как червями, низкими чувствами,
мелкими и ничтожными —
что за тварь буржуа!

Сколько таких развелось у нас, в нашей сырой Англии:
жаль, нельзя посшибать их и растоптать,
как дрянные поганки,— пускай поскорее снова смешаются
с родимой английской почвой.

Из сборника «Крапива» (1929)

Народ

О, народ, народ,
поистине ты плоть от плоти моей!

Когда по переулкам рабочих кварталов
мимо течет и течет трудящийся люд,
когда я смотрю на несчастные, полные страха лица,
словно тянут их на крючке, будто пойманную плотву,—
криком кричу в душе: заведомо мне не под силу
вырвать эти крючки, что так искажают лица, прочь,
сеть-невидимку стальную порвать, что тянет несчастных

опять и опять работать,
работать опять и опять.

Похожи они на затравленных рыб, полумертвых от страха:
где-то там, на приволье, злой удильщик забавляется с ними,
до поры не вытаскивая на сушу — пленных рыб фабричного мира.

Редакция

Претендент на должность литературного критика:
— Вот мои рекомендации, сэр!
Редактор:— Гм, хорошо. Однако, гм-гм, как там с физиологией:
привели вас в порядок — arrangé,— вы понимаете,
надеюсь, что я имею в виду?
Претендент: — Боюсь, не совсем, сэр.
Редактор (строго): — Обезопасили вас в интересах
британской публики? Устранили у вас все предосудительное?

Претендент: — Простите, как это?
Редактор: — Посредством хирургической операции. Ваши родители потрудились вас стерилизовать?
Претендент: — Не думаю, сэр. Боюсь, не совсем, сэр.
Редактор: — Всего хорошего! Просьба больше не беспокоить. Мы дорожим благоденствием нашей британской публики.

Из сборника «Еще Анютины глазки» (1932)

Счастье быть одному

Для меня нет большего счастья, чем быть одному,
когда я могу постигать чистую радость луны,
путешествующей одиноко — сквозь время,
или величие ясеня на северном склоне холма,
где он стоит, одинокий, шурша под ветром.

Поиски любви

Если кто-то намерен искать любовь,
сразу ясно: любить ему не дано.

Кто не может любить — любви не найдет;
только любящие находят любовь,
и искать ее им вовсе не надо.

Поиски истины

Не ищи ничего иного, кроме истины,—
только истину.
Хладнокровно ищи — и доберись до сути.

Доберись — и тотчас задайся вопросом:
а каков из меня получился лжец?

Цветы и люди

Цветы обретают цветенье — и это поистине чудо.
Люди зрелости не обретают — увы, увы!

Все, что мне надо от вас, мужчины и женщины,
все, что мне надо,—
чтобы вы обретали, подобно цветам,
собственную красоту.

О, бросьте твердить о том, будто я хочу пробудить дикаря!
Разве дик цветок генцианы на верхушке грубого стебля?
Отзовется ли что-то в вашей душе его синеве?

Я хочу, чтоб вы были как нарцисс или генциана.
Скажите же мне, есть ли в вас красота, сравнимая
с жимолостью, что вот сейчас, вечером,
изливает свое дыхание?

◆

СУХАРЕВ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ (род. в 1947 г.)

Советский переводчик. Кандидат филологических наук, автор статей по проблемам стихотворного перевода. Публиковались его переводы из Дж. Китса, У. Г. Дейвиса, У. Х. Одена, Дж. Б. Шоу, О. Хаксли, Г. Мелвилла и др.

Критика

ВСМАТРИВАЯСЬ В ОБЛИК НОВОГО ВРЕМЕНИ

Беседа в редакции о тенденциях развития литератур европейских социалистических стран последнего десятилетия

СВЕТЛАНА ШЕРЛАИМОВА:

Я буду говорить о литературе Чехословакии. В последние годы здесь наметились интересные тенденции, связанные с тем акцентом на человеческом факторе, о котором во вступительном слове Юрий Васильевич Богданов говорил как о характерной черте современного этапа строительства социализма. Изображение человека, проблема героя — всегда одна из центральных в литературе, если не вообще центральная, но в разных условиях она встает по-разному. Чехословакия переживает сейчас напряженный период обновления и совершенствования экономики, социальных механизмов на пути движения к развитому социалистическому обществу. Поставленные высокие цели не могут быть осуществлены без сознательного и деятельного участия масс, каждого члена общества в отдельности. Соответствует ли сегодняшний человек этим требованиям, готов ли он подняться на новую ступень общественного развития? Этот вопрос стал внутренней темой многих новых произведений чешских и словацких писателей.

В чешском романе сейчас можно наблюдать решительный сдвиг к современной тематике, что особенно заметно по сравнению с литературой 70-х годов, где большое и важное место принадлежало историческим жанрам. Писателей — и читателей — сегодня особенно волнует, а подчас и тревожит вопрос о качественных сторонах личности нашего современника, об иерархии нравственных ценностей в современной жизни. От ответа на этот вопрос зависит не только степень отдачи индивидуума обществу, но и представление о счастье конкретного человека, об «удачности» или «неудачности» его единственной судьбы.

Если оглянуться на развитие чешского романа на протяжении послевоенного периода, то, с известной долей схематизации, можно проследить определенную эволюцию. В 50-е годы писатели главное внимание обращали на процесс вовлечения человека в общее дело, служение обществу утверждалось как смысл и наполнение индивидуальной судьбы. В 60-е годы, напротив, упор зачастую делался на дисгармонии человека и общества, вина за что возлагалась на общественные «инстанции». Необходимый литературе анализ личностных качеств индивидуума в таких произведениях велся в изоляции от социальных обстоятельств, а среди героев преобладали люди одинокие, странные, ущербные. Литература 70-х «вернула» героя в конкретную социальную среду, в производственный коллектив. Вместе с тем в центр выдвинулась проблема от-

Окончание. Начало см. в «ИЛ» № 2, 1986.

ШЕРЛАИМОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА

Литературовед и критик, доктор филологических наук. Автор монографий по литературе Чехословакии: «Станислав Костка Нейман» (1959), «Иржи Волькер и новые пути чешской поэзии XX века» (1965), «Витезслав Незвал» (1968), «Чешская поэзия XX века. 20—30-е годы» (1973), «Утверждение реального гуманизма» (1980) и многих статей по современной литературе и критике европейских социалистических стран.

ветственности человека за собственную судьбу, которая — по принципу «обратной связи» — зависит от его отношения к обществу, к избранному делу, к людям.

Современная жизнь ни в малой степени не избавлена от противоречий, конфликтов, противоборства разных нравственных норм. Но типы конфликтов и формы противоборства стали другими. И здесь литература призвана сказать свое слово, провести своими средствами анализ изменившейся действительности, помочь читателю точнее в ней ориентироваться.

Разумеется, актуальные нравственные проблемы могут решаться писателями не только на материале сегодняшнего дня. Широкое признание читателей и критики получили такие произведения о недавнем прошлом, как «В шесть вечера в «Астории» (1982) Зденека Плугаржа и «Горький привкус осени» (1983) Веры Адловой, которые отличает пристальное внимание к моральным конфликтам. И все же книги о «горячей современности» вызывают особый интерес и споры.

Острая дискуссия, каких давно уже не было в чешской критике, разгорелась вокруг нового романа хорошо у нас известного писателя Иржи Кршенека «Томаш и Маркета» (1984). Резкое расхождение мнений вызвал прежде всего образ главного героя Томаша Визнера. Это молодой талантливый специалист по автоматике, то есть человек сугубо «современной» профессии. В то же время он понимает и любит природу, свои лучшие дни проводит в деревне у воспитавшей его тетки. В романе изображена весьма успешная, хотя и не без преодоления препятствий, деятельность Томаша на поприще науки и его трудная любовь к эксцентричной рыжей журналистке Маркете. Заканчивается он внезапной смертью Маркеты в момент, когда, казалось бы, все начинает образовываться.

Кршенек достоверно и с чувством юмора изобразил будни маленькой лаборатории Института прикладной механики, в которой поначалу трудится Томаш. Мастер «деревенской» прозы сказывается в картинах сельской жизни. Однако роман перегружен проблемами и персонажами, а его основные линии остались недостаточно «проработанными», чем, на мой взгляд, и обусловлено расхождение мнений критиков. Одни сочли Томаша образцом положительного героя, отмечая его талант изобретателя, умение работать, близость к природе, трогательную любовь к Маркете. Другие увидели в нем не слишком удавшийся писателю тип приспособленца, упрекая Томаша в том, что, оставив прежнюю подругу, он женится на Маркете, отец которой — директор крупного экспериментального предприятия, где Томаш вскоре получает высокую должность. Думаю, не стоит пытаться делать из Томаша ни «образцового», ни «отрицательного» героя. Наверное, к этому не стремился и сам Кршенек. Надо отдать писателю должное: ему удалось запечатлеть многие типичные черты и черточки современной действительности, но роману можно было бы пожелать большей выявленности и определенности авторской позиции.

По отношению к роману Яна Костргуна «Свадьба столетия» (1984) критика оказалась более единодушной, хотя оценки колеблются между признанием книги «романом десятилетия» и более осторожными суждениями. Герой здесь тоже имеет очень современную профессию. Это сорокалетний инженер, кандидат наук Вацлав Зоугар, который в начале повествования занимает пост председателя крупнейшего сельскохозяйственного кооператива, где с большими затратами валюты возводится животноводческий комплекс по последнему слову науки. Человек принципиальный, Вацлав возражает против приемки комплекса с серьезными недоделками. В конце концов его заставляют подписать акт, но местное начальство, придравшись к мелочам, снимает Вацлава с должности председателя, заменив его бездарным, но послушным человеком. Отсутствие надлежащих санитарных условий приводит к возникновению среди скота эпидемии ящура. И вот Вацлав, уже не обязанный это делать, берет на себя всю тяжесть работы по ликвидации эпидемии, не ожидая и не получая ни признания, ни наград. Правда, писатель в конце романа возвращает ему любовь красавицы жены, но эта личная линия выглядит гораздо менее убедительной, чем изображение производственных конфликтов, которые в такой же степени являются и конфликтами нравственными.

«Свадьба столетия» — и в этом роман Костргуна схож с «Томашем и Маркетой» — несколько перегружена персонажами. Здесь есть вставные эпизоды, связанные с девицей весьма вольных нравов Линдой Сладкой и историей ее замужества. Но как ни старается автор позабавить читателя, эпизоды эти ощущаются как явно «избыточные». На мой взгляд, роман в этом не нуждался, или уж необходимо было органичнее соединить его разные линии. Но упреки, которые можно сделать роману, не отменяют его главного достоинства: острой постановки проблем, связанных с нравственной стороной взаимоотношений людей в процессе современного производства.

Из молодой чешской прозы, которая, в отличие от уже названных книг, сосредоточивается почти исключительно на личной жизни героев, я бы отметила роман Зденека Заплетала «Слишком поздно для громкой музыки» (1983). Охват жизни в этом романе также весьма узок, но писатель затронул важную проблему недостаточной готовности нынешних тридцатилетних принять свою долю ответственности за судьбы мира, он критически изобразил нравственный инфантилизм части современного молодого поколения.

Если в чешской литературе недавно еще столь популярный исторический роман заметно отступил на второй план, то о литературе словацкой этого нельзя сказать. Именно в последнее время там появилось несколько интересных произведений исторического жанра. Писатели стремятся как бы заново прочитать давнюю и недавнюю историю своего народа, с сегодняшних позиций осмыслить ее особенности. Таковы романы Антона Гикиша «Время мастеров» (1977) и «Любите королеву...» (1984), посвященные Словакии прошлых веков. Примечательны романы Петера Ярош «Тысяче-

летняя пчела» (1979), с которым «Иностранная литература» знакомила читателей, и «Немое ухо, глухое око» (1984). В них писатель стремится показать жизнь своей страны в широком контексте мировой истории XX века. Масштабность постановки проблем, внимание к национальной специфике Словакии были высоко оценены словацкой критикой, особенно в первом из этих романов. Вместе с тем в них немало и дискуссионного, а во втором очевидно возросла иллюстративность.

Интерес к истории не означает, что в словацкой литературе не злободневны те нравственные проблемы, о которых мы говорили применительно к литературе чешской. На мой взгляд, большой успех романов Ладислава Баллека «Помощник» (1977) и «Акации» (1981) — фрагмент этого романа журнал также публиковал,— посвященных Словакии первых послевоенных лет, объясняется не только колоритным изображением жизни той поры, но и своеобразной постановкой именно этих проблем. Баллек убедительно показывает крушение в новых условиях прежних нравственных норм, формирование иной иерархии ценностей.

Нравственные аспекты сегодняшней жизни выдвинуты на первый план в «Журналистах» (1984) Любоша Юрика, в книге Йозефа Пушкаша «Сад (в пятое время года)» (1984). В наши дни в Братиславе происходит действие романа Душана Митаны «Конец игры» (1984). Это своего рода психологический детектив: сюжет строится на преступлении молодого кино- и телережиссера Петера Славика (в состоянии аффекта он убил беременную жену) и истории того, как ему удается избежать наказания. Вину Славика взяла на себя его мать, которая ради его спасения пошла на самооговор. А Славик спокойно принял ее жертву, якобы во имя чувств матери. Написанный в ироническом ключе, роман предупреждает о зловещей опасности моральной безответственности.

Как можно заметить, нравственная проблематика часто решается писателями по принципу «доказательства от противного»: идеал утверждается через критику отрицательных черт и характеров. Однако в ряде произведений последних лет проявилось и настойчивое стремление показать подлинно положительного героя современности. Специального разговора заслуживает роман Яна Козака «Адам и Ева» (1982), публикация которого заканчивается в этом номере «Иностранной литературы». Здесь крупным планом поставлена проблема индивидуального человеческого счастья.

Козак вновь выступил мастером психологического портрета, тонким знатоком и живописцем природы, отменным стилистом. В романе нет запутанного сюжета и внешней остроты конфликтов, но по сути своей он полемичен. Выдвинув в центр вопрос о слагаемых человеческого счастья, писатель отвечает на него подробным рассказом о жизни рядового труженика, чешского садовода Адама. Ничто не давалось ему даром, он не достиг высоких постов, да к этому и не стремился, но его жизнь заполнена увлекательным делом, согрета настоящей любовью. Адам не просто хороший работник, он — творец. Он умеет заглянуть вперед, но умеет и претворить свои проекты в действительность. К осуществлению еще в детстве запавшей ему в душу мечты о выращивании в Северной Чехии прихотливых и теплолюбивых персиков Адам приступает во всеоружии научного знания и экономического расчета, без колебаний идет на столкновения и борьбу с бюрократами. И во всех начинаниях его поддерживает жена Ева.

Критики, писавшие о романе, справедливо отмечали у Козака «ванчуровскую» трактовку человека во всей его земной полнокровности. Писатель не пытается сделать любимого героя идеальным, поставить выше других людей. Адаму не чуждо ничто человеческое. Он знает толк в доброй еде и напитках, а общение с природой доставляет ему истинное удовольствие. Он горячо любит и уважает свою жену, но может глупо приревновать ее к щеголеватому столичному инженеру. Он может смертельно уставать, злиться, мучиться сомнениями. Это обычный человек, но он знает подлинную цену вещам, готов постоять за свою правду. Всегда мирный и уравновешенный, Адам приходит в ярость, когда наталкивается на преступное безразличие к делу и людям: «Идиот, кто позволяет себя обкрадывать, кто позволяет топтать плоды своего труда, которые принадлежат всем!» Это мечтатель и деловой человек, жизнелюб и борец. Такой видится писателю жизненная позиция достойного члена социалистического общества.

Написанный в сочной, реалистической манере, точный в узнаваемых деталях, привязанный к определенной географической точке, роман Козака имеет и символический смысл. Он заключен уже в названии книги. Конечно, Ева — одно из самых распространенных чешских женских имен. Ничего необычного нет и в имени Адам. Но их соединение символично, как и то, что живут они у легендарной горы Ржип, той самой, на которую в стародавние времена привел свой народ праотец Чех. Утверждая высокие нравственные ценности, дружбу человека с природой, писатель стремится восславить современных Адама и Еву, дающих жизнь доброму и светлому.

Я назвала несколько книг последних лет. С большинством из них «Иностранная литература» уже познакомила своих читателей по переводам или в рецензиях. Эти книги популярны в Чехословакии, о них говорят. В книгах разные герои, различны художественные манеры их авторов. Это книги утверждающие и критикующие, предлагающие разные, подчас дискуссионные решения. Но это не равнодушные книги. Заостряя внимание на существенных, как позитивных, так и негативных, сторонах сегодняшней действительности, они вносят свою лепту в процесс формирования нового облика человека, нового облика окружающего их общества.

МИХАИЛ ФРИДМАН:

В свете сложных и поучительных процессов, происходящих в современной румынской литературе, круг обсуждаемых вопросов представляется как нельзя более своевременным. Это стало для меня еще более очевидным после вступительного слова Юрия Васильевича Богданова, с содержанием которого я всецело согласен.

Не претендуя на исчерпывающий анализ развития современного литературного процесса в социалистической Румынии, я бы хотел остановиться на одном только явлении, которое вызывает определенный интерес критики в последнее время; речь идет о становлении нового поколения писателей, «нового вала», или «поколения 80-х годов»,— так его называют многие специалисты в стране. Как никогда часто выходят ныне антологии молодых: «Десант-83», «Альфа-84», «Девять поэтов»... Журналы «Ромыния литерарэ», «Лучафэрул», «Каете критиче» посвящают отдельные номера их творчеству. Значительно активизировали публикацию произведений молодых — их сборников рассказов и стихотворений, романов — такие издательства, как столичные «Албатрос», «Эминеску», «Дачия» в Клуже-Напоке, «Факла» в Тимишоаре. Многообразной оказалась продукция литературных кружков, руководимых известными писателями. критиками, а также отделов «Почта редакции» журналов «Лучафэрул», «Томис», «Флакэра»

Отмечая приход в литературу целой когорты молодых, один из представителей «поколения 80-х», поэт Траян Кошовей, подчеркивал: «Мы убеждены, что нынешние молодые художники завтра подтвердят свое право на признание долговечностью своих произведений, серьезностью, профессионализмом, культурой, талантом». Его статья, опубликованная в «Ромыния литерарэ», называлась «Год молодости». Показательно, однако, что об этом явлении с не меньшей уверенностью пишут и авторитетные, облеченные доверием читателей критики, не привыкшие бросаться громкими эпитетами. Среди них — известные и нашему читателю имена: Валериу Кристи, Овида Крохмэлничану, Николае Манолеску, Мирчи Йоргулеску, Валериу Рыпяну. Последний выступил с итоговой статьей в декабрьском номере за 1984 год «Ромыния литерарэ», в в которой недвусмысленно возглашал: «Явилось новое поколение!» «Год 1984-й,— писал он,— полностью подтвердил этот необратимый процесс, в ходе которого не только выдвигаются новые имена, но и происходят изменения в самой сущности нашей литературы, оказывающие благотворное воздействие на формирование эстетического сознания народа».

Не все критики в Румынии, разумеется, согласны с подобными выводами. Нередко звучат голоса, возражающие против попыток объединения молодых талантливых писателей в рамках «поколения», отличающегося общими творческими установками, сходным поиском нового художественного слова. Такие критики, как Михай Унгяну, Султана Края, Захария Сынджорзан, Костин Тукилэ, полагают, что речь идет не о решающих сдвигах в поступательном движении румынской литературы, а о естественном процессе развития с неизбежной сменой поколений.

Конечно, только время окончательно определит, кто прав и кто ошибался в своих оценках. Но уже сегодня ясно, как подчеркивает румынская критика, что пройти мимо этого явления нельзя. В центре внимания исследователей современного литературного процесса оказалось творчество значительного отряда писателей и среди них таких прозаиков, как Мирча Неделчу, Георге Кушнаренку, Иоан Грошан, Бедрос Хорасанджан, Тудор Влад, Адина Кенереш, Ион Лэкустэ и другие, а также поэтов — Мирчи Кэртэреску, Траяна Кошовея, Паула Балахура, Лучиана Василиу, Матея Вишниека и других.

Чем же выделяются, по мнению румынских специалистов, представители нового поколения? Прежде всего тем, что в отличие от предыдущих «валов» они не скрывают своих тесных связей с лучшими, гуманистическими традициями родной литературы прошлого. Говоря от имени сверстников, Кошовей подчеркивал: «Достоянием молодого поколения стало все самое ценное в культурном наследии...»

В этом активном, целенаправленном переосмыслении опыта прошлого, как свидетельствуют выводы многих рецензентов, особое место отведено творениям замечательного сатирика Иона Караджале. Опыт классиков служит для молодых ценным ориентиром в борьбе с утвердившимися шаблонами, украшательством, девальвацией слов. Много внимания уделяют молодые литературе межвоенного периода.

В тесной связи с этим творческим отношением к наследию рассматривается критиками и такая отличительная особенность нового поколения, как глубокое исследование духовного мира современника, стремление к поиску. Тут сказалась не только образованность молодых писателей, выпускников высших учебных заведений социалистического государства, не только их знание опыта прошлого («свободное и осознанное освоение Библиотеки и Словаря»— так выразился Мирча Йоргулеску), но и стремление именно с позиций этого знания художественно освоить действительность.

Ибо наиболее примечательное достоинство молодого поколения писателей, как неоднократно подчеркивают критики, заключается в том, что его поиск обращен к сегодняшним будням к происходящим в них процессам. Впервые в истории последних двух десятилетий литература молодых становится, по выражению Овида Крохмэлничану, «чутким барометром современных умонастроений, ибо она вырастает на

ФРИДМАН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
(род. в 1922 г.)

Литературовед и переводчик, кандидат филологических наук. Автор ряда работ о творчестве М. Садовяну и других румынских прозаиков, статей по истории румынской культуры XIX и XX вв. В его переводе опубликованы романы М. Садовяну «По Серету мельница плыла», «Никоарэ Подкова», «Братья Ждер», «Племя Шоймару» и др. Автор повести о жизни М. Садовяну «Молодость без старости».

основе исследования реальностей наших дней. Более того, речь не только об «открытии писателями конкретной действительности, но и о выражении глубокой сопричастности ее проблемам, прежде всего проблемам личности, рассматриваемой в наиболее достоверных ее проявлениях».

О чуткости молодых к проблемам социальной, культурной, политической жизни страны писал и Траян Кошовей, подчеркнувший вместе с тем и то пристальное внимание, с каким молодое поколение «приглядывается ко все более усложняющейся, противоречивой реальности нашей планеты». Даже молодая поэзия, как указывал Валериу Рыпяну, целиком обращена к опыту современной жизни, причем будничное в этом опыте представлено самыми достоверными своими сторонами. Что же касается прозы, то ее отличает уже не «охота за исключительными казусами, а творческое осмысление сущности сегодняшнего дня, его воплощение в многообразных, еще неведомых ипостасях...».

Герои этой литературы — преимущественно простые труженики, студенты, пекари, агрономы, торопливые прохожие, выпускники школ и интернатов, крестьяне, оставляющие родные селения, рыбаки, причем молодые художники слова обращаются к таким страницам их жизни, которые с наибольшей полнотой свидетельствуют о назревшей необходимости борьбы с рутиной, инерцией недобрых привычек, корыстью, пустословием, тем, что тормозит процессы социалистического строительства.

Итак, принципиальное неприятие формалистических экспериментов, которые обедняют человековедческий поиск литературы, уважительное отношение к традиции, стремление постичь духовные запросы современников, сущность глобальных проблем сегодняшнего мира — вот некоторые важные особенности «почерка» большинства представителей молодого поколения.

Разумеется, такое изменение ориентации литературы, которая в последние два десятилетия была в основном нацелена на осмысление прошлого — от доисторических глубин до событий первых послевоенных лет,— не могло не вызвать и заметных сдвигов в средствах художественного воплощения. Отброшены в сторону красивости, громкие фразы, многословие, эффектные «шоковые приемы». Конечно же, поиск наиболее адекватных форм выражения бывает чреват и ложными «достижениями», и ошибками, от опасности которых румынские критики неоднократно предостерегали молодых. Но, как настойчиво подчеркивал Кошовей в статье «Год молодости», «безответственно было бы петь или писать о людях конца тысячелетия, пользуясь приемами XIX века. Это все равно что пытаться изменить структуру электронно-вычислительного устройства железным плугом».

В прозе молодые преимущественно обращаются к малым жанрам — рассказу, фрагменту, порой микророману как к наиболее эффективным, действенным в период важных сдвигов в общественном и художественном сознании. Стремясь создать впечатление максимальной достоверности изображаемого, прозаики насыщают текст фактами, мелкими событиями каждодневной жизни, используют документальные фрагменты, письма, исповеди, дневники, свободно оперируют временными пластами, открывают читателю тайны писательского замысла, его единоборства с рутиной, штампами, обветшалыми формами. Ирония, сарказм, пародия часто определяют тональность прозы молодых. Но они не затушевывают, а, наоборот, еще больше оттеняют созидательную направленность писательского замысла, то, что прозаик Мирча Неделчу определил на встрече в редакции «Иностранной литературы»[1] как «изображение человека и общества ради воздействия на отдельного человека и общество в целом». И добавил: «Литературный поиск... не застрахован от ошибок, и автор должен отвечать за моральную и идейную нагрузку каждого слова, вышедшего из-под его пера,— вот почему мы уделяем такое большое внимание рациональному, сознательному выбору художественных средств».

Удачным примером такого поиска служат — по единодушному признанию румынских рецензентов — произведения самого Неделчу, в частности его вышедший в 1984 году роман «Степная малина». Эта книга о молодых современниках, их буднях, учебе, работе, поисках своего места в жизни. И вместе с тем это книга о войне, о болезненных следах, которые она успела оставить в их судьбе. Как подчеркивали рецензенты — прозаик Сорин Тител, критик Валериу Кристя — в драматической истории розыска героями, воспитанниками детдома, своих родителей, исчезнувших в дни войны, легко просматривается некий символ поисков молодого поколения, поисков «родословной», «корней». Тем самым книга Неделчу, с подзаголовком «Роман против памяти», обретает значение манифеста «поколения 80-х», направленного против искажений прошлого, создающих превратное о нем представление. В нем ощущается стремление отмежеваться от широко распространенного в последнее время романа, посвященного 50-м годам, о котором поэт Мирча Динеску во время упоминавшейся встречи в редакции «Иностранной литературы» говорил как о «дани моде на псевдокритические романы».

Стремясь насытить свое произведение дыханием жизни, веяниями времени, Мирча Неделчу постоянно «разрывает» ткань повествования, вставляя книжные цитаты, вырезки из газет, заметки, письма, авторские размышления, комментарии к смыслу тех или иных понятий. Перепады времени, вмешательство рассказчика в ход событий, раскрытие тайн «сочинительства» вызывают в читательском сознании ощущение глубокой сопричастности тому, что происходит в произведении.

Если же говорить о поэзии молодых, то она при всем при том остается средством поэтизации «прозы жизни», обыденности, чувств «маленького человека». Она демонстративно отказывается от велеречивости, лирических красивостей, вычурности. Делаются попытки расширения границ метафоры, насыщения образа дыханием реальной жизни. Случаи бесплодного экспериментирования, правда, тоже нередки — это отмечают многие рецензенты.

[1] См. об этом «ИЛ», 1985, № 3.

По свидетельству критика Лианы Кожокару, значительно приблизили свои произведения к запросам сегодняшнего дня и драматурги. «Вне зависимости от того, идет ли речь о нравственных или социальных противоречиях и изъянах, о жизни партийного активиста нового типа или рабочего на том или ином участке строительства, темы эти разрабатываются «в настоящем времени», в свете злободневных задач».

И все же, как подчеркивается во многих критических выступлениях, новизна предлагаемых молодыми художественных решений обусловила определенные трудности в читательском восприятии произведений. Парадоксально, но факт: именно возвращение литературы в пределы злободневности, ее обращение к конкретным сторонам сегодняшней реальной жизни застало многих читателей... врасплох. Активно нацеленное на максимальное привлечение читательского внимания, творчество «поколения 80-х» оказалось совсем не простым и доступным для читательских масс Румынии. Валериу Рыпяну пытается объяснить причины этого: «Уровень восприятия этих ценителей зачастую сформирован, вернее было бы сказать — деформирован, таким пониманием искусства, которое предполагает прежде всего туманный намек, крайнюю зашифрованность, трудно уловимый подтекст, а не художественное воплощение человеческой судьбы».

Но есть у этой проблемы и другая сторона — о ней ясно сказал Мирча Неделчу, будучи в гостях в «Иностранной литературе»: сегодня читатель хочет знать «не только «про то, чего не выскажешь словами», а прежде всего про то, что должно словами высказать. Наш современник глубоко и серьезно озабочен проблемами, стоящими перед миром и обществом. Все меньше теперь читающих «просто так, на сон грядущий», и все больше тех, для кого труд активного чтения стал постоянной потребностью». Для таких читателей встреча с творчеством молодых — явление во многом знаменательное. Другой гость, Мирча Динеску, счел нужным сказать и о том, что «современный читатель стал активнее и требовательнее — в этом немалая заслуга молодых прозаиков и поэтов». И добавил: «Но такая аудитория возлагает на писателя и величайшую ответственность: исказить истину или умолчать о ней равносильно смерти автора».

Завершая свое сообщение, позволю себе напомнить, что журнал «Иностранная литература» своевременно обратил внимание на это явление в румынской литературе наших дней: за последние два года на его страницах печатались стихотворения Мирчи Динеску, рассказы Аны Бландианы (место которых, по определению самой поэтессы,— «где-то между поэзией и прозой, между былью и небылью» — и именно в этом двуединстве, очевидно, их особая выразительная сила) и рассказ «История походного хлебозавода № 4» Мирчи Неделчу. Выбор, мне кажется, удачен. Предложенные советскому читателю произведения весьма показательны.

Думается, нашим читателям будет и впредь интересно знакомиться с произведениями молодых, творчество которых — по словам критика Валентина Михэеску, поначалу весьма сдержанно высказывавшегося по их поводу,— «отрадное явление, определяющее одно из измерений румынской литературы наших дней»[1].

СВЯТОСЛАВ БЭЛЗА:

В литературном потоке второй половины XX века мощное течение образуют книги о второй мировой войне, о народно-освободительной борьбе против фашизма. В социалистических странах они играют важную, нередко определяющую роль в движении литературного процесса, существенно способствуя идейно-эстетическому обогащению прозы, поэзии и драматургии. Не зря к этой теме обращались так или иначе участники сегодняшней встречи.

Произведения о войне не просто отражают основные тенденции развития литератур стран социализма, они стимулируют рост и жанрового и стилевого многообразия, расширение арсенала используемых средств изобразительности.

Есть несомненная закономерность в том, что писатели европейских социалистических стран, пишущие о второй мировой войне и народно-освободительной борьбе, столь часто выступают в качестве разведчиков на литературном фронте в поисках максимального сближения правды художественной с правдой истории, жизни. Их побуждает грандиозность и ответственность темы, незатухающее пламя памяти народной.

Война стала точкой отсчета нового летосчисления для стран социализма, и потому искусство там постоянно обращается к этому рубежному событию эпохи, не только воскрешая трагизм и героику минувших дней, но и открывая в прошлом все новые аспекты, важные для дня нынешнего.

В наше время, когда нет более насущной задачи, чем сохранение мира на планете, особую актуальность приобретает художественное осмысление уроков войны. Особенно это важно для молодежи. Ведь ныне на земном шаре большую часть населения составляют уже люди, родившиеся после войны и знающие о ней лишь по книгам и кинофильмам. Война стала жестокой «школой мужества», ускоренным «университетом» гражданского созревания для миллионов людей. А литература о ней, где действуют «навеки девятнадцатилетние», где затрагиваются важные философско-этические вопросы —такие, как проблема нравственного выбора, проблема личной ответственности за все происходящее в мире,— имеет громадное воспитательное значение для молодого поколения. Весьма поучитель-

[1] «Румынские горизонты», октябрь 1985 г. (бюллетень выпускается посольством СРР в Советском Союзе).

БЭЛЗА СВЯТОСЛАВ ИГОРЕВИЧ (род. в 1942 г.)

Критик и литературовед, специалист по литературам социалистических стран и международным связям русской литературы. Автор многих статей и предисловий к изданиям произведений зарубежных писателей.

но нынешним девятнадцатилетним «примерить» себя к тем конфликтам, экстремальным ситуациям, которыми изобиловала война и в которых между полюсами жизни и смерти проверялись моральные устои каждого. И очень важно помочь им осознать, что и в теперешних, по счастью мирных, условиях жизни нужно руководствоваться теми великими принципами нравственности, которые тогда восторжествовали и победили в споре с человеконенавистнической идеологией фашизма.

Вторая мировая война дает настоящему художнику неисчерпаемый материал не для простой беллетризации истории, а для образного выражения социально-нравственного императива эпохи.

Это можно проиллюстрировать на многих примерах, взятых из литературы 70—80-х годов, являющихся как бы новым этапом в раскрытии темы второй мировой войны. Назову снова запоминающийся образ подпоручика Адама Коссовича из романа польского прозаика Вацлава Билинского «Конец каникулам», о котором говорили уже и Юрий Васильевич Богданов и Виктор Александрович Хорев. Это молодой интеллигент, воспитанный во многом на немецкой культуре, не расставававшийся с томиком Э. Т. А. Гофмана, погибший в первый день и почти что в первый час войны при попытке спасти перебежчика, за судьбу которого он чувствовал себя в ответе. Образ Адама нравственным максимализмом перекликается с бондаревским Княжко.

Вообще можно наметить немало параллелей, сближающих произведения советских авторов и писателей других социалистических стран о войне. И это, конечно, не случайность, а свидетельство общности краеугольных идейных и эстетических критериев художников мира социализма, которое открывается за индивидуально-стилевым разнообразием творческих почерков и национально-специфическим преломлением материала (на примере критики об этом говорил Юрий Иванович Суровцев).

Всестороннее осмысление уроков войны в искусстве ведет к углублению концепции истории, концепции человека. Настойчивым поискам новых аспектов, открытию новых, доселе не разработанных пластов в толще военной темы сопутствует заметное усложнение самих проблем, за разработку которых берутся писатели социалистических стран. В сферу их художественного исследования все чаще попадают персонажи, далеко не типичные для прежней прозы о войне, о чем здесь тоже было уже сказано, и достаточно необычные конфликтные ситуации, позволяющие в неожиданном свете изобразить внутренний мир героев, тонко раскрыть их общественные связи, добраться до сокровенных глубин человеческой психики. Нередко за реалистической достоверностью произведений обнаруживается второй, метафорический план, вызванный стремлением авторов к широким художественным и философским обобщениям. Вспомним «Сотникова» Василя Быкова, «Карателей» Алеся Адамовича, «Живи и помни» Валентина Распутина, «Сашку» Вячеслава Кондратьева. В этой шеренге стоят, к примеру, наделенные чертами притчи трилогия «Мастера» и повесть «Солдат» словацкого писателя Винцента Шикулы. (Первая часть трилогии была опубликована в «Иностранной литературе», а повесть недавно вышла в книжном приложении к журналу. Хочу, кстати, всячески приветствовать такое расширение «плацдарма» — появление «Библиотеки журнала «ИЛ» позволяет редакции шире знакомить читателей со значительными произведениями зарубежной литературы.) Не буду останавливаться на этой повести подробнее, мне удалось высказаться о ней в предисловии к упомянутой книжке — подчеркну лишь, что шикуловская проза вносит много свежих штрихов в ту коллективную картину антифашистского национального восстания, которая создается искусством Словакии, и что при сопоставлении трилогии Шикулы, написанной во второй половине 70-х годов, с известными трилогиями Владимира Минача и Рудольфа Яшика, появившимися на рубеже 50—60-х годов, наглядно проступают новые черты современной прозы о войне.

Эти черты, в частности стремление подальше уйти от схематизма при изображении врагов, видны и в повести «Эскорт во тьму», и в новелле «Ода к радости» чешских писателей Яна Сухла и Отокара Халоупки (оба эти произведения вошли в сборник «Направление — Прага», выпущенный издательством «Молодая гвардия» к 40-летию Победы). В повести Сухла изображен немец-архитектор, ставший майором вермахта, но пытающийся отделиться от злодеяний фашизма, почитающий себя духовно выше носителей этой запятнавшей себя многочисленными преступлениями идеологии, но на деле он оказывается верным прислужником нацистов. Герой новеллы Халоупки — некий юноша, восторженно любящий музыку. В последние часы войны, когда в город должны вступить советские войска, в его дом врывается немецкий офицер с тяжелым пулеметом, чтобы огнем встретить победителей. Выясняется, что этот немец тоже поклонник музыкального искусства, в прошлом дирижер оркестра. Но «меломан» оказывается матерым убийцей.

Не случайно к событиям народно-освободительной борьбы постоянно обращается и литература народов Югославии. Героически сражаясь против фашистских захватчиков с первых дней войны, народы Югославии одновременно боролись и за революционное преобразование общественного строя. Вот почему уроки освободительной борьбы становятся в литературе народов Югославии одним из критериев понимания нравственных ценностей социалистической действительности. Достаточно назвать такие значительные в идейном и художественном смысле произведения, как романный цикл Михайло Лалича («Военное счастье», «Единоборцы», «Когда горы оденутся зеленью»), книги Добрицы Чосича, рассказы Антоние Исаковича и многие другие, свидетельствующие о новом качестве «военной» литературы страны. Собственно, они перерастают рамки «военной» литературы и становятся книгами об исторической судьбе Югославии вообще, о глубоких общественных переменах, произошедших в результате победы над фашизмом и установления социалистического строя, о бессмерт-

ных заветах революции и о том, как воплощаются они сегодня.

Принято считать, что лицо прозы определяется романом. В таком случае лицо прозы социалистических стран, посвященной второй мировой войне, хорошо знакомо советским читателям, ибо практически все наиболее значительные романы на эту тему переведены на языки народов СССР.

Роман можно уподобить тяжелой артиллерии, но, хотя она и «бог войны», все же не только она решала исход сражений. Тут не обойтись и без легкого стрелкового оружия, с которым — продолжая аналогию — следует сравнить «малые» жанры прозы: повесть и рассказ. За последнее десятилетие в прозе социалистических стран раздалось немало удачных, снайперских «выстрелов» в этих жанрах. Благодаря им объемнее стало наше знание войны и ее последствий, полнее — наше представление о людях, перенесших ее тяготы.

И несомненно доброе дело сделал журнал «Иностранная литература», предоставив свои страницы, скажем, для цикла рассказов известного польского прозаика Богдана Чешко, а также для подборки документальных миниатюр (1984, № 10) и рассказов (1985, № 5) югославских писателей о «тех днях» (если вспомнить название очерка Иво Андрича). Один из рассказов Бранко Чопича озаглавлен «Горькая трава забвения». Но произведения писателей Югославии и других стран социализма как раз показывают, что не поросли и не могут порасти травой забвения события «тех дней», когда между полюсами жизни и смерти испытывались на прочность нравственные устои человека (показателен тут рассказ Младена Олячи «Сын»), когда наряду с борьбой против фашизма нарастала борьба за социальные преобразования. И те, кто прошел немилосердными дорогами войны, стремятся предостеречь человечество от повторения подобных и еще более страшных ужасов. Видный югославский публицист Велибор Глигорич, в прошлом узник фашистских концлагерей, красноречиво завершает свой очерк «Книга в челюстях смерти» словами, обращенными к сегодняшнему читателю: «Все-таки победила жизнь. Она уже побеждала и тогда, когда в окружении лагерной проволоки все чернело под ударами физическими и моральными, под психическими пытками, при виде смерти товарищей, когда человек открылся во всей своей душевной и нравственной наготе, на всю шкалу, от самых высоких и светлых до самых низменных и подлых ее ступеней — во всех видах эгоизма, но и вознесенный ввысь пламенем своего духа. Сейчас, когда в литературе и в искусстве не такая уж редкость встретить воспевание идеи смерти, нам, вышедшим из живых гробниц, это по меньшей мере кажется самообманом и ложью. Ибо, живя в условиях, когда реальная смерть угрожала со всех сторон, мы поняли, сколь драгоценен свет человеческих идеалов, воистину исполненных человечности, сколь драгоценно деяние благородной человеческой души, сколько прекрасного заключено в утверждении светлых жизненных перспектив...»

Именно высоким светом человеческих идеалов, заботой о будущем пронизаны лучшие книги о минувшей войне, созданные писателями социалистических стран.

ВЛАДИМИР ОГНЕВ:

Я попросил слова вторично, чтобы представить в нашем разговоре еще одну «краску» национальной поэзии — югославской, точнее, в данном, конкретном случае сербской. И именно в том магистральном для современного искусства слова направлении, которое, мне кажется, становится явным сегодня: поэзия все чаще обращается к планетарному сознанию. Корни этого явления общеизвестны. Если даже политики называют свои работы так: «От блокового сознания — к планетарному» (так названа глава из книги Анатолия Громыко и Владимира Ломейко), то что же сказать о литературе художественной, о культуре вообще, целью которых всегда было общечеловеческое, гуманное начало. Сегодня верного до сих пор пароля —«Культура сближает народы» — недостаточно. То, что не сближает народы, уже не имеет права называться высоким словом Культура. Акцент существенный. О творчестве видного сербского поэта Васко Попы как типическом для «планетарного сознания» я хотел бы сказать два слова. Васко Попа склонен к широкому рассмотрению проблем. Время действия его героев раздвинуто во вчера и завтра. Поэт как бы зовет нас вдуматься в новые измерения вещей в век атома и космоса. Вот стихотворение «В пепельнице»:

Солнце крошечное
Табаком желтовосковое
В пепельнице угасает
Дешевой губной помадой кровоточат
Трупики окурков
Тоскуют деревца обугленные
По серным кронам
Пепельные болота колышутся
Вздыбливаются опадают
Громадная ладонь
С жарким глазом посередине
Содрогается на горизонте[1].

Масштабы взбунтовались. Словно лилипут со страхом наблюдает нависшую над ним «огромную руку» курящего Гулливера— точка наблюдения неожиданна. Когда-то Чехов сказал, что целый рассказ можно написать и о пепельнице. Такой — страшный — рассказ написан. Полупогасшая сигарета сравнена с солнцем, которое может угаснуть. Окурки лежат как трупы на поле боя. Горка пепла угрожающе вырастает на наших глазах — такой пепел уже «стучит в сердце»... И надо всем этим сожженным миром дрожит нависший, словно дамоклов меч, отсвет огромного нового солнца! Что это? Намек на атомную катастрофу? Или просто игра воображения, вызывающая в памяти теорию относительности Эйнштейна?.. К чему гадать? Наше сознание чувствует апокалипсис в этой миникартинке простого быта.

В другом стихотворении, «Ладонь», поэт воспринимает бороздки на ладони как дороги, уходящие за горизонт, как прообраз судьбы, которая словно бы начинается здесь, на этой теплой маленькой «пустыне

[1] Перевод О. Николаевой.

румяной». И снова бунтуют масштабы: в улыбке человека живет, оказывается, сама природа, отзываясь на легкое дуновение уст золотым лучом солнца, пробегая дрожью волн, отражаясь в «голубоглазых далях», начиная утро в «сердцевине полночи». И «приручённые громы жужжат на колосьях безмолвия». Не магнитная буря, не протуберанцы солнца — улыбка человека сдвинула мир с привычных координат! Только ли привычная гипербола, поэтическая вольность, условность стоят за этим образом? Думаю, нет. Ощущение огромных возможностей человека, способного «приручить громы», улыбкой доброты согреть мир.

Так в современной поэзии встречаются глобальные идеи века — сознание критического порога, перед которым стоит человечество, и социальный оптимизм человека социалистического мировосприятия.

ПАВЕЛ ТОПЕР:

Как и каждая памятная дата, сорокалетие Победы над гитлеровским фашизмом и японским милитаризмом побудило нас оглянуться на путь, пройденный за эти годы молодыми социалистическими литературами. Мы привыкли их называть «молодыми» и часто называем их так и сейчас. Между тем сорок лет — это немалый срок в масштабах современной истории. Это вдвое больше того срока, который насчитывала советская литература к началу Великой Отечественной войны. Если мы от военных лет отмерим четыре десятилетия назад, то окажемся на рубеже XIX и XX веков, когда во всех этих странах лишь зарождалось социалистическое рабочее движение, и нам откроются не только исторические дали, но и глубина новой истории этих литератур.

Психологически это не всегда легко представить себе — история эта ведь творится на наших глазах,— но время настойчиво требует от нас именно исторического подхода к оценкам литературного процесса в социалистических странах, то есть подхода литературоведческого. Литературоведение— если искать отличие его от ближайшего родственника, текущей критики,— вступает в свои права, когда возникает необходимость в перепроверке мнений, высказанных самими участниками живого литературного процесса. Наше литературоведение, по правде говоря, пока еще только вырабатывает исторический взгляд на развитие литературы в зарубежных социалистических странах.

Может быть, первое, что при этом бросается в глаза,— динамичность развития, быстрота смен во всем, что касается тем, сюжетов, героев, конфликтов, жанровых характеристик, писательских поколений, читательского восприятия. Журнал «Иностранная литература» в своем самом первом номере (вышедшем тридцать лет назад) опубликовал повесть Анны Зегерс «Человек и его имя», в которой говорилось о послевоенном времени в Германии, о только еще начинающемся преодолении прошлого, еще неуверенных попытках осмыслить поражение гитлеровской Германии как освобождение от фашизма. Сопоставьте эту повесть с большими романами Анны Зегерс «Доверие» и «Решение», написанными в конце 50-х — в 60-е годы, или ее рассказами 70-х годов — и перемены в действительности, отраженной в ее творчестве, и перемены в самом этом творчестве станут вполне наглядными. Еще нагляднее они в деятельности более молодых писателей, представителей тех поколений, которые сформировались уже в новых условиях. Литературная жизнь социалистических стран (не только ГДР) с годами становилась все более многосторонней, богатой, разнообразной. Со всех точек зрения мы вправе говорить об ускоренном литературном развитии.

Об ускоренном развитии свидетельствует и тот критический пафос, с которым деятели литературы социалистических стран стали относиться к первым ее шагам в послевоенные годы. Конечно, следует помнить, что в искусстве более высокий этап далеко не всегда и не во всем отменяет предыдущий. Все четыре десятилетия накапливался в той или иной мере золотой фонд социалистических литератур.

И конечно, историю литературы социалистических стран ни в коем случае нельзя изображать гладкой дорогой и само собой разумеющимся ровным подъемом к вершине, закрывая глаза на многие противоречия и трудности ее развития, на подчас драматические повороты на ее пути. Не надо делать вид, что мы не замечаем сложностей,— они тоже часть истории литературы, без их анализа ее высшие достижения не были бы ясны в полной мере.

Эта диалектика развития хорошо видна по книгам, посвященным второй мировой войне, антифашистскому движению, героической борьбе подпольщиков.

Во всех социалистических странах Европы это первая и главная тема литературы, вызвавшая к жизни множество сильных, новаторских книг. Есть литературы, в которых она имеет особо большое значение, в том числе литература народов Югославии. Именно на материале народно-освободительной борьбы и революции были созданы — это можно сказать с уверенностью — наиболее значительные произведения реалистического искусства современной Югославии. Журнал «Иностранная литература» еще в самые первые годы своего существования опубликовал такие привлекшие широкое внимание книги, как «Солнце далеко» Чосича, «Прелесть пыли» Калеба, открывшие знакомство советского читателя с произведениями писателей Югославии, утверждающими героику революционно-освободительной войны. Позднее к советскому читателю пришли книги такого сильного и проникновенного таланта эпического склада, как Михайло Лалич. Печатал журнал Коша и Зоговича, Селимовича и Исако-

---

ТОПЕР ПАВЕЛ МАКСИМОВИЧ (род. в 1923 г.)

Литературовед и критик, доктор филологических наук. Автор многих работ по проблемам советской и зарубежной литератур, в том числе книг: «Арнольд Цвейг» (1960), «Ради жизни на Земле» и «Литература и война. Традиции, Решения. Герои» (1975), «Овладение реальностью» (1980) и др., а также многих статей, публиковавшихся в периодике.

вича, Космоча и Олячу — других писателей многонациональной Югославии. Характерно, что, изображая войну и человека на войне, югославские писатели в своих наиболее сильных и глубоких произведениях, независимо от их конкретного замысла и жанровой характеристики, всегда говорят о решительном выборе, перед которым стоит человек в минуту крутого социального поворота. Михайло Лалич писал: «Бранко Чопич, Эрих Кош, Добрица Чосич, Скендер Куленович, Антоние Исакович, а также и я расширили рамки военной тематики, и собственно военные события у нас были оттеснены революционной борьбой».

С годами произведения времени войны в социалистических странах Европы действительно становились заметно глубже и драматичнее (не по фабульному действию, а по психологической и нравственной напряженности), конфликтнее, человечески достовернее. Как бы ни спорили между собой книги, созданные разными писателями в разные годы, нам нетрудно увидеть преемственность развития; новые решения углубляют и расширяют то главное, основное, что было найдено литературой в первые послевоенные годы,— понимание времени войны и сопротивления фашизму как рубежа в народной жизни.

В частности, писатели с годами стали больше, чем раньше, обращать внимание на тех, кто изначально не был связан ни с антифашистским сознанием, ни с революционным действием. Это хорошо видно и по книгам, сравнительно недавно опубликованным «Иностранной литературой»,— неоднократно уже упоминавшемуся роману Билинского «Конец каникулам», повести Винцента Шикулы «Солдат», «Пороховому букварю» болгарского писателя Йордана Радичкова, опубликованному несколько ранее. Объясняя свой замысел, Радичков писал, что его герои, простые крестьяне, проходят первые азы приобщения к жизни, поэтому свои рассказы он назвал «букварем», а поскольку время было смертельно опасное, то это — «пороховой букварь». Шикула (в беседе, опубликованной в «Иностранной литературе») говорил, что его больше всего интересует участие в Словацком национальном восстании рядовых людей.

Можно было бы привести и некоторые высказывания других писателей 70-х — начала 80-х годов, совпадающие по смыслу. Движение «военной темы» в литературах социалистических стран интересно поэтому еще и тем, что с годами, с более углубленной разработкой ее, яснее становилась близость принципиальных писательских решений в этих литературах, хотя жизненный материал времени самой войны, лежащий в основе этих книг, очень разный. Эта близость (включая и советскую многонациональную литературу, что имеет особое значение) проявляется во внутренних закономерностях творчества — трактовке человеческого характера и его взаимоотношений с обстоятельствами,— и ее можно открыть за самыми разными, неповторимыми творческими решениями. Назову в качестве примера все ту же повесть Шикулы «Солдат» и «Знак беды» Василя Быкова, упоминавшиеся уже в нашем разговоре. Сопоставление может показаться неожиданным, очень уж разные эти книги — по описанным событиям, по композиционным принципам, по стилистике. Но есть почти точное совпадение — и сюжетное, и нравственное, и психологическое — в последнем поступке и в смерти солдата из повести Шикулы и Петрока из «Знака беды». Одноногий нищий солдат, никому не нужный герой первой мировой войны, привыкший бороться за свое существование, приспосабливаясь к обстоятельствам, ненавидит гитлеровцев, но старается не обнаруживать этой ненависти. Но он так потрясен расстрелом крестьян, свидетелем которого стал, что высказывает в лицо гитлеровскому майору все, что о нем думает, а затем вступает с ним в драку. Его вешают без суда и следствия.

Белорусский крестьянин Петрок, как мы помним, старался приспособиться к захватчикам, хотя ему, как и шикуловскому солдату, мысль о предательстве никогда не приходила в голову, а когда понял, что приспособиться не сможет, грозил самому Гитлеру и за этот свой бунт, столь же бессмысленный с точки зрения «здравого смысла», столь естественно идущий из глубины его души, как и у шикуловского солдата, был повешен гитлеровцами рядом с партизанами и подпольщиками. Казнь уравняла их с героями антифашистской борьбы. Так изучали они, говоря словами Радичкова, «пороховой букварь».

Мы имеем дело с тонким художническим анализом человеческой психологии, показывающим подлинно народный характер борьбы с гитлеровскими оккупантами.

Но если не иссякает интерес литературы к героическому, антифашистскому действию, почему мы должны удивляться тому, что писатели снова и снова, на новом этапе и по-новому, обращаются к теме «расчета с прошлым»? И то и другое самым непосредственным образом связано с современностью, с пониманием искусством человека и его взаимоотношений с обстоятельствами, его возможностей воздействовать на обстоятельства. Литературе стран социализма не свойственно ни прежде, ни тем более теперь некое огульное «отрицательное» отношение к «отцам»: ни одно поколение не бывает единым, это естественно, аксиоматично, есть «отцы», виновные в преступлениях фашизма, и есть «отцы», бывшие борцами против тирании и ее жертвами. И дело тут не только в обстоятельствах, но и в людях. Об этом с большой силой было сказано литературой всех социалистических стран на огромном и трагическом жизненном материале. Да, сегодня ей в большей мере, чем прежде, свойственно разбираться в сложных случаях вольного или невольного соучастия в преступлениях фашизма, и этим она помогает нам понять человека нашего времени и расширяет наше представление о народном протесте против фашизма. Но это расширение возможно только через глубоко воспринятое чувство ответственности — как это, например, показал Герман Кант в романе «Остановка в пути» и многие другие писатели — и не отменяет, а утверждает ис-

тину, найденную литературой первых послевоенных лет.

Актуальный смысл имеет и историческая романистика, широко распространившаяся, особенно за последние два десятилетия, в литературе почти всех социалистических стран. Явление это сходно с тем, что мы наблюдаем сегодня в многонациональной советской литературе, но выражено еще заметнее. С исторической тематикой в значительной мере связана и «современная классика» в литературе этих стран, представленная такими именами, как Андрич, Крлежа, Станев, Караславов, Садовяну, Петреску, Зегерс. Перечислить современных видных писателей, создающих книги о прошлом, было бы слишком трудно, причем исторические романы нередко становились наиболее заметными, определяющими явлениями всего литературного процесса той или иной социалистической страны. Общественный интерес к литературе такого рода несомненен, причем, насколько можно судить, он захватывает разные возрастные и профессиональные круги, то есть очень широк. Мы имеем дело с подъемом исторической романистики, причем в масштабах не одной страны, а всего региона, с феноменом, который требует изучения.

Сопоставляя с этой точки зрения четыре десятилетия развития литератур европейских социалистических стран с почти семидесятилетним опытом советской литературы, мы можем сказать, что интерес к истории принадлежит к закономерностям литературного развития во всех странах, в которых совершилась революция и которые стали на социалистический путь. Этот интерес связан с ростом исторического сознания общества, с общественной потребностью коренного пересмотра с социалистических позиций выводов буржуазной историографии. Если в первые послереволюционные годы в общественной психологии более заметно ощущение перелома, разрыва, то в дальнейшем более явственно начинает вступать в свои права стремление к утверждению на новой основе связи времен, выработки более дифференцированного отношения к прошлому, более глубокого понимания революционных перемен и социалистических преобразований, в которых нашли свое воплощение вековые чаяния народа. Обе эти тенденции (дополняющие, а не противостоящие друг другу) оказались в ходе ускоренного развития литератур социалистических стран Европы очень близкими хронологически, создав особую концентрацию интереса к истории. Иоганнес Бехер в самом конце 50-х годов говорил, что «время исторического романа приходит лишь сейчас». Это оказалось справедливым не только по отношению к литературе ГДР, но и других стран.

Конечно, исторический роман, как таковой, окружен многими другими жанровыми разновидностями, в которых также проявляется характерный для сегодняшней жизни социалистических стран интерес к истории, ближней и дальней. Кое-что из этого богатства видно и по публикациям «Иностранной литературы» последнего времени, о которых мы сегодня говорим,— «Тысячелетняя пчела» Петера Яроша, автобиографический «Портрет отца» Юрия Брезана (в ГДР большой популярностью пользуется автобиографическая книга Эрвина Штриттматтера «Лавка») и другим. В целом, однако, у нас еще недостаточно переводят произведения на историческую тему (дальнюю и ближнюю) писателей социалистических стран, а это ведь литература и сильная, и интересная, и очень современная по проблематике. Цельность человека, его умение восстать против угнетения, его чувство ответственности — вот ее главные идейные слагаемые.

Но наверное, наиболее наглядно движение литературы социалистических стран Европы можно проследить по произведениям последних лет на современную тематику, конфликт в которых часто разворачивается в сфере нравственности, то есть в которых за моральной проблемой, стоящей перед героем, и за выбором, предстоящим ему, не скрывается непосредственно сюжетное (то есть «внешнее»), решительное изменение течения жизни (как это обычно бывало в книгах о современности более раннего времени, конфликты которых строились вокруг открытого классового столкновения). С этой точки зрения очень показательна литература ГДР, которая наглядно демонстрирует то ускорение литературного процесса, которое характерно для социалистического общества.

У литературы ГДР есть немало успехов в такой труднейшей для искусства сфере, как созидательный труд, будь то в условиях большого города, на заводе (начиная с романа «О тех, кто с нами» Эдуарда Клаудиса), будь то в деревне в условиях преобразования крестьянской жизни на коллективистских началах (начиная с «Оле Бинкопа» Эрвина Штриттматтера). Уже в конце 60-х годов стали появляться талантливые книги, возвращающиеся к первым послевоенным годам (отдаленным от времени написания этих книг всего одним поколением) как ко времени историческому. Действительность тех лет, в которых берут начало завоевания современности, стала рассматриваться с высоты нового, более «взрослого» опыта, как время многих «детских» ошибок, упрощений, прямолинейности в решении сложных вопросов — «Мир на Востоке» Эрика Нойча, «Сила и нежность» Хорста Бастиана, «За горами» Эрика Кёлера, «Пауза для Ванцки» Альфреда Вельма, «Буриданов осел» Гюнтера де Бройна и другие. Во многих из этих книг две временные действительности и сюжетно накладывались одна на другую, подчеркивая уже в самом композиционном построении движение времени и — это главное — позицию героя по отношению к изменившимся обстоятельствам.

В произведениях о сегодняшней действительности наиболее непосредственно выражается та идея ответственности человека за судьбы мира, которую мы с полным правом можем назвать сегодня нравственной доминантой литературы социалистических стран. Это — сквозной мотив, проходящий через самые разные книги самых разных писателей, один из основных, например в завоевавшей такую большую популярность в нашей стране повести болгарского писателя Павла Вежинова «Барьер», публикация которой журналом «Иностранная литература» имела в свое время боль-

шое значение. Очень интересно и необычно это чувство ответственности показал в своем несколько наивном и даже простоватом герое писатель ГДР Иоахим Новотный в «Некто по имени Робель». Уклоняясь от какого-либо продвижения «вверх» (ибо «наверху» надо думать за других), он постоянно действует так, чтобы помочь другим, сам того не замечая. «Если не мы, то кто же?» — говорилось в романе Германа Канта «Выходные данные». «Чувство ответственности» Герман Кант не случайно назвал «главным понятием нашего времени».

Эти книги отличает острая конфликтность и в то же время возможность позитивного разрешения конфликтов, как бы ни была полна противоречий и сложна описанная в них жизнь. Они часто содержат острую критику и рисуют персонажи, которые не выдерживают нравственной проверки моральными нормами социализма, но написаны с чувством перспективы поступательного движения. Они «открыты в будущее», как были открыты в будущее все лучшие книги писателей социалистических стран первых послевоенных лет.

По книгам о современности легче всего проследить крепнущую близость литератур социалистических стран. «Киппенберг» Дитера Нолля, в центре которого стоит жизнь научно-исследовательского института, содержит многое, что самым непосредственным образом близко атмосфере советской жизни. Точно так же «Ночью на белых конях» Павла Вежинова, «Гнездо аиста» Яна Козака, новые рассказы Анны Йокаи, Йордана Радичкова и других писателей, опубликованные «Иностранной литературой» в недавние годы, воспринимаются советскими читателями как произведения о тех проблемах, которые их окружают и которые волнуют их самих. Эти книги вызывают у нас интерес не потому, что они «о другом», а потому, что они о «своем подругому». Общечеловеческое содержание искусства выражается здесь через узнаваемую действительность, через близколежащие проблемы, через общность интересов. Но это отнюдь не ведет к унификации, «усреднению» художественного творчества, как привыкли утверждать наши идейные противники: наоборот, значительные творческие индивидуальности выступают наиболее яркими выразителями как общих начал социалистического искусства, так и его индивидуального и национального своеобразия. Это достаточно хорошо видно по публикациям «Иностранной литературы».

Некогда Бертольт Брехт сказал: «Трудности гор остались позади, перед нами трудности равнин». Слова эти нашли большой отклик в те годы, когда становилось ясно, что основы социалистического общества уже заложены. Позднее Анна Зегерс возразила, что впереди будут еще и трудности гор. Спор двух замечательных мастеров социалистической культуры происходил не столько от различия исходных точек зрения, сколько из разного их приложения. В наши дни приходится чаще вспоминать слова Анны Зегерс.

Литература социалистических стран Европы развивается сейчас в обстановке нарастающего идеологического давления со стороны реакционных антикоммунистических сил Запада. Средства массовой пропаганды буржуазных стран не останавливаются, как мы знаем, перед фасильфикацией истины, прямым обманом, и уж наверняка готовы всячески скрывать правду о достижениях литературы социалистических стран. Поэтому такую большую роль приобретает правда о реальных процессах в литературе социалистических стран.

НИНА ПАВЛОВА:

Уильям Фолкнер заметил однажды: «Было не было. Есть только есть». Сказано это по поводу собственного творчества и имеет в связи с ним особый смысл. Но сама фраза, часто цитируемая нашими критиками, невольно приходит на ум, когда читаешь произведения писателей ГДР. Какой бы темы ни касалась эта литература, она исходит из противоположной посылки: как некая неотвратимость, вновь и вновь воскресает память о второй мировой войне, неотделимая от преодоления фашистского прошлого. Одно из заметных произведений в литературе ГДР последнего десятилетия, роман Кристы Вольф «Пример одного детства» (1976), начинается с предложения, которое кажется прямой противоположностью фолкнеровскому: «Прошедшее не умерло. Оно даже не прошло».

Тем, кто не знаком с романом Кристы Вольф, такое начало может показаться рискованным. Не странно ли, действительно, что на двадцать седьмом году существования ГДР писательница говорит о «непрошедшем прошлом»? Чтение романа рассеивает возможное недоумение, но не облегчает проблемы, которую ставит автор. Прошлое прошло в государстве, где живет писательница. Автор посвятила книгу сегодняшнему дню и всей душой чувствует дистанцию, отделяющую ее сегодня от того страшного времени, которое ей пришлось пережить подростком (роман «Пример одного детства» построен на автобиографическом материале). Но Кристу Вольф интересует другое — тяжело поврежденные при фашизме механизмы нравственных и социальных реакций, восстанавливающиеся гораздо медленнее, чем хотелось бы. «Почему, например, так много людей в нашем поколении испытывают страх перед авторитетами? Когда им это привили?» — спрашивала писательница в вышедшей вскоре после романа публицистической книге «Продолжение опыта».

О прошлом в литературе ГДР пишут ради настоящего и будущего. По сути дела, так было всегда, начиная с произведений 50—60-х годов, среди которых тогда выделялись известные нашему читателю романы Дитера Нолля «Приключения Вернера Хольта», «Мы не пыль на ветру» Макса Вальтера Шульца и первые рассказы и повести Франца Фюмана. И все-таки в последнее время о прошлом пишут несколько по-иному.

ПАВЛОВА НИНА СЕРГЕЕВНА

Литературовед, доктор филологических наук. Автор книг: «Творчество Эриха Мюзама» (1965), «Фридрих Дюрренматт» (1967), «Типология немецкого романа, 1900—1945» (1982) и многих статей по немецкоязычным литературам XX в.

Недавно скончавшийся Франц Фюман говорил о своем «почти маниакальном стремлении» определить тот момент, с которого в душе ребенка поднимаются ростки фашистского сознания. В 70 — 80-х годах литература начинает с другого.

В романе Кристы Вольф «Пример одного детства» жизнь героев тысячью нитей сопряжена с ходом истории. Однако на каждом отрезке ее у человека есть, полагает Криста Вольф, еще и сиюминутная логика. Эта логика не нашла отражения в учебниках истории. Она не занимает науку. Между тем вне исследования этой логики в ее связях с историей трудно объяснить сегодняшнему подрастающему поколению поступки людей при фашизме.

Криста Вольф выводит девочку Нелли Йордан с ее собственной логикой. Нелли не отделяет важного от неважного, существенного от несущественного. Она переживает значительные для ребенка внутренние потрясения. Однажды она поняла, например, что не может следовать требованию матери: «Говори мне все». Или еще урок, который, без сомнения, так или иначе приходилось усвоить в детстве каждому: тебя хвалят не по заслугам, а ты все-таки радуешься. Из поступков Нелли в книге долгое время не вырастает ничего плохого. Автор (в том-то и состоит главное!) не исследует «ростки фашистского сознания». И только постепенно и при внимательном чтении становится ясно, что у ряда как бы не связанных друг с другом эпизодов есть общая тема — страх. Страх, так же как здоровое, у Нелли очень сильное любопытство, как честолюбие, как в конце концов, жажда слиться с большинством — все эти отмеченные автором черты *обычного* сознания под давлением жизни перемонтируются в социально заданном направлении. Книге присущ особого рода психологизм, исследующий распространенные реакции человека и те выморочные стереотипы, в которые они превращаются при фашизме.

Обратимся к произведениям, опубликованным журналом «Иностранная литература»,— воспоминаниям Стефана Хермлина «Вечерний свет» и роману Юрия Брезана «Портрет отца».

Вещи это совершенно разные. Проза Хермлина утонченна и изысканна. Свобода образов, ассоциаций и культурных реминисценций сочетается в ней с выверенным ритмом. Это действительно проза поэта. Роман Брезана, напротив, простодушен и задушевен, а в построении традиционен (смешение времен, возвращение к давним событиям идут не от усложненности композиции, а от самого материала: старый человек равно живет в настоящем и прошлом).

Но есть в этих несхожих произведениях и нечто общее. В каждом из них вспоминают о времени, обращавшемся с человеком отнюдь не утонченно. И второе важное сходство: авторы не спешат взглянуть на прошлое с точки зрения настоящего; прошлой жизни героев предоставлена автономия — как значительное рисуется то, что казалось значительным им самим, а не то, что кажется важным теперь, по прошествии десятилетий.

Насколько существен такой подход, доказывает «Вечерний свет» Хермлина. «Хермлин не только певец непреклонности,— писал в рецензии на его книгу Герман Кант,— но и человек великодушно миролюбивый. Одно как будто несоединимо с другим, но примиряется справедливостью». И дальше: «Я не могу даже предположить, откуда взял он слова, которыми говорит о своих родителях. Бóльшая нежность немыслима, большее преклонение и благодарность тоже, и все-таки во всем этом есть почтительное, но отчужденное удивление».

«Иногда я навещал своего отца. После нашего последнего столкновения, когда я отказался поехать в Кембридж и на вопрос о причине отказа ответил ему, что решается судьба революции в Германии и я хочу быть с рабочими, он перестал спорить со мной о политике. Иногда я уговаривал его уехать за границу. Он улыбался и смотрел куда-то в сторону: «Зачем?» Немного погодя он добавил: «Конечно, Германия — тюрьма, но тюрьма комфортабельная. Кстати говоря,— продолжал он,— я уже давно не зарабатывал так много денег»... Как и прежде, он играл два часа в день в утренних сумерках из «Хорошо темперированного клавира». Его игра на рояле была, как всегда, изумительна; сейчас он играл еще больше, чем когда-либо. Настали времена, которые он должен был терпеть, презирая их». Отец Хермлина был схвачен в «хрустальную ночь» и погиб в Заксенхаузене, где был поставлен дробить камни и где он «до конца держался необычно — дисциплинированно, вежливо и презрительно».

И Стефан Хермлин и Криста Вольф начинают с того, что в человеке свободно, социально не детерминировано, индивидуально. Страницы об отце содержат у Хермлина резкие противоречия, «примиренные лишь справедливостью». Ни одно из этих противоречий не затушевано, ни одна сторона не подавляет другую. Сказано и о том, что отец принадлежал к классу капиталистов, содействовавших или, как в данном случае, не противившихся приходу к власти Гитлера.

Сказано, однако, и о душевной мягкости, изяществе, а потом и одиночестве, беспомощности и гордости этого человека. Читатель получает возможность увидеть человека с разных сторон. Происходит примерно то же, что в романе Германа Канта «Остановка в пути». Попав незадолго до конца войны в плен к полякам, герой книги Марк Нибур полон глубокой жалости к самому себе и своей загубленной молодой жизни. Его сознание поглощено мыслью о том, что же такое с ним сделали. Но автор строит каждую сцену так, что герою приходится осознать и другую правду — что́ сделал он и ему подобные с этой страной и другими странами.

В «Вечернем свете» Хермлина отцу посвящено несколько страниц. Для Юрия Брезана отец — главный герой и, больше того, нравственный центр его романа. Как помнят читавшие это произведение, старый Тобиас Хавк показан автором в течение десяти последних дней жизни. Собрав остатки сил, он посещает детей, приглашает родных на праздник, а главное — вспоминает прошедшую жизнь, и не только собственную (ему пришлось быть солдатом еще на полях первой мировой войны), но

и жизнь своих родителей и далеких предков. Роман, таким образом, уходит в прошлое. И давно, на заре жизни, каменотес Тобиас Хавк не пожелал снять шапку перед тем, кто платил ему за работу. Главное, что поражает автора в герое, прототипом которого послужил ему отец,—внутреннее достоинство. Достоинством отмечена и сама его смерть. «Я оказался свидетелем последних дней моего отца,— сказал Брезан в интервью, опубликованном «Иностранной литературой» вместе с романом,— и был потрясен, потому что никогда не видел столь достойного прощания с жизнью».

Я говорила о «Портрете отца» как о произведении традиционном. Но в одном отношении оно необычно. Помимо хвалебных отзывов о романе, появившихся в прессе ГДР, автору были высказаны и некоторые упреки, состоявшие, в частности, в том, что им не показаны столкновения его неуступчивого героя с фашистским режимом. Образ отца как бы гармонизирован. Он представлен читателю в старости, когда от пережитого остается, если жизнь прожита достойно, лишь спокойная мудрость.

Думаю, что Юрий Брезан в конечном счете имел право на такое изображение. Немногие немцы оказались способны на активное сопротивление фашизму. Но нельзя сбрасывать со счетов тех, кто способен был утвердить в себе внутреннее неприятие нацизма. Главным для него, как подчеркнул Брезан в уже цитировавшемся интервью, был характер — те основы высокой нравственности, которые этот простой и, несомненно, незаурядный человек сумел сохранить в себе, несмотря на все испытания времени. Очевидно, Брезан не зря упомянул в числе наиболее близких ему произведений советской литературы «Прощание с Матёрой» Распутина.

Мир «отцов» до недавнего времени рассматривался в литературе ГДР негативно и во всяком случае с заведомой настороженностью как мир поколения, на котором лежит главная часть исторической вины немецкого народа за преступления фашизма. Но теперь не менее важной представляется задача разглядеть, что это поколение сумело в себе сохранить. Формула о «преодоленном фашистском прошлом» не утратила своего значения. Но жизнь любого человека — единство, включающее и настоящее и прошлое. Выдержавшая испытания нравственность дает Тобиасу Хавку право осудить тех встречающихся ему в предсмертные дни людей, которые, возомнив себя всезнайками и хозяевами, эту нравственность нарушают. «Портрет старика, исполненного достоинства, с тонкой, чувствительной душой,— написал, заключая рецензию на роман, критик Герхард Ротбауэр,— незаменим для опознания нашей новой жизни, для нашего будущего». С подобным заключением можно согласиться.

Таковы, на мой взгляд, те изменения, которые отличают в последнее время литературу ГДР о прошлом.

ЮРИЙ БОГДАНОВ:

Чем заключить нашу беседу? Обычный метод подведения итогов по принципу согласия-несогласия с тем, кто что сказал, едва ли здесь будет уместным. Наш разговор вышел далеко за рамки скромной задачи, поставленной журналом. Но иначе и быть не могло. За каждым из опубликованных на страницах журнала произведений вырисовываются контуры динамичных, высоко развитых и глубоко дифференцированных национальных литератур, живущих по сложным законам общего и особенного. В них действует одновременно несколько поколений писателей, опирающихся на личный жизненный опыт, на свои, оплодотворенные этим опытом представления о мире, общественных и эстетических ценностях, о назначении человека на земле. Можно сказать, и в ходе беседы мы это вполне ощутили, что сорокалетняя дистанция, вобравшая в себя и испытания войны, и накал революций, и радость побед, и бремя ошибок, сегодня полноправно живет в литературе социалистических стран, красноречиво свидетельствуя об их социально-исторической и художественной зрелости.

Большинство произведений, о которых здесь говорилось, посвящено современности. Но это, как правило, не сиюминутный отклик на злобу дня. Современность настойчиво экзаменуется прошлым, всем сводом авторской и народно-исторической памяти, и одновременно с требовательной нравственной озабоченностью проецируется на будущее. «Прошедшее... не прошло»,— напоминала Нина Сергеевна Павлова слова Кристы Вольф. Литературу в самом деле волнует сегодня не столько хорошо известный, итоговый результат исторического действия, сколько сам сложнейший процесс взаимодействия человека с историей; она исследует неисчерпаемое своеобразие преломления исторического в человеке.

Задача выявления индивидуальной неповторимости (и незаменимости) человеческой личности, теснейшим образом связанная с современной конкретизацией общей идеи социалистического гуманизма, оказываясь в центре внимания литературы, активно порождает все новые, «напряженные», как назвал их Владимир Иванович Гусев, формы художественного обобщения, стимулирует поток «неожиданных» по содержанию и художественному облику произведений. Далеко не все в этом потоке заслуживает, разумеется, однозначной поддержки. Кое-что действительно отдает вторичностью, может рассматриваться как дань моде, как издержки традиционно повышенной отзывчивости некоторых литератур на иноземные поветрия. И все же в общем балансе достижений и потерь — с учетом сорока лет социалистического развития — несомненно преобладают подлинно оригинальные, позитивные накопления, образовавшие на сегодняшний день фундамент нового социалистического качества этих литератур.

Если воспользоваться шкалой, предложенной Юрием Ивановичем Суровцевым, этот вывод поддается объективной проверке на всех трех уровнях критического осмысления литературного материала. Хочется надеяться, что и наша сегодняшняя беседа, являясь оперативной формой коллективной систематизации текущего литературного процесса, даст дополнительные импульсы к публикации и заинтересованному прочтению новых произведений писателей социалистических стран. В том числе на страницах журнала «Иностранная литература».

◆

Публицистика

ТАКЭСИ КАЙКО

ВСЕ ДАЛЬШЕ И ДАЛЬШЕ!

Из книги путевых очерков

Перевод с японского Г. ЧХАРТИШВИЛИ

Нью-Йорк на первый взгляд

Впервые в этой стране, впервые в этом городе. Все впервые. Где тут запад, где восток — непонятно, какая из рек Гудзон, а какая Ист-Ривер — тоже неясно.

Японского писателя, довольно приличного на вид мужчину средних лет, выводят из отеля и запускают в подземку. Правым глазом он ошарашенно разглядывает стенки вагона — они сверху донизу покрыты каракулями, нанесенными краской из разбрызгивателей; левым же подозрительно косится на пассажиров: не дай бог, обчистят или набросятся... Говорят, самые «джунгли» в саунах, общественных туалетах и здесь, в подземке. В настоящих джунглях, если хочешь выжить, будь начеку, за каждым кустом может прятаться враг. Так и в этом городе — никогда не знаешь, кто, что, когда и откуда может на тебя обрушиться. Понятно? Да, понятно.

Еще в отеле писатель прошел у знатока местных нравов специальный инструктаж, дополненный многочисленными примерами; и вот теперь он трясется в ржавом железном ящике, обклеенном рекламами, в этом самом дешевом из всех видов транспорта. Правый глаз и левый глаз заняты своим делом, однако при этом нужно еще сохранять внешне видимость достоинства и безмятежности — просто едет себе почтенный гость с далекого Востока. Во внутреннем кармане пиджака лежат две десятидолларовые бумажки, положенные туда по совету все того же знатока. Большую сумму при себе иметь нельзя, но совсем без денег выходить тоже не рекомендуется.

Мистер Вергилий, проводник писателя по кругам ада (а кстати, и обладатель шестого дана дзюдо), говорит, когда поезд останавливается на одной из станций: «Приехали, выходим». Он резко поднимается с места, писатель тут же дергается вслед за ним. Пш-ш-ш — двери открываются, мистер Вергилий шагнул на платформу. Суетливо оглядываясь, писатель выскакивает следом. На станции в нос ударяет резкий запах нечистот. На Востоке сей аромат отдает чем-то соленокисловатым, а в этом городе, может от кока-колы и гамбургеров, он сладок и густо-приторен. Причем несет не от какой-то одной колонны или из темного угла — запах нечистот в этом сумрачном диковатом месте доносится буквально отовсюду: от каждой стены, каждой лестницы, каждого столба.

— Вот это да,— растерянно бормочет писатель, причем от неожиданности в его

© K. Kaiko, 1983.

ТАКЭСИ (КЭН) КАЙКО (род. в 1930 г.)

Японский писатель, публицист. Юрист по образованию. Автор многих романов, повестей, сборников рассказов, эссе, публицистических очерков. Лауреат премии Акутагава. В 1977 г. издательство «Бунгэй сюндзю» выпустило пятитомное собрание произведений Такэси Кайко. На русский язык переведены его романы «Японская трехгрошовая опера» (М., Художественная литература, 1971), «Горькое похмелье» (М., Прогресс, 1975), повести «Гиганты и игрушки», «Паника», «Голый король» (М., Художественная литература, 1978), книга очерков «С высоты токийской башни» (М., Прогресс, 1984). В «ИЛ» напечатаны фрагменты этой книги под названием «Токио с близкого расстояния» (1980, № 4).

Журнал публикует главы из его книги американских путевых очерков «Все дальше и дальше!» (Токио, Бунгэй сюндзю, 1983).

голосе почему-то звучит радостное удивление.

Обладатель шестого дана, улыбаясь, оборачивается и чуть ли не с гордостью произносит:

— Здорово?

Писатель и его гид поднимаются по грязной, запущенной лестнице на поверхность и оказываются на Таймс-сквер. Это царство секса и неона поначалу оглушает пришельцев какофонией звуков и ослепляет великолепием огней. Однако, когда глаза привыкают к яркому свету, оказывается, что площадь на самом деле имеет вид довольно бедный, грязный, даже жалковатый. Светятся бесчисленные крикливые вывески порнокинотеатров, секс-шоу, магазинов «Игрушки для взрослых», но мостовая в трещинах, повсюду грязные лужи, мусор. Здесь царит то же оживление, звучат те же шутки и витает в воздухе та же тоска, что в рыночных кварталах любого большого города Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока или Южной Америки. Поглощая все вокруг, бьет ключом та же знакомая жизнь, бестолковая и суетливая, распущенная и жалкая, неприкрашенная и неугомонная. Здесь и в помине нет изысканной испорченности декаданса, лишь циничная прямота и горечь. Над уличными фонарями, мусорными ящиками, над тележками, где жарят шашлыки и кукурузу, над порнозабегаловкой, куда зычным голосом зазывает зрителей старый негр, словом, всюду — и спереди и сзади,— то обдавая густой волной, то смешиваясь с другими запахами, царит все та же вонь. Она поистине вездесуща.

— Прямо как в Париже,— удивляется писатель.— Под мостами через Сену и на улочках студенческих кварталов то же самое. Я думал, как приеду туда, сразу же вдохну аромат «Шанели № 5» или, на худой конец, запах свежевыпеченного хлеба. Вот уж не ожидал.

— Неужели Париж тоже пропах мочой?

— Да. Если у тебя есть нос, этого нельзя не почувствовать. Если носа нет — дело другое. У французов существует освященная веками традиция — мочиться где придется. «Галльский дух» — так это, кажется, называется. Они вообще сочетают в себе необычайную элегантность со столь же необычайной безалаберностью. Французы превыше всего ценят естественность. Отсюда все и идет. Они терпеть не могут, когда кто-то начинает задаваться или напускать на себя важный вид. А вот мочиться на улице — это «по-галльски».

— Просто в Нью-Йорке мало общественных уборных, да и в тех полно гомосексуалистов... Если тебе на улице стало невмоготу, заходишь в телефонную будку и делаешь вид, что звонишь. Самое обычное дело...

Пожилой дзюдоист горько усмехается, кривя морщинистое лицо, толстые щеки писателя собираются складками в ответной кислой улыбке, и путешественники, влекомые толпой, движутся дальше, а из порнозабегаловки доносится мощный бас: «Прямо на сцене! Высший класс!»

Итак. В японских газетах и журналах давно уже стали привычными термины «развитые страны» и «развивающиеся страны». Как и многие другие слова и выражения, они пришли к нам из английского языка. Английский термин «развитая страна» по-японски буквально означает «передовая страна», а «развивающаяся страна» — «страна на пути развития». Есть, правда, в английском и выражение «отсталая страна», но политикам его употреблять рискованно: страна здесь свободная — могут забросать тухлыми яйцами, а то и бомбу подкинут в автомобиль. Поэтому с некоторых пор все как один стали учтиво говорить «развивающиеся страны».

Наш писатель, желтокожий джентльмен, то бишь я, двигался бесконечно малой частицей по людным нью-йоркским улицам и не уставал восхищаться замечательными этими терминами.

Как отличить «развитую» страну от «развивающейся»? Стоит поставить два эти понятия лоб в лоб, как они тут же начинают терять четкие очертания, окутываться туманом. Опираясь на двадцатилетний опыт блужданий по свету, могу смело утверждать, что путешественник почти всегда с первого взгляда отличит страну, принадлежащую к разряду «развитых», по тому признаку, что жизнь людей там протекает невидимо для постороннего взгляда: она спрятана за дверьми, стенами и окнами жилищ. В странах же, называемых «развивающимися», во всяком случае в большинстве из них, жизнь во всей ее полноте можно видеть прямо на улицах. Труд. Болезни. Радость. Смех. Голод. Горе. Ссоры. Отчаяние. Смерть. Все стороны бытия открыты взгляду прохожего. Японский язык, исстари отличавшийся неконкретностью и расплывчатостью, и в данном случае бесподобен по своей уклончивости. Снимаю перед ним шляпу.

Нью-Йорк — город одновременно и «развитый» и «развивающийся». Когда смотришь на роскошные здания где-нибудь в районе Саттон-плейс, на их вестибюли, облицованные мрамором, прозрачным, как воды северного озера, сразу пропадает всякое желание вникнуть поглубже в жизнь обитателей этих хором. С другой стороны, полюбовавшись, как где-нибудь в Бауэри[1] под сенью мусорного ящика валяются пьяные бродяги — неважно, черные или белые,— смахивающие скорее не на людей, а на кучи зловонных лохмотьев.— тоже хочется скорее пройти мимо, не задумываясь над тем, что довело их до такого состояния. Не больно-то охота представлять себе жизнь богатеев — слишком уж жалким начинает казаться собственное существование. А станешь рисовать себе во

[1] Улица в нижней части Манхэттена — средоточие ночлежных домов и питейных заведений. *(Там, где это не оговорено особо,— прим. перев.)*

всех деталях житье нищих — делается совсем тошно. Столкнувшись с двумя полюсами нью-йоркской жизни, испытываешь полную растерянность. Стоишь как в густом тумане, а оба разительно несхожих лика Нью-Йорка глумливо над тобой хихикают. Хочется решить для себя, какое же из лиц города является истинным, поэтому все ходишь и ходишь по улицам, и эта необъяснимая антиномия окончательно заводит тебя в тупик. Тогда говоришь себе: ты всего лишь турист, вот и смотри, что показывают, чувствуй, что чувствуется, и не стремись к большему...

Главный мой интерес в этом путешествии — рыбная ловля, поэтому попробую объяснить свои впечатления от Нью-Йорка с помощью примера из жизни рыб.

Весной, в период нереста, самка черного окуня все время держится возле своих икринок. Двигая плавниками, она направляет к ним свежую воду, а если поблизости покажется враг или инородное тело, рыба разевает свой большой рот и отважно кидается в бой, стараясь проглотить или оттолкнуть противника. Ее самоотверженность поистине достойна восхищения. Но давайте продолжим наши наблюдения. Когда из тех самых икринок, которые самка черного окуня, не ведая сна и покоя, так ревностно оберегала, появляются мальки, мамаша, проголодавшись, запросто может отобедать своим потомством. Тут наблюдатель лишь молча разведет руками. Таков и этот город. Только что он был прост и ясен, как вдруг все летит кувырком, и ты опять ничего не понимаешь — вот какие противоречивые чувства я испытывал, бродя по улицам Нью-Йорка.

Как живут люди, укрывшиеся за стенами из мрамора, снаружи не разглядишь, поэтому я в основном смотрел на жизнь другого, «развивающегося» Нью-Йорка. Сразу за гигантскими зданиями из стали, стекла и белого бетона, бесчисленные окна которых напоминают листы миллиметровой бумаги, тут же, через переулок, за углом, спрятались покосившиеся закопченные старые склады, доходные дома, жалкие лачуги, а то и просто заросшие бурьяном и заваленные отбросами пустыри. На Фултонском рыбном рынке грязные, в лохмотьях, с давно небритой щетиной дядьки лопатами кидают на весы подванивающую рыбу. По неряшливым улицам разгуливают цветные всех возрастов. Одеты они в самые несуразные одежды, но это не мешает им двигаться с поразительной природной грацией. Прямо на асфальте, прислонившись спиной к мусорным ящикам, трясичными кулями сидят какие-то прокисшие старики и апатично потягивают виски из засунутых в бумажные пакеты бутылок.

Следом за нами пристроился некий молодой человек, он все время бормочет что-то под нос, бросая по сторонам грозные взгляды. Я в полной уверенности, что он ненормальный, но Шестой Дан успокаивает меня: это не псих, а актер с Бродвея, до которого отсюда рукой подать. Парень на ходу разучивает роль. Выходим на Вашингтон-сквер. Там, в мягком свете летних сумерек, группа мужчин и женщин танцует под музыку балканский танец. Рядом еще одна компания отплясывает калипсо. Молодой негр показывает фокусы, извлекая из воздуха языки пламени. Здесь играет оркестрик из четырех человек, там — из трех. Одинокая девица громко поет сама по себе.

Я останавливаю полицейского, который, насупившись, пробирается через толпу, и пристаю к нему с расспросами. Под белоснежной рубашкой у него пуленепробиваемый жилет. «Пусть каждый развлекается как хочет,— говорит полицейский,— а я просто хожу и наблюдаю. Моя профессия не очень-то популярна, так что я крадусь по улицам, как кошка. Не до веселья, когда знаешь, что в любую секунду в тебя могут откуда-нибудь пальнуть».

И слева, из-за деревьев, и справа, из-за кустов, доносится сладковатый аромат марихуаны, его не спутаешь ни с чем другим. Немолодой негр в одиночку поет «дикси», отстукивая ритм по ведру и старой кастрюле. Стремительно, будто молнии, из тени на освещенную улицу и обратно в сумрак скользят мальчишки и девчонки на роликовых досках. Я вглядываюсь в лица мужчин и женщин самых разных национальностей — выходцев из Западной Европы, греков, славян, азиатов, индусов, арабов, африканцев, латиноамериканцев,— и меня поражает, что многие из них похожи на всемирно известных актеров и знаменитостей. В подземном устричном баре возле Гранд-сентрал-стейшн (Большого центрального вокзала) прямо напротив меня сидел вылитый Генри Киссинджер в розовой рубашечке, похожей на пижаму, и с довольным, хоть и несколько глуповатым, видом хлебал суп из моллюсков. На Лексингтон авеню Рабиндранат Тагор с сединами Льва Толстого, глядя на прохожих мудрыми глазами, продавал порнографические открытки. Наблюдая за этим представительным, благообразным старцем, я подумал, что днем он, наверное, сидит в своей лачуге, где-нибудь на пустыре, затерянном среди бедняцких кварталов, и, ударяя в ладоши, раздумывает, согласно учению дзэн-буддизма, какая из ладоней произвела звук, а к вечеру, гонимый голодом, выползает на улицу, чтобы заработать немного денег.

Нью-Йорк с изнанки

Если проехать тоннелем по дну реки с острова Манхэттен на противоположный берег, там уже начинается территория штата Нью-Джерси. Еще час езды — и вы попадаете в тихий красивый городок под названием Инглиш-таун. За городком раскинулась сосновая роща, посреди которой вырублена широкая поляна. В конце каждой недели здесь открывается знаменитый «блошиный рынок». Главной достопримечательностью этой огромной барахолки является то, что наряду с обычными магазинчиками подержанных товаров здесь могут торговать все желающие. Достаточно заплатить небольшой

налог (за мелочную торговлю — три доллара в день, за товар покрупнее, например старые стулья или холодильники,— пять долларов), и продавай что хочешь. В основном на рынке торгуют ни на что не годной дрянью, притащенной сюда из Нью-Йорка. Подержанные вещи, которые еще хоть как-то можно использовать, продаются в самом Нью-Йорке, а сюда попадает лишь такой «товар», которому прямая дорога на помойку. Гулять по инглиш-таунской барахолке — это смотреть на жизнь Нью-Йорка и его обитателей как бы снизу, с изнанки. В свежем сиянии чудесного сентябрьского дня на поляне сгрудились сотни потрепанных грузовичков и пикапов. Товар разложен на тележках и прямо на земле. Пристроив свои богатства, продавцы греются на солнышке, не утруждая себя зазывными выкриками. Они просто сидят себе с угрюмыми лицами, многие едят мороженое. Несколько тысяч зевак тоже лижут брикеты мороженого, не спеша прогуливаясь и разглядывая товары. Все, что продается на рынке, иначе как хламом не назовешь, просто невозможно представить, как могло кому-то прийти в голову предлагать этот мусор за деньги. Сплющенные банки из-под пива. Покрытые царапинами пустые бутылки. Вырванная с мясом розетка. Стеклянные шарики. Старые ключи. Погнутые гвозди. Ящик из-под мыла. Щербатый гребень. Старая обувь (нередко только на одну ногу). Исписанные открытки. Порванный ремень. Сломанная пряжка. Ржавая безопасная бритва. Треснутая трость. Шляпа в пятнах. Рюкзак, изодранный в клочья. Мятая фляга. Початая бутылка виски без пробки. Банка сока без этикетки. Куда ни глянь, везде один только нелепый хлам. Мне то становилось смешно, то на смену веселью приходила растерянность. Этот рынок в пригороде Нью-Йорка был поразительно похож на базар где-нибудь в Джакарте или Бомбее. У меня все время было такое ощущение, будто за спиной кто-то, издеваясь надо мной, давится от хохота.

Увидев, как один пожилой дядя продает старый, драный резиновый сапог, я не удержался и спросил, кто же купит такое сокровище? Дядя уныло ответил: «Народу много, может, кто-нибудь и купит».— «Для чего же он может пригодиться?» — не отставал я от продавца. «А кто его знает,— ответил он.— Спросите у того, кто купит». Покрутив в руках свой товар, повертев его и так и сяк, дядя пробурчал себе что-то под нос и выдал идею: «А вы насыпьте в него земли и посадите деревце или выращивайте цветы. А чего, мысль неплохая». Я догадался, что он предлагает мне использовать сапог в качестве горшка для бонсая[1]. Ну что ж, идея действительно неплохая. Может быть, из сапога, обиталища пота, грязи и грибка, действительно произрастет роскошная герань. Так или иначе в скором времени сапог, видимо, снова вернется в родной город.

(С подобным примером круговорота предметов я уже сталкивался в Нью-Йорке. На тротуарах возле Вашингтон-сквер устраивают выставки-продажи уличные художники и скульпторы. Там продавалась металлическая статуэтка негра, танцующего и играющего на банджо. Она мне чем-то понравилась, и я ее купил. Когда же я вернулся в отель и стал ее рассматривать, то обнаружил, что она отлита из старых типографских матриц. Сплавив матрицы, скульптор использовал буквы для украшения одежды танцующего негра. Вот вам, пожалуйста, прием коллажа в скульптуре.)

На Таймс-сквер репетирует свой номер, готовясь к выступлению, чревовещатель. Старушка-негритянка поставила на тротуар органчик и поет. А вот табачная фирма устроила бесплатную раздачу сигарет с целью рекламы. Сразу же выстроилась длинная-предлинная очередь, все стоят и терпеливо ждут. Можно встать и за второй сигаретой, но на третий или четвертый раз раздатчики начинают ругаться. Я слышал, что многие бедняки продают по штучке сигареты, которые им удается получить в таких вот очередях.

— Черт-те что, как будто не в Нью-Йорк попал, а в Индию, — поражаюсь я.— До чего же разным может быть один и тот же город. Просто диву даешься.

Получив по сигарете «Сэлем», мы идем дальше. Табак у нас, впрочем, был и свой, но, когда выдают «забесплатно», отчего же не постоять. Размышления о низменности человеческой природы, как обычно, настроили меня на печальный лад.

В этом районе расположено множество заведений секс-индустрии. Мы вошли в порнокинотеатр с объявлением «Всего 25 центов!». Внутри — стойка вроде тех, что ставят у входа в общественных банях. За стойкой — старикашка, перед ним — столбики двадцатипятицентовых монет. Он моментально разменял нам пятидолларовую и десятидолларовую бумажки. Ссыпав монетки в карман, как шарики в патинко[1], заходим в кинотеатр. По обе стороны зальчика расположены закрытые кабинки, напоминающие телефонные. Перед дверью кабинки висит восемь цветных фотографий: A, B, C, D и 1, 2, 3, 4. На каждой запечатлен кульминационный момент одного из порнофильмов. Это похоже на фотографии комплексных обедов в общественной столовой: «Обед для Вашего ребенка», «Обед с бифштексом» и так далее. Внутри кабинки стул. Сажусь, закрываю за собой дверь, опускаю в щель двадцатипятицентовую монету. Теперь нужно вспомнить вывешенные у двери фотографии и выбрать блюдо по вкусу: «Обед для Вашего ребенка» или «Диетический обед», A или B, 1 или 2,— жмите на любую кнопку. Жму. Раздается стрекот проектора, и я получаю свою порцию «Обеда для Вашего ребенка». Как только собы-

[1] Искусство разведения карликовых деревьев.

[1] Японская азартная игра, в которой в игральный автомат запускают металлические шарики.

тия в фильме начинают развиваться, пленка останавливается. Надо снова опускать монетку. Стрекот проектора. Снова стоп. Еще двадцать пять центов. Монетки за четыре фильм прокручивается до конца. Обычное порно. Гомосексуализм. Садизм. Мазохизм. Белые с белыми. Белые с черными. Черные с черными. Белые с желтыми. Желтые с желтыми. Сколько всего можно придумать вариантов? Видимо, немало — кабинок в зальчике много. Уровень фильмов жуткий: идиотский сюжет, кошмарные диалоги, безобразные съемки, и все фильмы похожи друг на друга, как близнецы. Пока поймешь это, в глазах зарябит, а монеток тем временем проглочено порядочно.

По соседству заведение несколько иного рода. Внутри полукругом расположен ряд окошек, над которыми знакомая надпись: «Опустите 25 центов». Опускаю. Окошко открывается. Заглядываю. По маленькой круглой сцене разгуливают в чем мать родила две девицы, белая и негритянка. Видя, что открылось какое-то окошко, одна из девиц подходит поближе и трясет бедрами. И тут перед носом заинтересованного зрителя окошко захлопывается. Он спешит опустить еще одну монету, и оно снова открывается. Тут захлопнулось, там распахнулось, одно лицо возникло, другое исчезло... Две девицы, которые расхаживают по сцене, тряся бедрами, напоминают мне служителей зоопарка, кидающих корм зверям в клетки. Хотя напоказ вроде бы выставлены они сами, но животными в вольерах кажутся не девицы, а мужчины-зрители...

Подобные двадцатипятицентовые увеселительные заведения перемежаются котлетными и гриль-барами. Существуют и так называемые «секс-театры». Вход в них стоит дороже, кажется, долларов пять. По виду это заведение напоминает анатомический театр. Поначалу нам крутили все те же порнофильмы. Потом на сцену вышли парень с девицей и начали разыгрывать «спектакль». Микрофоны и освещение сцены отсутствовали. Парень был одет в белый халат, на шее у него висел фонендоскоп,— в общем, он изображал врача. Девица якобы пришла к нему на консультацию. Они немного поболтали друг с другом, разделись, легли на кушетку — и пошло-поехало. Поскольку микрофонов не было, содержание их беседы осталось тайной для зрителей. Своего рода инсценировка «игры в доктора», причем поразительная по своему убожеству. Видимо, иного выхода у «постановщиков» в связи с недостатком времени не было. Когда «актеры» начали изображать страсть, сделалось грустно и скучно, словно сидишь и смотришь, как в пасмурный летний день холодный ветер шелестит за окном ветвями деревьев. Однако если вдуматься, то, может быть, в постановке этого «спектакля» все не так просто: зритель смотрит на разыгрываемое перед ним жалкое действо и думает: а я-то, мол, все-таки лучше — и уходит из «театра» довольный, за истраченные пять долларов приобретя чувство превосходства. Впрочем, возможно, все это я себе напридумывал. Кто его разберет, этот Нью-Йорк...

А есть еще и так называемые секс-бары. Они разбросаны повсюду. Вход туда тоже стоил пятерку. В темноватом, похожем на дискотеку баре музыкальный автомат оглушительно ревел рок-мелодии. Интерьер был довольно убогий, но светоустановка гоняла по помещению красные и синие лучи. У входа торчал «мафия-бой» (так мне, во всяком случае, сказали) в майке и кроссовках, со здоровенными, как кувалды, кулаками. Стойка бара, изготовленная из прозрачного пластика, подсвечивалась снизу голубоватой лампой. Прямо по стойке разгуливали голые девицы на высоких каблуках, черные и белые; они тоже напоминали служителей зверинца. Желающий мог подойти к стойке, и по заказу одна из девиц демонстрировала ему все, что он пожелает. Это удовольствие стоило один доллар. У каждой девицы из-за резинок чулок торчали пачки мятых долларовых бумажек. В зрелище этом не было ничего сексуального, эротического или игривого. Ничего, кроме делового медицинского реализма. Что-то вроде осмотра в гинекологическом кабинете. Уж лучше было бы отправиться куда-нибудь на пастбища Техаса или луга Хоккайдо и разглядывать там анатомию жеребцов и кобыл. По крайней мере там синее небо и белые облака, простор и приволье... Приглядевшись повнимательнее, я заметил, что в баре шумит и надрывается один лишь музыкальный автомат, а посетители сидят тихо, с кислыми, хмурыми и скучными физиономиями, посасывая из банок пиво. Ни одного с оживленным лицом, с разгоревшимися глазами. Нет, зрелище не будоражило кровь, оно просто-напросто лишало последних иллюзий и нагоняло тоску.

Мои наблюдения за жизнью Нью-Йорка были беспорядочны, хаотичны и поверхностны. И светлым днем, и темной ночью, и в предрассветные сумерки, стоило мне задрать на ходу голову кверху, почти всегда я видел высящиеся надо мной спереди или сзади горы из стекла и металла, но стоило опустить взгляд чуть пониже,— в глаза бросались притулившиеся к небоскребам грязные, обшарпанные дома и домишки, вокруг которых копошились соответствующие им по виду люди. Глядя на эту картину, я каждый раз думал, что Нью-Йорк похож на какого-то представителя растительного мира, к примеру, на дерево. Дерево, начавшее расти с Манхэттена, становилось все больше, некоторые его ветки засыхали, гнили, на смену им появлялись новые побеги. В любом лесу есть стройные молодые деревца и старые трухлявые пни,— так и в Нью-Йорке, где совсем недалеко от громады Международного торгового центра сгрудились кварталы допотопных развалюх. Роскошь и нищета, стерильная чистота и грязь, обжорство и голод, красота и уродство, здравый смысл и беспечность.

активность и апатия, старина и современность, размах и мелочность умудряются в первозданном виде уживаться в огромном городе, который живет во всей этой упорядоченной неразберихе, не думая о завтрашнем дне.

Проделав долгий путь от Аляски до Нью-Йорка, я не раз видел на зеленых пастбищах Америки свежевыкрашенные, сияющие белизной домики, которых, казалось, никогда не коснутся тлен и старость. Меня преследовала навязчивая мысль, что эти домики не настоящие, а игрушечные, расставленные по лугам для красоты. По сравнению с той пасторалью, надменно-наивной, как картинка в детской книжке, суматошный Нью-Йорк показался мне более естественным и, что ли, взрослым. Наверное, жаль, что я впервые увидел его сейчас, а не лет тридцать назад, когда мне было девятнадцать.

Нью-Йорк на вкус

Под ледяным дождем на диких просторах Аляски, под палящим солнцем на озерах пустынного штата Юта мы, не щадя сил, искали рыбные места, и если рыба не ловилась, не на шутку переживали. Потом неслись на автомобилях по хайвэю под раскаленными небесами, делая по 500, а то и по 600 километров в день. Вечером, проглотив очередной гамбургер в мотеле, я каждый раз чувствовал, что в свои пятьдесят лет уже не гожусь для такой гонки. Валясь в номере на кровать, я буквально слышал, как мой внутренний счетчик топлива с треском пересекает нулевую отметку. И так день за днем, с рассвета до поздней ночи. Много позже, на седьмой месяц нашего бега к югу, где-то в песчаной чилийской пустыне счетчики автомобилей показали 40 000 километров — то есть протяженность земного экватора.

Гамбургеры, пиццы, спагетти, жареные цыплята, изредка бифштексы. Все безвкусное, жесткое, и хоть выдавалось везде огромными порциями, было немногим аппетитнее картона. В придорожных ресторанах и провинциальных городках Америки не имеют ни малейшего представления о том, как надо готовить, и от этого мне в дороге пришлось немало выстрадать. Изматывающая езда убивала все желания, оставляя лишь потребность в пище и сне. Поэтому, какой бы отравой меня ни накормили вчера, на следующий день, изнемогая от усталости и голода, я все же снова предвкушал: что-то нынче будет на ужин? Неизменное постоянство этого явления и обилие форм, которые оно способно принимать, лишний раз убедили меня в том, что нет на свете ничего важнее пищи, за исключением, может быть, только сна. Есть и спать. Все прочие желания возникают, лишь когда удовлетворены два главных.

Мы проносились мимо городков, названия которых тут же выскакивали из головы, наскоро закусывали в деревенских «гамбургер-шопах», глядя, как за окном разгуливают на солнцепеке здоровенные аборигены, обреченные всю жизнь питаться жуткой дрянью, носить плохо сшитую одежду, вкалывать до седьмого пота, а потом исчезать из этой жизни без следа. И все время я вспоминал о Нью-Йорке, до которого оставалось еще столько тысяч километров, и говорил себе, чтобы окончательно не падать духом: мне бы только туда добраться, а там уж я отведу душу. Никаких омлетов, тостов, гамбургеров, спагетти, пицц и бифштексов, даже в рестораны французской, греческой, русской и прочей кухни меня не затащишь. Но вот в Чайна-таун[1] я пойду обязательно, в какой-нибудь ресторанчик, где полно китайцев. И в японский ресторан — вопьюсь зубами в «тэккадомбури»[2], обернутые хрустящим, как накрахмаленная простыня, «нори»[3]. И еще наемся до отвала устриц и моллюсков, выловленных в тамошних прибрежных водах. Китайская, японская и морская кухни — вот моя святая троица. Не знаю, сколько дней я смогу пробыть в Нью-Йорке, но, ей-богу, ни к чему другому там не притронусь.

Так-так. Из европейских национальных кухонь сырые ракушки используют французская и итальянская, но французские рестораны, на мой вкус, чересчур шикарны, поэтому я остановил свой выбор на итальянцах, которые умеют готовить совсем по-домашнему. Добравшись до Нью-Йорка, я, по рекомендации Шестого Дана, отправился в ресторанчик под названием «Винченцо», расположенный в «Маленькой Италии»[4]. Войдя в зальчик и убедившись, что он не слишком чист и порядком замусорен, я удовлетворенно заулыбался — кажется, место действительно было неплохое. Я сел за столик и тут же заказал дюжину устриц «блю-пойнт». Потом блюдо под названием «скандзили» — это такие моллюски, похожие на трубачей[5], только поменьше размером. Их варят, мелко крошат и подают горячими под огненно-острым мясным соусом. И еще «карамали» — небольшая каракатица, сваренная в масле с лимоном и перцем. Седовласый официант с лицом Тосканини[6], одетый в белый, видавший виды халат, приносит блюдо. Я стараюсь вести себя прилично, но руки сами тянутся к устрицам. Через минуту перед моим удивленным взором совершенно пустая тарелка. Правда, «скандзили» и «карамали» оказываются приготовленными довольно средне. Не то чтобы совсем никуда, но неправильно. Хороший материал и плохое исполнение. В Америке часто сталкиваешься с подобным явлением. Эта страна, привольно раскинувшаяся с востока на запад и с севера на юг, омываемая водами Тихого океана, Атлантики и Мексиканского залива, обильна и плодородны-

[1] Китайский квартал Нью-Йорка.
[2] Вареный рис с кусочками свежего тунца и хреном.
[3] Листья сушеных водорослей, в которые заворачивают рис.
[4] Район в Нью-Йорке, населенный итальянцами.
[5] Трубач — съедобный моллюск.
[6] Знаменитый итальянский дирижер (1867—1957).

ми почвами, и пустынями, и пастбищами, и лесами, и горами, и озерами. Она богата дарами флоры и фауны — мясом, рыбой, овощами, фруктами, но при этом, как неоднократно замечали путешествующие по Америке иностранцы, готовить здесь толком не умеют.

В Бруклине, на берегу моря, есть местечко под названием Шипс-Хед («Баранья голова»). Это морская набережная, где выстроились в ряд итальянские «клэм-бары» (устричные бары). Я посетил один из них — «Рандаццо». В его меню имелись устрицы, «скандзили», жесткие и спиральные ракушки и много всякой прочей морской живности. По бару взад-вперед неторопливо похаживал пузатый дядя командирского вида и шевелил висячими усами, казалось, он вот-вот запоет звучным баритоном арию из «Риголетто». Заказываю ему по дюжине ракушек «литл-нек» и «черри-стоун». Он выбирает мне те, что помоложе, ставит бутылочки с солью, перцем, кетчупом и табаско, ловко нарезает дольками круглый лимон.

Я выжимаю лимон на белую, сочную мякоть, похожую по виду на бледно-розового моллюска-хамагури, и она тут же сжимается. Скорее, пока не вытек сок, отправляю мякоть в рот, выпиваю из ракушки остатки до последней капли. Начисто отключившись от внешнего мира, проглатываю содержимое обеих тарелок — все двадцать четыре ракушки. Мне немного совестно за свою прожорливость, но я не могу остановиться — обсасываю ракушки и кидаю, обсасываю и кидаю. Рот у меня все время в работе, и я молчу, только иногда восклицательными знаками вырываются восторженные стоны, запятыми вкрадываются вдохи и выдохи, точку же я не ставлю до самого конца.

Ранним утром другого дня я потихоньку вышел из отеля и, остановив такси, поехал в Чайна-таун. Мимо мелькали громады из стекла и металла, старые каменные здания, облупленные доходные дома, грязные складские сооружения. На сонных улицах, где свет зарождающегося дня еще смешивался с мраком уходящей ночи, то и дело мелькали сутулые призраки нищих и бродяг. Гордый и энергичный Нью-Йорк показывался мне в свой неприглядный, неуютный час. В Чайна-тауне я вышел из машины на грязной улочке, заваленной мусором, бумажными обрывками, и пошел, обходя лужи, наугад, руководствуясь лишь зрением, обонянием, а еще — шестым чувством. Несмотря на ранний час, китайский квартал давно уже был на ногах. Он кричал на разные голоса, бурлил, из труб валил дым. Нью-йоркский Чайна-таун сразу напомнил мне сайгонский Шолон[1] — там рассвет выглядел точно так же: то же оживление, сумятица, приветливость, неопрятность, напористость и безалаберность. Увидев в окно одного из ресторанчиков, как поднимается пар над чжэн-лунами (деревянными кастрюлями для варки риса), я не вытерпел и бросился туда. На полу валялись куриные кости, обитая деколой стойка была залита водой, но зато, когда я скороговоркой спросил на ломаном пекинском диалекте, есть ли рисовая каша «чжоу», есть ли соленый хворост «ютяо», есть ли пирожки «шаомай», узкоглазый хозяин с кривыми желтыми зубами лениво ответил: «Есть, у нас все есть». Я сразу потребовал горячей-прегорячей каши «чжоу» с кусочками рыбы, и, к моему удовлетворению, хозяин не забыл кинуть туда «сян-ю» (кунжутного масла). Затем он торжественно побросал в кашу «ютяо», посыпал «сянцаем» (кориандром) и перемешал все это грязноватым погнутым половником. Поднеся ко рту ложку, я вдохнул аромат кунжутного масла и «ютяо» и надолго проглотил язык. Шумно вздыхая, шмыгая носом и глядя затуманенным взором сквозь дым от каши в окно, за которым утро постепенно смывало с улицы остатки ночи, я чувствовал, как во мне оживают воспоминания о многочисленных завтраках, съеденных в Сайгоне на набережной Пастера. В те давно минувшие дни мне случалось есть точно такую же кашу и в маленьких ресторанчиках, и возле тележек уличных торговцев, а то и около какого-нибудь мусорного ящика, поставив миску на землю и не спеша, ложка за ложкой, черпая ее содержимое. Травка «сянцай» имела совершенно тот же щекочущий ноздри аромат, только здесь в кашу были накиданы ломтики рыбы лэй-юй, а там в «чжоу» обычно клали кусочки курятины. Их полагалось обсасывать и, внимательно осмотрев косточку со всех сторон, бросать на пол через правое плечо. Я, помнится, так и делал и был вполне счастлив — тоже сопел, хлюпал носом, голова немного кружилась от выпитого накануне вина, а мысли витали где-то в облаках. Вспоминая теперь те сайгонские рассветы, я не мог, конечно, забыть о рыбе шибань-юй (морской окунь), которая водится во всех океанах, в том числе и на дне нью-йоркских прибрежных вод, между камнями, только здесь она называется grouper[1]. Обязательно завтра или послезавтра закажу ее на ужин в каком-нибудь китайском ресторанчике, сваренную по способу «цинчжэн-цюаньюй»[2], пообещал я себе. Интересно, почему у меня, проглотившего за свою жизнь на завтрак бесчисленное множество омлетов, тостов, булочек, чашек кофе с молоком, так упорно засел в голове аромат обычной китайской каши?..

Не зря я в дороге мечтал отведать в Нью-Йорке «тэккадомбури»,— мои предвкушения меня не разочаровали. В городе оказалось бессчетное количество ресторанов и закусочных японской кухни, и в тех из них, которые я посетил по совету Шестого Дана, меня накормили восхитительным бостонским тунцом, чудесным калифорнийским рисом, бесподобными каракатицами, хамагури, кре-

[1] Китайский квартал старого Сайгона.

[1] Волосохвост обыкновенный.

[2] Рыба, сваренная на пару без всяких приправ.

ветками, морскими ежами, хирамэ [1] и разной прочей морской снедью. По-настоящему японскими из всех продуктов, строго говоря, были только водоросли, «нори», горчица «васаби» и «такуан» [2], а все остальные компоненты блюд состояли из даров американской земли и моря, но надо признать, вкус кушаний нисколько от этого не пострадал. Когда же я увидел, что кроме японцев в ресторанчиках полно джентльменов явно американского вида, со смаком поедающих, ловко орудуя «хаси» [3], какое-нибудь «сасими» [4] с «мирукуи» [5], мне захотелось воскликнуть: «Берегись, отчизна!» Мне стало не по себе от мысли, что «сасими» и «суси» [6] покинут нас и навсегда поселятся в Америке — чем же тогда останется гордиться родной японской кухне? К тому же в Японии, где бы ты ни ел «суси» — в ресторане, в столовой, в уличной забегаловке,— стоимость этого блюда всегда превышает качество его приготовления, а здесь, в Нью-Йорке, его готовят и дешево и вкусно. Когда-то наши патриоты любили говорить: «Где уж иностранцу оценить «суси» и «сасими»?» — и вот незаметно для нас самих японское блюдо «суси» перебралось из Токио в Нью-Йорк.

И все же, если говорить о морской кухне, окончательно «добил» меня устричный бар, расположенный под Гранд-сентрал-стейшн. Последний же удар мне нанесло блюдо из мягкопанцирного краба. Поначалу я принял этот бар за обычную привокзальную закусочную, но, вчитавшись в отпечатанное на гектографе меню, прямо ахнул, стал пробовать все кушанья подряд и потерял дар речи. У выхода я купил продававшуюся там «Кулинарную книгу устричного бара и ресторана морской кухни при Гранд-сентрал-стейшн». Это роскошное, в твердой обложке, с прекрасными иллюстрациями издание стоило четырнадцать с чем-то долларов. В нем рассказывалось об истории бара, о различных морских рыбах и ракушках, а также о способах приготовления наиболее прославленных блюд. Оказывается, заведение открылось еще в 1913 году и с тех пор специализировалось только на дарах моря. Здесь побывали все президенты США, начиная с Вудро Вильсона, а после войны бар довольно часто посещали Гарри Трумэн и Дж. Ф. Кеннеди. Да, меню в этом заведении было потрясающим, несмотря на гектографическую печать: королевские крабы с Аляски, тихоокеанские палтусы, осетр и кета из реки Колумбия, монтокские пеламиды, мэнские омары, флоридские каменные крабы и еще многое, многое другое входило в это замечательное меню. Из пресноводных рыб — гольцы, сомы, радужные форели, щуки, хирамэ. Всевозможные морские рыбы — камбалы, треска, макрель, морские судаки, окуни, лакедры, сельди, бычки, даже какие-то акулы. Буйабесс по-марсельски, осетровое рагу по-русски. Восемь видов моллюсков. В общем, любой самый ярый приверженец своей национальной кухни, придя в устричный бар, вынужден был бы признать его превосходство. Я специально заходил в это заведение каждый день, чтобы попробовать новое блюдо из моллюсков, но разница во вкусе была до того тонкой, что я не всегда мог ее уловить. Все ракушки имели голубоватое упругое мясо и острый, терпкий сок, который нежно освежал язык, зубы, небо, горло и пищевод. На ракушках «стимер» (разновидность хамагури) торчали дыхательные трубочки, обтянутые черной пленкой. «Стимеры» подавали дюжинами, в вареном виде. Моллюсков полагалось вынимать по одному из ракушек, обмакивать мякоть в специальную тарелочку с бульоном из хамагури, затем окунать еще в одну тарелочку с растопленным маслом и только потом отправлять в рот; когда же все ракушки съедены, бульон следовало выпить. Это было восхитительно.

Суси и сасими. Китайская и морская кухня... Недолго пробыл я в Нью-Йорке, но впечатление, которое произвел он на мой язык, превзошло все самые смелые мои ожидания, мечты и чаяния.

■

Раннее утро еще одного дня. Бродяги, безработные, пьяницы, наркоманы, прокутившие до утра гуляки, просто чудаки. Мусор, отбросы, грязь. Мрачные лица, неприглядные улицы. Занавес ночи уже задернут, но по сцене еще бродят неясные тени и силуэты. В этот час, когда по сумрачным углам еще ютятся последние ночные призраки, мы, неутомимые рыболовы, борясь со сладкой и тягучей дремотой, бодро топаем на лодочную пристань. Хотя стоит ранняя осень, от темного моря веет горьковато-соленым, пробирающим до костей холодом, а в завешенном хмурыми тучами небе уже ощущается дыхание зимы. Катер заказан заранее, вон он с тихим плеском покачивается на волнах возле причала, но капитан, оказывается, ушел куда-то выпить чашку кофе, и мы, втянув головы в поднятые воротники штормовок, беспомощно топчемся у входа на пристань. Ожидание немного раздражает и наводит тоску, но в глубине души живет ни на чем не основанное радостное предчувствие того, что сегодняшний день будет удачным.

У господина Мори, председателя нью-йоркского Общества друзей рыбной ловли, очень довольный вид. Взгляд светел, морщины на лице разгладились, брови приподняты в радостном ожидании. Во время ловли в Монтоке мы испытали с ним и торжество победы, и горечь поражения, но неудачи забываются, а успех еще долго кружит голову, поэтому господин Мори, весело поблескивая глазами, оживленно болтает со мной о всякой всячине. Настроение у нас чудесное, и мы, подобно художникам, от нечего делать набрасывающим рисунки за бокалом вина, достаем удочки и закидываем их в

[1] Ложный палтус.
[2] Японская маринованная редька.
[3] Палочки для еды.
[4] Кушанье из сырой рыбы.
[5] Ракушка Натталя.
[6] Колобки из вареного риса, покрытые рыбой, яйцом, овощами и приправленные уксусом и сахаром.

реку. Не успел я закинуть в масляную, мутную, гнилую воду крючок, как у меня тут же клюнуло, и я вытащил красивого окунька-подростка величиной с ладонь. Поразительно, но рыбешек в затхлой речной воде было видимо-невидимо, мы вытаскивали их одну за одной. Такие рыбки водятся в Японии в районе Кансай, там их называют «тярико». Глядя на серебристых окуньков, я закуриваю сигарету и представляю себе, как бы я мелко нарезал этих рыбок, вымочил в соусе, потом положил бы на горячие-прегорячие комки риса, завернул бы все это в хрустящее «нори», приправил «васаби» и полил бы сверху зеленым чаем... Приятные картины, то чуть расплываясь, то приобретая отчетливые очертания, проносятся перед моим мысленным взором, лаская воображение.

— Вот скоро начнется сезон,— говорит господин Мори,— и здесь будет ловиться небольшая камбала. Причем прямо без удилища, на одну леску. В удачный день можно наловить штук сто. Камбалы как раз величиной со сковородку, поэтому их так и называют «пэн-фиш»— «рыбы-сковородки». Их тут полно. Они хороши и для вяления, и для жарки, и для варки. Рыболовов, которые ловят рыбу, чтобы ее есть, здесь называют «охотниками за мясом», я тоже из их числа. Другие ловят рыбу и отпускают обратно в воду, а я не могу. Уди сколько влезет — правительство еще не ввело ограничений, камбалы пока тоже хватает. Моя мамаша ее употребляет с удовольствием.

Рассказывая вещи, невообразимые для нас, бедных жителей Японии, где рыболовов и в пресных и в морских водах всегда больше, чем рыб, мистер Мори добродушно посмеивается.

Через Гудзон перекинуто много величественных и прекрасных висячих мостов, самый знаменитый из которых — Вашингтон-бридж. Последний мост, повисший над рекой возле самого устья, называется Верадзано. Я люблю мосты. Все они — и бревенчатые, и каменные, и всякие прочие — кажутся мне красивыми, но висячие мосты Нью-Йорка обладают особым очарованием, они способны менять свой облик в зависимости от времени суток: в предрассветный час, в полдень, вечером, глубокой ночью нью-йоркские мосты красивы по-разному. Среди них есть совсем старые, уже отслужившие свое, про которые говорят, что они не сегодня завтра обвалятся. Я слышал, что специфика конструкции висячих мостов не позволяет их ремонтировать — нужно производить полную разборку, а потом строить все заново. Насколько я мог заметить, эти ужасные слухи никак не сказываются на количестве автомобилей, двигающихся по «аварийным» мостам: грузовики, легковушки, машины «скорой помощи» несутся по ним сплошным потоком. Это все равно что, всерьез обсуждая угрозу ядерной войны, кушать с аппетитом сдобный пирожок.

Из всех висячих мостов один лишь Верадзано стоит на границе реки и моря. Здесь начинается Атлантический океан. В тот день мы спустились по течению Гудзона, прошли под мостом Верадзано и выплыли на морской простор, чтобы половить пеламиду. Однако ожидаемых успехов нам добиться не удалось, и во второй половине дня мы вернулись к мосту и попытались взять реванш там. Вчера в Монтоке мы целый день ловили только на наживку, сегодня же меня стали обучать лову с привадой. Для этого берут мелкую мороженую рыбешку «баттер-фиш» [1], размораживают в ведре, крошат ножом и кидают в море. Еще один способ подкормки — пропустить «баттер-фиш» через мясорубку, перемешать фарш с морской водой (ну и запашок получается, доложу я вам) и эту, так сказать, «рыбью кашу» черпаком разбрасывать вокруг лодки. Течение несет подкормку по бескрайнему Атлантическому океану, и где-то среди волн у пеламид начинается банкет. Двигаясь по «ароматному» следу, стая идет вверх по течению и в конце концов подплывает к лодке. Обалдевшие от обжорства рыбы заглатывают все подряд — и кашу, и кукурузные хлопья, они даже набрасываются на своих дохлых, со стальными крючками в желудках сородичей. Неважно, за какое место крючок зацепит пеламиду — хоть за губу, хоть за спину, хоть за бок. И рыбешка, разбросанная для подкормки, может быть нарезана как угодно: и половинками, и кусками, и одними головами.

Возбужденная пеламида кидается на все подряд, что бы ни плавало поблизости. Жадность и страсть пожрать на дармовщинку ее и губят. Попавшись на крючок, пеламида сражается за жизнь, как гладиатор,— именно поэтому она так популярна у рыболовов-любителей. К тому же американцы считают ее очень вкусной, рассказывает господин Мори, глядя на мирно дышащий в свете ясного сентябрьского дня океан.

Наслушавшись подобных рассказов, я уже предвкушал, как буду снимать добычу с крючков, но за полдня мы не поймали ни одной рыбины. Поблизости от нас на волнах качалось еще штук пятьдесят лодок, ощетинившихся лесом удилищ, но что-то не видно было, чтобы хоть одна из удочек дернулась книзу.

И вот, как я уже сказал, во второй половине дня, ближе к вечеру, мы вернулись в устье Гудзона, бросили якорь у моста Верадзано и решили дать там последний бой. Гудзон и Ист-Ривер — две реки, омывающие берега острова Манхэттен; у места впадения в Атлантику их воды сливаются, образуя бурный поток, который походит не на пресноводную равнинную реку, а на какую-то водопроводную трубу — так быстро он несется, окутанный водяным паром. Через устье проплывают пеламиды, полосатые окуни, угри и многие другие рыбы, по дну пробираются древние, ископаемые создания вроде мечехвостов и осетров. Осетра ловят сетью, получив предварительно лицензию от штата.

[1] Маслюк.

Когда мне сказали, что эту гигантскую рыбу можно поймать в черте города, я ушам своим не поверил. (В том устричном баре подавали буйабесс по-марсельски и осетровое рагу по-русски. Мне сказали, что рыбу для этих блюд привозят с далекого тихоокеанского побережья, из реки Колумбия, что протекает в Орегоне, но я в глубине души все надеялся и мечтал отведать местной, нью-йоркской осетринки.)

Прямо перед нами находился Бронкс. Когда нас сносило чуть ниже, мы оказывались возле парков Кони-Айленда. Сначала наша лодка все время то спускалась по течению, то, когда мы включали мотор, возвращалась на прежнее место, но в конце концов мы решили остановиться возле моста и бросили там якорь. Как-то так получилось, что поблизости от нас очень скоро собралась целая флотилия лодок, пассажиры которых тоже усердно занимались ловом пеламиды. На девяти суденышках удили тихо, но с десятого все время раздавались дикие вопли. Приглядевшись, я увидел в той лодке двух рыболовов. Один из них, молодой парень с голым торсом, вытаскивал из реки пеламиду за пеламидой. Орал и махал руками его напарник, а сам везунок не издавал ни звука. Рыболовы с других лодок угрюмо молчали, отчаянно веря, что и им привалит рыбацкое счастье. Глядя на удачливую удочку, на точеную, напряженную мускулатуру парня, я испытал острый укол зависти, аж отдавший мне в печень. Каждые десять — пятнадцать минут молодое, поджарое тело счастливца, блестящее в лучах уже клонившегося к закату осеннего солнца, натягивалось струной, и он, перекинув спиннинг на согнутый локоть, начинал быстро сматывать катушку. Красиво очерченный силуэт, спокойный, уверенный профиль. Безмолвно, будто показывая фокусы, чудо-рыболов все тащил и тащил рыбу.

Любоваться юным маэстро можно было сколько угодно, но возможности угадать или хотя бы спросить у него, в чем секрет его поразительного успеха, не было никакой, потому что он не прекращал лов ни на минуту. Было только ясно, что в этом месте пеламид более чем достаточно. Поэтому у нас, невезучих, от лютой зависти и ревности темнело в глазах, и, в конце концов, перепробовав все возможные способы лова, мы кое-что начали понимать. Когда удишь пеламиду на наживку, она бешено бросается на добычу с широко разинутой пастью — недаром рыболовы прозвали ее любовно «мясорубкой» и «гориллой». Но когда разбрасываешь вокруг лодки мелко нарубленную приваду, рыба не разевает рот во всю ширину. У меня все время клевало, но не зацепило ни разу. Я вытаскивал крючок и осматривал наживку — она бывала съедена или наполовину обглодана. Значит, рыба голодна и наживку берет, но в тот самый момент, когда крючок уже готов впиться ей в пасть, она срывается и уходит. Пеламида — рыба жадная, агрессивная, свирепая, но в то же время очень осторожная при первом прикосновении к добыче. С каждым разом все больше убеждаясь в верности своих догадок, я понял, что мои монтокские успехи в лове на наживку чересчур вскружили мне голову и что во всех неудачах сегодняшнего дня виноват я сам. Увы, на вчерашней удаче далеко не уедешь. Если все время придерживаться одного способа лова, пусть даже очень эффективного, и применять его вне зависимости от условий и места, может получиться так, что ослепленный былыми победами рыболов будет лепить ошибку за ошибкой, не понимая, что в его несчастьях повинны не капризы фортуны, а собственная слепота. И когда он видит, как другой добивается того, что у него самого не выходит, рыбаку хочется принизить, а то и вовсе проигнорировать успехи счастливца.

При лове с подкормкой пеламида клюет совсем не так, как на наживку, а робко, даже боязливо. Она касается корма пугливо, как застенчивая девица. Видя, как все время шевелится поплавок, ты, уже не в силах сдержаться, рвешь на себя удилище и сматываешь катушку, но обнаруживаешь на крючке только наполовину обглоданную наживку, на которой заметны мелкие, как бритвенные надрезы, следы зубов пеламиды. Только когда вытащишь крючок впустую раз сто, до тебя начинает доходить, что пеламида ведет себя при лове на приваду иным образом. Поумнев, я попробовал действовать по-новому, через короткие промежутки водил удилищем из стороны в сторону, чтобы рыбешка-наживка под водой как бы убегала от пеламиды. Я подержал удилище на месте, потом вдруг резко повел им в сторону, и тут же — рраз! — жадная «мясорубка» вцепилась в добычу по-настоящему. Я немедленно дернул удочку кверху, и крючок намертво вошел в зубастую пеламидью пасть. Рывок вправо. Рывок влево. Назад. Вперед. Восторг. Торжествующий смех. Радостное успокоение.

Открыв для себя этот тактический прием, я стал ловить рыбу без перебоя. Прямо не верилось, что до этого я целый день проторчал на воде без всякого результата. Меня уже не злили победные вопли с соседней лодки. Мне было хорошо. Я и сам начал издавать победные крики, ни в чем не желая отставать от соперников. Капитан катера, когда я стал кидать на дно его посудины пеламиду за пеламидой, выплюнул изо рта окурок дешевой сигары и, радостно гогоча, завопил во всю глотку так, чтобы его было слышно на других лодках: «О-го-го! Вот дерьмо! Вот зараза!» — и тому подобное, хотя, видит бог, в моих достижениях не было ни малейшей его заслуги. Хриплым, пропитым басом капитан выкрикивал разные соленые слова и выражения, которые я мысленно тут же переводил на японский язык и, будучи представителем нации, в обиходе которой крепкие ругательства отсутствуют, застенчиво краснел. Видимо, в моем

языковом образовании есть значительный пробел. Я всегда забываю, что непристойности являются просто вводными выражениями, не несущими смысловой нагрузки, и их надо пропускать мимо ушей. Я же начинаю переводить их дословно, и мне на миг делается непонятно, какое отношение имеет мой успешный лов пеламиды к экскрементам, женщинам легкого поведения и так далее. (А вдруг имеет?!)

Значит, так. Большая часть дня у меня ушла на то, чтобы понять тактику лова, а вскоре после этого уже и стемнело. Могу без ложной скромности сказать, что сегодня я был на высоте. Во всем теле чувствовалась блаженная опустошенность и умиротворенность. Я чувствовал себя аккумуляторной батареей, до отказа насытившейся электричеством. Ровный, уверенный гул мотора, тянувшего катер вверх по течению Гудзона, звучал для меня биением моего собственного сердца. Вот они — мощные сияющие громады Манхэттена. Затем пустыри Южного Бронкса, похожие на выжженное пепелище. Остановившиеся стрелы и колеса аттракционов Кони-Айленда. Бесчисленные висячие мосты, могучие и в то же время такие хрупкие и воздушные. Возвращаясь в сей современный Вавилон, вечно погруженный в сиюминутные заботы, я, впервые забыв о грязи и мерзости этого города, испытывал ощущение покоя.

■

Вернувшись на берег, в отель, я чуть не свалился с ног от усталости. Не было даже сил принять душ. Упав на кровать, я вдохнул полной грудью, а выдохнул уже во сне. Проснулся далеко за полночь. В голосе поздней ночи есть особая, глубокая проникновенность, навевающая тихую грусть. Резкий визг автомобильных тормозов врывается с невидимых пустынных улиц пронзительным диссонансом. Если бы я был композитором и писал в стиле конкретной музыки какую-нибудь «Городскую симфонию», я бы обязательно включил в нее звуки ночных кварталов.

Лениво, полусонно размышляя над подобными вещами, я вдруг почувствовал, что правая моя рука онемела, а пальцы затекли и болят. Правая сторона и верх спины, мышцы плеча совсем одеревенели. У меня иногда бывают жестокие и неожиданные приступы этой болезни, но в море, размахивая удочкой, я, конечно, и думать о ней забыл. Мой лютый враг следовал за мной по пятам с самой Аляски, не показываясь на глаза и усыпляя бдительность, и вот, выбрав момент, встал на дыбы и ощерил пасть. Ловя с борта яхты треску в заливе Кейп-Код, я уронил в море свой любимый спиннинг, но эта беда, увы, была еще ужасней. Мой возрастной недуг, от которого немеют руки, в Америке называют «манкихэнд» — «обезьянья рука». Вот, стало быть, я и обобезьянился. Как ни хорохорься, как ни молодись, а проклятые годы все же дают себя знать.

Посему в один из следующих дней я потащился на квартиру к Шестому Дану, который обещал мне сеанс массажа. Его дом находился в квартале, бары и дискотеки которого пользуются особой популярностью среди гомосексуалистов. Мой дзюдоист (на самом-то деле его зовут Кимура Масару), уложив меня на не слишком изысканный коврик, начал давить и мять пальцами мою спину, не умолкая при этом ни на минуту. Он то обсуждал местных гомосексуалистов, то рассказывал о себе, все время перескакивая с одного на другое. Прошло уже двадцать лет с тех пор, как он покинул Японию и поселился в Нью-Йорке. Когда-то Кимура работал тренером по дзюдо, но вот уже два десятилетия он дрейфует по волнам этого города, испытывая на себе то его центробежную, то центростремительную силу. Шестой Дан немало пережил на своем веку, но на судьбу не жалуется, голос его звучит бодро, и чувства юмора ему не занимать. Сначала он стал рассказывать о том, как был владельцем сувенирной лавки в Гонолулу, потом вдруг перескочил на описание своего грандиозного коммерческого проекта. Оказывается, он собирается открыть торговлю косметическим молочком для разглаживания морщин, которое добывают из жира мексиканской черепахи. Несмотря на очевидную достоверность рассказов, переходы массажиста от одной темы к другой были настолько неожиданными, что я и не пытался понять все до конца, а только слушал и поддакивал.

Это самое косметическое молочко — «крим оф тёртл ойл»[1] — изготавливается каким-то там хитрым способом из жира черепахи, которая водится в Мексиканском заливе. Черепахи с таким замечательным жиром живут в заливе испокон веку, местные сеньоры и сеньориты издавна пользуются драгоценным молочком. Прознав о том, что это косметическое средство начинает пользоваться популярностью у стюардесс авиакомпании «Панамерикэн», Кимура поспешил отправиться в те края и скупил все сырье, которое имелось в наличии. Оседлав мою поясницу и разминая правую лопатку, Шестой Дан доверительно поведал мне, какое блестящее будущее ожидает его затею. Если дело пойдет, говорил Кимура, то черепаховое молочко будет соперничать с продукцией «Коти» и «Диора».

— А что, черепаховый жир действительно помогает против морщин?

— Помогает! Ей-богу, помогает. Я провел эксперимент. Сначала купил в Мексике пробную партию и, вернувшись сюда, раздал на пробу официанткам из ресторанов и баров японской кухни. Они в один голос заявили, что морщины разглаживаются. Прямо в восторге были. Я сам поразился такому успеху. Нет, правда, дело стоящее. Без дураков. Эффект поразительный: морщины сначала разглаживаются, а потом исчезают бесследно.

[1] Крем из жира черепахи *(англ.)*.

В нью-йоркской подземке. (Здесь и далее снимки автора.)

Сбор пожертвований на церковные нужды.

— А это не то же самое, что крем из черепашьих голов?

— Нет, хотя черепашьи головы тоже действуют неплохо. Зато из голов молочка, как из жира, не сделаешь. В черепахе главное — жир. Вот увидите, в этом бизнесе я стану «биг-шотом» («большой шишкой»).

Голос мистера Кимуры был тих, но полон непоколебимой уверенности в успехе, а тем временем его пальцы продолжали с силой вдавливаться в мою спину. Застоявшаяся кровь побежала по жилам, и, чувствуя ее ток, я повеселел. Мысль о том, что во все времена массаж был привилегией толстосумов, способствовала подъему настроения. Наплевать, что коврик жестковат.

Кимура недавно открыл маленькую фирму. На визитной карточке, которую он мне вручил, значилось: «Аск Киму корпорейшн», что означало «Корпорация «Обращайтесь к Киму!». По-моему, неплохое название. Теперь он будет зваться не Кимура-сан, а мистер Киму.

Каждый раз, когда я возвращался в Нью-Йорк из поездок на Кейп-Код, в Монток и так далее, «мистер Киму» в свободное время вытаскивал меня из отеля и водил по городу. Это по его милости я побывал в секс-баре на Лексингтон авеню и посетил порнозабегаловку возле Таймс-сквер. Благодаря ему я попал в сутолоку Вашингтон-сквер, поварился в оживленной атмосфере Гринич-Виллидж, насладился дневной безмятежностью Южного Бронкса. К тому же, не будем забывать, он был обладателем шестого дана дзюдо, причем не липового, а настоящего. Как-то ночью, когда Кимура-сан сидел в музыкальном баре, туда ворвались двое грабителей-наркоманов с пистолетами. Кимура бросился на одного из них, обезоружил его и задержал — вот какой герой. Правда, впоследствии он узнал, что тот парень, попав в тюремную камеру, покончил с собой. После этого, рассказывал мне по секрету мистер Киму, ему некоторое время плохо спалось по ночам.

Всем известно, что Нью-Йорк — город преступности. И это сущая правда — каждый день читаешь, слышишь, узнаешь о всех мыслимых и немыслимых преступлениях, совершенных за минувшие сутки: стреляют, режут, расчленяют, душат, топят, выбрасывают из окон, воруют, взламывают, насилуют, похищают. Большой город — всегда джунгли, и Нью-Йорк по этой части особенно знаменит, потому, наверное, что это Нью-Йорк. И в Париже и в Токио процент преступлений на душу населения тоже немал, причем по жестокости и бессмысленности они нисколько не уступают здешним. Слово «Нью-Йорк» стало нарицательным в значении «город преступности», но, может быть, это произошло оттого, что на Нью-Йорк вообще принято ссылаться, когда говорят о чем-то из ряда вон выходящем.

Доналд Кин [1] как-то рассказывал мне, что однажды газета «Нью-Йорк таймс»

[1] Американский ориенталист, специалист по японской литературе.

вышла под броским заголовком «Еще один день прошел благополучно для 8 499 900 ньюйоркцев». Я слышал, что, согласно статистике, город занимает по количеству преступлений на тысячу жителей не первое, а третье место в США. И Лондон, и Париж, и все прочие большие города — асфальтовые джунгли, от этого факта никуда не деться. Те, кому суждено стать жертвой преступления, ею становятся, те, кого сей жребий минует, живут себе дальше. В дверях нью-йоркских гостиничных номеров, квартир, частных домов — по три-четыре замка, и у каждого горожанина позвякивает на брелоке невероятное количество ключей. Массируя мои плечи, мистер Киму изложил мне несколько правил безопасности, которые, если слить их воедино, будут выглядеть примерно следующим образом:

1. Прежде чем свернуть за угол какого-либо здания, отойдите от его стены на один метр. (Иначе можете получить удар по голове.)

2. Если вы немного выпили, идите не по тротуару, а по проезжей части, держась бровки. (По проезжей части движутся машины, поэтому нападающий будет чувствовать себя менее уверенно — побоится попасть под колеса).

3. Если к вам пристал потенциальный правонарушитель — наркоман или пьяный,— поторопитесь очень вежливо спросить у него, как куда-нибудь пройти. Например: «Не будете ли вы столь любезны объяснить мне, где находится Таймс-сквер?» (Люди любят поучать и объяснять — ваш вопрос может на мгновение сбить преступника. Тут надо немедленно уносить ноги.).

4. Не держите при себе крупную сумму денег, но и никогда не выходите на улицу без гроша. Следует всегда иметь в нагрудном кармане двадцать долларов (пятью или десятьюдолларовыми бумажками.).

5. Однако, когда преступник потребует денег, ни в коем случае не лезьте за ними в карман. Пусть грабитель достает их сам. (Он может подумать, что вы хотите выхватить пистолет или нож, и ударит, не дожидаясь.)

6. Если навстречу вам движутся двое мужчин подозрительного вида, не проходите между ними. (Они могут взять вас с обеих сторон в тиски.)...

Людей, которые не придерживаются вышеприведенных правил и тем не менее благополучно живут себе на свете, кажется, все-таки гораздо больше, чем тех, кто соблюдает меры предосторожности.

Как известно, схема улиц Нью-Йорка напоминает лист клетчатой бумаги. Все «стриты» и «авеню» вытянуты прямыми линиями с запада на восток и с севера на юг. Отправившись в путешествие, скажем, по Пятой авеню, вы обнаружите, что в ее верхнем течении сконцентрированы ювелирные и парфюмерные магазины, сияющие голубыми омутами витрин. Несколько ниже — район Центрального парка. Это, так сказать, сред-

нее течение Пятой авеню, а если спуститься еще ниже, вы в конце концов попадете в негритянские кварталы. Это — самое «дно» улицы. Нижнее течение реки обычно неторопливо, с теплой, застоявшейся водой, грязной, масляной — от заводов, расположенных по обоим берегам. И Пятая авеню в своем устье бедна, загажена и омерзительна. Согбенными тенями скользят по ней днем и ночью алкоголики и наркоманы. Почему-то все местные пьяницы обязательно держат бутылки в бумажных пакетах, я не видел ни одного просто с посудиной в руке. И пьют они хоть и из горлышка, но не снимая пакета. Видимо, если лакать прямо из бутылки, может задержать полиция, а обернув спиртное бумагой, пей сколько влезет — никто тебе слова не скажет. Эта славная традиция основана на «legitimacy» — «законопослушности», присущей гражданам Америки. Впрочем, чудны́е обычаи такого рода возникали везде и во все времена, так что особенно удивляться тут нечему.

Очень интересное это занятие — держа наготове 20 долларов в кармане и пугливо озираясь по сторонам, прогуливаться по Пятой авеню сверху вниз и снизу вверх. Если сравнить эту улицу с человеком, то с головы до пояса он будет необычайно роскошным джентльменом, в шелковом цилиндре, смокинге, белоснежной рубашке с жемчужными пуговицами и рубиновыми кольцами на пальцах с только что наманикюренными ногтями. Но если бросить взгляд чуть пониже, то где-то, начиная с талии, этот красавец вдруг теряет элегантность, становится неряшливым и неопрятным, ну, а если посмотреть еще ниже, на его лодыжки и ступни,— они окажутся голыми, грязными, покрытыми сыпью, укусами насекомых и лишаями. Все это похоже на фокус, поскольку совершенно невозможно найти черту, где кончается красота и начинается уродство, и наоборот. Бывало, решишь для себя: все, сегодня я непременно найду эту невидимую разделительную черту, и идешь не спеша, внимательно оглядывая лица, здания, окна, стены, двери, урны по обеим сторонам улицы. И вдруг оказывается, что рубеж уже пересечен, а ты его и не заметил. Граница двух миров расплывчата, размыта, неуловима, она напоминает обманчивый свет предвечерних сумерек...

Пройдя из конца в конец Пятую авеню, нельзя не увидеть одну из главных особенностей Нью-Йорка — в нем сосуществуют два диаметрально противоположных полюса. Присутствие двух сил чувствуется во всем. Сила притягивающая и сила отталкивающая, центростремительная и центробежная, засасывающая и выплевывающая. Когда гуляешь по Парижу, его вечное очарование исподволь, незаметно и беззвучно обволакивает, проникает сквозь кожу и сливается с плотью. Ты и не заметил, а Париж уже вошел в тебя, глубоко проник в твою душу. Поначалу это чувство сродства радует, но позднее ему

на смену приходят неуверенность и робость. Со временем исчезают и они, и по мере того, как микроб Парижа проникает в твое сердце, ты заболеваешь все больше и больше. Такая прекрасная, заразительная сила, сила притяжения есть, наверное, и в Нью-Йорке. В этой силе, поглотившей бесчисленное множество мужчин и женщин всех возрастов, рас и национальностей, таится несомненное очарование. Но есть в Нью-Йорке и сила, которую не чувствуешь в Париже,— сила лихая, центробежная. У этой слепой и жгучей энергии, переполняющей город, не меньше лиц и выражений, чем у ее антипода. Она часто действовала на меня возбуждающе, придавала остроту моим ощущениям, не давала застаиваться воображению, горячила кровь. Как будто жаркие лучи весеннего солнца падали на застывшую зимнюю грязь, и она, ожив, превращалась в плодородную почву. Я чувствовал действие двух сил Нью-Йорка, глядя на предрассветные висячие мосты, на груды ночного мусора, на одеяния негров, нелепые, но так идущие к их фигурам и походке, на гигантские утесы из стекла, стали и белого бетона. Я ощущал их привкус в морском соке, брызгавшем из каменистой раковины красного, только что сваренного омара...

■

В один из дней, после дождя, я зашел за доктором Оиси Митио, ученым из Токийского научно-исследовательского института прикладной микробиологии, которого пригласили читать лекции по молекулярной биологии в одном из нью-йоркских колледжей, и мы вдвоем отправились в городской морг, расположенный на Первой авеню. Там недавно сменили директора — его обвинили во взяточничестве,— и посещение морга посторонними было строго воспрещено. Уж я пытался проникнуть туда и так и этак, но каждый раз получал от ворот поворот. Незадолго до того в нью-йоркский морг удалось проникнуть нашему Мацумото Сэйтё [1], которого провели туда, отрекомендовав «японским писателем № 1». Мы, не зная этого, попробовали действовать тем же путем и сказали, что Кэн Кайко — самый главный из всех японских писателей. На беду, мы попали к той же самой секретарше, а у секретарши оказалась хорошая память, и она, спросив, кто же все-таки из нас «главный» и сколько вообще в Японии «писателей № 1», выставила нас за дверь. Вконец отчаявшись, я обратился за помощью в местное Общество друзей рыбной ловли, к председателю, господину Мори: нет ли среди активистов какого-нибудь рыболова, с помощью которого можно было бы попасть в гости к мертвецам? Так я познакомился с доктором Оиси. К чести этого ученого должен сказать, что он, по роду своей деятельности не имея ни малейшего отношения к моргу и вообще к трупам, тем не менее согласился мне помочь. Через коллег-медиков он вышел на доктора Бастоса, токсиколога, служившего в морге, договорился с ним о посещении и прихватил меня с собой. Являться в морг полагалось в пиджаке и при галстуке, поэтому я одолжил у Нао пиджак, который он недавно приобрел в универсальном магазине «Братья Брукс», взял у Бина галстук и отправился на экскурсию.

Доктор Бастос оказался мужчиной в расцвете лет, суровым на вид, но с большим чувством юмора. Он говорил по-английски с каким-то сильным акцентом. и я мало что понимал из его слов. К тому же токсиколог так и сыпал специальной терминологией, и поначалу я совсем растерялся. Однако доктор Оиси помогал мне, переводя и поясняя непонятные места. С его помощью я уловил следующее.

Мы находимся в нью-йоркском городском морге, то есть месте, куда поступают трупы людей, погибших в результате насилия или несчастного случая. Население города составляет примерно восемь с половиной миллионов человек, в морг еженедельно привозят в среднем около ста трупов. Половина из них — жертвы убийств. Подавляющее большинство составляют цветные, но немало и белых. В конце каждой недели поток мертвецов неизменно увеличивается. По временам года самый напряженный период — весна и лето. Мотивы убийств самые разные, но в последние годы все больше преступлений связано с употреблением наркотиков. В таких случаях иногда бывает нелегко сформулировать

[1] Японский писатель, мастер детективного жанра.

причину смерти. В морге обязательно проверяют трупы на пулевые ранения и отравления. Статистика смертности в Нью-Йорке во многом зависит от формулировки в заключении патологоанатома. Если богатый человек упился до смерти, считается, что он скончался от цирроза печени. Если же загнулся какой-нибудь нищий забулдыга, его смерть заносится в графу «пьянство», о циррозе печени здесь нет и речи. То же самое и с наркоманами. Когда человек погибает, употребляя «незаконные» наркотические средства, считается, что он отравился слишком сильной дозой наркотика. Но есть «узаконенные» препараты, и смерть, вызванная их употреблением, в эту графу статистики не попадает. Существует лекарство, которое называется фенадон. Оно помогает облегчить страдания, вызванные абстинентным синдромом, и используется для лечения хронических наркоманов: городские власти выдают им фенадон бесплатно. Достаточно пойти на специальный пункт, показать справку, что ты проходишь курс лечения фенадоном, и тебе тут же выдадут лекарство. Но препарат этот сам по себе тоже наркотик. Хотя, если человек отравился фенадоном, он уже не считается жертвой наркомании — ведь это «законное» лекарство. Формулировка — все дело в ней. Классификация трупов по причине гибели тоже зависит от формулировки. Часто в состоянии наркотических галлюцинаций человеку кажется, что он может летать или уже летит, он прыгает из окна и разбивается насмерть. В какую графу занести такую смерть — в разряд самоубийств или в разряд несчастных случаев? В зависимости от формулировки меняется и вся статистика. Здесь, в морге, трупы наркоманов называют «коулд-тёрки» («холодные индюшки»)[1].

После вступительной беседы нас провели в подвал, где лежат покойники. Это было просторное помещение, выложенное белой плиткой. По стенам в два этажа — дюралюминиевые дверцы холодильников. Сами холодильники встроены в стену. В общем, нью-йоркский морг очень напоминает японские крематории. Внутри каждого холодильника — рельсы, по которым туда вкатывают тележку с трупом. В японских крематориях такую тележку называют «жаровней», но здешняя в отличие от японской предназначена не для нагревания, а для замораживания. Перед нами одну за другой открывали и закрывали дверцы холодильников, показывая содержащееся в них мороженое мясо. Впрочем, виднелись лишь головы и плечи. У одних мертвецов была снесена вся верхняя часть черепа, остались только нос и подбородок, у других, наоборот, отсутствовал нос,— в общем, вариантов было много. Глядя на истерзанную, морщинистую плоть синеватого цвета, я остро ощутил овеществленную тяжесть отрицательной энергии, переполняющей этот город. При беглом взгляде покойники, то ли из-за застывших поз, то ли из-за сомкнутых век, имели вид мирный и успокоенный, несмотря на страшные раны и посмертные изменения.

Два трупа еще не были заморожены. Один из них, полностью обнаженный, принадлежал крупному лысоватому мужчине средних лет, явно латиноамериканского происхождения. Второй, накрытый до подбородка белой простыней,— негритянскому юноше лет шестнадцати-семнадцати. Оба мертвеца лежали на металлических анатомических столах. У мужчины от груди до низа живота и от левого плеча до середины грудной клетки шли два длинных, уже зашитых разреза. Он, видимо, умер совсем недавно — тело еще не закоченело. А юноша, хотя виднелось только его лицо, был уже всецело во власти смерти: губы и щеки собрались морщинами, члены затвердели. И все же сохранялось еще в этом лице такое спокойствие, такая расслабленность и безмятежность, что могло показаться, будто он слегка простыл и мать, напоив сына горячим бульоном, уложила его в постель, накрыв толстым, мягким одеялом. Только в желобке, идущем вдоль края анатомического стола, скопилась, пачкая простыню, жидкость цвета разбавленного земляничного сока.

Холодильные установки работали исправно, в комнате было холодно, но запах разложения сюда все же проникал. Сладковатый, прилипчивый, какой-то непристойный.

Следующее помещение было меньше, оно предназначалось для особенно изуродованных или сильно разложившихся трупов. Нам открыли дверцы нескольких холодильников, из одного дохнуло жутким запахом тлена. Внутри лежал некий предмет, похожий на труп старика. На том, что некогда было головой, с одной стороны торчали седые волосы, всё остальное сгнило — и грудь и плечи,— какое-то бесформенное синеватое желе.

Выйдя из этого помещения и шагая по коридору, я вдруг отчетливо увидел перед собой давно не вспоминавшееся мне свирепое тропическое солнце Юго-Восточной Азии. Сарай на окраине Сайгона, служивший моргом военного кладбища, вопли женщин, собравшихся возле ямы. В ушах вновь зазвучал низкий, заунывный голос буддийского священника: «...Азидафат ...азидафат ...»[1] Белые кости вьетнамских солдат, торчащие из-под земли у поминального храма Ле Ван Зюет .. Коричневатая трупная жидкость, тянущаяся длинной тягучей ниткой за гробом, размалеванным красной, желтой и зеленой краской, в морге военного госпиталя в Дананге...

В близлежащем кафе мы выпили с доктором Оиси пива, договорились о но-

[1] Когда мне случалось есть холодную индейку, я всегда поражался, до чего у нее жесткое и сухое мясо, хотя выглядит она вполне аппетитно. Поэтому, если где-нибудь подают это блюдо, я к нему больше не притрагиваюсь. Мне не приходилось близко иметь дело ни с живыми, ни с мертвыми наркоманами, но, видимо, они получили такое прозвище из-за того, что их тела еще при жизни высыхают от истощения. *(прим. авт.).*

[1] Молитвенное восклицание буддистов.

вой встрече и, пожав друг другу руки, разошлись. По мокрой после дождя Парк авеню я пешком пошел в отель Вернув пиджак Нао, а галстук — Бину, я завалился на кровать и стал пить виски. Наконец, спиртное проникло на самое дно желудка, согрело его, кровь оттаяла, закипела, побежала по жилам. Неужели то, что я увидел сегодня, канет камнем в реку времени, не оставив никакого следа? Подобно песку, убегающему сквозь пальцы, все уходит в прошлое, но, быть может, какие-то мгновения жизни все-таки остаются с нами навсегда. Стоит мне услышать слово «Сайгон», как в памяти оживают одни и те же картины, одно и то же чувство. Может быть, теперь, услышав слово «Нью-Йорк», я сразу увижу перед собой того голого латиноамериканца и спящего негритянского юношу, на чьем лице таилась мягкая улыбка?

Сегодняшний день освежил в моей памяти те давние, стершиеся от времени, но все же неизгладимые вьетнамские воспоминания и ощущения, и я стал от этого сильнее.

В конце пути

Ян Флеминг, автор известной серии романов про агента 007, завоевывал расположение читателей не только стремительной фабулой, но и красочными описаниями изысканнейших яств. Он даже совершил специальный кругосветный вояж по заказу одной лондонской книгоиздательской фирмы, описывая, где и что едят. Завернул он и в Японию, чтобы отведать говядину по-мацусакски, и, не успев еще переварить это блюдо, умчался в следующую страну. Может быть, именно такой бешеный темп и довел знаменитого борзописца до преждевременного инфаркта, не дав ему толком насладиться сыпавшимися на него баснословными гонорарами. В одном из главных бестселлеров про Джеймса Бонда агент 007 прибывает во Флориду, чтобы сразить злодея по прозвищу Золотой Палец. Если мне не изменяет память (а с ней такое случается), там описывается сцена, в которой Джеймс Бонд в ресторане в Майами со стоном наслаждения поедает каменных крабов, сваренных в масле, запивая это блюдо розовым шампанским. С тех самых пор мне очень хотелось попробовать пресловутых каменных крабов. Поэтому, приехав в Майами, я первым делом отправился в ресторан морской кухни. Зал был переполнен, но для меня нашлось местечко, и я, ни секунды не медля, и даже не тратя времени на изучение меню, крикнул: «Дюжину каменных крабов!» Мне тут же принесли огромное блюдо, на котором высилась горка холодных вареных крабьих клешней. Я сказал, что мне нужны горячие крабы, но таковых в ресторане не оказалось. Я посмотрел по сторонам. И за левым столиком, и за правым уплетали те же клешни. Остановив официанта, я спросил, а где же, мол, блюдо из самих крабов. Официант засмеялся, поставил поднос и стал привычно объяснять. Оказывается, крабов здесь ловят в специальные ловушки, установленные на дне моря. У пойманного краба отрывают одну клешню, а потом живым отпускают обратно в море. У каменных крабов клешни отрастают заново, как хвосты у ящериц, так что при таком способе лова их численность не сокращается. Я представил себе, как по морскому дну вдоль всего побережья Майами ползают, переваливаясь с боку на бок, крабы-инвалиды. Похоже на сад, где крестьянин собирает плоды с деревьев, а потом ждет до осени следующего урожая. Так сказать, сельскохозяйственный метод в рыбном хозяйстве.

— Здорово! — восхитились мы с Бином, который составлял мне компанию.

— Понятно? — улыбнулся официант и, подхватив поднос, понесся меж столиков, ловкий, как эквилибрист.

Майами подобен вратам рая. Скопление народа здесь невероятное. Все выстроились в длинный хвост и ждут своей очереди. Майами — край престарелых. Со всех Соединенных Штатов старики и старухи бесчисленными толпами устремляются сюда, чтобы занять местечко поближе к солнцу. Богачи из тех, что победнее, кому толкотня в дверях рая не по карману, перебираются из Флориды в Мексику, где на живописном горном плато Гвадалахара выросла целая колония из небольших вилл. Когда несешься по скоростной автомагистрали от озера Семинол на юг, в Майами, обе стороны шоссе заставлены гигантскими рекламными щитами компаний по торговле недвижимостью. Бесчисленные восклицательные знаки воспевают «Тепло!», «Комфорт!», «Покой!», «Чистоту!», «Зелень и птиц!»

В дорожной закусочной одни старики: морщинистые лица, возрастные пятна, вставные зубы, тусклые глаза. Наблюдая за сей фазой человеческой жизни, я не успеваю отвести глаза и вижу повсюду на столах пепельно-серые комочки обсосанных и выплюнутых на тарелки или завернутых в салфетки бифштексов, похожие на использованную жевательную резинку. У меня спазматически сжимается желудок.

На пляжах, в парках, на улицах и в переулках, в вестибюлях отелей, ресторанах и порнокинотеатрах — везде только старики. Боями и носильщиками в гостиницах работают тоже старики. Неловко обращаться к человеку преклонного возраста: «бой», поэтому, будучи представителем вежливой азиатской расы, я в конце концов называю его «мистер» или «сэр», так что становится непонятно, кто из нас слуга, а кто клиент. Проходишь один квартал, проходишь другой — ни одного молодого лица, и это начинает угнетающе действовать на психику. Самое удивительное, что стариками набиты порнокинотеатры и дискотеки. То ли это ностальгия по ушедшей молодости, то ли попытка вернуть ее, но зрителей в подобных заведениях хватает — престарелая аудитория заинтересованно следит за происходящим на сцене или на экране и вполголоса обменивается комментария-

ми. В дискотеках молодые музыканты с ленивым и рассеянным видом исполняют аккуратные, но бледноватые вариации на темы популярных старых мелодий вроде «Сентиментального путешествия» и «Вальса Теннесси», а старики и старухи в зале, ворча, недовольно слушают, но все же не уходят. Так, наверное, будет всегда. Пройдут годы, и нынешнее поколение любителей рока тоже состарится, придет в такую же дискотеку, рассядется по местам и будет ворчать: «Да, рок — то была настоящая музыка, не для одних ушей, а для всего тела, настоящий «бит». А это что? Теплый сиропчик, кока-кола безо льда, котлета без кетчупа...» И будут поклонники рока сидеть в креслах, скрюченные ревматизмом, дотронься до такого — он от боли подскочит до потолка. Как говорится в старой пословице: все изменяется, все остается по-прежнему. Такие дела.

По вечерам старики и старухи все разом выползают из своих комнат в отелях и пансионах и рассаживаются на пластмассовых стульях, расставленных на выложенных плиткой террасах. Они не пьют ни виски, ни чая, не любуются закатным солнцем, а просто сидят ровными шеренгами и смотрят перед собой. И такое зрелище можно наблюдать не в одном и не в двух местах, так выглядят по вечерам веранды всех майамских отелей и пансионов. При взгляде на согбенные фигуры и морщинистые лица сидящих стариков кажется, что все они до одного честно, не покладая рук провкалывали всю свою жизнь и теперь наслаждаются заслуженным отдыхом.

Со времен Аристотеля не умолкают ожесточенные споры и дискуссии на тему о том, в чем состоит счастье человека, в мире ежегодно выходят десятки новых томов, посвященных этой проблеме, и поэтому мне не хочется соваться со своим доморощенным взглядом на жизнь, но одно я могу сказать с полной уверенностью: когда множество очень старых людей собирается в небольшом городе, чтобы сидеть по вечерам в креслах, глядя в пространство тусклым, угасшим взором, выглядит это ужасно и о счастливой старости здесь говорить не приходится. Казалось бы, нет ничего плохого и недостойного в том, что пожилые люди спокойно ждут мига расставания с жизнью, но когда их так много и все они как две капли воды похожи друг на друга, невозможно избавиться от жуткого чувства. Когда я, задыхаясь от запаха мертвечины, заглядывал в страшные холодильники городского морга жестокого Нью-Йорка, мне вспоминались еще более мрачные картины времен войны во Вьетнаме, но те воспоминания не ослабляли а наоборот, только укрепляли и закаляли мою душу. Здесь же, во Флориде, видя это скопление живых покойников, я испытывал малодушие и ужас. Старухи, высохшие, расплывшиеся, с лицами, нелепо раскрашенными красным, синим и черным, с неестественным блеском недобрых, холодных глаз,— казалось, они вот-вот оседлают метлы и взовьются в небо над Майами. А старики — в ярчайших полосатых штанах и бейсбольных картузах,— шуты гороховые, вроде тех, что потешают публику в игорных притонах за кусок хлеба и миску супа. Да, вид у флоридских стариков и старух просто сногсшибательный. С лютым упорством не желают они мириться с течением времени. Это зрелище тяжело действовало на мои без того расшатанные нервы. Американские деды и бабки умирают не так, как японские,— те угасают бесшумно, подобно высохшей траве. А эти, даже умирая в собственной постели, на мой азиатский взгляд, производят грохота и треска не меньше, чем дряблый дуб-великан, валящийся на землю. Именно по таким вот вещам острее всего ощущаешь, что ты на чужбине. Оказывается, даже смерть на Западе выглядит иначе, чем на Востоке. Ну, а если и смерть непохожа, то что уж говорить о жизни...

— Здесь невозможно находиться. Душа стонет. Поехали скорее в Нью-Орлеан. Когда-нибудь и в Японии появится подобный город — Атами, например,— и я рано или поздно стану одним из его обитателей. А может быть, и вся Япония превратится в дом для престарелых. Но сейчас давайте уедем отсюда. Вперед, в Новый Орлеан, за инъекцией огненного джаза! Эй, мистер, закажи на завтра билеты на самолет!

Так сказал я Бину, вернувшись в отель, и мой молодой спутник тут же вскочил и, пока я не передумал, опрометью понесся из комнаты. Бин вообще-то очень воспитанный юноша и с уважением относится к преклонному возрасту, но, видимо, майамская публика действовала ему на нервы еще больше, чем мне. Во всяком случае, его стремительно удалявшаяся спина выглядела очень довольной.

Спасаясь от Майами бегством, мы сели в самолет, летевший в Нью-Орлеан, но двое из нашей команды, Другой Судзуки и Нао, остались во Флориде, чтобы подготовить две наших «тоёты», универсал и седан, к отправке теплоходом из порта Майами в Южную Америку. Автомобили должны прибыть морем в Венесуэлу, откуда мы покатим все дальше и дальше на юг, вдоль тихоокеанского побережья южноамериканского континента. За весь долгий путь от Аляски до Флориды у нас не было ни единой поломки. Нам приходилось мчаться по жесткому, как стальная лента, хайвэю, тащиться по разбитым дорогам, когда грязь залепляла машины по самые крыши, пылить по знойной летней пустыне, где мозг, казалось, готов испариться от страшной жары. И наши «тоёты» были всегда исправны, послушны, мощны. В любых условиях их моторы негромко, по-пчелиному жужжали и не подвели нас ни разу. Мы проехали по Северной Америке, как в люльке на колесах. Сам я в автомобилях совершенно не разбираюсь, водить не умею и знаю только, что это такой механизм, который едет, когда в него заливают бензин, но за

четыре месяца пути даже я оценил наши «тоёты» по достоинству.

В аэропорту Майами я купил номер не то «Тайма», не то «Ньюсуика», сейчас уже не помню точно, и прочел там маленькую статью, в которой была затронута отнюдь не маленькая проблема. Называлась она «Слишком холодный курорт». Речь шла о том, что многие американцы в старости живут за счет процентов с помещенного в банк или в акции капитала, который копили всю свою жизнь. Однако ежегодный рост цен настолько стремителен, что существовать на проценты становится невозможно, и старики часто вынуждены проживать основной капитал. Поэтому, сидя на жарких курортах, они постоянно ощущают холодок тревоги, не зная, что ждет их завтра. Статья была написана в очень резком тоне. Испугавшись чудовищной картины — огромного скопления стариков, заполонивших Майами-Бич,— я думал только о том, чтобы поскорее оттуда уехать, и, кажется, главного в этом городе не увидел и не понял.

Ведь и в моем теле уже чувствуются возрастные изменения — в спине, правом плече. Мне следовало бы писать не «старики», а «мои старшие сверстники». Майами — курорт теплый, но холод там пробирает до костей. Как говорится, комментарии излишни. Рушатся планы, на осуществление которых ушла вся жизнь: кажется, вот он, берег, совсем близко, и можно успокоиться, сбавить темп, но то был, оказывается, не свет маяка, а мираж. Это напоминает плавание без компаса по бурному морю. Те старики, что, стараясь выглядеть бодрыми и здоровыми, таскали чемоданы постояльцев в отелях Майами, наверное, считали, что они уже у райских врат. Но прежде чем пришел их черед переправляться на ту сторону реки жизни, их сбережения иссякли, им пришлось снова пристать к этому берегу и опять гнуть хребет, чтобы свести концы с концами. Инфляция в современном мире — явление настолько сложное, обусловленное таким комплексом факторов, что усилиями одной страны, одного народа с ней не справиться. Бешеный рост цен среднему обывателю представляется необузданным зверем. В том возрасте, когда нет уже ни физических, ни нравственных сил противостоять этой катастрофе, что остается тогда делать человеку? Ничего. Сидеть под солнцем на прохладном вечернем пляже, глядеть вдаль, за горизонт, и вспоминать минувшие дни.

Опечаленным и расстроенным прилетел я в Новый Орлеан. Остановились мы в отеле, расположенном в начале Бурбон-стрит. Проспав в номере до самого вечера, я вышел на улицу. От устья Миссисипи и Мексиканского залива веяло влажной духотой. Нью-Орлеан в основном состоит из тесно сгрудившихся многоэтажных зданий, на такой город раз взглянешь и никогда его больше не вспомнишь. Но когда я, влекомый толпой туристов, дошел до тесных улочек старого европейского квартала, облик Нового Орлеана изменился до неузнаваемости. Кругом стояли сплошь двухэтажные дома с причудливыми арабесками железных балюстрад, а когда я заглянул в уличное кафе, то обнаружил, что оно расположено в испанском дворике с зарослями тропических растений и бронзовым фонтаном посередине. По обе стороны улицы тянулись магазинчики, торгующие майками, порнокинотеатры, секс-театры, сувенирные лавки, закусочные, рестораны, дискотеки, залы современной, народной и джазовой музыки, диксиленды и забегаловки, забегаловки, забегаловки. Все заведения имели довольно грязный и обшарпанный вид, несмотря на яркое сияние неоновых огней, но в целом за этой картиной проглядывала какая-то отчаянная веселость, простота, блеск и кутерьма, суматошность и изыск, стон отчаяния и крик восторга, бьющая ключом жизненная сила и душевный надлом, свет и тьма, нестройный шум и праздничный гам. Огромный котел, в котором бурлит пестрое варево. Разомлевшие от душного, липкого, как сироп, воздуха посетители, словно под воздействием электрического заряда оживают, начинают громко разговаривать, жестикулировать. Они обливаются потом, но лица их светлеют, а глаза загораются.

Из всех открытых дверей доносится музыка играющих оркестров и ансамблей. Глухой рокот ударных. Рев труб. Безумно-расчетливая дробь фортепианных клавиш. Уютные переборы банджо. В воздухе запах жареной кукурузы. Шипят жарящиеся в масле котлеты. По раскаленному стальному листу катятся, брызгая жиром, колбаски. Фонтанчиками взметаются хлопья поп-корна.

Свернув с шумной Бурбон-стрит, я оказываюсь на Питер-стрит, где находится знаменитый «Презервейшн-Холл». Другой Судзуки, большой специалист по части джаза и Нью-Орлеана, настоятельно рекомендовал мне посетить это заведение. Я спрашиваю дорогу у прохожих и в конце концов останавливаюсь у дверей какого-то старого склада с ветхими кирпичными стенами, облупленными и грязными. Внутри нет ни сцены, ни микрофонов, доски пола трещат под ногами. С потолка свисают голые электрические лампочки. Стекла в окнах растрескались, многих вообще недостает, на рамах висят кривые, гнутые из проволоки вешалки. За один вечер здесь проходят выступления двух разных ансамблей, каждое продолжается полчаса. Исполнители день изо дня меняются, но их средний возраст никогда не опускается ниже семидесяти, а то и семидесяти пяти лет, и это одна из достопримечательностей «Презервейшн-Холла». Другой Судзуки советовал мне непременно побывать на концертах пианистки Суит Эммы и трубача Кида Томаса. На дедушку Томаса я попал в первый вечер, бабушку Эмму посетил во второй. Про возраст Кида Томаса говорят разное:

кто утверждает, что ему уже 83 года, кто спорит, что еще только 79, а по-моему, в такие преклонные лета десяток лет туда-сюда большой роли не играет. Кид — прозвище, оно означает «детка». В черной рубахе и красном жилете, с помятой трубой под мышкой «Детка» Томас выходит в зал и садится на скрипучий железный стул, под свисающую с потолка лампочку. На носу у него очки, и, когда «Детка» улыбается, он делается удивительно похож на Мохандаса Ганди. Лукавая, по-мальчишески озорная улыбка время от времени озаряет черное морщинистое лицо музыканта. Пока не дошла очередь до его партии, Томас сидит смирно, похожий на состарившегося мальчугана, а когда приходит время, с трудом поднимается на ноги, спокойным жестом берет трубу и, держа ее одной рукой, начинает играть. Только что Кид Томас еле держался на дряхлых, старческих ногах, но стоило ему начать играть, как он тут же забыл обо всем на свете. Красивый, звенящий звук полон юношеской свежести и глубокой чистоты, от него дрожат стены старого амбара. Под эту мелодию не размышляют, ею просто наслаждаются. Мягкий медный голос трубы завораживает, разгоняет по жилам кровь, тебя охватывает такой буйный восторг, что хочется скинуть обувь и побежать куда-то по траве. «Бейсон-стрит блюз», «Когда святые входят в рай», «Тигровый рэг», «Маскарад» — эти названия я запомнил, но дедок играл много покачивая плечами, отстукивая такт ногой, уходя в сложнейшие и виртуозные импровизации. Экстаз музыканта током пробежал по аудитории, заражая слушателей, и вернулся к нему удвоенным зарядом. Когда он заиграл «Святых», битком набитый зал — и старики со старухами, и парни, и девушки, сидящие на скамейках и на полу, облокотившиеся о стены,— все разом, запрокинув головы, стали громко и нестройно подпевать трубе. На небольшой черной доске было написано мелом: «За «Трэд» — 2 доллара, за «Святых» — 5 долларов. Наверное, кто-нибудь из публики заказал эту мелодию, заплатив по тарифу, и, ей-богу, вряд ли когда-нибудь и кому-нибудь удавалось истратить пять долларов с большей пользой.

На следующий день вечером я снова пришел в старый сарай, но там уже выступали другие ансамбли, и дедушки Тома не было. Зато в этот вечер в «Презервейшн-Холле» играла на фортепиано какая-то ископаемая бабка в ярко-красной шляпке которая, как мне объяснили, и была знаменитой Суит Эммой. В фигуре играющей Эммы было что-то патетическое, но вместе с тем зловещее. Даже сквозь платье можно было пересчитать все позвонки на ее сутулой, почти горбатой спине. Из коротких рукавов торчали морщинистые руки, высохшие и тонкие, как соломинки. Левая рука у старушки уже отнялась и безжизненно висела сбоку. По клавишам она стучала пальцами одной правой, похожими на ножки дохлого краба. Старенькая Эмма, кажется, еще и не ходила. Во всяком случае, у фортепиано она сидела в кресле на колесиках. На умирающего лебедя Эмма была непохожа, для ее описания скорее подходит хриплый голос Вийона:

...Загнулся нос кривым кинжалом,
В ушах — седых волос кусты,
Беззубый рот глядит провалом,
И щек обвисли лоскуты...[1]

Эта старая карга, к тому же, по всей видимости, вышедшая на сцену без вставных зубов — сморщенная верхняя губа провалилась внутрь рта, а нижняя отвисла,— стуча по клавишам, все время громко препиралась со стариком басистом. Когда она закончила свой номер, к ней бросились из зала поклонники, чтобы получить автограф на конверте пластинки. Эмма, хрипло ругаясь, выстроила их в очередь. В ее грубости и неряшливости было поразившее меня абсолютное безразличие ко всему на свете. Я подумал, что старой пианистке скорее подошло бы имя не «Суит Эмма» («Сладкая Эмма»), а «Битта Эмма» («Горькая Эмма»). И вчерашний дед Томас, и сегодняшняя бабка Эмма смотрят жизни в лицо, стремятся испить ее чашу до последней капли. Я уверен, до самого последнего вздоха он будет дудеть в свою трубу, а она — стучать по клавишам. Сдержанно, равнодушно, без суеты, ничего не принимая близко к сердцу. Джаз — дело серьезное. Так живут настоящие артисты. По-моему, прекрасный образ жизни. Моя судьба уже сложилась, ее не переменить, но, глядя на этих двоих, я им позавидовал. Даже слезы навернулись на глаза от умиления, честное слово. За все время моего долгого путешествия это был единственный раз, когда я прослезился. Не знаю, сколько мне еще суждено прожить на свете, но в черные дни, когда покажется, что не осталось сил жить дальше, я всегда буду вспоминать двух этих стариков, и это воспоминание, я знаю, придаст мне твердости. Мне бы очень хотелось, чтобы эмоциональный заряд, полученный в эти два вечера, остался со мной навсегда.

Выйдя из старого сарая, я свернул на Бурбон-стрит и, спасаясь от теплого ливня, внезапно хлынувшего с небес, запрыгал через лужи по темным улицам, передвигаясь короткими перебежками от подворотни к подворотне по направлению к отелю.

[1] Перевод Ф. Мендельсона.

ЧХАРТИШВИЛИ ГРИГОРИЙ ШАЛВОВИЧ (род в 1956 г.)

Советский переводчик с японского. В его переводах публиковались рассказы Кобо Абэ, Синъити Хоси.

Среди книг

Издано в СССР

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОЙ ГАРМОНИИ

Жан-Мари-Гюстав Леклезио. Пустыня. Перевод с французского Ю. Яхниной. Предисловие Л. Андреева. Москва, Радуга, 1984.

Жан-Мари-Гюстав Леклезио принадлежит к тем писателям, для которых литература есть прежде всего самопознание. «Я пишу для того, чтобы узнать себя и, узнав, попытаться понять других», однако «другие» ему долго не давались. Роман «Протокол» (1963), принесший 23-летнему дебютанту широкое признание и премию Ренодо, и последовавшие затем книги были своего рода исповедью. Правда, мы не найдем в них никаких автобиографических событий и подробностей, как и вообще конкретных примет места и времени. Действие происходит во второй половине XX века на планете Земля в обществе, именующем себя «обществом изобилия». Землю, со всем, что на ней произрастает и дышит, Леклезио любит преданно и неистово — и так же неистово, не только разумом, но и инстинктом, отвергает общество, к которому принадлежит. В механическом, искусственном мире, созданном людьми, он чувствует себя изгнанником, «посторонним» — и этой фамильной чертой наделяет всех своих персонажей.

Тема бегства — центральная в творчестве Леклезио — проходит несколько этапов развития, отражая повороты и тупики авторской мысли. В «Протоколе» показан простейший, так сказать, инстинктивный вариант эскапизма: Адам Полло удирает от общества, как школьник — с опостылевших уроков. Откуда он сбежал — то ли из дома умалишенных, то ли из армии,— автор намеренно не уточняет. В его представлении любое место, где держат насильно,— тюрьма, казарма, где, с благословения общества, человека готовят к тому, чтобы убивать себе подобных или стать пушечным мясом, пацифисту Леклезио особенно ненавистна Картины войны (прошлой, будущей?), зловещие видения вселенской катастрофы, постоянно возникающие в его романах, преследуют и Адама. Если он помешанный, то в его безумии есть своя логика: тень атомного апокалипсиса и в самом деле нависла над миром. Так или иначе, но кончает герой в психиатрической больнице. Есть горькая ирония в том, что попадает он туда после того, как попытался воззвать из пустыни своего одиночества к уличной толпе, чтобы напомнить о человеческом братстве...

В «Потопе» (1966) идея бегства, доведенная до логического конца, упирается в черный тупик небытия. Дойдя до этой последней черты Леклезио поворачивает назад и, прежде чем опять «уйти в бега» вместе с героем «Книги бегства» (1969), делает передышку. В «Terra amata» (1967) он как бы примеряется к нормальному, среднеблагополучному варианту судьбы, но примириться с ним не может. Не только потому, что ему претит убогий буржуазный стандарт счастья. Леклезио бунтует против человеческого удела вообще, его ужасает быстротечность отпущенного нам срока, непостижимое противоречие между малостью и конечностью человека и заложенным в нем чувством бесконечности, между пронзительной радостью и наполненностью отдельных мгновений и пустотой, бесцельностью существования, лишенного высшего смысла. С особой отчетливостью эти мотивы звучат в эссе «Упоение материей» (1967), где Леклезио формулирует «главный вопрос современности»: «Если бога нет, что делать с душой?»

Изверившись в культуре, науке, идеологии, теориях и прочих построениях человеческого разума, он хватается за материальное, зримое, осязаемое как за единственную несомненную реальность и в поисках опоры припадает к матери-природе. Граница между истинным и ложным, добром и злом для него проходит между природой и цивилизацией. Эта отнюдь не

новая концепция воспринята умом и сердцем человека, который с детства знает, что достижения прогресса могут обернуться трагедией Хиросимы. Можно также увидеть в его руссоизме спонтанную реакцию на нарушенное экологическое равновесие. Урбанистическая цивилизация рассматривается — и отвергается — Леклезио прежде всего как среда обитания, точнее, как среда, непригодная для обитания. Со страниц его романов возникает зловещий кошмар современного города, где в бетонных ущельях улиц лихорадочно мечется «толпа одиноких»; где свирепствует безжалостная «необъявленная война» и даже небоскребы тихонько «подрагивают в страхе»; где можно затеряться в многолюдье и сгинуть бесследно — как исчезает, провалившись в черный зев метро, Беата Б., героиня «Войны» (1970); где могут похитить, изнасиловать, убить, и никто не отзовется на крик о помощи.

В «Гигантах» (1973) разоблачительный пафос Леклезио получает более четкую социальную направленность. Гиперполис — огромный, полный соблазнов, миражей и ловушек город-универмаг — вырастает в обобщенный символ общества потребления. В этом храме изобилия человек — покорный прислужник и раб вещей — сведен до уровня робота, которым управляют на расстоянии могущественные, незримые и безликие Хозяева, пресекающие всякую попытку бунта (который тоже, впрочем, запрограммирован). Этим романом завершается в творчестве Леклезио десятилетний период мятежа и отрицания, или Великого отказа (если воспользоваться терминологией Майской революции). Не случайно именно в 70-е годы, когда стало ясно, что мощная волна молодежного протеста, потрясшая западный мир, не поколебала устоев системы и буржуазный порядок восторжествовал, писатель резко меняет ориентацию. Речь шла не о том, чтобы вступить в компромисс с этим порядком, а о том, чтобы найти в себе силы противостоять его давлению. В поисках спасения Леклезио, как и прежде, припадает к природе, которая исцеляет его душевную смуту. В эссе «Неизвестный на земле» (1978) он, завороженный солнцем, светом, морем, благоговейно любуется вечной и всегда новой красотой мира; в повести «Мондо» и рассказах этого сборника (1978) открывает красоту и гармонию чистой детской души; в романе «Пустыня» (удостоенной Большой литературной премии Французской академии за 1980 год) обращается к первоосновам бытия, ищет секрет утраченной мудрости и целостности в заветах примитивных, близких к природе народов.

Запад с его цивилизацией отодвигается на периферию, а центром вселенной становится пустыня (воплощение природных стихий), прекрасная и безжалостная, вечная и бескрайняя. Человек, при всей его малости, не кажется здесь ничтожной песчинкой затерянной в бесконечности: взгляд художника, с одинаковой отчетливостью воспринимающий «и в поле каждую былинку, и в небе каждую звезду» сопрягает их в гармоническом единстве, как бы уравнивает в правах малое и великое. На этом космическом фоне развертывается история юной марокканки Лаллы. Хотя действие происходит в наши дни, приметы современности проступают лишь во второй части, когда героиня едет на заработки в Марсель. Первая же часть («Счастье») — детство Лаллы, ее дружба с пастухом Хартани, вместе с которым она открывает красоту мира, и их любовь — вынесена за пределы быта и времени в беспредельность пустыни, где все происходящее обретает почти сакральную значимость и масштабность мифа. И подобно героям мифа Лалла наделена некой магической силой, которая позволяет ей выйти победительницей из всех испытаний.

Источник этой силы — дух пустыни, который, по мысли автора, есть одновременно дух ее народа, вольного племени кочевников, сметенного с лица земли агрессивным напором прогресса. Трагической борьбе «синих людей» с французскими колонизаторами в 1910—1912 годах посвящена вторая сюжетная линия романа. Основываясь на подлинных фактах, Леклезио создает величественную, исполненную суровой мощи поэму, которая, развертываясь параллельно с судьбой Лаллы, на первый взгляд никак с ней не связана. Однако в таком построении есть свой резон: в историческом пласте перед нами предстает народ, чью неукротимую волю к свободе и энергию сопротивления наследует героиня. Таинственный Синий Человек, незримый спутник Лаллы, являющийся ей в мистических видениях, символизирует ее неутраченную связь с корнями и композиционно скрепляет прошлое с настоящим.

Вместе с тем в свете истории обнажается кровавая подоплека современного буржуазного общества. Запад показан в романе в двух аспектах: завоеватель, порабощающий другие народы, он сам порабощен цивилизацией. Власть денег, социальное неравенство, бездушие и разобщенность — вот что встречает Лалла «среди рабов» (так называется вторая часть). Внешне подчиняясь правилам чужого ей мира, героиня даже в нищете и унижении сохраняет независимость и свободу. Она равно неподвластна как гнету, так и соблазнам общества потребления, которое готово щедро заплатить за экзотический товар — ее красоту, но ничего не может дать ее душе. Став волей случая звездой (модной манекенщицей), Лалла с царственной небрежностью отказывается от богатства, славы, поклонения и возвращается домой, чтобы родить сына, наследника вольного духа пустыни.

В таком повороте постоянные мотивы творчества Леклезио получают новый смысл: «посторонность» Лаллы западному миру определяется ее укорененностью в другом, а бегство от общества становится возвращением к себе. Впрочем, Леклезио прекрасно понимает, что возвращаться Лалле некуда: ее мир разрушен, и победа героини имеет скорее символическое значение. В сборнике новелл «Круг и другие скандальные хроники» (1982) поэтическая мечта уступает место будничной реальности, в которой бедным золушкам является не сказочный принц, а полицейский комиссар. Герои книги — тоже «посторонние» но, в отличие от Лаллы и персонажей ранних

романов Леклезио, не они отвергают общество, а общество отвергает их. Однако именно здесь, на обочине жизни, среди обездоленных и отверженных, Леклезио находит простоту, чистосердечие и искренность,— словом, «душу живу».

«Писать лишь о том, что любишь,— так формулирует теперь Леклезио свою творческую программу,— писать, чтобы связать воедино, собрать по крупицам и затем восстановить, воссоздать красоту». Свою задачу художника он видит в том, чтобы уберечь красоту «земли прекрасной, любимой» от разрушительных сил времени и цивилизации. Однако Леклезио знает, что магией слова можно остановить мгновение, но не историю. Он не зовет человечество «назад к природе», а приглашает человека повернуться к ней лицом, впустить в свой мир. Он хотел бы помочь отдельным людям, своим читателям, увидеть прекрасное и тем самым — помочь им жить.

М. ЗЛОБИНА

ДВИЖЕНИЕ РОМАНА

Уилла Кэсер. Моя Антония. Карсон Маккаллерс. Сердце — одинокий охотник. Романы. Перевод с английского. Вступит. статья М. Тугушевой. М., Радуга, 1985 (Библиотека литературы США).

Мы знаем, что бесстрастная красноречивость статистики может таить в себе маленькие, да и крупные хитрости, но есть цифры, убедительность которых неопровержима. Вышедшая на нашей памяти Библиотека всемирной литературы в двух сотнях томов охватила произведения прозы, поэзии и драмы чуть не всех времен и народов. А начатая в 1980 году «Художественной литературой» и «Прогрессом» (ныне перешедшая к «Радуге») Библиотека литературы США рассчитана на сорок пять томов — то есть почти на четверть «общей площади» ВВЛ. Территория, как видим, представлена щедро, что позволило составителям серии, не ограничиваясь классическими вершинами, проникнуть в толщу не только истории, но и живой современности американской литературы, представить ее во всем многообразии жанров, направлений, рожденных самой реальностью проблем, но прежде всего — личностей художников, эту литературу созидавших и создающих. Отбор оказался, конечно, и трудным и жестким, часто дискуссионным, но уже теперь, когда вышла в свет добрая половина Библиотеки, можно сказать, что свою миссию «наведения мостов» между культурами, духовными традициями обеих стран она выполняет успешно.

При всем том «сдвоенные» тома, в которых иной раз соседствуют авторы, друг другу достаточно далекие, могут вызывать несогласие читателя с литературоведческим уклоном. Можно понять, скажем, почему оказались рядом У. Э. Дюбуа и Дж. Болдуин,— творчество этих совершенно несхожих писателей одушевлено общим пафосом борьбы против расизма. Прогрессивные убеждения объединяют автора «Обездоленных» Дж. Конроя и Л. Лоуренса, который в романе «Старый шут Закон» (заключительная часть его трилогии «Семена») продолжает разрабатывать тему классовых боев 1930-х годов. Р. Крайтон и Б. Эшел обращаются к разным периодам истории и даже разным странам («Камероны» Крайтона повествуют о семье шотландских шахтеров), но и здесь есть свои связи не только тематического порядка.

Труднее воспринимается «коммунальная квартира» для Сэлинджера и Воннегута, Апдайка и Оутс, О'Хары и Уэста... Надо, однако, учитывать и чисто издательские соображения, а главное, помнить, что авторы-то остаются самими собой в любом соседстве. Более того, дисгармоничные союзы по-своему подчеркивают всю многоцветность литературной картины США.

Две писательницы, принадлежащие к разным поколениям, встречают нас в этом выпуске Библиотеки: Уилла Кэсер (1873—1947) и Карсон Маккаллерс (1917—1967). Сравнительно недолгий, но исторически существенный срок разделяет оба романа: «Моя Антония» появилась в 1918, «Сердце — одинокий охотник»— в 1940 году. В своем предисловии М. Тугушева основательно и интересно прослеживает как параллели, так и глубокие различия между этими книгами, различия, которые говорят о «необратимом движении времени в самом жанре современного западного романа». В качестве общей доминанты избран ракурс, выраженный заглавием предисловия: «Мечта и действительность». Тема эта действительно была присуща творчеству Уиллы Кэсер, характерна она и для произведений К. Маккаллерс, хотя в этом случае точнее было бы сказать: «иллюзии и действительность». Но ведь тема, или проблема, эта в течение двух с лишним веков неизменно питала и продолжает питать пафос — драматический, лирический, сатирический — всех лучших произведений американской литературы. Что же касается Кэсер и Маккаллерс, то сближает их — в самом широком плане — традиция гуманистического по своей душевной сути, острокритичного по восприятию социальных коллизий реализма. Вот это самое понятие «реализм» у того и другого автора и обнаруживает столь резкие и принципиальные изменения, что стоит на них задержаться подробнее.

Изменения эти тем более разительны, что в основе своей родствен жизненный материал, образующий плоть каждого из этих повествований. И там и здесь герои «простые американцы» — кавычки означают, что речь идет лишь о социальном статусе, предмет изображения — провинциальное бытие: городок, фермы... Оба романа вводят нас в повседневное существование глухих уголков пространной, глубинной Америки, не знающей учащенных ритмов и вечного гула гигантских городов, Америки многонациональной, иммигрантской. В обеих книгах первостепенным и неотступным делом для большинства персонажей остается забота о хлебе насущном: для семьи чехов в «Моей Антонии»— груд на земле, единоборство со строптивой природой; для ирландской семьи Келли у Маккаллерс — непрерывные поиски мелких заработков в пора-

женном безработицей городе. И еще одна точка соприкосновения: Антония Шимерда, героиня Кэсер, подробнее всего показана подростком. Подросток Мик Келли — одно из главных действующих лиц романа Маккаллерс. Все эти аналогии легко возникают в сознании читателя, когда из мира «Моей Антонии»— сурового и красочного, овеянного патетикой яростного труда пионеров, поднимающих целину «красной прерии»,— он попадает в тусклый, внешне довольно сонный, но исподволь начинающий клокотать мирок маленького фабричного города. И тут же возникают контрасты не просто в манере повествования, в способе строить сюжет, в стилистике — контрастна сама природа художественного мира, творимого автором. Традиционная тональность рассказа в книге Кэсер создается и старинным приемом «обрамления» (переданная автору рассказчиком рукопись воспоминаний), и плавностью речи, и ее живописностью, и тем, что рассказчик, не приукрашивая жестоких тягот, выпавших на долю приезжих в чужой еще стране, позволяет себе кое-где любование, открытую сентиментальность. Но важнее традиционность самого способа строить характеры. Нельзя сказать, что все они созданы с помощью одной краски— психологические оттенки не чужды методу Уиллы Кэсер, а портреты ее бывают подчас необыкновенно выразительны. Именно портреты: они всегда — работа мастера-портретиста, стремящегося к целостности впечатления.

Две фермерские семьи,— старожилов Берденов, крепко и домовито существующих на своей обжитой земле, и мучительно осваивающих эту землю Шимерда, которые на родине были горожанами,— все время остаются в поле зрения автора. Силы, определяющие течение их жизни, ясны и непреложны: природа, суровая и требовательная, во всех своих ярких, меняющихся обликах, мозольный труд, законы добрососедства, которые заставляют патриархальных Берденов приходить на выручку беспомощным еще «безъязыким» Шимерда. Идиллией роман Кэсер не становится, хотя отношение ее к старой Небраске (куда она, подобно рассказчику Джиму Бердену, была привезена еще в детстве из Виргинии) проникнуто явной ностальгией. Но реалистка Кэсер видела и другое, процветавшее и в «пионерскую пору» начало: алчность, дикий эгоизм, равнодушие, видела косность и тоскливое однообразие быта ближнего городка, в который перебираются позже старики Бердены с Джимом и Антония, ставшая служанкой Антония мужественно переживает самоубийство любимого отца, предательство жениха, испытания «матери-одиночки», много лет спустя Джим встречает ее хозяйкой цветущей фермы, счастливой матерью огромного семейства. Это счастье она заработала и выстрадала, и овеяно оно дымкой печали — по ушедшей юности и не совсем сбывшимся надеждам Обо всем этом устами Джима, вдумчиво и досконально рассказывает автор, проводя читателя-зрителя по своей портретной галерее. В мире окружающем ее героев, все разграничено четко: добро и зло, корысть и великодушие, правда и кривда...

Меньше четверти века отделяют «Мою Антонию» от романа «Сердце — одинокий охотник», а кажется, будто мы шагнули в иную эпоху. Сгустилась, обрела предельную напряженность атмосфера социального разлада — у Кэсер едва намеченного, хотя этические категории и пересекаются у нее с социальными. И это естественно: Маккаллерс росла в «грозные», «красные» тридцатые. Рабочие окраины промышленного городка в Джорджии, где происходит действие ее книги,— постоянно бурлящий источник волнений и стычек. Да и в негритянских кварталах не все обладают упорным смирением Порции — темнокожей служанки, за гроши работающей в дешевом пансионе. Одинаково унылая, хоть и в разной степени тяжкая жизнь обитателей города, только-только начинающего выбираться из трясины Великой депрессии, воссоздана молодой писательницей с жесткой правдивостью, со множеством конкретных деталей, с чувством глубокого, тревожного сострадания ко всем обездоленным, запутавшимся, бесправным. Однако самое острое читательское впечатление от «перехода» в эту книгу — чувство, что ты очутился в другом художественном мире, который по иным законам существует. М. Тугушева отметила коренную разницу в самом подходе обеих писательниц к своим героям: у Кэсер — всегда дистанция, у Маккаллерс — всегда «крупный план» («телекамера»). Маккаллерс действительно следует за ними вплотную, не оставляя малейшего зазора, что мог бы вместить авторский комментарий, оценку, характеристику. Но такая максимальная приближенность, вплоть до «перевоплощения» писателя в своего героя,— явление, давно знакомое в литературной истории, порой эта степень приближенности варьируется и в творчестве одного и того же автора Ломка традиции видится в ином — в самой структуре образов, в самом строе повествования. Год с небольшим отпущен автором нескольким людям, рассказ о которых образует ядро сюжета. Среди них тринадцатилетняя Мик Келли дочь безработного маляра, пытающегося продержаться починкой часов; хозяин «круглосуточного» кафе Бреннан; чахоточный негритянский врач Копленд, самостийный бродячий агитатор-социалист Блаунт Странным образом, центром притяжения для этих, ничем друг с другом не связанных людей стал глухонемой гравер Сингер. Он корректен и приветлив, понимает собеседника по губам, отвечает жестами или краткой репликой на листке блокнота и почему-то кажется этим своим собеседникам бесконечно мудрым и добрым. Но все это абсолютно иллюзорно: Сингеру нет никакого дела до этих людей, он вообще не знает, зачем они несут к нему свои дилеммы, горести и недоумения. Для него общение с ними—не более чем способ скоротать время, наполненное неизбывной тоской по другу, греку Антонапулосу, отправленному в психиатрическую лечебницу в другой город.

Жестокая ироничность этой продуманной, симметрично построенной психологической ситуации заключена в том, что сам Сингер, неприметно ставший идолом для группки одиноких, несчастливых людей сотворил собственного идола «из материала» до абсурда неподходящего: Антонапулос слабоумен, эгоистичен, наделен одними лишь

животными потребностями, а Сингеру он представляется существом таинственным, благостным и мудрым. Маккаллерс назвала свой роман «Немой» (нынешнее заглавие дали в американском издательстве), подчеркнув, что в его замысле именно эта «метафора немоты»— одиночества, разобщенности, слепоты любви. Все эти мотивы, в разных вариациях, присутствуют и в других ее книгах («Участница свадьбы», «Баллада о печальном кабачке»), неизменно сплетаясь с мотивами социальными и политическими («Часы без стрелок»), с актуальными проблемами Юга, которые она воспринимала глубоко и тревожно. Блуждания ее героев мучительны и противоречивы, и все же приводят они не в тупик. В гордом подвижничестве доктора бедняков Копленда, в отзывчивости «домотканого мыслителя» Бреннана, в надеждах, прорезающих черное, буйное отчаяние Блаунта с его тщетными призывами, но более всего в той музыке, что непрестанно слышна в душе подрастающей Мик,— звучит и вера писательницы в возможности человека.

Повествование ведется неторопливо, будто бы спокойно, но это обманчивое спокойствие: мы все время пребываем как бы в эпицентре психологического вихря, противоборства враждующих начал, душевной смятенности; эпизоды повседневной жизни, увиденные в мелких подробностях, причудливо смешиваются с клочковатым, судорожным движением внутренней жизни персонажей, образуя непрерывную беспокойную «рябь». Развивая замысел романа в письме, которое сопровождало представленную в издательство первую его главу, Маккаллерс говорила о «контрапунктном» принципе построения сюжета: «Подобно голосу в фуге, каждый из главных персонажей — самостоятельная тема, но характер его обретает бóльшую полноту по контрасту и в переплетении с другими...» Разумеется, все эти новации, столь выразительные рядом с прямодушной, открытой повествовательной манерой Кэсер, говорят об усложненности художественного метода ее младшей современницы. Но ведь и Маккаллерс была дочерью своей эры, не только социальной, но и литературной. При всей самобытности, присущей каждому истинному таланту, и она была крепко связана как с формирующейся «южной школой», так и с традициями европейской прозы, в частности русской И творчество Уиллы Кэсер, в свою очередь, не было замкнуто в пределах «регионального романа», с которым часто связывали ее имя; ее поиски, достижения и даже неудачи по-своему отражали динамику литературного процесса на протяжении почти полувека истории США. Вот почему это, быть может и вынужденное, объединение под одной «крышей» двух столь разных, но не столь уж чуждых друг другу авторов оказалось и любопытным и поучительным. Оба романа (они уже выходили отдельными изданиями) превосходно переведены: «Моя Антония»— И. Разумовской и С. Самостреловой, «Сердце — одинокий охотник»— покойной Е. М. Голышевой.

И. ЛЕВИДОВА

СЛЫШИМ: ПОЭТ БРИТАНИЯ

Английская поэзия в русских переводах. XX век. Составление Л. М. Аринштейна, Н. К. Сидориной, В. А. Скороденко. Предисловие и комментарии Л. М. Аринштейна, В. А. Скороденко. Москва, Радуга, 1984.

В моем непокойном доме
Я пою для вас, незнакомых...

Дилан Томас

Литературную историю отличает упрямое равнодушие к календарю. Границы исторических и литературных эпох редко совпадают. Так, один из крупнейших поэтов викторианской Англии, Джерард Мэнли Хопкинс, умер в 1889 году, а его лирика, неведомая современникам, ожила три десятка лет спустя и стала достоянием поэзии нашего времени. Томас Харди, будучи автором многих известных романов, выпустил в 1898 году свои «Уэссекские стихи». Читатели, которых поразил очень современный, далекий от условностей викторианской лирики, гибкий язык и неподдельная достоверность психологических коллизий, с удивлением отметили, что многие стихи «начинающий» поэт написал за полтора-два десятилетия до опубликования.

Стихи Харди открывают антологию русских переводов английской поэзии XX века. Первое стихотворение подборки датировано 1900 годом, но это скорее надо воспринимать как случайность, мало соответствующую капризной логике литературной истории. Ведь XX век в британской поэзии наступил гораздо раньше — по крайней мере рубеж, открывающий новейшую поэтическую эру, следует отодвинуть к 90-м годам, когда о себе заявили молодые поэты из лондонского «Клуба рифмачей» во главе с У. Б. Йейтсом.

Хронологические вехи в данном случае играют немаловажную роль: британская поэзия нынешнего столетия представлена в антологии именно сквозь призму ее истории — как движущаяся панорама литературной борьбы. Этот том едва ли похож на своего предшественника — книгу «Английская поэзия в русских переводах (XIV — XIX века)». Там — величественный музей поэтических шедевров. Здесь — выставка достижений английского поэтического «хозяйства» XX столетия. Там — блестящий парад солистов, щедро демонстрирующих свое высокое искусство: Шекспир, Донн, Блейк, Байрон, Китс. И рядом — Жуковский, Брюсов, Маршак, Лозинский, Левик... Здесь многозвучный ансамбль (90 поэтов и 66 переводчиков!), в котором даже сильные голоса тонут, но зато поражает разнообразие интонаций, тембров, эмоций Триумвират составителей, дирижирующий этим, по первому прочтению, оглушающе-многоголосым хором, конечно, пошел на риск, поставив гигантов — Харди, или Элиота, или Грейвза — вместе с фигурами явно второстепенными (вроде У. Э. Хенли, или К. Райн, или Дж. Клемо),

но риск был вынужденный. В отличие от поэтов Возрождения или романтизма, чье творчество давно стало фактом русской поэзии — вспомним Шекспира, или Байрона, или Мура,— английские поэты XX столетия для нас в общем-то еще незнакомцы. Без малого полвека назад вышла в Ленинграде «Антология поэзии новой Англии». Она быстро стала библиографической редкостью, так что новейшая антология по сути заново открывает нам поэтический Альбион.

Мозаичная картина британской лирики запечатлела все штормы и штили литературной жизни страны, все приливы и отливы поэтических течений — от георгианцев и имажистов до ливерпульских лириков, публицистов 60-х годов. Между этими пограничьями пролегли десятилетия бурной идейно-эстетической полемики, неотделимой от общественно-политических коллизий «века тревог», как назвал XX столетие У. Х. Оден. Две мировые войны, война в Испании, «колониальные» войны в Азии и Африке, классовые битвы второй половины 20-х и 30-х годов, прогрессирующее одряхление некогда могущественной «владычицы морей» в 50-е годы, кровавая трагедия гордого Ольстера — все эти крупнейшие события стали вехами духовной биографии английских поэтов разных поколений, воплотились в сообща создаваемую ими поэтическую летопись эпохи. Летопись, где в каждой главе сияет яркое созвездие: «окопные поэты» в годы первой мировой войны, «оксфордцы?» — в 30-е годы, «неоромантики» — в 40-е, поэты «Движения» — в 50-е, поэты «Группы» — в 60-е... Но правда, следить за чредой сменяющих друг друга поэтических школ — занятие увлекательное лишь для литературного историка. Наибольший интерес для широкого читателя в поэтической хронике века составляют все-таки не созвездия сами по себе, а ярчайшие их звезды. С отдельными из них — Киплингом, Элиотом, Грейвзом, Диланом Томасом, Ларкином, Хьюзом — мы уже достаточно хорошо знакомы. Меньше представляем себе облик поэзии Харди, Одена, Йейтса, хотя это вершины современной англоязычной лирики. А крупных поэтов последних десятилетий — Р. С. Томаса, Э. Дженнингс, Д. Энрайта, Т. Ганна, Дж. Хилла, Н. Маккейга — мы до выхода в свет этой антологии и вовсе не знали.

Англия, как известно, страна, где чтят традиции. В том числе и литературные. У. Оуэн — один из блестящих представителей плеяды «окопных» поэтов — был горячим поклонником лирики Китса. Элиот, к середине 20-х годов ставший признанным вождем поэтического модернизма, обратился к «метафизическим» поэтам XVII века. Традициям поэтов-«метафизиков» следовали Дилан Томас и У. Х. Оден (который к тому же был страстным почитателем Байрона). У. Б. Йейтс возрождал линию блейковского символизма. А отправной точкой творческих поисков поэтов 50-х годов во многом стали Харди, Элиот, Дилан Томас...

Существует предположение, что, чем крупнее поэт, тем большей чуткостью исторического слуха он обладает, отчего в его стихах непременно должен быть слышен мощный отзвук шума времени. Что ж, крупнейшие поэты Англии нашего века были сполна наделены даром «всемирной отзывчивости», но не так уж часто эпохальные переломы большой истории отзывались в их поэзии с прямой непосредственностью. Подобная репортажная конкретность характерна для «окопных» стихов, в частности Р. Олдингтона (сборник «Образы войны», 1919, для английской лирики «красных тридцатых»).

И все-таки взрывы публицистических жанров мало свойственны поэзии Англии. Удивительно, но факт: мрачное шестилетие кровопролитной битвы с нацизмом не вызвало к жизни мощной волны «фронтовой» лирики, как это было в 10-е годы. Было написано немало стихов о войне, и лучшие из них — «На оборону островов» Элиота, «Август 1940» Р. Фуллера, «После боя у Инвернесса» Н. Маккейга — помещены в этой антологии. Однако не появилось *поэзии* второй мировой войны. «Вместо того, чтобы дать урожай «военной поэзии», эта война, похоже, заставила нас с новым благоговением взглянуть на жизнь»,— приводится в предисловии свидетельство литературоведа-поэтессы К. Райн. Английские поэты нашего времени вообще, пожалуй, имеют склонность осмыслять исторические бури и катастрофы не столько как новые факты социального опыта современников, но как прежде всего очередные испытания, выпадающие на долю человека в его духовной одиссее. Так в «Четырех квартетах» Т. С. Элиота, завершенных еще в 1942 году, или в поэме «Век тревог» (1947) У. Х. Одена есть лишь скупые упоминания о бомбардировках Лондона, о морских сражениях в Ла-Манше, хотя обе поэтические книги, созданные под живым впечатлением от мировой трагедии, явились плодом мучительных раздумий о нравственных уроках битвы с нацизмом. И конечно же, память о самой опустошительной в истории войне воплотилась в скорбных строках Дилана Томаса — по видимости не имеющих никакого отношения к трагическим событиям эпохи:

Рука, что ставит подпись, рушит город;
Пять пальцев, пять владык задушат жизнь.
Ополовинят край, удвоят царство мертвых;
Пять королей шлют короля на казнь...

Пять королей, что сеют смерть, не мажут
Целебной мазью ран, к лбам не приложат лед;
Рука, что держит небо, сдержит жалость.
Рука не знает слез.

(Перевод В. Британишского)

Хорошо, что движение британской поэзии воссоздано в антологии не как свод подвигов литературных «генералов», но как бег полноводной реки, питаемой десятками больших и малых притоков. Однако есть тут и опасность размывания границ между явлениями эстетически неравноценными. Скажем, наибольший объем «строчечного фронта» получили в этой книге Хаусмен, Киплинг и Элиот. Первые два — поэты, бесспорно, крупные, но едва ли

столь же значительные в контексте британской поэзии XX столетия, как Элиот. А вот У. Х. Оден — фигура, чье творческое дарование, да и заслуги перед новейшей англоязычной поэзией, на мой взгляд, гораздо выше, чем у последнего певца империалистической Англии,— представлен в антологии всего лишь четырьмя отнюдь не сильнейшими вещами. Не повезло не только Одену, но и таким значительным поэтам, как Харди, или Д. Г. Лоуренс, или Х. Макдиармид. Но более всего, пожалуй, удивляет раздел, поименованный «Приложение». Здесь, вдали от столбовых поэтических дорог, оказались У. Б. Йейтс и Дж. Джойс. Тот факт, что оба классика английской литературы — ирландцы по происхождению, едва ли может служить оправданием их изъятия из потока британской поэзии. Почему бы тогда не откомандировать Х. Макдиармида в «шотландское», а Дилана Томаса — в «валлийское» приложение? А главное, у читателя, неискушенного в истории английской поэзии и впервые ступающего в ее необъятное море, складывается превратное представление о масштабах мастерства и о реальном месте поэтов в английской поэтической культуре в целом.

Но при всем том книга, которая вышла сразу вслед за антологией русских переводов американской поэзии, стала важным звеном в серии «двуязычных» собраний, воспроизводящих этапы многовекового диалога русской поэзии с поэзией других народов. Хотелось бы надеяться, что издательство «Радуга» будет и в дальнейшем выпускать эту серию, которая уже давно обрела десятки, если не сотни тысяч заинтересованных читателей.

О. АЛЯКРИНСКИЙ

Издано за рубежом

ГВАНН МАМО И МАЛЬТИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

На острове Мальта, расположенном в центре Средиземного моря к югу от Сицилии, находится независимая республика, которой удавалось сохранять свою самобытность на протяжении веков. Ее официальные языки — мальтийский и английский, но именно мальтийский язык, семитский по происхождению, прежде всего содействовал тому, что сегодня мальтийцы могут с гордостью говорить об отличительных чертах своего национального характера. Мальтийский народ обладает необычайно богатой и древней культурой, особенно в области археологии, а также архитектуры. Но и литература, как в прошлом, так и теперь, играет исключительно важную роль в выражении идеалов, стремлений и чувств жителей небольшого острова.

В прошлом действие мальтийского романа разворачивалось вокруг образа главного героя, воплощающего характерные черты народа. Авторы исторических романов в поэтической форме описывали различные периоды древней истории Мальты, искали героев среди представителей народных масс. Одни их персонажи взяты прямо из истории, другие же являются плодом воображения автора, пытающегося создать такой образ, который мог бы считаться типичным. Сельская местность, где обычно происходит действие романа, традиции и обычаи ее жителей, уклад их повседневной жизни, чаяния народа — все это обобщается в одно целое — жизненный опыт мирных, трудолюбивых людей.

Среди наиболее значительных произведений такого типа — «Инез Фарруг» (1889) Антона Мануэла Каруаны (1839—1907), «Тони Бажада» (1878), «Вику Масон» (1881), «Сюзанна» (1883), «Сежлу Тонна» (1886), «Сенсу Барбара» (1893) и «Назжу Эллюль» (1909) Гуза Маската Аззопарди (1852—1927), который, как это видно из названий романов, строил свое повествование, исходя из той роли, что играет в нем главный герой, и «При трех правлениях» (1938) Гуза Акилины (род. в 1911 г.).

Эти произведения проникнуты сознанием, что Мальта — страна, обладающая правом определять свою собственную судьбу. В них берется за основу какое-либо важное событие или сюжет в контексте определенного исторического периода, а затем творческая фантазия обрабатывает подлинные факты. Такая тенденция популярна у большинства романистов Мальты старших поколений, да и современные писатели нередко идут тем же путем.

Многие романисты предпочитают исследовать более современные стороны повседневной жизни, не приуменьшая и здесь значения творческого вымысла. Теми Заммит (1864—1935) — автор ряда рассказов о трудной, реальной жизни простых людей. Их страдания и маленькие радости, попытки заработать на жизнь, их простодушие— вот о чем эти рассказы. Писатель не только создает увлекательное повествование, он хочет еще показать и диалектику души своих персонажей. В «Серебряном кресте» Вистина Борна (род. в 1910 г.) воспроизводится богатый фольклор мальтийцев: анекдоты, поговорки, афоризмы. По словам Борна, он смеется вместе со своими героями и плачет с ними, когда их постигают беды.

Книги Гуза Четкути (род. в 1914 г.) отличаются, пожалуй, наибольшим реализмом. Мир страданий и обманутых надежд рисуется им с исключительной достоверностью. В романах «Свет жизни» (1958), «Любовь и смерть» (1961) и «Аллея» (1962) главная тема — борьба за существование обездоленных, мечтающих о справедливости. Язык Четкути очень близок к простонародной речи, а коллизии, лежащие в основе сюжета, нередко черпаются автором из самой гущи жизни.

Другие писатели, например Гуз Эллюль Мерсер (1897—1961), автор «Лали из Хаз-Згира» (1938), и Гуз Орландо (1898—1962), автор «Сумасшедшего» (1948), создают свои произведения, руководствуясь идеей о том,

что социальная среда может быть наилучшим образом изучена, понята, а также изменена просветителем. В обоих романах подробно описываются многообразие мальтийской действительности, главный герой— мыслитель, считающий, что социального освобождения можно добиться с помощью образования. Социальное самосознание, любовь к простым людям, сострадание к самым нуждающимся, боязнь, что в конечном итоге может возникнуть отчуждение между народом и интеллигенцией,— таковы, пожалуй, главные особенности этих двух книг.

Современный роман больше концентрирует внимание на исследовании характерных качеств главного героя, своеобразия его личности. От исторической темы он уже отказывается, а социальный анализ видоизменяется, отходя от традиционных форм. Можно с уверенностью сказать, что писатели сегодняшнего дня тоже вносят немалый вклад в дело лучшего понимания общества, в котором они живут.

Нашим классиком, досконально изучившим свое непосредственное окружение и дорожащим этой средой, хотя он и критиковал ее недостатки, был Гванн Мамо—автор книги «Дети бабушки Венут в Америке» (1930).

Сам Мамо определял свое произведение как «сатирическое и нравоописательное, почти политическое и современное». В отличие от своих литературных предшественников, к которым, впрочем, он относился с большим почтением, Мамо сосредоточил внимание на социальных условиях современной ему действительности. Он стремился создать общую картину обыденной, ничем не примечательной жизни сограждан.

Его персонажи наивны и бесхитростны, они часто не подозревают о грозящей им опасности из-за недостаточной житейской зрелости. Все «бабушкины дети» — выходцы из мальтийского народа. В основе романа лежит традиционная для мальтийцев проблема эмиграции как социальной необходимости. Размеры острова невелики, в 20-е годы возникла угроза перенаселенности и многие рабочие были вынуждены искать лучшей доли за границей. Мамо отправляет своих героев в США. Кстати, в Чикаго и Новом Орлеане, а также Сан-Франциско уже в 20—30-е годы образовались значительные мальтийские общины.

Роман «Дети бабушки Венут в Америке» похож на сагу, в которой рассказывается история целой семьи. Большинство мальтийцев предпочитало уезжать за границу семейными кланами. Это немаловажная черта типично мальтийского характера.

Большая часть романа повествует обо всем, что происходит с простодушными иммигрантами в чужой стране. Жизнь на чужбине складывается для его героев неудачно, в конечном итоге им приходится возвращаться домой. Этому реалистическому роману свойственна и комическая интонация. Мамо — искренний, социально зрелый реалист-сатирик. Он утверждает, что мальтийский рабочий должен оставаться на родине и стремиться к изменению условий существования у себя дома. Именно поэтому трагический в основе своей сюжет пронизан у него комизмом. Мамо с любовью пишет о Мальте и ее людях, даже высмеивая своих антигероев. Он полон симпатии к ним и их странностям и чудоковатости. Он наблюдателен, под его пером мальтийцы не жалкий народ, не имеющий будущего, но люди, способные изменить жизнь к лучшему.

Мамо утверждал, что писатель должен содействовать прогрессу своего общества. Он был убежден в том, что романист должен быть пристрастным наблюдателем реалий, чувств, идей и положений. Изображая вещи так, как они есть, писатель должен развивать самосознание своего народа, учить людей лучшему пониманию самих себя и жизни.

Сегодня его роман рассматривается как произведение, рисующее образы, которые выходят за рамки его времени, хотя в нем содержится яркая панорама жизни старших поколений. Современный мальтийский читатель может узнать из романа кое-что и о самом себе. Социально-исторический реализм Г. Мамо жив и сегодня.

ОЛИВЕР ФРИЖЬЕРИ
(Мальта)

ВЕЧНО ЖИВОЕ ВРЕМЯ МЕРТВЫХ

K a r e l H o u b a. Závrat', Praha, Melantrich, 1983.
K a r e l H o u b a. Živý čas mrtvých, Praha, Melantrich, 1985.

К а р е л Г о у б а. Головокружение. 1983.
К а р е л Г о у б а. Живое время мертвых. 1985.

Гоуба принадлежит к поколению, чья юность опалена войной. Окончив гимназию в оккупированной немецкими фашистами Праге, вместе с тысячами молодых чехов и чешек он был отправлен отбывать трудовую повинность в Германии. Более года провел Гоуба в невыносимых условиях, всегда голодный, под вечным страхом смерти. Этот короткий отрезок времени во многом определил его дальнейшую жизнь и творчество. Недаром сам Гоуба считает, что все написанное им несет на себе печать войны, которая «глубоко затронула» его поколение.

Отличительная черта произведений Гоубы — беспощадная честность в изображении поступков и мыслей героев, выдвигаемая на первый план и бескомпромиссно решаемая тема Совести, заставляющей человека выбирать нелегкие, подчас требующие огромного духовного напряжения пути. Не всегда удавалось автору провести эту тему достаточно убедительно, однако в двух наиболее зрелых его романах, «Постель с балдахином» (1976) и «Головокружение», мы с неослабным вниманием следим за внутренней эволюцией героев, за их поисками, потерями и находками.

Роман «Головокружение» не о войне, его действие и путь его героя лишь начинаются в годы войны, но это роман о поколении, психология которого складывалась в период борьбы с фашизмом. Как справедливо отметил чешский критик и литерату-

ровед Штепан Влашин, завязка «Головокружения» во многом напоминает начало романа Карела Чапека «Метеор». Человек, подобранный возле полотна железной дороги с тяжелым инфарктом и ушибами, свидетельствующими о падении с площадки вагона, лежит в больнице, за его состоянием неусыпно следят медицинская сестра и врач. Но если Чапека в этой ситуации интересует не столько сам умирающий, сколько разные точки зрения, разные толкования его личности, даваемые сторонними людьми — теми, кто пытается объяснить загадку его появления и конструирует возможную историю его жизни, то для Гоубы важен именно сам герой, его собственные мысли и ощущения. И мы становимся соучастниками его последней попытки разобраться в своей жизни.

По крупицам восстанавливая цепочку событий, он часто мысленно обращается к своим родителям, с которыми связаны два противоборствующих начала в нем самом: к отцу, забастовщику и бунтарю, от которого он унаследовал упорство, и к матери, воплощающей для него дух компромиссов и мещанства, заботу о собственном благополучии. Воспоминания детства в сознании умирающего сменяются страшными картинами концлагеря, где он подружился со спасшим его Рене и с оказавшим ему моральную поддержку коммунистом Гержманом. Но там же совершает он и первое предательство...

Второе он совершает после войны, но сначала он пишет роман и пьесу, которые приносят ему успех и положение в обществе. Иначе складывается жизнь его лагерного товарища Рене: отец Рене — богатый буржуа—эмигрировал за границу. Рене живет с женой в полуподвале; когда выходит книжка его стихов, герой романа (правда, совершенно искренне) пишет разгромную рецензию. Через некоторое время он узнает, что Рене арестован.

Все это время карьера героя неуклонно стремится ввысь, но все более расширяется трещина в его нравственных устоях. Ложь захватывает и его семейную жизнь, и его творчество, доводя его до полного тупика. Поворотным моментом в его жизни становится возвращение реабилитированного Рене и его смерть. Вдова Рене приносит ему в редакцию сборник последних стихов мужа, он долго держит эти стихи под спудом, боясь их изданием както повредить себе, а потом (прекрасно сознавая, что стихи хороши) возвращает их вдове с равнодушной отпиской. Последовавшее сразу вслед за этим самоубийство вдовы действует на преуспевающего героя, теперь уже директора издательства, как удар: он уходит с почетной и денежной должности, предлагает жене начать жизнь заново, отказавшись от всего, что они приобрели. Торопясь спасти имущество, жена вызывает адвоката. Герой садится в поезд... Последние страницы романа, чрезвычайно трудные и ответственные, написаны настолько психологически достоверно, что нельзя не поверить во внутренний перелом героя, поздно осознавшего гибельность прежнего пути.

Глубокий психологизм — важная черта всего творчества Гоубы — в романе «Головокружение» подчинен раскрытию мысли о неизбежном разложении личности, вступившей на путь компромиссов с совестью. Разумеется, этот роман и по тематике, и по охвату изображаемых в нем событий скорее роман о нашей современности, чем роман о войне. Но если бы не жили в сознании его героя воспоминания о концлагере, о суровых и благородных идеалах военной юности, вряд ли с такой беспощадностью встал бы перед ним вопрос: да что же я делаю, как живу?..

В книге «Живое время мертвых» Гоуба собрал воедино свои лучшие повести и рассказы о войне. Открывается она повестью «Прежде чем кончился день...». Из разбитого бомбой автофургона бегут смертники-заключенные — паренек, подстегиваемый единственным стремлением — добраться до Праги и предупредить товарищей, что их имена знают в гестапо; мужчина постарше, который успевает запастись оружием и заставляет немецкого охранника нести тяжелораненую женщину; чуть позже старик находит у обочины дороги потерявшую сознание девушку и увозит ее на телеге. Три параллельно развивающихся сюжета пронизаны мыслью о взаимопомощи и взаимной поддержке людей, даже когда это сопряжено с риском для их собственной жизни, о единстве народа перед лицом врага. Ни одному из тех, чьи мысли автор скрупулезно и подробно доносит до читателя, в голову не приходит, что он может думать только о себе и ничего не сделать для других.

В повести «Когда услышишь колокола» мобилизованные немцами чех и чешка, итальянец, француз и полька помогают друг другу переносить общие трудности. В последние дни войны молодые люди пробираются к немецкой границе, каждый мечтает попасть на родину, но удается это лишь чеху, остальные его товарищи погибают. И в этой повести на передний план выступает мысль о взаимной поддержке, о значимости каждого, даже самого малого вклада в общую борьбу с фашизмом (особое значение в связи с этим приобретает, казалось бы, второстепенный образ старого немца, скромного парикмахера, который старается помочь молодым людям, вместе с ними слушает московское радио).

Последний большой рассказ сборника — «В замковом парке» — новый и по-новому освещающий все, что вошло в книгу. Это рассказ-диалог, рассказ-полемика, за незамысловатым сюжетом которого (встреча пожилого писателя с молодым критиком) просматривается глубоко выстраданная, имеющая для Карела Гоубы первостепенное значение мысль: нужно ли сейчас, через сорок лет после окончания войны, писать о ней? Интересно ли это молодым, ищущим в таких книгах лишь острую, захватывающую сюжетность? Не стала ли эта тема историей, которая уже по-настоящему не затрагивает читателя, не пережившего войны? Не горьким ли анахронизмом звучат сейчас слова немца-антифашиста, дезертировавшего из гитлеровской армии и погибшего на пражских баррикадах: «За одно мы будем благодарны войне — за то, что никогда больше дети не станут играть ружьецами, заводными танками и прочи-

ми стреляющими игрушками, потому что после этой войны их не будут производить нигде в мире».

Так нужно ли сейчас писать книги о войне и о поколении, возмужавшем в годы войны? И если писать — то как? Эти вопросы волнуют сейчас писателей во многих странах мира. Недаром они так по-разному, но горячо и заинтересованно говорили об этом на состоявшейся осенью в Ленинграде всесоюзной писательской конференции «Во имя жизни на земле», посвященной сороковой годовщине Победы над фашистской Германией и милитаристской Японией. К дружному хору голосов, прозвучавших на этой конференции, как бы присоединяет голос и чешский писатель Гоуба, своим творчеством и особенно своими последними книгами утверждая: писать нужно, писать необходимо, ибо эта тема вечно живая и вечно волнующая: «никогда не будет достаточно книг, предостерегающих против войны».

В. КАМЕНСКАЯ

НОВЫЙ РОМАН АРТУРО АСУЭЛЫ

Arturo Azuela. La casa de las mil vírgenes. México, 1984.

Артуро Асуэла. Дом тысячи дев. 1984.

Артуро Асуэла родился в Мехико в 1938 году. Долгие годы преподавал математику и историю науки в Мексике и за рубежом. Кроме научных работ Асуэла — автор многих художественных произведений: романов «Протяженность ада», за который присуждена премия Хавьера Вильяруттия 1974 года; «Некий Хосе Саломе» (1975 — 1982) и «Демонстрация молчания», получившего Национальную премию Мексики в 1980 году. Книги Асуэлы переведены и изданы во многих странах Сейчас он — президент Латиноамериканской конфедерации писателей.

Само название последнего романа — «Дом тысячи дев» — настраивает читателей на поэтический лад. Очень давно в «Доме» жила молодая, богатая и одинокая красавица, и тогда он назывался «Дом непорочной девы». Позже под его крышей сменяли друг друга богачи, политиканы, эмигранты, бродяги, нищий люд, проходимцы и развратники. Дом соединял судьбы самых разных людей, чья богатая фантазия нарекает его теперь весьма иронично: «Дом тысячи дев».

История дома — в то же время история одного из самых известных (в прошлом — аристократического, позже — пролетарского) и характерного района Мехико: Санта Мария ла Ривера, где живут школьники-подростки Каталина, Серхио, Аманда и другие.

Но главные герои романа: старик Алива, чистильщик обуви, и его собеседник — журналист Серхио.

Алива рассказывает Серхио увлекательные истории. Философские размышления Аливы поражают точностью и мудростью. Ему также присущ юмор, его рассказы фантастичны, его меткие mots еще более выигрывают от выразительной жестикуляции. А кроме того, Алива — человек, достаточно хорошо разбирающийся в политике и истории Мексики. Он говорит со знанием дела и о экспроприации нефтяных трестов, и о профсоюзной борьбе, о Ласаро Карденасе и Ломбардо Толедано. С удивлением Серхио узнает, что Алива на протяжении своей долгой жизни был не только чистильщиком, солдатом, слугой — он еще и активный общественный деятель: основатель и член профсоюза чистильщиков Мексиканской Республики.

Голосу Аливы вторят автор и Серхио. Сначала Серхио — незаметный, ничем не выделяющийся юноша. Отсутствуют те индивидуальные черты, из которых складывается личность. Он упорно употребляет местоимение «мы», но о себе самом молчит. Завязка романа совпадает с тем моментом, когда Серхио и школьная компания становятся перед выбором дальнейшего пути. После окончания школы они не знают, чем заняться. В конце концов Каталина уезжает учиться за границу, Аманда выбирает философский факультет, а другие — физико-математический.

С судьбой Серхио читатель знакомится уже в конце романа, когда он возвращается после нескольких лет отсутствия в родные места. Читатель узнает, что Серхио был ранен во время демонстрации 1971 года в Тлателолько. Горькие воспоминания о том времени (оставшемся в памяти мексиканского народа как период жестоких репрессий правительства) тяготят и Серхио; он рассказывает: «Уже известные своей хитростью и зверскими налетами «Альконы»[1] наступали с разных сторон, они были даже на плоских крышах и в окнах домов. Беспрерывно строчили пулеметы, поливая огнем народ. Стреляли повсюду, и манифестанты обратились в бегство. Объятые ужасом, они прятались в домах, лавках, стучали в первую попавшуюся дверь. Демонстрация была рассеяна за несколько минут. Мехико-Такуба, на которой находится педагогический институт, и прилегающие к ней улицы покрылись телами раненых и убитых». Алива помог тогда раненому Серхио, который обещает обязательно вернуться. И вот 1983 год. Серхио возвращается, чтобы написать о «Доме», об Аливе, о прошлом, об «Артисте». Впрочем, читатель уже догадывается, что это прозвище самого Серхио. А в Серхио угадывается сам Асуэла — социальный писатель, критически исследующий свою эпоху, ее большие и малые катаклизмы: вторая мировая война, война во Вьетнаме, движение железнодорожников, манифестация в Тлателолько в 1968 и 1971 годах.

Особое место в романе занимает проблема мексиканской молодежи. Она — коллективный герой романа, и это придает многим страницам яркое мажорное звучание. Энергия, энтузиазм, жизнерадостность юных заражают ее читателя. Автор

[1] Ястребы *(исп.)*. *(Прим. автора.)*

описывает поведение, интересы подростков 50-х годов, их формирование и развитие на фоне социально-политических конфронтаций; он успешно проникает в их психологию, ему ведомы желания молодых и ее тревожное ожидание будущего, стремление творить, изменять действительность, принимать участие в социальной жизни страны. Со сложным чувством смотрит Асуэла на прошлое родины, но взгляд его исполнен надежды.

Контраст многострадальной жизни старика Аливы с молодостью юных героев подчеркивает эту веру и надежду. Алива — прошлое Мексики, молодежь — ее грядущее.

В романе «Дом тысячи дев» Асуэле удалось создать образ страны 70-х — начала 80-х годов и нарисовать яркий коллективный портрет тех, кто сражался, как Серхио, и тех, кто готов строить будущее.

ДАЛИЯ МЕНДОСА (Мексика)

◆

К нашим иллюстрациям

Имя Генриха Грубера широко известно в ФРГ. Он график и живописец, президент Объединения профессиональных художников земли Рейнланд-Пфальц. Директор — распорядитель международных выставок.

В 1976 году в городе Пирмазенсе демонстрировалась выставка картин Генриха Грубера «Пейзажи и города». Она стала как бы переломным моментом в работе художника. Теперь в его творчестве стала преобладать живопись, графика отодвинулась на второй план.

Грубер любит южные экзотические страны: Индонезия, Италия, Северная Африка... В работах, посвященных им, он использует яркие теплые тона.

С начала восьмидесятых годов его стали все больше привлекать родные места. Колорит его пфальцских пейзажей становится более сдержанным и холодным. Одновременно он обращается к портрету, но предпочитает писать людей хорошо знакомых, старается выразить прежде всего их внутренний мир.

Художник много путешествует, особое впечатление на него произвел Советский Союз, Москва. Он создает целую серию полотен о Москве, увлеченно пишет портреты советских людей.

Выставка в СССР, которая демонстрировалась в Москве и в Баку, включает также станковую графику, графические серии, сопровождаемые поэтическим текстом художника.

Генрих Грубер много делает для сближения и углубления взаимопонимания между народами.

Е. ЧЕРНЯЕВ

Из месяца в месяц

БОЛГАРИЯ

ВЕТЕРАН БОЛГАРСКОЙ КРИТИКИ

Литературная общественность Болгарии широко отметила 90-летие видного критика Георгия Цанева. «Каждая его статья, каждая его книга, — писал еженедельник «Литературен фронт», — свидетельствует о том, что его всегда глубоко интересовала история нашей страны, история нашей литературы. Он всегда считал своим долгом утверждение нового, прогрессивного, талантливого».

Г. Цанев был первым критиком, по достоинству оценившим выдающегося революционного поэта, певца Октябрьской революции Христо Смирненского, писателей А. Каралийчева, А. Расцветникова, Н. Фурнаджиева, отразивших в своем творчестве Сентябрьское антифашистское восстание 1923 года. Большую роль в развитии современной болгарской литературы сыграл журнал «Искусство и критика», которым Г. Цанев руководил в тридцатые годы. Здесь публиковались первые произведения Э. Станева, П. Вежинова, Б. Райнова, В. Петрова и многих других писателей, ставших позднее мастерами литературы новой, социалистической Болгарии.

«В первые же дни знакомства, — писал в газете «Народна култура» известный поэт Х. Радевский, бывший в свое время сотрудником журнала «Искусство и критика», — меня поразили энтузиазм Георгия Цанева и его любовь к литературе. Через всю свою долгую жизнь он пронес эту любовь, преданно и бескорыстно занимаясь исследованием любимого предмета. Он обращался к центральным фигурам и событиям нашей литературы и давал им объективную оценку — даже в тяжелые времена фашизма, когда нелегко было говорить правду. И сейчас по его статьям можно представить себе все многообразие литературной жизни Болгарии со времен ее освобождения от османского ига и до сегодняшних дней».

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ЭДВАРД ЛИР—ХУДОЖНИК

Наверное, мало кто знает, пишет Клод Роусон в «Таймс литерари сапплмент», что Эдвард Лир — автор многочисленных лимериков, забавных стихотворений-«бессмыслиц», — в жизни был грустным, склонным к меланхолии человеком. Конечно, считает К. Роусон, причин тому было более чем достаточно: с детства он страдал многими серьезными недугами — астмой, бронхитом, нервными расстройствами, болезнью сердца. Слишком часто Эдвард Лир испытывал и материальные затруднения. По своему характеру и темпераменту Лир был настоящим бродягой, он исколесил полсвета: Албанию, Грецию, Корсику, Египет, Швейцарию, Италию, мечтал побывать в Новой Зеландии и на озере Чад. Он был не только поэтом и путешественником, но и талантливым музыкантом (об этом рассказывает фильм о Лире, недавно с успехом прошедший по британскому телевидению).

Но пожалуй, еще большей неожиданностью стала для почитателей поэтического таланта Лира выставка его рисунков. Наследие Эдварда Лира—художника, пишет К. Роусон, весьма обширно и многообразно. Рисовать он начал очень рано: уже в пятнадцать лет расписывал ширмы, веера, делал анатомические вывески для врачей. Рисовал он и во время своих многочисленных путешествий. Один из его альбомов произвел столь сильное впечатление на королеву Викторию, что она выразила желание брать уроки живописи именно у Эдварда Лира.

Как это ни странно, отмечает критик, талантливый поэт втайне мечтал о славе художника. Он особенно любил рисовать пейзажи, хотя ему, вероятно, больше удавались карикатуры — в них полнее проявлялось его иронико-саркастическое дарование.

Особое место в наследии Лира-художника занимают иллюстрации — как к собственным произведениям, так и к сочинениям других писателей. В частности, ему принадлежат превосходные иллюстрации к стихотворениям его близ-

Акварель Эдварда Лира «Разрушенная деревня на холме».

(Еженедельник «Таймс литерари сапплмент»)

кого друга, поэта Альфреда Теннисона.

Выставка рисунков Э. Лира экспонировалась в залах Королевской академии несколько месяцев.

ГОВОРЯТ АНГЛИЙСКИЕ ПИСАТЕЛИ

В издательстве «Метьюен» вышла книга «Интервью с романистами», которая сразу привлекла к себе внимание читателей и литературоведов. Составил ее специалист по английской литературе, профессор Шеффилдского университета Джон Хэффенден. «На протяжении нескольких лет,— пишет рецензент газеты «Санди таймс»,— Дж. Хэффенден брал интервью у известных английских романистов: Уильяма Голдинга, Айрис Мёрдок, Виктора Притчетта, Дэвида Стори, Малькольма Брэдбери, Фэй Уэлдон, Дэвида Лоджа». В результате, считает критик, получилась яркая, оригинальная книга. Писатели, столь непохожие друг на друга по художественной манере, в непринужденной форме ведут с читателем беседу о месте писателя в обществе, его ответственности за судьбы мира сегодня, о психологии творчества, о взаимоотношениях автора и публики. Дают они, по просьбе Дж. Хэффендена, и оценки своим собственным произведениям. Безусловно интересны, отмечает рецензент, суждения Голдинга о его романе «Морские ритуалы» и Айрис Мёрдок — об одной из ее последних книг «Ученик философа».

ГДР

ПУТЬ «КРАСНОГО ТАНЦОВЩИКА»

Издательство «Хеншель» выпустило книгу воспоминаний известного немецкого танцовщика, хореографа и педагога Жана Вайдта, озаглавленную «На большой улице».

Творческий путь Вайдта начался в 20-е годы в Гамбурге. Здесь родились его первые сольные танцы «Улица», «Танец с красными знаменами», «Возвращение солдата» (по мотивам «Барабанов в ночи» Брехта).

В 1929 году известный театральный режиссер Эрвин Пискатор пригласил молодого танцовщика в Берлин. Вайдт становится руководителем труппы «Красные танцовщики». Все созданное им в этот период, неразрывно связано с революционным рабочим движением. Видное место занимает хореографическая композиция «Крестный путь человека» по мотивам одноименной серии ксилографий Франса Мазереля.

Жан Вайдт. Рисунок Жана Кокто.

(Газета «Нойес Дойчланд»)

В 1933 году, после прихода фашистов к власти, коммунист Вайдт попадает в тюрьму, но ему удается бежать во Францию. В сороковые годы Вайдт сражается в рядах британской армии и после окончания войны остается в Париже. Созданная им труппа «Балле дез Ар» в 1947 году завоевывает первый приз на хореографическом конкурсе в Копенгагене. В эти годы он сотрудничает с такими прославленными мастерами сцены, как Марсель Марсо и Жан-Луи Барро.

В 1948 году Жан Вайдт возвращается на родину. Он работает хореографом в театрах ГДР, в том числе в «Комише опер» в Берлине, и организует «Группу молодых танцовщиков».

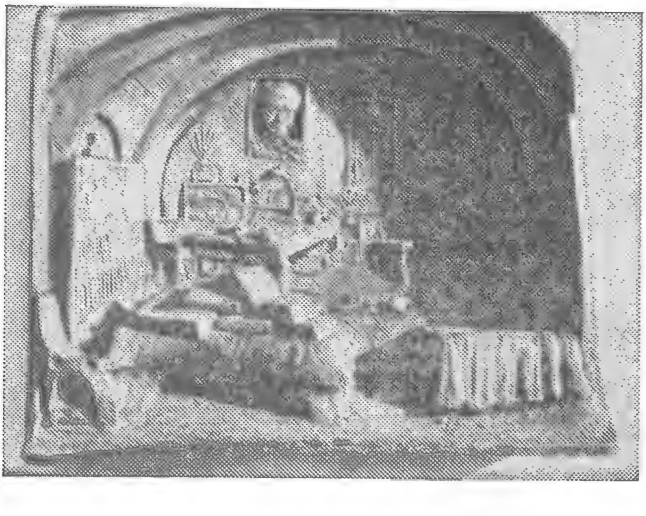
«Воспоминания Вайдта,— пишет газета «Нойес Дойчланд», — это взволнованный рассказ замечательного танцовщика о полувековом творческом пути, о встречах с прославленными деятелями искусства, об истории возникновения тех или иных хореографических постановок. Огромный интерес представляют размышления автора о реалистическом искусстве танца, о связи танца с событиями общественной жизни. В книге содержатся интересные фотоматериалы, многие из которых публикуются впервые».

ВЕНГРИЯ

В последние годы жизни известный венгерский писатель, публицист, драматург, лауреат Государственной премии имени Кошута Лайош Мештерхази большую часть года проводил в местечке Рацкеве на острове Чепель в 20 километрах от Будапешта. «Мештерхази любил Рацкеве, здесь он и работал, и отдыхал, долгие часы проводил у реки, сидя с удочкой...» — свидетельствует журналист и литературный критик Пал Э. Фехер на страницах газеты «Непсабадшаг». В Рацкеве именем Мештерхази названа одна из площадей, а возле дома, где он жил, открыт памятник работы скульптора Эдит Рац.

«Памятник Мештерхази в Рацкеве — это дань уважения и признательности горожан писателю и гражданину»,— пишет Пал Э. Фехер.

На снимке: фрагмент памятника Лайошу Мештерхази в Рацкеве. *(Фотография из архива семьи Мештерхази).*



ИНДОНЕЗИЯ

ВАНДАЛИЗМ НА ЯВЕ

«Сохранить национальную культуру» — так озаглавлена передовая статья литературного журнала «Хорисон», опубликованная за подписью главного редактора журнала Мохтара Лубиса. Писатель перечисля-

Пострадавшая от взрыва терраса Боробудура.

(Журнал «Индонесие: фейтен эн менинген»)

ет в ней акты вандализма, потрясшие недавно всех, кому дорога индонезийская культура: взорванные статуи будд на верхних ярусах древнего храма Боробудур. реставрация которого под наблюдением специальной комиссии ЮНЕСКО окончилась лишь в 1983 г.; подстроенный, как полагают, пожар во дворце бывших правителей княжества Суракарта (XVIII в.), разрушение статуй в храме Бимы на плоскогорье Диенг.

Оценив инициативу властей, незамедлительно ассигновавших средства на реставрацию суракартского дворца «с его изумительной резьбой по дереву и другими культурными ценностями», Мохтар Лубис пишет также о многочисленных случаях гибели и разрушения памятников культуры, не вызвавших столь быстрой реакции. Писатель считает, что для сохранения сокровищ индонезийской культуры нужно приняться за воспитание широких масс, начиная со школьников первой ступени, «поскольку правительство не имеет возможности взять под охрану все памятники национальной культуры, находящиеся в самых разных уголках нашей родины».

ИСПАНИЯ

ЭТЮДЫ О ЖИЗНИ ЭЛЬ ГРЕКО

В издательстве «Планета», одном из самых крупных в Испании, вышла книга известного испанского писателя Хесуса Фернандеса-Сантоса «Эль Греко». Луис Суньен, опубликовавший в газете «Эль Паис» рецензию на это произведение, отмечает приверженность Фернандеса-Сантоса исторической тематике. В своих предыдущих романах «Безымянная», «За городскими стенами», «Пастушка» прозаик обращался к эпохе средневековья, к периоду упадка империи, к войне за независимость. Особой популярностью у читателей пользовался роман «Храбрецы».

На этот раз автор избирает героем повествования величайшего художника Доменико Теотокопули, известного всему миру под именем Эль Греко. Книга состоит из отдельных фрагментов — рассказов реально существовавших людей о жизни художника. Возможно, Фернандес-Сантос яркими «мазками» хотел воссоздать атмосферу и реалии Испании конца XVI — начала XVII века, считает Луис Суньен. Писатель не сосредоточивается только на фигуре самого художника, он обращает внимание на множество исторических фактов, которые обычно ускользают от внимания современников. Вместе с тем в романе предпринята попытка рассказать о внутреннем мире и личной жизни греческого художника, нашедшего родину в Испании, в Толедо — городе, лишенном блеска столичной жизни.

Хотя Фернандес-Сантос, по словам рецензента, не смог представить читателю «законченный портрет художника», тем не менее «Эль Греко» — «правильный» роман, так его определяет рецензент. Автор кинематографически документален в описании топографии Толедо; книга написана простым и ясным языком, читается на одном дыхании; композиция ее удачна. Эти достоинства книги, по мнению Луиса Суньена, еще раз подтверждают, что Хесус Фернандес-Сантос — один из самых интересных современных романистов Испании.

ИТАЛИЯ

«ЕВРОПЕЙСКИЙ ТЕАТР» — ИДЕЯ И ВОПЛОЩЕНИЕ

Вот уже третий сезон известный итальянский режиссер Джорджо Стрелер является директором парижского «Европейского театра», предоставившего свою сцену театральным деятелям стран Европы. «Насколько удаются эти творческие контакты, — сказал Стрелер в интервью газете «Унита», — можно судить хотя бы по перечню спектаклей, которые войдут в наш репертуар в ближайшем сезоне: Ингмар Бергман ставит ибсеновского «Йуна Габриэля Боркмана», Лондонский Национальный театр покажет новую пьесу Томаса Стоппарда в его же постановке, «Шесть персонажей в поисках автора» Пиранделло предстанут перед зрителями в результате совместной работы трупп «Европейского театра» и «Комеди Франсез». Покажем мы и чисто «итальянского» Пиранделло: пьесу «Дурацкий колпак» привезет театр «Стабиле» из Катании. На малой сцене, в «Пти Одеон», ставим Альфреда Дёблина, Итало Свево, пьесу Эдварда Радзинского «Старая актриса на роль жены Достоевского». Надо сказать, что прошлогодняя наша программа была показана целиком в миланском «Пикколо», частично — в мадридском театре, которым руководит учившийся у меня Луис Паскуаль, а также в ФРГ».

Но парижский «Европейский театр» — лишь одно из конкретных воплощений стрелеровской идеи «европейского театра», пишет «Унита». Дальнейшим ее развитием станет театр «Студия», выросший из студии при «Пикколо», где с 1951 года Стрелер пестовал талантливую молодежь. Стрелер собирается широко применять здесь свой парижский опыт: в практику «Студии» уже в этом году войдут совместные постановки, обмен спектаклями, тесные связи с режиссерами и театроведами многих европейских стран.

Кроме того, в Милане открывается театральная школа для молодежи разных стран Европы. Такую же интернациональную школу, отмечает «Унита», Стрелер собирается открыть при «Европейском театре» в Париже. Она расположится в здании знаменитого театра «Вьё коломбье» («Старая голубятня»), основанного в 1913 году выдающимся французским режиссером, теоретиком театра и педагогом Жаком Копо, последователем которого считает себя Стрелер. «Я надеюсь в будущем перебросить мостик между парижской и миланской школами и укрепить тот, что уже существует между «Европейским театром» и «Пикколо», — говорит режиссер в заключение интервью.

ДЖОВАННИ ФОНТАНА — ПРЕДТЕЧА ЛЕОНАРДО

Выпущенная миланским издательством «Аркадиа» книга «Зашифрованные машины» Джованни Фонтаны» стала своего рода сенсацией. В основу ее легли хранивши-

еся в Париже и Мюнхене рукописные книги XV века, расшифрованные, переведенные и прокомментированные Джузеппиной и Эудженио Баттисти. Проделанная ими работа, отмечает журнал «Эуропео», позволяет поставить Джованни Фонтану в один ряд с наиболее выдающимися естествоиспытателями средневековья и Возрождения.

О Фонтане известно, что в 1417 году он был студентом университета в Падуе и уже автором ряда научных сочинений, в 1421 году преподавал в этом университете, а последнее из дошедших до нас сочинений Фонтаны — «Энциклопедия» — датировано 1450 годом. Один из опубликованных ныне кодексов представляет собою трактат о человеческой памяти, для управления которой Фонтана разработал целую систему средств и приемов, поражающих своей современностью; его механические приспособления для записи, хранения и воспроизведения мыслей рецензент «Эуропео» Франко Кардини называет «компьютерами допромышленной эры». Но пожалуй, еще удивительнее предложенные Фонтаной секреты мнемотехники, в основе которых лежат, по существу, принципы современной семиотики. Опережая свое время на полтысячелетия, Фонтана фактически пользуется арсеналом всех ее ныне существующих ветвей.

Тематика второго трактата, продолжает рецензент, позволяет поставить его в ряд с сочинениями Леонардо да Винчи. Содержание обильно иллюстрированного трактата «Книга о приспособлениях для ведения войны», вопреки названию, отнюдь не исчерпывается изложением военно-инженерных премудростей: архитектурные проекты соседствуют здесь с результатами оптических исследований, чертеж воздушного шара — с самопишущим устройством для метеорологических наблюдений. Значительная часть изобретений «несерьезные»: музыкальные автоматы, самодвижущаяся кафедра, фонтаны-«шутихи», многочисленные «технические» игры и зачастую весьма каверзные игрушки (к примеру, черт, которым его создатель пугал монахов). К придуманному шифру Фонтана прибег, по-видимому не желая навлечь на себя обвинение в ереси, заключает рецензент.

КОНГО

БУДЕТ ЛИ ЗАВТРА ПРАЗДНИК?

В издательстве «Презанс африкэн» вышла новая пьеса известного конголезского поэта и драматурга Максима Ндебеки «Поющие завтрашние дни». С поэзией Ндебеки советский читатель знаком по сборнику «Из современной поэзии Конго» (М., «Прогресс», 1980) и двухтомнику «Поэзия Африки» (М., «Художественная литература», 1979). Пьесы Ндебеки отличаются относительной простотой формы — в этом отношении он подражает народному африканскому театру, — но проблемы, которые в них ставятся, достаточно серьезны. Такова и его новая пьеса, где рассказывается, как молодой чиновник, некогда уехавший в город учиться и «преуспевать», возвращается в родную деревню с предложением, выгодным, с его точки зрения, и правительству и односельчанам: рубить и продавать лес, столь необходимый развивающейся промышленности, и деньги потекут в карман сами, а вся последующая жизнь превратится в сплошной праздник. Правда, лес, окружающий деревню, считается священным, но молодой человек уверяет, что все это выдумки стариков. Возникает неизбежный конфликт «отцов и детей»: старейшинам, хранителям мудрости и традиций, противостоят более молодые члены деревенской общины во главе с предприимчивым горожанином. По иронии судьбы, этот «блудный сын деревни» действительно является сыном главного старейшины, «отца деревни», — сыном, который давно забыл обычаи родного дома. Вот что говорит автор пьесы по этому поводу: «Те, кто предпочел жизнь в городе, возвращаются в деревню только тогда, когда силы их полностью истощены. Город, как пиявка, высасывает из них соки и возвращает нам не человека, а тряпку, спущенный воздушный шарик. Корни-то в городе никто по-настоящему не пускает, зато если удастся хорошенько зацепиться, то и денег и славы с лихвой хватит, чтобы потом блеснуть в родной деревне».

Итак, новое должно победить старое, сын — свергнуть отца. Но как строить новый, гармоничный мир, если нарушаются самые святые законы природы? В третьем акте «отец деревни» решает пожертвовать собой во имя счастья большинства. Его место занимает сын. Можно наконец рубить и продавать деревья из священного леса, где, по поверьям, живут боги.

Финал пьесы, однако же, носит двусмысленный характер. Начинается праздник рубки леса. Под ударами стальных топоров падают вековые деревья, в руки жителей деревни потекло золото, но... как быстро земля утратила «вкус вещей», утратила свою душу! Древний мир мертв, а нарождающийся лишен души. Который же избрать? Где найти решение? Будут ли такими уж счастливыми «поющими» завтрашние дни, если новое не побеждает старое, а убивает его, теряя при этом собственную душу? Вот основной вопрос произведения Максима Ндебеки. Ответа на него, следуя традиции африканских сказок с концовками-дилеммами, автор не дает.

МОНГОЛИЯ

ДРЕВНЕЕ ИСКУССТВО УРТ-ДУ

Монгольские песни «Ода об Алтае» и «Солнце вселенной» внесены в золотой фонд мирового фольклора и отныне будут транслироваться по каналам радио и телевидения стран — членов ЮНЕСКО, сообщает монгольская пресса. Такое решение принял международный музыкальный совет при ЮНЕСКО во время фестиваля музыки народов Азии, состоявшегося в Улан-Баторе осенью 1985 года.

Одна из этих песен — «Солнце вселенной» — относится к «протяжной песне» (урт-ду), своеобразному жанру монгольского народного музыкально-песенного творчества. Урт-ду — это неповторимое явление в мировом музыкальном искусстве: звонкая, переливчатая мелодия, то взлетающая до тончайшего фальцета, то вдруг резко падающая в нижний регистр бархатно-басовых тонов. В Монголии говорят: «Протяжная песня» нужна в степи, ее нескончаемая мелодия должна достигать са́мого горизонта».

Музыкальную запись «протяжных песен» сделать практически невозможно, так как для многих звуков нет соответствующих нот. Молодые исполнители учатся у мастеров урт-ду лишь с голоса, и столетиями «протяжная песня» передается от одного поколения к другому.

Решение ЮНЕСКО о включении двух монгольских песен в золотой фонд мирового фольклора свидетельствует о подлинном признании древнего искусства монголов.

ПОЛЬША

ФАКТОР ДУХОВНОГО СБЛИЖЕНИЯ

Советская художественная литература традиционно пользуется в ПНР большой популярностью. Как сообщает журнал «Нове ксёнжки», по числу переведенных и изданных в 1981—1985 гг. произведений советских авторов Польша занимает одно из первых мест в мире. Помимо многочисленных журнальных публикаций за этот период разными издательствами выпущено более 250 книг почти 200 советских писателей и более 10 антологий, включающих переводы поэзии и прозы с разных языков народов СССР.

В числе поэтических сборников — объемные и представительные тома стихотворений А. Ахматовой, А. Блока, М. Волошина, Я. Купалы, Я. Коласа, В. Маяковского, В. Хлебникова, М. Цветаевой, К. Некрасовой. Благодаря изданиям Авторского агентства ПНР, репертуар польских театров по-

полняют классика и новые пьесы советских драматургов, особый интерес заметен к творчеству А. Вампилова, Л. Петрушевской. Появилось немало новых изданий классиков советской прозы — М. Шолохова, А. Толстого, М. Булгакова, А. Платонова, И. Бабеля, М. Зощенко, Ю. Олеши, В. Шкловского, И. Эренбурга. Современная советская проза достаточно полно представлена в своем жанрово-стилевом и тематическом многообразии романами, повестями и рассказами Ф. Абрамова, В. Астафьева, В. Белова, Ю. Бондарева, В. Быкова, Б. Васильева, Э. Бээкман, Д. Гранина, И. Грековой, Н. Думбадзе, В. Кондратьева, В. Липатова, Ю. Нагибина, Б. Окуджавы, В. Распутина, А. Рыбакова, Ю. Рытхэу, Б. Тендрякова, Ю. Трифонова, В. Шукшина и других писателей. Вот несколько красноречивых цифр: «Тихий Дон» М. Шолохова вышел в ПНР 19-м изданием, «Судьба человека» — 16-м; «Хождение по мукам» А. Толстого — 13-м изданием; «Солдатами не рождаются» К. Симонова и «Мастер и Маргарита» М. Булгакова переизданы в пятый раз.

Большим успехом у читателей, по свидетельству журнала «Нове ксёнжки», пользуется советская научная фантастика, прежде всего произведения А. Беляева, И. Ефремова, К. Булычева, А. и Б. Стругацких. Неизменно привлекает внимание творчество советских писателей для детей — сказки, рассказы и повести А. Гайдара, В. Бианки, В. Голявкина, В. Крапивина, В. Каверина, А. Лиханова, С. Сахарнова, Ю. Томина, басни С. Михалкова, стихи К. Чуковского, Д. Хармса, И. Токмаковой.

Называя имена лучших переводчиков советской литературы на польский язык, отмечая достижения в деле ее издания в ПНР, журнал «Нове ксёнжки» подчеркивает, что на общем ярком фоне все же заметны отдельные неудачи. Редакция выражает уверенность в том, что трудности будут преодолены, что пропаганда лучших произведений советской литературы в ПНР и впредь будет служить мощным фактором духовного сближения двух народов.

РУМЫНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКИ

В Бухаресте состоялся X Международный музыкальный фестиваль имени Джордже Энеску. Традиционный праздник музыки был приурочен к 30-летию со дня смерти этого выдающегося румынского композитора, дирижера, скрипача, пианиста и педагога, а также к вековому юбилею столичного театра оперы и балета. На сцене бухарестской оперы в первый день фестиваля была показана опера «Эдип».

«Событием большого культурного значения, данью уважения румынскому музыканту, чье бессмертное творчество проникнуто глубоким патриотизмом», назвала X фестиваль газета «Ромыния либерэ». В течение десяти дней в Бухаресте прошло более 50 концертов симфонической, камерной и хоровой музыки, были показаны оперные и балетные спектакли, исполнены произведения Дж. Энеску и других классиков мирового музыкального искусства. Фестиваль имени Дж. Энеску стал важным событием международной культурной жизни — в нем приняли участие творческие коллективы и солисты из 14 стран мира, среди них советский скрипач В. Третьяков, квартет «Бродски» из Великобритании, французский дирижер Ж. Перисон, гитарист из Испании Х. М. Морене и многие другие исполнители. Советом по культуре и социалистическому воспитанию и Союзом композиторов СРР был организован симпозиум, участники которого обсудили проблемы освоения творческого наследия Дж. Энеску, аспекты современного восприятия его музыки. В дни чествования композитора в его родных краях — в городах Тескани и Бакэу на севере страны — состоялись музыкальные вечера, были организованы выставки фотографий и документов. К памятной дате были выпущены новые пластинки с произведениями Джордже Энеску.

США

ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУЩЕМ

В издательстве «Харпер энд Роу» вышла необычная книга, которая называется «Только бы вернуться домой». На ее обложке стоит имя писательницы, известной сегодня во всем мире (ее знает и советский читатель), — Урсула Ле Гуин. Ее новая, уже двадцать третья по счету книга не походит ни на одну из предыдущих, ибо, как пишет рецензент еженедельника «Тайм», является «сводом информации о людях, которые, возможно, будут обитать на североамериканском материке в далеком будущем». К этому пятисотстраничному тому прилагается магнитофонная кассета с записями... стихотворений и музыкальных произведений народа кеш, рожденного воображением У. Ле Гуин и «заселившего» северную часть нынешнего штата Калифорния.

Значительную часть этой, как назвал ее рецензент, «энциклопедии вымышленного мира» занимает автобиографический рассказ женщины по имени Стоун Теллинг. В своих воспоминаниях она возвращается к поре детства, к тому счастливому времени, когда она жила в глухом лесу и водила дружбу

Урсула Ле Гуин

(Газета «Интернэшнл геральд трибюн»)

лишь с лесным зверьем. Безмятежная жизнь девочки продолжалась до тех пор, пока она вместе с отцом не отправилась в его родные края, где жило племя кондоров. Кондоры оказались злыми, агрессивными людьми, в совершенстве владевшими только «искусством» воевать.

«Пророческая литература по самой своей внутренней сути обладает политическим звучанием», — отмечает рецензент журнала «Тайм». И У. Ле Гуин не скрывает полемической направленности своей социальной фантастики. Поэтому вымышленная «энциклопедия» культуры кеш и культуры кондоров прочитывается как аллегорический рассказ о нынешней цивилизации, в которой противоборствуют два начала: силы добра и зла, света и мрака, мира и войны.

РЕПОРТАЖ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

В августе 1946 г. в американском журнале «Нью рипаблик» появилась публикация малоизвестного тогда журналиста Джона Херси. «Хиросима» — так назывался документальный рассказ о самом варварском преступлении в истории человечества. «Хиросима» (русский перевод вышел в 1970 году) была написана со слов шести хиросимцев, чудом уцелевших в атомном пожаре. Летом 1985 года, к 40-й годовщине бомбардировки Хиросимы, Дж. Херси вновь опубликовал этот репортаж (книга вышла в издательстве «Кнопф»). К переизданию «Хиросимы» он написал обширное послесловие, где рассказал о дальнейшей судьбе своих шести персонажей.

Продолжение рассказа о трагедии Хиросимы, по мнению рецензента еженедельника «Нью-Йорк таймс бук

ревью», потрясает не меньше, чем репортаж о гибели японского города. Это история тяжких физических мучений и злоключений «хибакуся» — так в Японии называют жертв атомной бомбардировки. Судьба Тосико Сасаки, оставшегося безногим инвалидом, и Хацуо Накамура, долгие годы страдавшей лучевой болезнью, оказалась типичной для многих «хибакуся», которые зачастую оставались без всяких средств к существованию. Японские предприниматели отказывались нанимать этих «ненадежных работников». «Да и японское правительство,— пишет еженедельник, — не собиралось брать на себя ответственность за судьбу тех, кто пострадал от победителей-американцев». Лишь в 1957 г. власти Японии приняли решение об оказании помощи «хибакуся».

Знаменательным эпизодом истории Хиросимы стало паломничество одного из героев Дж. Херси — протестантского проповедника Кийоси Танимото в США, куда он отправился собирать деньги на строительство Центра мира в Хиросиме. Встретив весьма холодный прием у официальных лиц, Кийоси Танимото получил горячую поддержку у американских писателей — прежде всего у главного редактора журнала «Сатердей ревью» Нормана Казинса.

«Годы не уменьшили значения того, о чем Джон Херси писал сорок лет назад, — заключает рецензент «Нью-Йорк таймс бук ревью». — Как и в том далеком 1946 году, Херси взывает к совести американцев, предлагая им трезво осмыслить сегодня свое отношение к ядерному оружию и осознать свою вину за две атомные бомбардировки».

РОМАН-ПАРОДИЯ

Сорокалетняя Энн Битти дебютировала более десяти лет назад, а свой первый роман «Свободное падение» опубликовала в 1980 г. Сегодня ее книги — три сборника новелл и два романа — уже имеют многомиллионную аудиторию, главным образом молодежную, ибо герои книг Битти — представители поколения «тридцатилетних» — те, кто участвовал в последних битвах «молодежной революции», а потом долго и мучительно переживал ее поражение, «врастая» в некогда ненавистный истеблишмент. Или же пытался навязать ему свой упрямый «бунт в одиночку», как это делают герои нового романа Э. Битти «Любовь навсегда», выпущенного издательством «Рэндом хаус». Несколько друзей, решив «вырваться из-под власти Мэдисон авеню и социальной системы», обосновались в глухомани штата Вермонт, где начали издавать «шикарный» юмористический журнал «Кантри дейз». Львиная доля корреспонденций — хроника светской жизни, слухи, советы домохозяйкам и прочее — принадлежат двум подругам, Люси и Морин, а издателем и главным редактором журнала является муж Морин — Хилдон. «Роман «Любовь навсегда», — пишет рецензент журнала «Нью рипаблик», — весь проникнут стихией шутки». Даже в самой фабуле пародийно обыграны некоторые типичные сюжеты мелодраматических телесериалов. Все без исключения герои романа становятся объектом насмешки. Наиболее острому сатирическому осмеянию Э. Битти подвергает мир шоу-бизнеса — Голливуд и телевидение, ежедневно фабрикующие «звезд» эстрады, спорта и политики. Герои романа объявили «бойкот» массовой культуре, но всецело находятся во власти ее мифов. Претендуя на роль «аутсайдеров», «протестующих», герои романа Битти становятся невольными статистами в грандиозном шоу — «мыльной опере», какой представлена в этой книге суматошная жизнь «полусвета» сегодняшней Америки. Подобно сатирическому роману Гора Видала «Дулут» (см. «ИЛ», 1983, № 12), «Любовь навсегда» прочитывается как всеобъемлющая пародия на образ жизни и систему этических и эстетических устремлений вчерашних «тридцатилетних», чей мятеж против американского общества оказался не более чем проявлением мимолетного «увлечения». По словам канадского журнала «Маклинз», высоко оценивающего сатиру Битти, выведенные писательницей социально-психологические типы «разочарованных американцев», превратившихся в 80-е годы в пошлых обывателей, отличает не только «историческая достоверность», но и ярко запечатленная в них «склонность ценить предметы материального благополучия больше, чем человеческое достоинство».

ФРАНЦИЯ

ИНТЕРВЬЮ С НАЦИОНАЛЬНЫМ МИМОМ

Французы давно уже присвоили Марселю титул «национального мима». Его называют виртуозом молчания, хотя иногда он сопровождает свои мимодрамы музыкой известных композиторов — Жозефа Косма, Жана Винера, Сержа Продомидеса.

М. Марсо учился у прославленного Шарля Дюллена и дебютировал на «говорящей сцене» театра Сары Бернар, но, увидев Жана-Луи Барро в фильме «Дети райка», решил посвятить себя искусству мимодрамы. Почти сорок лет назад начал он поиски своего стиля в «Театр де пош», где и создал своего известного всему миру героя — Бипа. Однако Марсо не только мимический актер, но и педагог.

Марсель Марсо гримируется перед спектаклем.

(Газета «Юманите»)

Семь лет назад он создал международную школу мимодрамы, где сейчас учатся 70 человек из 20 стран.

О себе самом и о своей школе Марсель Марсо рассказал в интервью газете «Юманите». В частности, знаменитый мим отметил: «В нашей школе преподаются такие дисциплины, как классический и современный танец, театральная акробатика, цирковое искусство, фехтование и, конечно же, актерское мастерство. Но не подумайте, что из школы выходят копии Марселя Марсо. Каждый выпускник должен сохранить свою творческую индивидуальность, и я надеюсь, что некоторые ученики пополнят мою труппу через два года, когда я буду выступать в Париже с новой программой».

Марсо собирается написать автобиографию, задуманную им как хроника определенного периода истории французского и международного театра. У книги уже есть название — «Мой безмолвный крик», выйдет она через два года.

В заключение Марсель Марсо сказал: «Артист, как и любой честный человек должен участвовать в борьбе за мир. В 1942—1943 годах я был в Сопротивлении, потом сражался в Германии. Пришел конец пятилетней оккупации Франции — и повеяло ветром свободы. Я встречался с Пикассо, Арагоном, Эльзой Триоле, участвовал в работе Национального комитета писателей. Потом пришли годы холодной войны, стали вспыхивать кровавые войны в разных точках земного шара, над нами нависла атомная угроза, в душах людей поселилась тревога. Если театр не сможет передать крик своего времени и его надежду, то куда же пойдет наша молодежь — к отчаянию? Неужели мы не сможем привести ее к братству?»

В Страсбурском национальном театре состоялась премьера «Эмилии Галотти» великого немецкого драматурга Г. Э. Лессинга. Постановку известного режиссера Жака Лассаля пишет в журнале «Нувель обсерватёр» критик Ги Дюмюр, «отличает точность социально-исторического фона драматическая напряженность действия, тонкий психологический рисунок характеров».

Спектакль, в котором заняты ведущие актеры Страсбурского театра Патрис Кербра, Морис Гаррель, Ален Оливье и Мари Карре, был с большим успехом показан в Париже, на сцене Дома Искусств имени Андре Мальро.

На снимке: Мари Карре в роли Эмилии Галотти, Патрис Кербра в роли принца.

(Журнал «Нувель обсерватёр»)

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

БЕССМЕРТНЫЙ ПРИЗЫВ ЮЛИУСА ФУЧИКА

Общественность Чехословакии отметила 40-летие со дня первой публикации «Репортажа с петлей на шее», созданного пламенным патриотом, коммунистом, редактором «Руде право» Юлиусом Фучиком, которого гитлеровцы казнили в 1943 году. Вернувшись после освобождения из концлагеря Равенсбрюк, его жена Густа Фучикова узнала, что муж вел в тюрьме записи и передавал их через надзирателя на свободу. Густа по листкам собрала эту книгу, и в октябре 1945 года записи Фучика впервые увидели свет в пражском издательстве «Свобода». С тех пор «Репортаж с петлей на шее» издавался на чешском языке 25 раз. Он переведен на 90 языков, причем советский читатель познакомился с книгой сразу же вслед за соотечественниками Фучика.

В сорокалетнюю годовщину первого издания, когда вопрос: быть войне или миру? — как никогда прежде, тревожит все человечество, «Репортаж с петлей на шее» с крылатым призывом «Люди... Будьте бдительны!» приобрел величайшую остроту и злободневность. Чехословацкая пресса, откликнувшись на эту знаменательную дату, назвала книгу Фучика «бессмертным призывом, манифестом жизни и мира». Авторы статей подчеркивают, что книга, воспринимавшаяся поначалу как документ, как свидетельство героической жизни пламенного патриота и коммуниста, сейчас все больше раскрывается с другой своей стороны, говорит с нашим современником языком подлинного искусства, являет высокие гражданские и нравственные ориентиры. «Книга «Репортаж с петлей на шее», а вместе с ней и сам Юлиус Фучик, — пишет в газете «Руде право» известный чешский литературовед Гана Грзалова, — вступает в диалог с новыми поколениями строителей коммунизма, с поколениями борцов против фашизма и империализма».

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ-КОСЫГИНА, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Г. П. ЗЛОБИН, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора)

Художественный редактор **Е. Н. Черняев.** Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017. Москва, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

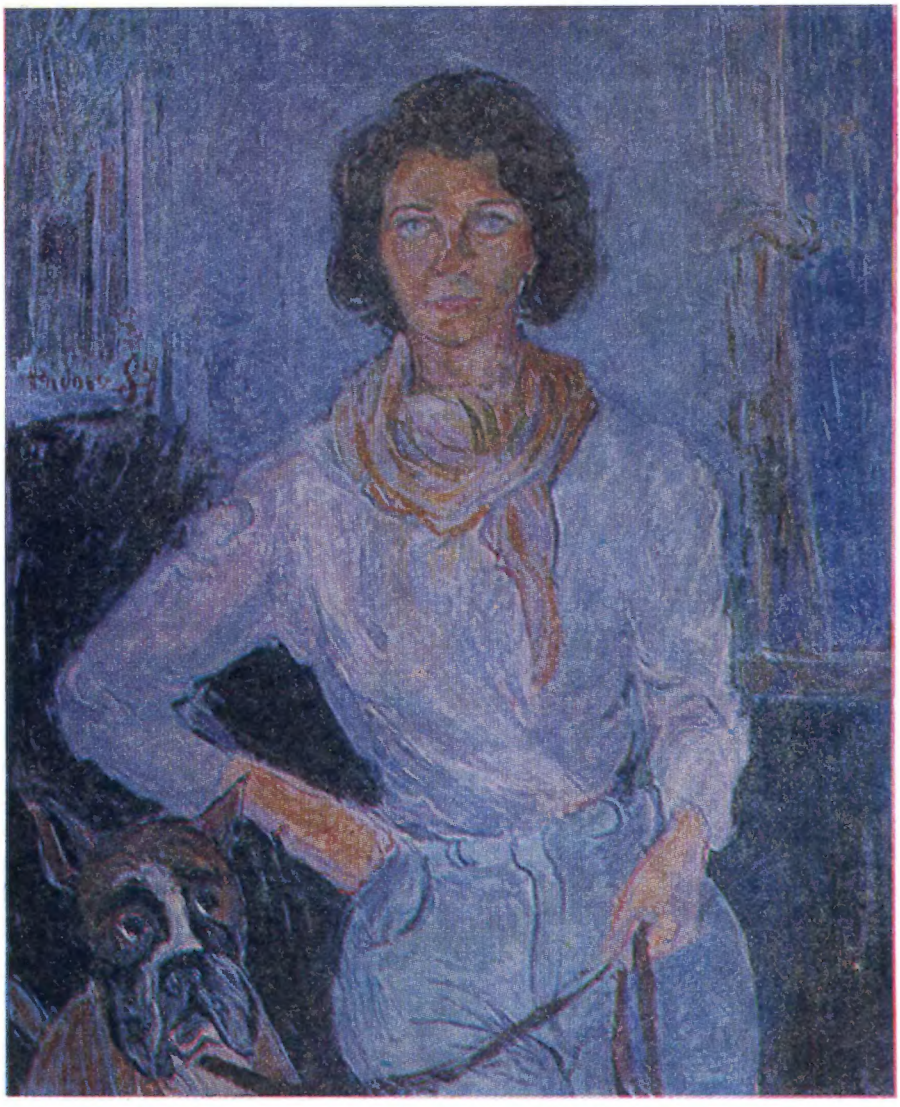
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, Пушкинская пл., 5.

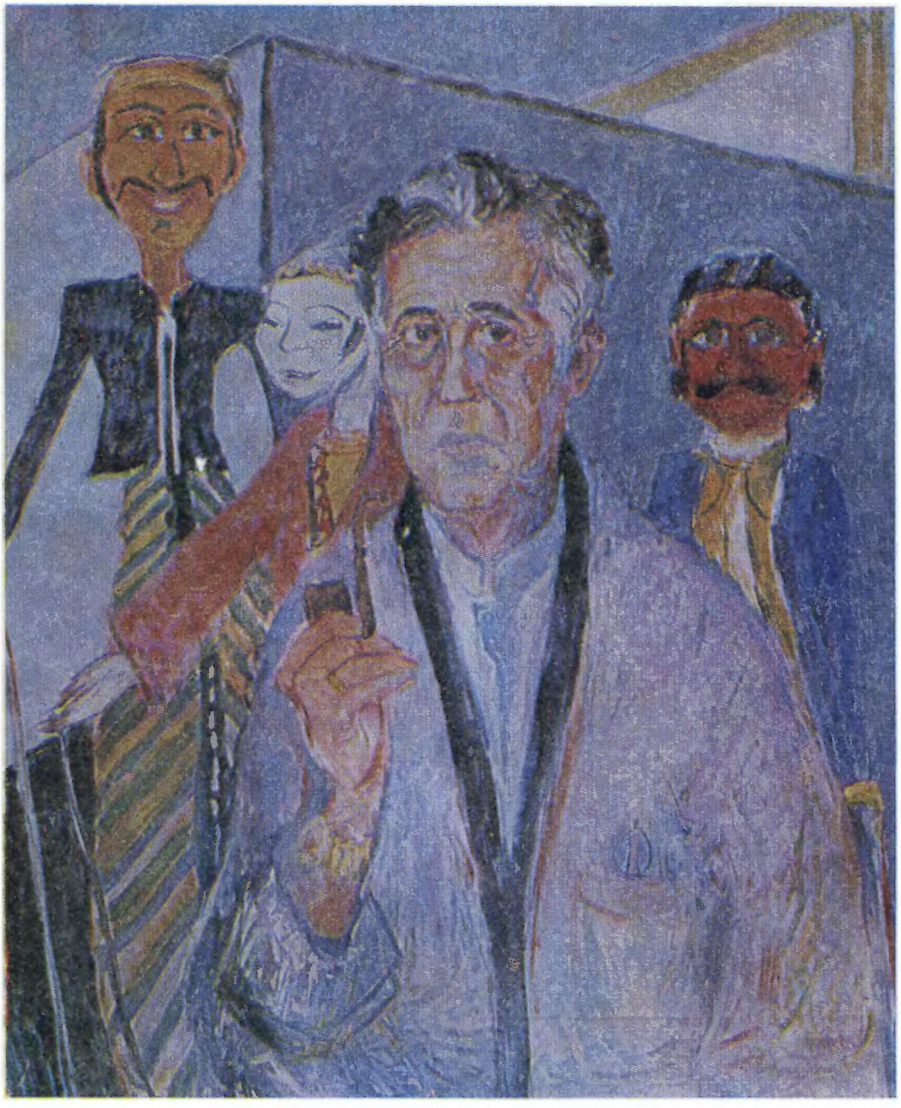
Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 26.12.85. Подписано в печать 10.02.86. А 05145. Формат 70×108¹/₁₆
Печать высокая 22,4 усл. п. л., уч-изд. л. 27,30.

Тираж 490 000 экз. (1-й завод: 1 — 440.000 экз.) Зак. 4624.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.



Портрет Гутти.

Цена 1 руб. 80 коп. ИНДЕКС 70394